VISIT…

УМБЕРТО

ЭКО

ТАИНСТВЕННОЕ ПЛАМЯ ЦАРИЦЫ ЛОАНЫ

Иллюстрированный роман

SYMPOSIUM

Annotation

Умберто Эко (р. 1932), крупнейший современный писатель, ученый-медиевист, семиотик, специалист по массовой культуре, автор интеллектуального бестселлера «Имя розы» (1980), представляет нам роман совершенно нового типа. Текст в нем опирается на иллюстрации, причем каждая иллюстрация — это цитата, извлеченная из контекста не только личной истории героя, но и истории целого поколения.

Лопнувший кровеносный сосуд, пораженный участок мозга, начисто стертая личная память. О своем прошлом шестидесятилетний торговец антикварными книгами Джамбаттиста Бодони не помнит ничего. Он даже забыл свое имя. Но сокровищница «бумажной» памяти остается неразграбленной, через неё и лежит путь к себе — через образы и сюжеты, средневековые трактаты и повести для подростков, старые пластинки и программы радиопередач, школьные сочинения и книжки комиксов, — туда, где брезжит таинственное пламя царицы Лоаны.

- Умберто Эко
  - Часть первая
    - Глава 1
    - Глава 2
    - Глава 3
    - Глава 4
  - Часть вторая
    - Глава 5
    - Глава 6
    - Глава 7
    - Глава 8
    - Глава 9
    - Глава 10
    - Глава 11
    - Глава 12
    - Глава 13
    - Глава 14

    - Часть третья
        - Глава 15
        - Глава 16
        - Глава 17
        - Глава 18
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31

- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68

- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105

- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142

- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179

- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216

- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253

- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290

- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327

- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364

- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- 393
- 394
- 395
- 396
- 397
- 398
- 399
- 400
- 401

- 402
- 403
- 404
- 405
- 406
- 407
- 408
- 409
- 410
- 411
- 412
- 413

Умберто Эко
«Таинственное пламя царицы Лоаны»

Часть первая
Поражение

Глава 1
Мучительный месяц[1]

— Ну, а зовут вас как?
— Обождите, вот вертится на языке…

Все начиналось так.

Я долго спал и проснулся, но был как в сером молоке. Собственно, я не спал, а грезил. Греза была странная, без картинок. Я не видел, а слышал, как мне объясняли, что я должен увидеть. Объясняли, что пока что я еще не вижу ничего, только дымку около каналов, где разрежены линии пейзажа. Брюгге, я сказал, это я в Брюгге. *Бывал ли я дотоле в Брюгге мертвом?*[2] *Где меж дворцов туман как ладан снулый? О грустный и серый город — Надгробие в хризантемах, По стенам ошметки тумана Висят как обоев куски.*

Омыв душой трамвайное стекло, я уронил ее в сырую морось, в шатание дымов под фонарем… О дымка, непорочная сестра… Туман вязкий и тусклый. Туман окутал весь город и вызвал сонм привидений…

Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну.[3] *И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване. И кожа ее белее белого.* Меня зовут Артур Гордон Пим, так-то.

Я жевал туман.[4] *Призраки пробегали, пролетали, затрагивали меня, развеивались.* Далекие огоньки трепетали, лампадки кладбища.

Кто-то проходит рядом со мной, не вызывая шума, будто бы босиком — не стучат каблуки, не слышатся туфли, не шлепают пятки, только туман своим краем задевает за щеку, пьяная ругань звучит вдалеке у парома. Паром? Не Харон? Я ничего не говорил, я только слышал.

Проникает туман, будто кошка на мягоньких лапах…[5] *Оставался туман, будто мир из него устранили.*

И все же глаза я потихоньку приоткрывал. Тогда говорили: — Нет, это все же не кома. Понимаете, голубушка… Посмотрите,

энцефалограмма не совсем плоская. Безусловно. Имеем отдельные вспышки…

Кто-то мне светил в глаза, потом возвращались сумерки. Куда-то еще кололи. — Имеем, кроме того, подвижность…

Мегрэ ныряет в такой плотный туман, что даже не видит, куда ступает.[6] Видит, что в тумане полно человеческих фигур. Чем дальше идет комиссар, тем оживленней становится таинственная жизнь в тумане. Мегрэ? Элементарно, дорогой Уотсон, элементарно, как десять негритят, именно туман-то и укрывал собаку Баскервилей.

Полоса белых паров поднялась над горизонтом значительно выше, постепенно теряя сероватый цвет.[7] Вода стала горячей и приобрела совсем молочную окраску, дотрагиваться до нее неприятно. Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятья.

Я слышал разговоры рядом, хотел закричать, что я тут. Что-то дико шумело, будто бы меня грызли острозубые жениховские машины.[8] Я был в исправительной колонии.

Тяжесть на голове, будто напялили железную маску. Вроде видятся голубые огни.

— Зрачки разного диаметра…

Фрагменты моих мыслей. Я пробуждался, это несомненно. Но я не мог пошевелиться. Только б суметь забодрство-вать… Сколько я проспал? Часов, дней, столетий?

Вернулся туман, слова в тумане, слова о тумане. *Seltsam, im Nebel zu wandern! Странно бродить в тумане!*[9]

Что за язык? Я будто плыл в море, и берег был рядом, но мне не удавалось добраться. Никто меня не видел, меня уволакивало отливом.

Пожалуйста, скажите что-нибудь, пожалуйста, дотроньтесь до меня. Чья-то рука на лбу. Насладительно. Звучит другой голос: — Голубушка, известны случаи, когда пациент просыпался, вставал, брал шляпу и шел домой.

Кто-то лез все время с мигающей лампочкой, бренчал камертоном, подсовывали под нос чеснок, горчицу. *Земля пропахла грибами.*[10]

Новые голоса, эти-то изнутри: *И горестно за стволами Локомотивы трубят… Священники, слепо мрежась в тумане, Идут гуськом в Сан-Микеле дель Боско.*[11]

Небо из пепла.[12] *Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы,*[13] туман, грызущий руки малолетней торговки спичками. Прохожие с мостов Собачьего Острова[14] смотрят на отвратное туманное небо и сами впутаны в туман, как монгольфьер, подвешенный в коричневом тумане, *ужели смерть столь многих истребила.*[15] *Вокзальная вонь и вокзальная полумгла.*[16]

Другой свет, помягче. *Ей чудилось, будто из-за вересковых зарослей до нее сквозь туман долетает плач шотландской волынки, многократно повторяемый эхом.*[17]

Еще один долгий сон. Вероятно. Так я думаю. Опять тьма разреживается. *Как будто я плыву в смеси Воды с анисовой настойкой…*[18]

Он передо мной, хотя я вижу его как тень. В голове у меня сумбур наподобие похмельного. Что-то бормочу. Вроде как впервые овладеваю речью: — *Posco reposco flagito*[19] управляют инфинитивом будущего времени? А в какой момент они решили, что *Cujus regio ejus religio…*[20] чья земля, того и вера? Это когда католики с протестантами мирились в Аугсбурге или когда протестанты с католиками ссорились в Праге?[21] — и вслед за этим: *Туман, видимость ограничена на всем протяжении апеннинского отрезка Первого скоростного шоссе Север — Юг от, Ронкобилаччо до Барберино дель Муджелло.*

Он кивает, будто понял: — Конечно. Теперь откройте глаза и посмотрите вокруг. Как по-вашему, где мы?

Теперь я его вижу яснее. Он в хламиде. Как это говорится… Не в хламиде, а в халате. Я обвожу комнату взглядом и кручу вправо-влево головой: строгая чистая комната, мебели немного, мебель металлическая, мебель светлая, я в кровати, в руку вставлена трубочка. В раме окна сквозь щели затенения проходят лучики света, *весна царит вокруг, пропитан ею воздух и земля.*[22]

Я отваживаюсь:

— Это… больница… вы врач. Со мной что-то не так?

— Было не так. Я потом объясню. Но сейчас вы в сознании. И все будет хорошо. Я доктор Гратароло.[23] Вы уж извините, несколько вопросов. Что я показал? Сколько тут?

— Это рука, это пальцы. Четыре пальца. Четыре, да?

— Конечно. Сколько будет шестью шесть?

— Тридцать шесть, естественно.

Мысли у меня громоздятся в голове, но как будто без моей воли.

— Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов.

— Я в восхищении. Теорему Пифагора я тоже еще помню, хотя с математикой у меня в школе…

— Пифагор Самосский. Эвклид написал «Начала». В латинизированной форме «Элементы». Отчаянное одиночество параллельных прямых, которым не суждено сойтись.

— Похоже, память у вас в полном порядке. Ну, а зовут вас как?

Вот тут я дрогнул. И ведь же крутится прямо на языке. Я помялся и сказал самую естественную фразу:

— Меня зовут Артур Гордон Пим.

— Не угадали.

Явно Артуром Гордоном Пимом звали не меня. Пим не прошел. Я стал торговаться с доктором:

— Зовите меня… Измаил?[24] Можете звать Измаилом.

— Нет, вас зовут совсем не Измаилом. Пробуйте снова.

Откуда мне взять имя. Передо мной была стена. Назвать по имени Эвклида или Измаила казалось нетрудно, как сказать Карл у Клары украл кораллы. А как доходило до меня самого, вырастала стена. Нет, не то чтобы стена, объяснял я доктору: не плотная преграда, а какой-то зыбучий туман.

— Можете вы описать туман? — спросил доктор.

— *Туман по дикому склону Карабкается и каплет.*[25] А вы можете описать туман?

— Я не могу, я не писатель, а врач. Сейчас апрель, так что и показать туман не могу. Сегодня двадцать пятое апреля.

— *Апрель, мучительный месяц.*

— На это у меня культуры не хватает, но я понимаю, вы что-то цитируете. Можно было бы добавить, что сегодня день окончания войны. Какой сейчас год, вы знаете?

— Какой-то явно после открытия Америки…

— А вы не помните дату, ну, какую угодно дату до… до вашего пробуждения?

— Какую угодно? Тысяча девятьсот сорок пятый, окончание

Второй мировой войны.

— Жидковато. Ну, знайте же, что сегодня двадцать пятое апреля 1991 года. Вы родились, если я правильно помню, в конце 1931 года, и поэтому сейчас вам около шестидесяти лет.

— Пятьдесят девять с половиной, даже меньше.

— Идеально. С устным счетом идеально… Видите ли, с вами произошло кое-что… как бы объяснить. Некое поражение. И вы выкарабкались. С чем и поздравляю. Но все-таки наладилось еще не совсем все. У вас кое-какие затруднения с памятью. *Amnesia retrograda.* [26] Не волнуйтесь. В большинстве случаев это проходит. Будьте добры, ответьте мне еще на несколько вопросов. Вы женаты?

— Я женат?

— Да, вы женаты. У вас замечательная жена по имени Паола, которая ухаживала за вами день и ночь, только вчера я отправил ее домой, а то она с ног валилась. А тут как раз вы и проснулись. Я ее вызову, но нужно ее тоже подготовить, да и с вами хотелось бы еще кое-какие предварительные действия произвести.

— А я не приму жену за шляпу?[27]

— Что, что?

— Один человек принял жену за шляпу.

— А, Сакс. Известная история. Вижу, у вас чтения очень даже разнообразные… Не бойтесь, это не ваш случай. Вы же не приняли меня за печку. Может быть, вы не узнаете жену, но вряд ли примете ее за шляпу. Вернемся от жены к вам… Вас зовут Джамбаттиста Бодони.[28] Как вам это имя, знакомо?

Память моя реяла как дельтаплан над горами и долами.

— Джамбаттиста Бодони знаменитый типограф. Но я уверен, что это другой человек, не я. Это как если бы меня спросили про Наполеона.

— А при чем тут Наполеон?

— Потому что Бодони современник Наполеона. А Наполеон Бонапарт родился на Корсике, был первым консулом, женился на Жозефине, стал императором, завоевал пол-Европы, умер на Святой Елене, и во Францию два гренадера из русского плена брели.[29]

— К вам без энциклопедии не подходи. Все это, конечно, вы помните правильно. Насколько я способен судить. Но вы не помните, кто вы сам такой.

— Это плохо?

— Ну, если честно, не очень хорошо. Хотя не вы один в таком положении. Будем вас вытаскивать.

Он попросил меня потрогать правой рукой нос. Я прекрасно понимал, где правая, а также где нос. Я попал-таки, потрогал. Однако чувство было странное. Как будто на пальце у меня был глаз и этим глазом я глядел себе в лицо. И разглядел на лице нос. Гратароло побил меня по коленке, ниже коленки, по голени, по ступне специальным молоточком. Рефлексы, похоже, у меня правильные. Под конец я очень утомился и, кажется, уснул.

Я проснулся, все вокруг напоминало кабину звездолета, и я немедленно это пробормотал. Кабину звездолета из фантастического фильма; а из какого именно, спросил Гратароло. Из любого, ответил я. Вообще из фантастического фильма. Потом я напрягся и назвал «Звездный путь».[30] Со мной делали непонятные вещи невиданными машинами. Мне, по-видимому, заглядывали в голову, на что я соглашался не раздумывая. Легкое жужжание укачивало, я просыпался и засыпал.

Позднее (может быть, на другой день?), когда вернулся Гратароло, я изучал кровать. Я щупал простыни, легкие, гладкие, приятные на ощупь; иное дело одеяло, одеяло покалывало пальцы; обернувшись, я хлопал ладонью по подушке и радовался, что выходят вмятины. Хлоп-хлоп, море удовольствия. Гратароло спросил, как насчет встать. Медсестра помогла, и я встал, хотя голова покруживалась. Ноги упирались в жесткий пол, голова устремлялась к небесам. Вот что значит стоять. Держать равновесие. Крепко стоять на ногах. *Держать равновесие* — как канатоходец. *Крепко стоять на ногах* — как русалочка.

— Ну что, попробуем перейти в ванную и почистить зубы. Там должна быть щетка вашей жены.

Я сказал, что чужую щетку никогда нельзя брать. Он ответил, что щетка жены — не чужая. В ванной было зеркало. Я уставился на себя. По крайней мере, я предполагал, что вижу именно «себя», поскольку зеркала, как известно, отражают то, что перед ними. Бледное испитое лицо, щетина, подглазья. Очаровательно. Я не знаю, кто я, но знаю, что я чучело. Не хотелось бы мне встретиться с собой ночью в темном переулочке. Мистер Хайд.[31] Я обнаружил два предмета. Один,

безусловно, зовется «зубная паста», другой при нем — «щетка». Начинаем с зубной пасты. Жмем на тюбик. Очень приятное ощущение, давить бы такие тюбики почаще, жаль, что приходится ослаблять пальцы, белая паста первым делом хлюпает, потом из тубы вылезает «танцующая змея». *Как эта женственная кожа в смуглых отливах На матовый муар похожа для глаз пытливых. Не жми сильно, не то раздавишь, как Брольо страккини тискал.*[32] Кто же такой Брольо?

Превосходный запах у этой пасты. *Превосходно, отозвался герцог.* Интонация Сэма Уэллера.[33] Вот, это значит вкус: что-то ласкает язык, что-то приятно нёбу, но ощущается вкус все-таки благодаря языку. Вкус мяты — *мята, змея, полуночь, в пятом часу пополудни… y la hierbabuena, a las cinco de la tarde…*[34]

Я отважился и проделал все, что проделывается другими в этих условиях, стремительно и бездумно, а именно: подвигал щеткой сначала вверх-вниз, потом влево-вправо, потом по жевательным поверхностям. Интересное ощущение, когда щетина просовывается в щель между зубами, пожалуй, буду чистить зубы почаще, удовольствие. Я потер щетиной по языку. Сильная щекотка, но если не нажимать, то приятно. До того язык был обложен, а теперь прошло. Дальше я сказал себе: прополощу. Налил воду в стакан из крана и набрал ее в рот, приятно подивившись на то, как она булькает, а лучше всего вода булькала, если закинуть голову и… как это… похлюпать? Поклокотать. Славно вышло. Я надул щеки и все это выплюнул. Фонтан. Фырк-фырк, небесная хлябь. Губами какой хочешь напор можно создать, они очень послушные. За моей спиной Гратароло пялился на меня *как на новые ворота* (есть такое выражение, я убежден), и я спросил, все ли его устраивает.

Все устраивает, ответил Гратароло. Автоматические навыки, пояснил он, у меня сохранны.

— Похоже, здесь стоит почти нормальный человек, — парировал я. — Жаль только, что это не я.

— Очень остроумно, остроумие тоже добрый знак. Ложитесь-ка снова, вот, давайте я помогу. Скажите, чем вы сейчас занимались.

— Чистил зубы, по вашему повелению.

— Да, чистил зубы. А перед этим что вы делали?

— Лежал на этой кровати и беседовал с вами. Узнал от вас, что сейчас апрель 1991 года.

— Да, хорошо. Кратковременная память не затронута. Скажите,

помните ли вы марку зубной пасты?

— Нет. А что, надо помнить?

— Ничего не надо. Вы, естественно, видели марку, когда брали в руку тюбик, но если бы наш мозг фиксировал и сохранял все получаемые стимулы, наша память превратилась бы в помойку. Поэтому мозг фильтрует. Вы поступили как все остальные. Теперь вспомните самое существенное, что случилось, когда вы чистили зубы.

— Я потер щеткой язык.

— Зачем?

— Затем что язык был обложен. Потер, и во рту стало лучше.

— Видите? Вы отобрали из всех впечатлений самое эмоциональное, связанное с желаниями и с вашими собственными потребностями. У вас опять имеются эмоции.

— Тоже мне эмоция — тереть щеткой по языку. Но я не помню, тер ли когда-либо в прошлой жизни.

— До этого мы дойдем. Видите, дорогой Бодони, как бы это выразить без сложной терминологии, суть в том, что случившееся затронуло некоторые участки вашего мозга. Так вот, врачи, невзирая на то что каждый день печатаются исследования на эту тему, пока не представляют себе в точности, какой отдел нашего мозга за что отвечает. В особенности что касается разнообразных типов памяти. Рискну сказать даже: если бы с вами это стряслось через десять лет, врачи лучше бы знали, что с вами делать. Не перебивайте меня, я тоже понимаю, что если бы это стряслось сто лет назад, вы бы уже сидели в психбольнице. Сейчас науке известно больше, но ей известно не все. Например, если бы вы лишились дара речи, мне не стоило бы труда назвать травмированную зону…

— Центр речи Брока.[35]

— Вот-вот. Этот центр Брока известен уже сто лет. А вот где мозг накапливает воспоминания — об этом ученые не перестают спорить, и всем уже ясно, что речь идет не об одной четко очерченной зоне. Не буду утомлять вас научными определениями, которые вдобавок могут еще дополнительно запутать всё у вас в голове, знаете, когда люди выходят от зубного врача, они потом еще несколько дней трогают языком зуб, который сверлили или латали, и вот если я скажу, допустим, что меня не столько беспокоит ваш гиппокампус, сколько лобные доли, конкретнее — кора правой лобной доли, вы будете

инстинктивно тормошить эту зону мозга, как язык тыкается в рассверленный зуб. Сплошной стресс без пользы. Поэтому вы забудьте, что я сейчас говорил. И вдобавок мозг мозгу рознь, мозг невероятно пластичен, и может случиться, что скоро функции пораженной зоны возьмет на себя другая. Вы следите и вам удается понимать?

— Все совершенно понятно. Продолжайте. Короче, я «обеспамятевший из Колленьо».[36]

— Видите, вы его помните, этого обеспамятевшего. Потому что он классический случай. А себя самого вы не помните, потому что вы случай не классический.

— Лучше бы я забыл обеспамятевшего из Колленьо и вспомнил, где сам родился.

— А вот это был бы более редкий вариант. Видите, вы сразу все поняли про тюбик зубной пасты, но не в состоянии вспомнить, что женаты, — и действительно, знание о собственном браке и знание, на что нужна зубная паста, заложены в двух разных областях мозга. Видов памяти несколько. Одна память называется имплицитной, она позволяет производить последовательности действий, закрепившиеся на рефлекторном уровне, то есть чистить зубы, включать радио, завязывать галстук. Проведя опыт с чисткой зубов, я практически уверен, что вы умеете писать и, может быть, даже водить машину. Действуя на основании имплицитной памяти, мы и не сознаем, что что-то помним, мы действуем автоматически. Кроме того, бывает память эксплицитная, то есть когда мы помним, что что-то помним. Однако эксплицитная память — вещь двоякая. Она включает в себя то, что нынче принято называть семантической памятью, то есть это память общепринятая: курица — птица, у птицы перья, а Наполеон умер… в общем… ну, когда вы сказали. На состояние этой вашей памяти, мягко говоря, жаловаться нечего, вас тронь только, и вылезает куча воспоминаний, цитат, готовых фраз. Но эта часть эксплицитной памяти самая первоочередная, она, скажем, формируется у ребенка прежде всех прочих: ему объяснили, что это машина, это собака, тем самым складываются общие понятия, и, когда ребенку скажут «собака» на овчарку, он потом сам скажет «собака» на лабрадора. Но вот что ребенку стоит больших сил и времени, это вторая часть эксплицитной памяти, то есть эпизодическая, или автобиографическая. Ребенок не сразу способен припомнить, увидев, скажем к примеру, собаку, что

месяц тому назад он приезжал к бабушке и у нее в саду была собака и что собаку у бабушки в саду видел лично он. Именно эпизодическая память увязывает то, чем мы являемся, с тем, чем мы являлись, иначе, говоря «я», мы должны были бы подразумевать только то, что ощущаем в момент говорения, а не то, что ощущали до акта говорения, и все остальное терялось бы, как вы выразились, в тумане… Вы утратили не семантическую память, а эпизодическую, забыли события своей жизни. В общем, вам известно только то, что известно и другим, и вероятно, спроси я, какой город столица Японии…

— Токио. Атомная бомба на Хиросиму. Генерал Мак-Артур…

— Хватит, хватит. Вы помните все, о чем читали или слышали, но не то, что сами переживали. Вы знаете, что Наполеона разгромили под Ватерлоо, но попробуйте рассказать мне о собственной матери.

Mamma ce n'èuna sola, la mamma è sempre la mamma.[37] Но я свою mamma не помню. Полагаю, что она у меня была, от кого-то же я родился, но… сплошной туман. Мне плохо, доктор. Это ужасно. Дайте мне что-нибудь, уснуть обратно.

— Дам, дам, я уж и так слишком вас истерзал. Ложитесь удобнее, вот так, хорошо… Повторяю, это случается, но от этого можно вылечиться. Запаситесь терпением. Я попрошу, чтобы вам принесли чай. Вы чай любите?

Может быть, да, может быть, нет.[38]

Чай принесли. Медсестра подняла меня на подушках и поставила передо мной поднос. Влила кипяток в чашку с пакетиком. Осторожно, горячий, сказала сестра. Осторожно — это как? Я внюхивался. Запах был какой-то дымный. Я решил попробовать, что за вкус. Хлебнул. Ужас. Огонь, пламя, оплеуха во рту. Значит, это — горячий чай. Горячий кофе или отвар ромашки в горячем виде — верно, такие же. Теперь я знаю, что значит обжечься. Это знают все на свете: не трогать огонь. Но я не знал, когда горячую коду трогать еще нельзя, а когда уже можно. Я машинально дул на жидкость, после чего поплюхал в стакане ложечкой, покуда не решил, что можно пробовать опять. Сейчас чай был теплым, и пить его было приятно. Я не очень понимал, какой вкус чайный, какой сахарный, я знал, один из них *терпкий*, другой *сладкий*, но что такое сладость, что такое терпкость? Их сочетание мне все же понравилось. Буду всегда пить вот такой чай с сахаром. Но не кипящий,

разумеется.

От чая мне стало мирно, стало расслабленно, и я заснул.

Потом я снова проснулся. Все чесалось. Я скреб промежность и мошонку. Под простынями было потно. *Пролежни?* Промежность была влажной. Но если сильно нажимать пальцами, после первых минут необузданной радости трение становится болезненным. С мошонкой иное дело. Ее можно пропускать между пальцами нежно и деликатно, не надавливая на яички, и чувствовать под пальцами зернистость и волосистый кожный покров. Мошонку теребить приятно, легчайший зуд сразу не исчезает, а более того, растет, отчего чесать все слаще и слаще. *Предел величины удовольствия есть устранение всякого страдания,*[39] но зуд — не боль, а приглашение к удовольствию. *Щекотка плоти.* Поддаваясь щекотке плоти, отроки нередко впадают в рукоблудный грех. Осмотрительный отрок спит навзничь, скрестивши руки на груди, дабы во сне не совершить блудодеяния.[40] Странная вещь плотский зуд, удивительно, сколько выражений связано с яйцами. *Крутить яйца… Не яйца красят человека, а человек яйца… Роковые яйца…*

Я открыл глаза. На стуле сидела дама, уже не молодая, за пятьдесят, у глаз морщинки, но лицо свежее и светлое. Седина в волосах не очень заметна — несколько прядей, в которых свое кокетство: не притворяюсь девочкой, однако выгляжу вполне нормально, а уж для моего возраста так даже и очень хорошо. Собой эта дама была весьма мила, а в молодости, надо полагать, считалась просто красавицей. Она погладила меня по голове.

— Ямбо, — сказала она.

— Ямбо, то есть, простите?

— Ты у нас Ямбо. Тебя так все называют. Я Паола, твоя жена. Ты меня узнал?

— Нет, извините, то есть извини, Паола, думаю, ты слышала от доктора…

— Слышала, я все слышала. Ты не можешь вспомнить, что было с тобой, но помнишь, что было с другими. Поскольку я часть твоей личной истории, то ты не помнишь, что мы с тобой, Паола с Ямбо, уже женаты тридцать лет. И что у нас две дочери, Карла и Николетта, и трое замечательных внуков. Карла вышла замуж рано, родила двоих, Алессандро сейчас пять лет, Луке три года. Есть еще Джанджо,

Джанджакомо, это сын Николетты, ему тоже три. Ты о них всегда говоришь «двоюродные близнецы». Ты был… и будешь, разумеется… очень нежным дедом. И был хорошим отцом.

— А в смысле, ну, мужем я тоже был хорошим?

Паола сделала страшные глаза:

— Скажем так: за тридцать лет разное бывало. Ты считался у нас ого-го…

— Вчера, сегодня, завтра[41]… я в зеркале вижу кошмарную морду…

— На фоне того, что с тобой было, скажи спасибо и за эту морду. Но ты был красив, ты и сейчас еще красив, подкупающая улыбка, вот дамочки и подкупались. Ты со своей стороны заявлял, что в жизни можно устоять перед всем, окромя соблазнов.

— Прости уж за все за это…

— Конечно, как вон сначала запустили умные ракеты на Багдад, а потом извинялись, что вышел просчет и подвернулись женщины и дети…

— Ракеты на Багдад? Как-то не помню, где — в «Тысячи и одной ночи»?

— Война, война в Заливе, сейчас она окончилась, а может, еще и нет. Ирак полез в страну Кувейт, а западные государства стали Кувейт отбивать. Ты ничего не помнишь?

— Доктор сказал, что эпизодическая память — та, которую у меня заколодило, — связана с волнениями. Вероятно, эти ракеты на Багдад меня в свое время разволновали.

— Еще как разволновали. Ты убежденный пацифист. Эта война очень била тебе по нервам. Около двухсот лет назад Мэн де Биран[42] предложил выделять три типа памяти: идеи, ощущения и привычки. Ты сохранил память на идеи и привычки, но не на ощущения, которые на самом деле были тебе всего ближе.

— Откуда ты знаешь столько всего умного?

— Я по профессии психолог. Но подожди минуточку. Ты сказал «заколодило». Почему ты употребил это выражение?

— Ну, так говорят.

— Говорят. Обычно так говорят про китайский бильярд, про флиппер. А ты обожаешь, обожал флиппер, вечно играл и радовался, как дитя.

— Я знаю, что такое флиппер, Паола. Но я не знаю, что такое я. Понимаешь? На Паданской низменности ожидается переменная облачность… Ой, кстати, а мы сейчас тут где?

— На Паданской низменности. Мы живем в Милане. Зимой из наших окон виден парк и туман в парке. Ты миланец, ты букинист, у тебя лавка антикварных книг.

— Проклятие фараона.[43] Родился с фамилией Бодони плюс еще имя Джамбаттиста, чем это могло кончиться, понятно.

— Ничем это плохим не кончилось, в кругах антикваров ты уважаемая особа, мы не миллионеры, но вполне благополучны. Я тебе помогу, мы понемножку починим твою голову. Господи, как подумаю, что нам угрожало и что ты вообще мог не проснуться. Должна сказать, доктора действительно оказались на высоте и вполне успели сделать что надо и когда надо. Мсье Ямбо — добро пожаловать обратно — с чувством глубокого удовлетворения… Ты так смотришь, будто впервые меня видишь. Если бы я тоже впервые тебя сейчас увидела, я, думаю, согласилась бы выйти снова за тебя замуж.

— Ты такая хорошая. Ты такая нужная. Только ты можешь помочь мне восстановить мои последние тридцать лет.

— Тридцать пять. Мы познакомились в университете в Турине. Ты был на последнем курсе, а я только поступила и в полном обалдении бродила по коридорам Главного здания. Я спросила номер аудитории, ты моментально приклеился и соблазнил неопытную школьницу. Потом это как-то так тянулось, мне было замуж рано, ты уезжал за границу на три года. Потом мы поселились вместе, чтобы проверить чувства, тут оказалось, что я беременна, и ты на мне женился, потому что джентльмен. Ладно, кроме шуток, мы, конечно, очень любили друг друга, и ты хотел стать отцом. Не волнуйся, папочка, я напомню тебе обо всем понемножку, все наладится, увидишь.

— Если только это все не мышеловка и в действительности меня не зовут Феличино Гримальделли, по прозвищу Отмычка, известный вор-домушник, и вы с Гратароло не пудрите мне мозги в каких-то там ваших тайных цепях, ну, скажем, вы оба из органов, должны закодировать мне новую личность, чтобы потом меня заслать за Берлинскую стену, как в «Досье „Ипкресс“»,[44] и дальше по фильму…

— Берлинской стены уже нет, ее сломали, от советской империи остались рожки да ножки..

— Господи милостивый, на секунду отвернешься, вы империю развалили, стену Берлинскую сломали… Ладно, я пошутил. Придется верить в твою легенду. Что мы знаем о Брольо и о его страккини?

— Какой Брольо? Страккино — пьемонтское название такого мягкого сыра, который в Милане называется крешенца. Откуда к тебе страккини?

— Когда я выжимал пасту из тюбика. Подожди. Ну как же. Был художник Брольо, у которого картины не покупали, но идти работать он не хотел, заявлял, что у него невроз. Его содержала сестра. В конце концов друзья пристроили его на какую-то сыродельную фабричку. Он ходил мимо сыров страккини, завернутых в вощеную бумагу, и не мог удержаться от соблазна и якобы по причине невроза давил один сыр за другим, и они с хлюпаньем вылезали из упаковок. Перепортил столько продукции, что его уволили. Вот это я понимаю, невроз. Тискать страккини, *sgnaché i strachèn*, род наслаждения. Господи, Паола, это же детская память! Значит, я не весь свой личный опыт позабыл?

Паола улыбнулась:

— Да, я тоже это вспомнила, извини. Ты, конечно, помнишь эту хохму с детства. Но ты часто рассказываешь эту историю, она входит в твой ударный набор, развлекаешь друзей за столом этим рассказом о художнике и страккини. К сожалению, ты сейчас восстановил не собственный опыт, а припомнил многократно рассказанный сюжет, который для тебя уже, ну, как бы это сказать, обрел характер общеизвестного, вроде Красной шапочки.

— Ну что бы я без тебя делал. Хорошо, что ты моя жена. Спасибо, что ты есть, Паола.

— Господи, еще месяц назад ты сказал бы: «спасибо, что ты есть» — пошлятина из телесериала.

— Ну уж прости. У меня не выходят личные высказывания. У меня нет чувств. Только клише.

— Бедненький.

— А «бедненький» не клише?

— Сволочь ты, вот что.

Эта Паола, похоже, меня и вправду любит.

Ночь я провел спокойно, знать бы, что мне вкачал через капельницу Гратароло. Просыпался я настолько постепенно, что глаза

еще не открылись, а я уже слышал шепот Паолы:

— А не может это быть психогенная амнезия?

— Я вовсе не исключаю, — отвечал Гратароло. — Причиной подобных случаев, как правило, является отек. Ну, вы видели снимки. Часть мозга поражена необратимо, что говорить.

Я открыл глаза и объявил, что проснулся. В палате были еще две женщины и трое детей. Я их видел впервые, но, конечно, сообразил, кто они. Ужас какой. Жена еще ладно, но все же дочки-то, господи, они плоть от плоти твоей, а уж внуки и тем более; у дочек глаза были от радости на мокром месте; дети порывались влезть на койку, хватались за мои руки и лепетали «деда, деда», а я… ну что сказать. Даже не туман. Апатия. Может быть, точнее было бы — атараксия? Глядел на них как в зоопарке: не больше чувств, чем к обезьянам или лсирафам. Я, конечно, улыбался и говорил с ними ласково, но в душе была полная пустота. Мне пришло в голову слово *sgurato,* но я не знал, что оно значит. Спросил у Паолы. Это по-пьемонтски «отдраенный», то есть когда кастрюлю металлической мочалкой трут до блеска и она сверкает и лучится в своем нутре, чище невозможно. Ну вот, в голове у меня было все отдраено. Гратароло, Паола, девочки пытались срочно запихнуть мне в голову кучу мелких подробностей моей жизни, но вся информация перекатывалась в отдраенном черепе как сухая фасоль, не было от информации ни навара, ни подливки, никакого вкуса, никакого аппетита. Я запоминал факты своей биографии, как будто они относились к кому-то чужому.

Я гладил детишек и обонял детский запах, но не умел определить его, все, что мог сказать — это запах нежный. Я способен был сказать только: *Нередко запах свеж, как плоть грудных детей.*[45] Моя голова, однако, была не вполне пуста, в ней клубились ошметки чужой памяти: Маркиза вышла в пять часов гулять, земную жизнь пройдя до половины. Вставай, проклятьем заклейменный — стоит ноябрь уж у двора. Авраам роди Исаака, Исаак роди Иакова, а заодно Рокко и его братьев.[46] И тут я увидел маятник,[47] превыше пирамид и крепче меди![48] Здесь будет создана Италия.[49] Мы создали Италию.[50] Ты знаешь край лимонных рощ в цвету, где воздух воет, как в час бури море? С холма, где путники прощаются с Сионом, я видел град родной в его последний час. Туда, туда, возлюбленный, туда нам скрыться б навсегда! Туда, сюда, вниз, кверху, злое племя! Кто там стучится в поздний час? Конечно, я —

Финдлей! Мать, о мать, ужели ты нарочно ко мне пришла, чтоб жизнь мою скончать? Слышишь, бьет ужасный час! Укрепитесь, силы! Вместе к смерти! Ищут нас бросить в ров могилы! Как каждая несчастная семья, в начале жизни школу помню я. Безжалостный отец, безжалостная мать, затем ли вы мое вскормили детство, чтоб сыну вашему по смерти передать один позор и нищету в наследство… Радость, первенец творенья, дщерь великого Отца! Радость, ты искра небес, ты божественна, дочь Елисейских Полей! Ночи безумные, ночи бессонные, чаши полнее налей! Жить и любить давай, о Лесбия, со мной! Смотреть, как черных волн несется зыбкий строй. Зачем же любишь то, что так печально, встречаешь муку радостью такой? Глядит на воды с вышины — раздвинулась волна, и выплывает из воды прекрасная жена. У молодой жены богатые наряды, на них устремлены двусмысленные взгляды. Свобода приходит нагая, из русского плена бредя… Едва дрожит простор волны хрустальной, как спящей девы млеющая грудь. Равным бессмертным кажется оный муж, пред твоими, дева, очами млеющий, близкий, черплющий слухом сладкие речи… Умножь теперь свой гнев и будь бодра, как прежде, и стары злы дела почти за добродетель! В тебе, в тебе одной природа, не искусство, ум обольстительный с душевной простотой! Я твой, я твой, когда огонь Востока моря златит! Я твой, я твой, когда сапфир потока луна сребрит! Ты отверзаешь нам далекие границы к пути, в который мы теперь устремлены! Итак, прощайте, скоро, скоро переселюсь я наконец в страну такую, из которой не возвратился мой отец! Той порою, как я, без нужды в парусах, уходил, подчиняясь речному теченью, в тополевой тени гуляя, муравей в прилипчивой смоле увяз ногой своей: так аргивяне, трояне, свирепо друг с другом сшибаясь, падали в битве. Гнев, о богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына! *Licht mehr Licht über alles*, твой прах сойди в могилу, а душу бог помилуй. Все прочее — литература. Имена, названия, термины. Анджело Далль'Ока Бьянка,[51] лорд Бруммель,[52] Пиндар, Флобер, Дизраэли,[53] Ремиджио Дзена,[54] палеоцен, Фаттори,[55] Страпарола и его приятные ночи,[56] маркиза Помпадур,[57] Смит-и-Вессон, Роза Люксембург, Дзено Козини,[58] Пальма Старший,[59] археоптерикс, Чичеруаккьо,[60] Матфей-Марк-Лука-Иоанн, Пиноккио, Жюстина,[61] Мария Горетти,[62] Фаида эта, жившая средь блуда,[63] остеопороз, Сент-Оноре,[64] Бакта, Экбатана,

Персеполь, Суза, Арбела,[65] Смирна, Хиос, Колофон, Пилос, Аргос, Итака, Афины,[66] Александр и гордиев узел.

Энциклопедия осыпала меня палыми листьями, хотелось отмахаться как от роя пчел. А дети лепетали «деда, деда», я понимал, что должен бы любить их больше жизни, но я не знал, кого зовут Джанджо, кого Алессандро, а кого Лука. Я знал все об Александре Македонском и ничего об Александре — своем внучонке.

Я сказал, что хочу отдохнуть и поспать. Когда все вышли, я заплакал. Слезы соленые. Следовательно, чувства я все-таки испытывал. Да, но только самые распоследние чувства. А чувства былые больше мне не принадлежали. Интересно, подумалось: а веровал ли я прежде в бога? В любом случае, какое бы ни иметь понятие о душе, я, несомненно, душу утратил.

На следующее утро, при Паоле, Гратароло усадил меня за стол и показал множество разноцветных квадратов. Стал спрашивать, где какой цвет. Цветики-семицветики, вынь ему да положь ответики. Черного и белого не называйте, да и нет не говорите.

Я ловко распознал основные шесть или семь цветов: красный, желтый, зеленый и прочие в этом роде. Я, конечно, сказал «А черный, белый Е, И красный, У зеленый»,[67] однако подумал, что поэт наплел невесть что. С какой стати А называть черным? Вообще цвета показались мне совершенно новым открытием. Красный был очень веселым. Пламенный: это как-то даже слишком. Наверное, еще ярче красного был желтый. Будто свет зажгли прямо перед глазами. Зеленый оказался мирным. Но доктор пристал с новыми квадратиками, и дело пошло хуже. Это зеленый, бубнил я упрямо, а Гратароло: в каком смысле зеленый, чем он отличается вон от того зеленого? Почем я знаю. Паола объясняла мне, что один зеленый мальвовый, а другой гороховый. Мальва — цветок, отвечал я, а горох — съедобный овощ, в длинном торчащем стручке кругленькие шарики. Но я ни разу в жизни не видел ни мальву, ни горох с его шариками. Вы только не волнуйтесь, отвечал на это Гратароло, в английском существует более трех тысяч названий оттенков, но люди, как правило, употребляют только семь или восемь слов, средний человек использует в речи цвета радуги, то есть красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий и фиолетовый, но как доходит до фиолетового и пурпурного, народ, как правило, не в состоянии отличить грешное от праведного. Нужен специфический

опыт, чтобы разбирать и определять оттенки, художник их поименовывает, ясное дело, квалифицированнее, скажем, нежели водители автотранспорта, от которых требуется не путать сигналы светофора, остальное — по усмотрению.

Гратароло выдал мне бумагу и ручку. И сказал писать. «Что мне писать?» — написал я, и это вышло так естественно, как будто ничем другим я от веку не занимался, фломастер был сочным и мягким, бумага — приятной.

— Пишите все, что приходит на ум, — сказал Гратароло. На ум?

Я написал. Ум с сердцем не в ладу. Лад. Когда я с милою вдвоем, то все идет на лад, и целый мир мне нипочем, и сердцем я богат. Сердце. Мне сжавший сердце ужасом и дрожью… Ужасом сделаю тебя, сказал Господь. Мой Спас — Господь, я сам беда моя. Беда. Беда Достопочтенный. Краткое указание ошибки достопочтенного Декарта. Де Карта. Маркиз, убита ваша карта. Убит, к чему теперь рыданья. Пал на грудь к нему с рыданьем, дух очистил покаяньем. В здоровом теле здоровый дух. Дух вон. Дух — вонь?

— Напиши о себе, — сказала Паола. — Что ты делал в двадцать лет?

Я написал: *Мне было двадцать лет. Никому не позволю утверждать, что это лучший возраст.*[68]

Доктор попросил написать, о чем я подумал прежде всего, когда проснулся. Я написал: *Проснувшись однажды утром после беспокойного сна, Грегор Замза обнаружил, что он у себя в постели превратился в страшное насекомое.*[69] — Пожалуй, лучше перестанем, доктор, — сказала Паола. — Хватит этих ассоциативных цепочек, а то он совсем сойдет с ума.

— А сейчас я, по-твоему, в своем уме?

Вдруг неожиданно и резко Гратароло скомандовал: — Теперь поставьте подпись не размышляя, как на чеке.

Не размышляя? Я нацарапал «GBBodoni», с кривулей в конце и круглой точкой над i.

— Ага! Голова не понимает, кто вы. А рука понимает. Так я и думал. Еще вот попробуем. Вы говорили о Наполеоне. Как он выглядел?

— Я не могу вспомнить лицо. Только имя.

Гратароло спросил у Паолы, как у меня с рисованием. Выяснилось, что я не ахти какой живописец, но что-то нацарапать могу. Он попросил

нарисовать Наполеона. Я изобразил нечто в таком духе.

— Неплохо, — отозвался Гратароло. — Вы нарисовали свое представление о Наполеоне, набор обязательных признаков: треуголка, рука в вырезе жилета. Теперь я покажу вам кое-какие изображения. Сначала из области искусства.

С этим я справился: Джоконда, Олимпия Мане, Пикассо или хороший подражатель.

— Видите, это вам нетрудно? Перейдем к современным героям.

Снова картинки, и снова, за исключением нескольких незнакомцев, я не подкачал: Грета Гарбо, Эйнштейн, Тото,[70] Кеннеди, Моравиа — и чем они знамениты. Гратароло спросил, что у них у всех общего. Популярность, надо отвечать? Слабовато вроде бы? Я колебался.

— Да ведь они же все умерли, — сказал Гратароло.

— Как, и Кеннеди с Моравиа тоже?

— Моравиа умер в конце прошлого года, Кеннеди застрелили в Далласе в 1963 году.

— Боже, как обидно.

— Что вы не помните смерть Моравиа, это почти нормально, событие свежее и еще пока не закрепилось в вашей семантической памяти. Не понимаю, почему это распространяется на смерть Кеннеди, это ведь дело давнее, из энциклопедии.

— Смерть Кеннеди его очень потрясла, — сказала Паола. — Поэтому Кеннеди, видимо, врос в его личную собственную память.

Гратароло вытащил другие фотографии. Сидят двое, один из

которых явно я, по-человечески одетый и постриженный и с той подкупающей улыбкой, которую описывала Паола. Другой тоже симпатичный, но кто такой — неведомо.

— Это Джанни Лаивелли, самый лучший твой друг, — сказала Паола. — Вы просидели за одной партой всю школу.

— А это кто? — спросил Гратароло и показал другую картинку. Давний снимок. У нее укладка тридцатых годов, целомудренный вырез, белое платьице и нос немножко картошкой, у него замечательный пробор, чуть примазанный бриллиантином, нос решительный, хорошая улыбка. Лица неопределимые. Артисты? Непохоже, нет апломба. Молодожены. У меня в груди что-то сжалось до полуобморока.

Паола заметила, что мне не по себе: — Ямбо, это свадьба твоих родителей.

— А они живы? — спросил я.

— Нет, их давно нет в живых. Они погибли в автокатастрофе.

— Вас разволновал этот снимок, — сказал Гратароло. — Некоторые изображения вас бередят. Это и есть путь к успеху.

— Да какой к черту путь, если даже папу-маму я не могу выудить из этой злосчастной черной дырки, — заорал я. — Вы говорите, что эти двое мои родители. Теперь я так и буду думать. Но это воспоминание я получил от вас. Отныне я буду помнить родителей, но не родителей, а эти ваши фото.

— За последние тридцать лет вы неоднократно вспоминали своих родителей и глядели на эти фото. Вы и прежде помнили их по снимку. Не надо представлять себе память вроде большой кладовки, куда укладываются воспоминания и откуда мы их по требованию вытаскиваем в том же виде, в котором заложили, — сказал Гратароло. — Я избегаю излишних техницизмов, но скажу вам все-таки, что воспоминание — это воспроизведение цепочек нейронного возбуждения. Предположим, вам известно некое место, но потом с вами случается в нем какая-то свежая неприятность. Отныне, когда вы будете вспоминать про это место, ваш мозг будет воспроизводить первоначальную последовательность возбуждения нейронов, но с добавкой нового элемента — неприятного ощущения, то есть каждая позднейшая цепочка пусть и подобна, но не идентична первоначальной цепочке, которая возникла в момент изначального возбуждения. В общем, любое воспоминание заключает в себя также и то, что мы

узнавали о предмете с ходом времени. Это нормально. Так устроена память. Поэтому я хочу, чтобы, когда вы восстанавливаете цепочки возбуждения нейронов, вы не старались оголтело докопаться до подлинных воспоминаний, которые якобы в нетронутом виде лежат в голове. Вот вы видите этот снимок, на нем изображены ваши родители, это изображение вам показано здесь и сейчас. Мы увидели его с вами вместе. Вы должны составить себе воспоминание исходя из этого изображения. Вспоминать — работа, а не гарантированная привилегия.

Печальная, долгая память,[71] — продекламировал я. — *Шлейф смерти несем за собой.*

— Помнить приятно, — сказал Гратароло. — Кто-то сказал, что воспоминание подобно собирающей линзе в камере-обскуре. В нем все сосредоточено, и картинка в нем гораздо ярче, чем было дело на самом деле.

— Как-то курить захотелось, — сказал я.

— Значит, организм возвращается в привычное состояние. Но все-таки курить бы вам не надо. И по возвращении домой не злоупотребляйте алкоголем. Стакан вина за обедом, стакан за ужином, никак не больше. У вас с давлением не идеально. А то раздумаю выписывать вас завтра.

— Как, завтра? — переспросила Паола, по-моему, в легком ужасе.

— Пора закругляться. Ваш муж, сударыня, в смысле физического состояния вполне самодостаточен. Способен ходить без присмотра и с лестницы не свалится. Держать тут у нас, изводить обследованиями, все это внешний опыт, к каким результатам он приводит — мы можем видеть. Я думаю, ему пойдет на пользу домашняя обстановка. Люди выздоравливают от родной домашней пищи, от запаха, ну не знаю… в этих вещах писатели разбираются лучше неврологов…

Не то чтобы я стремился все время образованность показать, но поскольку уж у меня имелась только проклятая семантическая память, хоть ее-то следовало использовать:

— Печенье мадлен, Пруст, — сказал я. — Вкус липового настоя и лепешечки доводят его до дрожи. Он чувствует свирепую радость. В памяти всплывают воскресенья в Комбре с тетушкой Леонией… Похоже, что есть непроизвольная память членов,[72] ног, рук, они полны онемевших воспоминаний… А вот еще чье-то. *Ничто так не пробуждает воспоминания, как запахи и огни.*[73]

— Вот-вот, я именно об этом. Ученые иногда больше узнают от писателей, нежели от своих машин. Вы, сударыня, специалист почти что в нашей области: хотя и не невролог, но психолог все-таки. Я вам приготовил несколько книг по вопросу, описания нескольких знаменитых клинических случаев, и вы быстро войдете в ту самую проблематику, которая имеет отношение к вашему мужу. Думаю, что находиться в контакте с вами и с дочерьми, возвращаться к работе ему полезнее, чем торчать у нас. Показывайтесь раз в неделю, и будем наблюдать динамику. Так что домой. Оглядитесь, общупаетесь, обнюхаетесь, начнете читать газеты, смотреть телевизор, накапливать зрительные образы.

— Попробую. Но я ведь не помню ни образов, ни запахов, ни вкусов. Одни слова, и ничего, кроме слов.

— Сейчас не помните, а потом вдруг вспомните. Ведите дневник, фиксируйте свои реакции. Будем работать в этом направлении.

Что ж, заведу дневник.

Назавтра я собирал манатки. Потом спустился с Паолой. В больнице, по-видимому, был кондиционер, поскольку лишь выйдя на улицу я ощутил, что значит, когда пригревает солнце. Нежное, весеннее солнце, еще незрелое. От света я зажмурился. На солнце смотреть нельзя: *Солнце, сияющий изъян…*[74]

Мы открыли дверцу машины (впервые ее видел), и Паола предложила мне сесть за руль.

— Поставь на нейтралку, включи зажигание. Передачу не включай. Можешь попробовать газ.

Как будто я всю жизнь проработал шофером, я прекрасно понимал, куда девать руки, куда ноги. Паола села рядом, и мы включили первую скорость, я отпустил сцепление, выжал газ, чуть-чуть, и проехал два или три метра. Потом нажал на тормоз и заглушил двигатель. Самое страшное, что меня ожидало при ошибке, это канава в ближних кустах. Но ошибки не произошло. Я был страшно горд. Я опять запустил двигатель и включил заднюю передачу. Доехал до своей стартовой точки и наконец передал руль Паоле, и мы двинулись из клиники.

— Как тебе внешний мир? — поинтересовалась Паола.

— Да не знаю. Говорят, что кошки, выпадая из окна, если

стукаются носом, перестают чувствовать запахи, а поскольку у котов главное — обоняние, они перестают понимать мир. Так вот, я кот, стукнувшийся носом. Я вижу вещи, я знаю их названия, вот это магазины, это едет велосипед, а там деревья, — но я не чувствую предметы… будто надел чужой пиджак.

— Безносый кот в чужом пиджаке. Типичный приступ метафоризма. Пусть тебя полечит Гратароло, впрочем, думаю, само пройдет.

Я осматривался, опознавал цвета и формы незнакомого города.

Глава 2

Как шелест листьев тутовника в руке садовника[75]

— Куда мы теперь, Паола?

— Домой.

— А потом?

— Заселимся, разберем чемодан.

— А потом?

— Что потом? Помоешься, побреешься, переоденешься, поужинаем. Что ты хотел бы на ужин?

— Вот этого я и не знаю. Я помню все, что происходило со мной, когда проснулся. Помню все то, что было с Юлием Цезарем. Но не могу предугадать, что будет происходить завтра и потом. Пока что я беспокоился не о завтра, а о том, что не мог припомнить совершенно ничего про позавчера. Но теперь мы движемся вперед… а впереди туман, там такой же густой туман, как за плечами. Ну, даже если не совсем туман. Но все равно колени у меня ватные. Не знаю, как мне сделать шаг. Это как прыгать.

— Что ты имеешь в виду? Под прыгать?

— Ну, прыгать, совершать рывок вперед. Чтоб прыгнуть, требуется разбежаться. А значит, требуется вернуться назад. А не вернешься назад — не скакнешь вперед. Вот мне и кажется, что я, пока не знаю, чем жил до сих пор, не сумею продолжать жить. Обычно всякий замысел рассчитан на то, чтоб изменить положение вещей. Ты мне сказала — бриться. Я провожу рукой по шее — и действительно, колется, заросла. Ты говоришь обедать, и точно, я вспоминаю, что в последний раз питался вчера, это был ужин. Супчик, ветчина, печеная груша. Но одно дело — распланировать на основании опыта такие действия, как бритье или обед, а другое дело — запланировать жизнь. Не понимаю, что имеют в виду под жизнью, я не помню, какой она была до сих пор. Понимаешь?

— Смысл твоих слов — что ты не ощущаешь проживания во времени. Между тем все мы живем в связке со временем, мы и время — одно. Ты очень любил одну цитату из святого Августина, как раз на эту тему. Ты всегда говорил об Августине: один из умнейших людей всех

времен и народов. Он и нам, современным психологам, до нынешних пор очень полезен. Наша связь с жизнью троякая — ожидание, внимание и память, и все они взаимоувязаны. Ты не умеешь ожидать будущего, потому что утратил память прошлого. От того, что ты знаешь поступки Цезаря, тебе не проще осознавать свои поступки.

Паола увидела, как я стиснул зубы, и переменила разговор.

— Милан, твоя среда обитания.

— Первый раз в жизни эту среду вижу.

Мы повернули на широкую площадь, я механически перечислял:

— Замок Сфорца. Домский собор. Тайная вечеря и картинная галерея Брера.

— А что ты помнишь о Венеции?

— Каналь Гранде, мост Риальто, собор Святого Марка и гондолы. Что пишут в путеводителях, я знаю. И даже если бы я в Венеции сроду не был, я знал бы то же самое. А что касается Милана, хоть я живу тут тридцать лет, он для меня точно как Венеция. Или как Вена. Кунстхисторишес музеум, третий человек,[76] Гарри Лайм на колесе в Пратере говорит, что швейцарцы придумали кукушку. И кстати, это абсолютное вранье, потому что кукушку придумали баварцы.

Вот и наша квартира. Превосходная квартира, с балконами на деревья парка. Видимо, то, что видно с балкона, называется «колышутся кроны». Действительно, когда природу хвалят, то не врут, она очень мила, природа. В квартире ценная старинная мебель, то есть я и впрямь состоятельный человек. Но я не знаю квартиры, не могу угадать, где гостиная, где кухня. Паола зовет Аниту, нашу домработницу-перуанку. Знакомство. Бедняжке очень нелегко со мной знакомиться по новой, она суетится, заводит меня в ванную, показывает, где зажечь свет, приговаривает:

— *Pobrecito*[77] наш синьор Ямбо, *ai Jesusmaria*, вот здесь чистые полотенца, синьор Ямбо.

После выписки из больницы, суеты, волнения, солнца, переезда я ощущал, что покрылся потом. Я понюхал подмышку: собственный пот оказался не противным, запах вроде бы не шибал в нос, а подтверждал моим чувствам, что я живое создание. За трое суток до возвращения в Париж Наполеон слал депешу Жозефине, чтобы она не мылась. Моюсь ли я перед тем, как заняться любовью? Я стесняюсь доведываться у

Паолы. Да и потом, кто меня разберет, может быть, с нею я возлегаю после ванны, а с другими наоборот… Я вымылся в душе, намылил щеки и побрил их медленно и раздумчиво, обшлепал лицо лосьоном с легким и свежим запахом и причесался. Вроде теперь выгляжу поприличнее. Паола отвела меня в гардеробную: ясно, я любитель вельветовых штанов, жесткошерстных пиджаков, шерстяных галстуков в разных оттенках пастели (мальвовых, гороховых, смарагдовых? я помню прилагательные, но не знаю, куда их прилагать). Еще я понял, что мне нравятся рубашки в клеточку. Там висел и темный костюм для свадеб и похорон.

— Ты красавец, каким и был всегда, — сказала Паола, когда я оделся в брюки и в пиджак.

Она провела меня длинным коридором, обшитым книжными полками. Я смотрел на корешковые надписи, большинство было мне знакомо. То есть мне были знакомы названия, «Обрученные», «Неистовый Орланд», «Над пропастью во ржи». В первый раз за все время мне почувствовалось, что я попал-таки в правильное место. Я вытащил наудачу книжку, но еще до того, как смотреть на переплет, я ухватил ее правой рукой за задок и левым большим пальцем пробежался по страницам, от последней до первой. Прозвучал чудный шелест. Я проделал это несколько раз и спросил у Паолы, не выскочит ли из книги футболист, не ударит ли по мячу. Паола улыбнулась. Такие книжечки, сказала она, нам с тобой покупали в годы детства, это было кино для бедных, футболист дрыгал ножкой на уголке каждой новой страницы, а если прогонять страницы на большой скорости перед глазами, казалось, он ударяет по мячу и мяч отскакивает. Так я удостоверился, что и эта картинка — общее достояние: следовательно, я не помнил ее, а попросту знал о ней.

Книга была — «Отец Горио» Опоре де Бальзака. Я сказал:

— Папаша Горио жертвует собой ради дочерей, из которых одну, если не ошибаюсь, зовут Дельфина, появляется там и Вотрен под видом Колена, Растиньяк там горит азартом: Париж, ты или я, дуэль! Я что, читаю много книжек?

— Ты читаешь без просыпу. И у тебя замечательная память. Ты знаешь кучу стихов.

— Каких стихов, собственных?

— Чужих. Ты говоришь о себе: я нереализовавшийся гений, мир

разделяется на писателей и читателей, писатели пишут из презрения к коллегам, чтоб иметь чего-нибудь почитать.

— Сколько же у меня книг. Извини, у нас.

— Здесь пять тысяч. Когда приходят идиоты, обычно спрашивают: сколько же книг у вас, вы их все прочитали?

— А я что отвечаю?

— Обычно ты отвечаешь: эти я еще не читал, иначе не держал бы у себя, вы же не сохраняете пустые консервные банки, правда?[78] А те пятьдесят тысяч, которые я прочел, я уже передал в больницы и тюрьмы.[79] От этого ответа идиоты падают на месте.

— Много книг на языках… Я, кажется, знаю языки. *Le brouillard indolent de l'automne est é'pars.*[80] И еще: *Unreal City, Under the brown fog of a winter dawn, A crowd flowed over London Bridge, so many, — Had not thought death had undone so many.*[81] И вдобавок: *Spätherbstnebel, kalte Träume, Überfloren Berg und Tal, Sturm entblältert schon die Bäume, Und sie schaun gespenstig kahl.*[82] Тем не менее: *Pero el doctor no sabía*, — подытожил я, — *que hoy es siempre todavía.*[83]

— Что характерно, из четырех цитат три — о тумане.

— Потому что я в тумане и есть. Но даже и этого тумана я не вижу. Могу только процитировать, как его видят другие: *И эфемерное солнце на повороте, шаром мимоз сквозь белый туман.*[84] — Ты всегда интересовался туманами. Где бы тебе ни попадалось описание тумана, отчеркивал на полях. Ты говорил, что родился в краю туманов.[85] По-моему, ты все те цитаты ксерокопировал. У тебя на работе, помнится, лежит целая папка туманов. Не волнуйся, будет тебе туманов сколько угодно. Они, правда, в Милане уже не те, потому что в городе слишком много света, освещенных витрин, у нас светло даже ночью, туман остался только под самыми стенами домов.

— *Туман своею желтой шерстью трется о стекло, Дым своей желтой мордой тычется в стекло, Вылизывает язычком все закоулки сумерек, Выстаивает у канав, куда из водостоков натекло.*[86]

— Эту цитату и я знаю… Ты сетовал, что туманы уже не те, то ли дело — туманы в твоем детстве.

— То ли дело — всё в моем детстве. Где хранятся мои детские книжки?

— Не здесь. В Соларе, в твоем деревенском имении.

И мне была рассказана вся история деревенского имения, то есть история семьи. Я родился в тамошней деревенской глуши, в рождественские каникулы 1931 года. В точности как младенец Иисус. Родители матери умерли еще до этого. Бабушка по отцу умерла, когда мне было пять лет. Оставался дед по отцу, и мы тоже только одни у него и были. Дедушка был достаточно странная фигура. Он был чем-то вроде букиниста, в смысле — продавал в лавчонке старые книги, но не антикварные, как продаю теперь я, а просто потасканные, бывшие в употреблении, и продавал вместе с книгами другие старые предметы. Он любил путешествия и часто отправлялся за границу. В ту эпоху заграницей был Лугано, самое-самое большее — Париж или Мюнхен. Там он приобретал разное старье на развалах, не только книги, а и афиши, вырезные картинки, открытки и старые журналы. В дедовы времена коллекционеры-ностальгики еще не развелись в таком, как сегодня, количестве, но кое-какие завсегдатаи в дедову лавку, по словам Паолы, ходили. Он и для себя тоже покупал. Не разбогател, но, кажется, был счастлив и доволен своими игрушками. Вдобавок в двадцатые годы ему досталось в наследство от двоюродного деда имение Солара. Громаднейший домище, ну ты сам увидишь, Ямбо, там одни чердаки размером с Постойнскую пещеру.[87] При доме много земли, земля сдавалась в аренду исполу, и дед имел от этого прожиточный минимум — без лишней головной боли из-за убыточного книжного бизнеса.

Кажется, все без исключения летние сезоны моего детства, так же как и рождественские и пасхальные каникулы, вкупе с другими календарными праздниками, я проводил в Соларе. Прибавим также весь полностью сорок третий, сорок четвертый и часть сорок пятого года, когда мы сидели в Соларе, спасаясь от миланских бомбежек. В Соларе, таким образом, должны, по идее, где-то храниться все книги деда, а также мои игрушки и мои школьные книжки.

— Не знаю в точности где. Ты никогда не пытался их разыскивать. У тебя вообще отношения с тем домом были своеобразные. Дед умер от инфаркта после того, как твои родители погибли в автокатастрофе. Все это в твой последний лицейский год.[88]

— Чем занимались мои родители?

— Отец служил в бюро по ввозу товаров из-за рубежа и дослужился до директора. Твоя мать не работала, тогда не полагалось.

Отец мечтал о машине и наконец купил ее, и даже купил не просто машину, а настоящую «Ланчу», и кончилось это плохо. Ты никогда не распространялся на эту тему. Они погибли, ты поступил в университет, вы с Адой, с сестрой, остались одни друг у друга.

— У меня есть Ада сестра?

— Младше тебя на два года. Ее приняли в семью брат твоей матери с женой. Ваши опекуны. Но Ада вышла замуж очень рано, в восемнадцать лет, и уехала с мужем в Австралию. Видитесь вы очень редко. Вашу квартиру в городе опекуны продали, продали и почти все имение Солара, то есть землю, нет, не дом, конечно, семейный дом не продавали. Деньги пошли на ваше обучение, ты вообще обрел полную независимость, потому что выиграл университетскую стипендию и поселился в общежитии в Турине. Солару ты как будто вычеркнул из жизни. Это уж я, сильно после, когда у нас родились Карла и Николетта, стала настаивать на том, чтобы ездить в Солару, детей на все лето на воздух. Чего мне стоило привести в жилое состояние один из тамошних флигелей. Ты избегал там бывать. Девочки обожают Солару, для них это синоним их детства, до сих пор они рвутся туда и вывозят своих детей. Ты, конечно, наезжал, потому что дети. Дня на два или на три, но в общем-то нога твоя не ступала в мемориальный отсек — так ты называл свою бывшую комнату, комнаты бабушки и деда, мамы и папы, это касалось и чердаков… С другой стороны, там такая уйма места, что могут жить хоть три семьи и не встретиться за год ни разу. В Соларе ты совершал моцион, на горку и с горки, и как-то очень быстро обнаруживались важные дела, требующие твоего немедленного возвращения в Милан. Да я все понимала. Смерть родителей разделила твою жизнь на два этапа, все, что до этого, и все, что после этого. Наверное, соларский дом мешал тебе сосредоточиться на втором этапе, давил на тебя, и ты его как будто вытеснял из сознания. Я, безусловно, уважала эти обстоятельства, хотя нередко ревновала и подозревала, что неспроста ты так торопишься в Милан. Ладно, не станем касаться струн…

— А, подкупающая улыбка, заразительный смех… Смехунчик я этакий. Зачем ты выходила за «человека, который смеется»?[89]

— Так подкупал же. Хотелось улыбаться вместе с тобой. Когда я была еще первоклассницей, у меня в школе был некий Луиджино, и я беспрерывно говорила о нем. Приду из школы и стрекочу — чем

отличился Луиджино, что нового отколол Луиджино. Мама, конечно, заподозрила, что я в Луиджино втюрилась. И она спросила меня, чем так хорош этот Луиджино. Я ответила — он меня смешит.

В некоторых вещах я напрактиковался очень быстро. Я усваивал, какой вкус у разной еды — давеча в больнице вся еда была совершенно одинакового вкуса, какое бы блюдо ни приносили. Горчица на вареном мясе оказалась аппетитной, но само мясо содержало в себе волокна, а волокна застревали в зубах. Я обрел (новообрел?) навык обращения с зубочисткой. Поковыряться бы так же в лобных пазухах, прочистить черепушку от всех засоров… Паола налила мне сначала одно вино, потом другое, и о другом я сказал, что оно несравнимо лучшего качества. Еще бы, отозвалась Паола, первое вино мы используем в кухне для готовки, а второе — это «Брунелло». Ну, тогда еще ничего, ответил я, голова не соображает, ну так хотя бы вкус еще при мне.

После обеда я отправился перещупывать все, что видел, нажимать ладонью на верх бокала с коньяком, наблюдать, как поднимается кофе в кофеварке, пробовать на вкус два сорта меда и три сорта варенья (лучшее — абрикосовое), мусолить тюлевые гардины, выжимать лимоны, совать пальцы в пакеты с крупами. Потом Паола вывела меня на короткую прогулку в парк, я притрагивался к коре деревьев, я старался воспринять

Шелест листьев тутовника
в руке садовника.

На площади Каироли был цветочный киоск, Паола сложила целый пук невероятной пестроты, цветочник вытаращился на нас, но дома я рассмотрел, сколько запахов и красок в этой арлекинаде. *И увидел, что это хорошо,* произнес я с удовольствием.

Паола тут же спросила — я что, возомнил себя Господом? Я отвечал, что цитирую просто так, от нечего делать, однако втайне ощущал себя Адамом, осваивающим Эдем. Адаму этому приходилось работать в самом стремительном темпе. Я увидел на полочке средства бытовой химии и сразу понял, что лучше мне не пытаться вкушать от древа познания добра и зла.

После ужина я расположился отдохнуть. В кресле-качалке.

— Твое обычное место, — откомментировала Паола, — для принятия вечернего виски. Гратароло, думаю, не убьет нас за это.

И она принесла бутылку знакомой марки *«Laphroaig»*, и я щедро плеснул себе в стакан, льда не надо. Жидкость шаром покаталась во рту, прежде чем уйти в глотку.

— Изумительно, хотя чистая нефть.

Паола пришла в восторг:

— Знаешь, после окончания войны, где-то в пятидесятые годы, у нас начали пить виски. До того не пили. Хотя, с другой стороны, может быть, фашистские руководители пили, откуда я знаю. В Риччоне, может, и пили,[90] а в нормальных местах — нет. Для нас в молодом возрасте это было чересчур дорого, но лет с двадцати мы потихоньку начали: что-то наподобие инициации. Родители смотрели с ужасом и задавали один и тот же вопрос: как можно это проглатывать, это же на вкус чистая нефть?

— Пьешь-пьешь, хоть тресни, никакого Комбре.[91]

— Зависит, что пить. Пей себе спокойно, будет тебе и Комбре, и все остальное.

На столике пачка «Житан» в кукурузных гильзах, *papier maïs*. Я зажег сигарету, жадно затянулся, перехватило горло. Я покашлял и загасил сигарету.

От медленного качанья люльки я задремал. Когда же вдруг ударили часы, я встрепенулся и чуть не опрокинул стакан с виски. Часы стояли у меня за спиной, и я не сразу понял, от чего такие звуки. Ударов раздалось девять, поэтому я сказал: «Пробило девять». Потом обратился к Паоле:

— Знаешь, что сейчас тут со мной случилось? Я уснул и пробудился от боя. Во время первых ударов я дремал, а следовательно, не пересчитывал их. Но как я взялся считать, то оказалось, что мне известно — прежде прозвучало три, и соответственно я просчитал четыре, пять и далее. Я понял, что могу сказать — четыре, а также ожидаю пятого, исходя из первой данности, что имели место один, и два, и три, и почему-то мне это было ведомо. Будь четвертый удар часов самым первым из мною осознанных, я бы решил — пробило шесть. Так вот, вся наша жизнь, полагаю, устраивается по этой логике. Только если у тебя в памяти прошлое, можешь прогнозировать будущее. А мне не

удается точно знать, сколько ударов уже заложено в моей памяти…

Добавлю еще соображение. Я уснул, раскачиваясь в кресле. И не сразу, а после скольких-то качаний. В этом деле тоже на будущее — воздействовало прошлое. Я ждал все новых качаний, поскольку помнил предыдущие. Именно те-то меня и убаюкали. А в начале покачиваний я не ожидал повторения, поэтому в начале и не погружался в дрему. Значит, даже чтоб уснуть, необходимо помнить. Правильно ведь?

— Эффект лавины. Скатываясь, лавина ускоряется, потому что налипает новый снег и возрастает масса кома.

— Вчера в больнице мне было скучно, я что-то пробовал петь, мелодия получалась сама собою, механически, как чистка зубов. Я попытался осознать, откуда же я ее знаю. Я начал эту мелодию сначала, и что же? На второй раз она перестала получаться, и на пятой ноте я застопорился. Потянул, потянул, завыл как автомобильная сирена — и в результате не имел никакого понятия, куда мне надлежит двигаться. Разумеется, не имею понятия, поскольку потерял точку отсчета! Я пластинка, которую заело. Не могу вспомнить начало и, естественно, неспособен вспомнить конец. Пока я пел и не задумывался, я сам был песней, существовал в глубине памяти, в данном случае — в звуковой, в памяти гортани. В этой памяти «прежде» и «потом» взаимосвязаны. Я представлял собой законченную песню, на каждом звуке голосовые связки сами собой устанавливались так, чтобы переходить к последующему звуку. Думаю, что так играют пианисты: нажимая клавишу, самопроизвольно прицеливают пальцы на следующую. Без первой ноты нельзя добраться до последней, можно только фальшивить. Мелодию нужно помнить целиком. А я мелодию не помню. Я будто… будто полено в камине. Полено не помнит, что оно было живым стволом. Оттого и подвержено горению. И я отгораю так же.

— Давай-ка поменьше философствовать, — пробормотала Паола.

— Давай-ка побольше философствовать. Где у меня стоит «Исповедь» Августина?[92]

— На тех вон полках, где библия, Коран, Лао-Цзэ и книги по философии.

Я пошел нашаривать «Исповедь» и сразу раскрыл указатель — искал страницы о памяти. Страницы имели вид освоенный, со вписками и подчеркиваниями. Так я пришел к равнинам и обширным дворцам памяти и, попав туда, стал вызывать бесчисленные желаемые образы,

которые были свезены туда, одни являлись по первому требованию, других приходилось домогаться долго, как будто высвобождая из дальних скрытых отделений. В пещере памяти, в ее неозираемых глубинах, в дворцовых залах у меня есть и небо, и земля, и море, все вместе, и у меня есть даже я сам… Велика она, эта сила памяти, боже правый, и бесконечная глубокая сложность ее почти что навевает ужас, и в этом дух, в этом я сам. В полях и в неисчислимых закоулках памяти, неисчислимо заселенных неисчислимыми подвидами вещей, во всех пробегаемых мною пространствах я взлетаю, я лечу, и моему полету нет пределов.

— Знаешь ли, Паола, — сказал я, — вот ты мне рассказала о дедушке, о сельском доме, все вы желаете нашпиговать меня разными сведениями, но даже если получать информацию в таком темпе, все равно, чтобы заполнить в моей памяти все пещеры, понадобится еще шестьдесят лет, примерно столько, сколько я прожил до сих пор. По-моему, неудачная программа. Нужно мне отправляться в пещеру самому. За Томом Сойером.[93]

Бог знает что уж там отвечала Паола, в конце концов я докачался в своем кресле до того, что опять заснул.

Спал я недолго, кто-то позвонил в дверь: Джанни Лаивелли. Тот самый однокашник, с которым мы были не разлей вода. Он облапил меня совсем по-братски, он волновался, его уже сориентировали, как управляться со мной. Ни о чем не беспокойся, заверил он, я-то помню твою жизнь не хуже тебя. В момент могу проинформировать о чем твоей душеньке угодно. Я сказал ему: спасибо, не стоит — тем временем Паола закладывала в меня основные данные о наших с Джанни отношениях. С первого класса школы до последнего — за одной партой. Потом я поступил в Туринский университет, а Джанни на экономический в Милане. Но мы продолжали общаться и дружить. Ныне я продаю ценные книги, а он пишет для своих клиентов счета, на основании которых люди платят налоги — или не платят налогов. Наши пути разошлись абсолютно, а между тем мы как родные, его внучата дружат с моими, и Рождество и Новый год мы встречаем, как правило, вместе.

Я попытался его унять — но Джанни не умолкал. И поскольку он все на свете помнил, он, похоже, не мог поверить, что для меня это пустые слова. Ну как же, захлебывался Джанни, помнишь — мы

принесли крысу в класс, чтобы напугать математичку, а когда мы ездили всей школой в Асти, смотреть трагедии Альфьери, и потом вернулись, то нам сказали, что в самолете разбилась команда Турина,[94] и еще в тот раз когда…

— Ничего я этого не помню, Джанни, но ты так чудно рассказываешь, что я вроде как вспоминаю. Кто из нас учился лучше?

— По философии и итальянскому был сильнее ты, по математике я, и каждый пошел по своей линии.

— А кстати, Паола, какая у меня была тема диплома?

— Ты защищался на филфаке по произведению *«Hypnerotomachia Poliphili»*.[95] Совершенно нечитабельное произведение. По моему мнению. Потом ты писал диссертацию в Германии по истории антикварных книг. С именем и фамилией, которыми тебя наградили предки, альтернатив практически не было, да и дедушкин славный пример чего-то стоил, он же просидел всю свою жизнь среди кучи старых грязных журналов… После Германии ты сразу открыл библиографический консультационный центр, поначалу размером в одну комнату, на деньги, оставшиеся от наследства. Впоследствии твое дело оказалось вполне рентабельным.

— Ты знаешь, цена твоих книг, некоторых, выше цены «Феррари», — перебил Джанни. — Жутко красивые, берешь такую в руки и знаешь, что ей пятьсот лет, а листы еще хрустят, будто новенькие, будто вчера были отпечатаны.

— Ну-ну-ну, — перебила его Паола, — о работе не велено говорить. Сначала он должен обжиться дома. Налить тебе нефтяного виски?

— Как нефтяного?

— А, это у нас такое слово с Ямбо. Понемногу заводим семейные секреты.

Когда я провожал Джанни на площадку лестницы, он приобнял меня и шепнул: — Что же ты, до сих пор не виделся с прекрасной Сибиллой?

С какой такой прекрасной Сибиллой?

Вчера приходили Карла и Николетта с мужьями, в полном составе. Неплохие мужья. Я после обеда играл с детьми. Славные. Начинаю привыкать. Однако странно. Я вдруг поймал себя на том, что хватаю их,

трясу, целую, обнимаю, внюхиваюсь в их чистоту, молоко и запах присыпки, а ведь это совершенно незнакомые дети. Может, я педофил вдобавок к прочему? Я решил держаться от них подальше. Мы играли, они потребовали изобразить медведя. Черт, как должен выглядеть нормальный пожилой медведь. Я решил рычать на четвереньках. Они все на меня налезли. Эй, потише, мне не пятнадцать лет, спина. Лука расстрелял меня из водяного пистолета, и я почел за благо сдохнуть кверху брюхом. Рисковал радикулитом, но сорвал аплодисмент. Видно, я не столь уж свеж. Стал вставать, закружилась голова. Да ты что, заволновалась Николетта, что, не знаешь, у тебя же ортостатическое давление. И тут же поправилась: ты, конечно, временно мог не знать, но теперь ты опять знаешь. Вот как пишется новая страница моей жизни. Вот кем пишется моя жизнь, новая страница.

Продолжаю держаться за энциклопедии. Так идут по стеночке, придерживаясь. Оборачиваться резонов нет. Глубина личных воспоминаний — не больше недели. Глубина чужих воспоминаний — века. Глотнул орехового ликеру. Сказал: *Специфический привкус, горький миндаль.*[96] В парке два верховых полицейских: *Лишь бы мне поставить ногу в стремя! Живо распрощаюсь с вами всеми: На коня — и поминай, как звали! Чтоб за шапку — звезды задевали!*[97]

Я оцарапался о косяк и, зализывая ранку, проскандировал: *Ручьем святая кровь течет в омытие грехов.*

С неба полилось, я откомментировал: *Шел летний дождь, и по дороге Я шел с зонтом…*[98]

Укладываясь в кровать ранним вечером, я декламировал: *Давно уже я привык укладываться рано.*[99]

На регулируемых переходах у меня вопросов не бывает, однако вчера — я двинулся через узкую улицу, где не было перехода, в довольно спокойном месте — Паола ухватила меня за руку и удержала, по улице летела машина.

— Да машина вон как далеко, — отбрыкивался я. — Я успеваю перейти.

— Ничего ты не успеваешь, смотри, как быстро она едет.

— Ну ладно, ты уж меня невесть за кого держишь. Я тоже знаю, что перед самым капотом могут оказаться пешеходы или курицы, и тогда приходится тормозить, а потом выходить из автомобиля и запускать мотор ручкой. Двое высоких, в плащах, в черных очках, я

между ними, и почему-то у меня длиннющие уши,[100] интересно, откуда это видение.

Паола уставилась на меня:

— А с какой скоростью, по-твоему, ездят машины?

— Ну, не знаю, даже и до восьмидесяти км в час…

Обнаружилось, что машины научились ездить быстрее. Мои данные оставались на уровне той эпохи, когда я сдавал на права.

Удивительно и то, что на площади Каироли то и дело подходят негры и пытаются продать зажигалку. Мы с Паолой катались на велосипедах по парку (велосипедом я управляю, как будто век с ним не расставался), и я был поражен, увидев толпу негров, бивших в бубны возле пруда.

— Что это, Нью-Йорк? С которых пор в Милане такая уйма негров?

— Да с некоторых пор, — сказала Паола. — И надо говорить не негров, а чернокожих.

— Какая разница, как говорить. Пристают со своими зажигалками, бьют в парке в свои бубны, потому что на другие забавы у них денег нет, в общем, эти чернокожие, извини, по-моему, типичные бедные негры.

— Ну, в общем, их не положено обзывать неграми. Ты раньше никогда не обзывал.

Паола подметила, что по-английски я говорю с ошибками, а по-немецки и по-французски без ошибок.

— Это естественно, — сказала она, — французский впитался в тебя, когда ты был мальчиком, твой рот приспособился к нему, как ноги приспособились к велосипеду, немецкий ты учил по учебникам в университете, учебники у тебя застряли в голове — не выбьешь, а вот английскому ты научился позже, в поездках, английский — часть твоего личного опыта последнего тридцатилетия, поэтому он и вспоминается тебе теперь только частично.

Я пока что слабоват, заниматься чем-то способен не более получаса, самое большее час, а потом меня тянет прилечь. Паола организовала каждодневные походы в аптеку — измерять давление. И еще мне прописали диету: поменьше соли.

Я усаживаюсь перед телевизором. Это меня меньше всего

утомляет. Неизвестные мне господа оказываются премьер-министром и министром иностранных дел. Вот испанский король — а куда они Франко? Перековавшиеся террористы (неведомое мне сочетание слов), покончившие с неприглядным прошлым, о чем они толкуют — мне понять трудно, что-то про Альдо Моро,[101] который мне известен, — он борец за параллельные конвергенции, но что я слышу, оказывается — его убили? За эти конвергенции, что ли? Самолет свалился в Устике на Сельскохозяйственный банк?[102] У певцов сережки в ушах, хотя они по виду — мужчины. Мне нравятся сериалы о семейных дрязгах из жизни техасцев.[103] Я с радостью смотрю Джона Уэйна.[104] От боевиков я пугаюсь, в первом же из них изрешетили целую семью из здоровенного автомата, перевернули и взорвали автомобиль, какие-то амбалы в майках с хрустом всаживали друг другу кулаки в пах и в челюсть, выбивали стекла и выпрыгивали в волны — все это за пять секунд. Чересчур суетливо для меня и невыносимо шумно.

Мы пошли с Паолой в ресторан. — Не волнуйся, пожалуйста, они тебя знают, скажи: «Как всегда». — Те оказали мне горячий прием. — Профессор Бодони, какая радость снова видеть вас, чем порадуем после возвращения. — Как всегда. — О, значит, самый первоклассный выбор, — пропел ресторанщик. — Спагетти с мидиями, печеная рыба, «Совиньон» и на десерт яблочный торт.

Паола мне воспретила просить вторую порцию рыбы.

— Почему же? Ведь это ужасно вкусно, — заныл я. — Не так уж дорого, мы разве разоримся?

Паола уселась удобней и произнесла речь:

— Понимаешь, Ямбо, ты сохранил все автоматические навыки и держишь нож и вилку, как полагается держать. Но кое в каких аспектах важнее автоматизмов накапливаемый с годами личный опыт. Ребенок не способен остановиться объедается до расстройства желудка. Мать объясняет ему, что следует удерживаться, — в точности как с высаживаньем на горшок. Поэтому ребенок, который иначе по первому позыву марался бы где попало и ел бы «Нутеллу» банками, научается понимать предел, за которым он обязан остановиться. Взрослые останавливаются, к примеру, после второго или третьего бокала вина — они помнят случаи, когда от целой бутылки вина им бывало плоховато. Тебе, Ямбо, предстоит выстроить корректные отношения с едой.

Ничего, этому учатся быстро. Добавки тебе не надо.

— Ну а к десерту, разумеется, кальвадос, — щебетал любезный ресторатор, неся ломоть торта. — Получив кивок от Паолы, я сказал: *«Calva sans dire»*.[105] Эта шутка явно звучала здесь не впервые, потому что ресторатор подпел те же слова: *«Calva sans dire»*. Паола спросила, какие чувства пробудил у меня этот кальвадос, я отвечал — мне нравится, но добавить нечего.

— А между тем ты в свое время опился им в Нормандии… Ладно. «Как всегда» — это палочка-выручалочка. В Милане масса мест, где ты можешь просто заказывать свое обычное. Без проблем выбора. Что может быть в твоем положении удобнее!

— Со светофорами у тебя хорошие отношения, — говорит Паола, — и ты уже, надеюсь, усвоил, что машины носятся как бешеные. Погуляй разок один. Вокруг замка, по площади Каироли, там на углу кафе-мороженое, ты у них главный клиент, они бы, думаю, давно закрылись, если бы не было тебя. Скажешь этим мороженщикам «как обычно».

Мне даже и не пришлось говорить «как обычно», мороженщик мигом напихал в рожок «страччателлу», вот ваше обычное, профессор. А правильно я делал, любя эту «страччателлу»… Забавно открывать для себя страччателлу в шестьдесят лет. Что был за анекдот, который рассказал Джанни, насчет Альцгеймера? *А самое приятное — каждый день множество новых знакомств.*

Кстати о новых знакомствах. Не успел я покончить с мороженым и закинуть в ближнюю урну вафельный хвост… И вдобавок интересно, почему я его выбросил? На этот вопрос мне ответила Паола впоследствии, оказывается, я жил с застарелой манией — моя мама приучила меня с младенчества выкидывать низок конуса за то, что его коснулись нечистые руки мороженщика… Не успел я закинуть в урну конус, как из-за угла вышла элегантная дама. Приблизительно сорок лет, взгляд с подоплекой, вроде Леонардовой дамы с горностаем. Она сразу заулыбалась, а я излучил свою лучшую улыбку — из тех, из подкупающих.

Дама кинулась мне на шею:

— Какая радость, Ямбо!

Но, видимо, мои глаза, невзирая на улыбку, ее не убедили.

— Ямбо, ты не узнаешь меня, неужели я так постарела? Ванесса! Ну я же Ванесса!

— Ванесса, ты не изменилась, стала лучше! А я прямо от глазника. Он мне закапал атропин, и все расплывается. Как ты живешь, горностаевая прелестница?

Про горностаевую она, видно, слышала от меня не раз, потому что едва не заплакала.

— Ямбо, Ямбо, — и погладила меня по щеке. — Ямбо, почему мы никогда не видимся? Мне так радостно встречаться с тобой. То, что было… было так мимолетно. По моей вине, вероятно. Но, конечно, это было… замечательно.

— О, незабываемо, — отвечал я с чувством в голосе и настолько отрешенно, будто память моя плыла в струях вечных наслаждений. По актерскому мастерству — высший балл. Она поцеловала меня в щеку, шепнула, что телефон у нее не изменился, и мы расстались. От меня уходила Ванесса. Явно из тех самых соблазнов, перед которыми я не устаивал. «Что за подлецы мужчины».[106] Кинокомедия с Витторио Де Сика. Ну и какой смысл крутить романы, если потом никакой возможности нет не говорю уж похвастаться своими победами перед приятелями, но даже и просто возвращаться мыслью к былой интрижке время от времени, грозовыми ночами, зимами, беспокойно ворочаясь под одеялом?

Под одеялом, с самой первой ночи, Паола усыпляла меня поглаживаньем по голове. Мне была приятна ее близость. Было ли это желанием? Преодолев стыдливость, я все же задал вопрос — занимаемся ли мы еще любовью? Паола ответила:

— Время от времени. Большею частью по привычке. А что, тебе хочется?

— Я ведь не знаю, что значит «хочется». Я все раздумываю, пытаюсь понять…

— Ты ничего не пытайся, ты спи. Ты ведь еще не в лучшей форме. Да и я против того, чтобы ты соблазнял практически незнакомую женщину.

— Приключение в спальном вагоне.

— Совершенно как в романе Декобра.[107]

Глава 3
Кому случится, кому сулится твоя невинность

Я научился разгуливать один, и знаю, как здороваться с неведомыми знакомыми: соразмерять свою улыбку с их улыбкой, воспроизводить (наблюдая за ними) жесты удивления, радости или вежливости. Я тренировался на соседях по дому, спускаясь в лифте. Чем доказывается, что социальное бытование — чистая фикция, оповестил я дочь Карлу, которая порадовалась за меня. Она сказала — а вообще-то это цинизм. Конечно, цинизм, ответствовал я, если не думать, что все на свете комедия, захочется повеситься.

В общем, объявила моя жена Паола, пора и на службу. Ступай-ка. Один. Тобою там займется Сибилла, и посмотрим, как скажется на тебе вторичное попадание в первичную среду… Тут мне пришел на ум шепот старого друга Джанни о прекрасной Сибилле.

— Кто это Сибилла?

— Твоя ассистентка, помощница, она великолепно управлялась с конторой все время твоего отсутствия, сегодня мы с ней говорили по телефону, она там вне себя от гордости, устроила какую-то феноменальную сделку. Сибилла, фамилию не спрашивай, запомнить ее не имеется возможности. Польская такая фамилия. Писала диссертацию в Варшаве по экономике книжного дела. Как только советская власть там у них накренилась, еще до уничтожения Берлинской стены, Сибилла получила первый загранпаспорт и сразу двинулась в Рим. Хороша собой, и даже чересчур, и, видимо, нашла дорогу к сердцу кого-то из крупных польских боссов. В общем, ее выпустили, обратно в Польшу она не вернулась и стала искать здесь себе работу. Тут ей подвернулся ты, или она подвернулась тебе, и вот уже четыре года как она у тебя в конторе. Она знает все — и что с тобою приключилось, и как с тобою обращаться.

Паола написала мне адрес и телефонный номер моего офиса. После площади Каироли идти вперед по улице Данте и перед портиком Старого рынка — там будет портик, не ошибешься, — свернуть на левой стороне в проулок, и ты на месте.

— Если случится какая-то непредвиденность, заходи в ближайший открытый бар и звони Сибилле или звони мне, мы вышлем за тобой спасателей с собаками. Хотя, надеюсь, обойдется без этого. Ах да, имей в виду, что вы с Сибиллой говорите между собой по-французски, так повелось с самого начала, когда она итальянского не знала, да так и осталось между вами. У вас с Сибиллой такие игры.

Сколько народу на улице Данте, как приятно идти между незнакомцами без всякой обязанности узнавать их в лицо. Тебя охватывает ощущение спокойствия. Ты понимаешь, что и они на семьдесят процентов в твоем положении. В сущности, я ведь могу быть приезжим, пока что немного одиноким, но одиночество поправимо. Точно, я ведь и есть приезжий. На эту планету. Кто-то махнул мне от двери бара, с порога магазина. Без всяких покушений на узнавания и разговоры. Я тоже помахал в ответ — и таким образом несколько раз чудной силой спасся!

Я нашел улицу и табличку антикварии, как находят тайник в бойскаутских играх. Скромная, симпатичная табличка невысоко на двери, *«Studio Biblio»*, видимо, фантазия у меня не то чтобы очень, хотя, с другой стороны, как прикажете называть — *«Alla Bella Napoli»?* Я позвонил, двери клацнули, я поднялся, площадка второго этажа, распахнутая дверь и Сибилла в проеме.

— *Bonjour monsieur Yambo… pardon, monsieur Bodoni.*[108]

Как будто память потеряла она, а не я. Действительно прекрасна. Прямые светлые длинные волосы, «чистый овал». Никакой раскраски. Хотя нет, есть немножко голубизны на глазах. Каким это можно охарактеризовать прилагательным? Нежнейшая? Стереотип, естественно, однако одни стереотипы мне и служили подорожной в общество людей. Джинсы, кофтенка с какой-то надписью вроде *Smile,* целомудренно облегающая подростковую грудь.

Мы оба были страшно смущены.

— *Mademoiselle Sibilla?* — спросил я.

— *Oui*, — ответила она. И повторила быстрее, еще быстрее: — *ohui, houi. Entrez.*[109]

Какой-то всхлипывающий звук. Первое *oui* она выговаривала нормально, второе — уже с придыханием, как будто ей перехватывало горло, а третье — на слабом выдохе и с интонацией неуловимого

вопроса. Все это наводило на мысль о почти детском замешательстве и в то же время о вызывающей робости. Знаю, что это оксюморон, но хочется сформулировать именно так. Сибилла посторонилась. Пахло от нее прельстительно и интеллигентно.

Если б от меня требовали описать, как должен выглядеть консультационный библиографический центр, я изобразил бы нечто почти неотличимое от того реального помещения, куда попал. Темные стеллажи, на полках старые издания, точно такие же старые книги на толстом квадратном столе. В углу стоял стол поизящнее с монитором и процессором. Старые раскрашенные карты с обеих сторон окна. Стекла в окне были матовые. Свет рассеянный — в комнате несколько продолговатых зеленых ламп. И открытая дверь в подсобку, там, мне показалось, брезжил в темноте упаковочный верстак для подготовки книг к почтовой пересылке.

— Значит, вы Сибилла? Или я должен говорить — мадемуазель как-то? По моим сведениям, фамилия непроизносимая.

— Сибилла Яснржевска, здесь в Италии действительно приходится мучиться. Но вы обычно говорили мне просто Сибилла.

Ее улыбку я увидел в первый раз. Я сказал, что хотел бы войти в курс дела, посмотреть на самые ценные книги. Это у самой дальней стены, сказала она, — и повела меня к полкам. Бесшумная походка, спортивные башмачки. А может, шаги заглушаются настилом? *Ты укрываешься, отроковица, священной дымкой, Нет сокровенней, благословенней плоти укромной,*[110] чуть было не забормотал я. Вместо этого пробормотал: — Винченцо Кардарелли.

— Что? — переспросила она, тряхнув волосами. — Ничего, — отвечал я. — Давайте посмотрим книги.

Превосходные конволюты старой закалки. У некоторых корешки слепые, без названий. Я вытащил наудачу один том. Распахнул — где фронтиспис с названием? — не обнаружил. (Следовательно, инкунабула. Переплет оригинальный шестнадцатого века из чепрака свиноматки с холодным тиснением.) Я поводил ладонями по крышкам. Тактильная услада. (Незначительное кругление рантов.) Я пощупал бумагу, проверяя, хрустит ли, сообразно рассказу Джанни. Бумага хрустела. (Текстовой блок воздушен и свеж. Легкие маргинальные потеки на последней тетради, текст не тронут. Экземпляр высококлассный.) Я обратился к колофону и выговорил по слогам:

«Venetiis mense Seplembri…»[111]

Венеция, сентябрь тысяча четыреста девяносто седьмого. Но могло бы быть даже…

На первом листе значилось: *«Iamblichus de mysteriis Aegyptiorum»*. [112]

— Это первое издание Фичинова перевода Ямвлиха, так ведь?

— Совершенно верно… *monsieur Bodoni.* Вы узнали издание?

— Абсолютно ничего я не узнал, я все буду выучивать наново, Сибилла. Просто я теоретически знаю, что первый Ямвлих в переводе Фичино был датирован тысяча четыреста девяносто седьмым годом.

— Прошу прощения, я еще к этому не привыкла. Вы были в таком восторге, когда к нам пришла эта книга. Действительно, замечательный экземпляр. Вы решили не продавать его, раз уж это такая редкость, и дожидаться, пока аналогичный не засветится или на аукционе, или в американских каталогах, тем самым поднимется планка цен, и тут мы вставим наш замечательный экземпляр в каталог.

— Так у меня есть и бизнес-жилка!

— Полагаю, что преобладало все-таки нежелание расставаться с этой прелестью ну хотя бы пару месяцев. Но поскольку с Ортелиусом, [113] наоборот, вы решили наконец распроститься, то могу вас обрадовать.

— С Ортелиусом? То есть…

— Издание 1606 года, сто шестьдесят шесть раскрашенных листов и указатель. В переплете семнадцатого века. Вы были счастливы, завладев этим экземпляром почти за бесценок, — он был в составе купленной на корню библиотеки покойного командора Гамби. И вы решили поставить его в каталог. Наконец-то. И в те недели, как вы… ну когда вам тут нездоровилось… я сумела продать этот лот одному клиенту, совершенно новому, он, я думаю, не библиофил, он из тех, кто покупает просто для вложения денег.

— Что продался экземпляр — отлично, а что в такие глупые руки — жалко… За сколько?

Она как будто боялась называть цифру, взяла в руки картонку и просто мне показала.

— Причем у нас сказано в каталоге «цена по договоренности», мы собирались торговаться. Я ему назвала верхний уровень, он даже о скидке не заводил речи, выписал чек и был таков. С колес, как говорят в

подобных случаях.

— Ничего себе цифры теперь у нас. — Я действительно не догадывался о столь цветущем состоянии рынка. — Что тут сказать, Сибилла, чистая работа. А нам во сколько книга обошлась?

— Да в общем-то, можно сказать, в нисколько. Продавая прочие трофеи библиотеки командора, мы понемногу возвращаем все вложенные деньги. Оплата уже на нашем банковском счету. Поскольку в каталоге цена не была проставлена, полагаю, что после некоторых корректировок господина Лаивелли мы в результате сможем действительно быть более чем довольны.

— Я что, из тех, кто уклоняется от налогов?

— Нисколько, *monsieur Bodoni*, вы поступаете точно так же, как все, обычно выплачивается требуемое, но когда конъюнктура особо благоприятная, имеет смысл, так сказать, чуть помочь самому себе. Вы образцовый налогоплательщик на девяносто пять процентов.

— После этого нового казуса превращусь в образцового на пятьдесят. А я помню, меня учили, что налоги следует выплачивать в полном объеме.

Это прозвучало как-то унизительно для нее. Я отечески умягчил тон.

— Но вы не думайте об этих вещах, я сам переговорю с Лаивелли.

Вот как, отечески? И я завершил свою речь даже несколько раздраженно. — А теперь позвольте мне сосредоточиться на книгах.

Она ушла и села за компьютер, не отвечая ни слова.

Я листал книги: «Божественная комедия» типографии Бернардино Бенали, отпечатанная в 1491 году «Физиогномика» Скотта 1477 года, «Четверокнижие» Птолемея 1484 года, календарь Регионтана (1482). Но и последующие века не оставались неприсмотренными, вот замечательное первое издание «Нового театра машин и зданий» Витторио Зонка и совершенно обворожительная «Механика» Рамелли… Я знал все эти книги по описаниям, любой приличный букинист знает наизусть основные каталоги. Но я не ведал, что владею этими сокровищами.

О-о, вот как? О, по-отечески? Снимая с полки книги, ставя их на место, я думал о Сибилле. Друг Джанни на что-то намекал, на что-то игривое. Паола откладывала тему Сибиллы до последней возможности. А наконец коснувшись этой темы, высказывалась почти что с

сарказмом, даром что спокойным голосом: Сибилла-де хороша собой, и даже слишком… у вас двоих с Сибиллой-де такие игры… Как будто ничего не сказано, но четко прочитывается подтекст: речь идет о каком-то, что называется, тихом омуте.

Возможно ли, что у меня и Сибиллы роман? Неуверенный полуподросток… В Италию из Восточной Европы… Ей нужно все, ей интересно все. И вот она встречает человека… Коллегу, старше и опытней ее… кстати, когда она приехала, мне все же было на четыре года меньше… коллега этот умеет объяснить ей многое. Она всему обучается. И впитывает каждое слово. И восхищается. В ней он находит идеальную ученицу, обворожительную, умную, с этим полузадыхательным *oui oui oui*, они работают вместе, они всегда вместе, каждый день, вдвоем в кабинете-библиотеке, они союзники в малых и больших сражениях, у них совместные победы, однажды они наталкиваются друг на друга в дверном проеме. И завертелось… Нет, что ты, в моем возрасте, девочка, сумасшествие, найди себе мальчика, не думай обо мне, забудь все. А она: да что ты говоришь, я не знала, что бывают на свете такие чувства, Ямбо. Выходит пересказ банальной мелодрамы? Отлично, мелодрама. О, Ямбо, это, конечно, любовь, это такая любовь, что… но я не могу смотреть в глаза твоей жене. Она замечательная. И у тебя две дочери. И у тебя внуки… Мерси за напоминание, что от меня воняет падалью. Не говори так, Ямбо, ты самый… самый мужской мужчина из всех, какие есть на свете. Мальчишки моего возраста — даже сравнивать их смешно с тобою… И все-таки я должна устраниться. Постой, мы же можем оставаться просто друзьями. Прошу. Будем видеться каждый день. Боже мой, как же ты можешь не понимать — именно каждый день если будем видеться, то друзьями мы не останемся никак… Сибилла, не говори так, постой, надо лучше обдумать положение. В конце концов Сибилла не выходит на работу, я звоню, что собрался кончать с собой, она уговаривает меня не вести себя по-детски, и *tout passe*,[114] и в конце концов сама приходит и остается, поскольку у нее не хватило сил это выдержать… Так тянется все четыре года, до настоящего дня… А может быть, в настоящий день — уже и не тянется?

Я помню, разумеется, все шаблоны, но, опасаюсь, не сумею смонтировать их верным способом. Может, подобные сюжеты достойны, и грандиозны, и истинны, именно поскольку в них, в

сюжеты, заложены донельзя банальные шаблоны, сцепленные — не расцепишь? И ты тоже закладываешься в подобный шаблон изнутри, и все становится — как будто бы первозданно, свежо, и после этого не стыдишься банальности?

Верна ли моя реконструкция? У меня, казалось, не было никаких желаний. Но как только я увидел ее, я мигом понял, что такое желание. И ведь я видел ее столь недолго. Ну а если видеть регулярно? Постоянно? Она будет постоянно скользить рядом, шествуя как по водам? Я, конечно, просто фантазирую, куда мне, с моей болезнью, в моем состоянии… Да и перед Паолой… Это надо быть последней сволочью. Нет, Сибилла для меня как святая дева. Ни единым помыслом. Замечательно. Ни единым. Ну, а сама Сибилла — что?

А она, если все правда, в самом запале, в волнении, может, она-то уже готовилась встретить меня на «ты» и по имени, слава богу — французский язык допускает обращение «вы» даже между любовниками, она-то, может, хотела броситься мне на шею, намучилась как за эти недели! И тут я являюсь, явился не запылился, как поживаете, *mademoiselle Sibilla,* теперь предпочту сосредоточиться на книгах, спасибо, вы очень любезны. Она, естественно, никогда не сможет рассказать мне правду. Ну и прекрасно. Так спокойней для всех. Пусть теперь найдет себе молодого человека.

Ну а я? А что я. У меня не все дома. Это далее написано в истории болезни. С чего я зациклился на неправдоподобной сказке? Такая красотка в секретарях, конечно, Паола разыгрывает обеспокоенную жену, это в порядке вещей между супругами-союзниками. Теперь насчет Джанни. Джанни назвал Сибиллу «прекрасной». Ну ясно. Это он-то сам и потерял из-за девчонки голову! Таскается к нам что ни день, пишет налоговые бумажки, щупает хрусткие страницы, а сам изнывает и тает от ее вида. Вот этот-то Джанни и есть герой-любовник, а я вообще сбоку припеку. Хотя, между прочим, мы в одном возрасте, что означает — Джанни воняет падалью ровно как я. Тогда с какой же стати этот Джанни уводит, и даже уже увел, мою любимую девушку? Как? Я опять за то же самое? Любимую девушку?

Я-то считал, что придется знакомиться с огромным количеством незнакомцев. Я-то не ведал, где меня подстерегает самая опасная трудность… Почему-то ко мне в ребро должен был толкнуться этот бес… Больно мне, плохо мне, а может кончиться плохо и для нее. О, ты

волнуешься за нее? Волнуюсь, потому что кому же хочется причинять боль приемной дочери! Дочери? Прежде сокрушался, что ты педофил, а теперь ты еще и кровосмеситель?

И в конце концов, господи, откуда известно, что мы прямо-таки любовники? Ну может быть, одно объятие, может, один поцелуй, всего один раз, платонический, холодный, каждому известно, что в душе другого целая буря, но никто не решается пересечь воображаемые пределы. Подобно Тристану и Изольде, мы кладем в постель заточенный меч.

Э, да у меня тут «Корабль дураков»,[115] хотя, мнится мне, и издание не первое, и экземпляр не идеальный. Скажи пожалуйста, вроде я вижу «О свойствах вещей» Варфоломея Глэнвильского.[116] Цветные рисованные буквицы насквозь через весь текст, очень жалко, что крышка — новодел под старину. Поговорю с ней о работе.

— Сибилла, *«Stultifera navis»* у нас не первое издание, правда?

— К сожалению, нет, *monsieur Bodoni,* у нас издание *«Olpe»* тысяча четыреста девяносто седьмого. А первое издание — это тоже *«Olpe»*. Базель, но 1494, и по-немецки, *«Das Narren Schyff»*. Первое издание на латинском языке, такое же как наше, вышло в девяносто седьмом, но в марте, а наше, посмотрите там на колофоне, напечатано в августе, выходило еще одно в апреле и одно в июне. Однако дело не столько в дате, сколько в экземпляре. Вы же видите, что в нашем, увы, очень много недостатков. Конечно, не то чтобы бросовый экземпляр, но радоваться особо нечему.

— Сколько вы знаете всего, Сибилла, и что бы я без вас делал.

— Это вы меня всему научили. Чтобы выехать из Варшавы, я себя преподносила как *grande savante,* но если бы мы с вами не встретились, я оставалась бы столь же неученой, какой приехала.

Абсолютный пиетет. Что утаено в ее словах? *«Grande savante»*.[117] Всезнающий мудрец в дни строгого труда. Пробормотываю: *Les amoureux fervents et les savants austères… Чета любовников в часы живой беседы…*[118]

Ее недоумение. — Ничего, это просто стихотворная цитата. Сибилла, нужно кое-что обсудить. Может статься, я кажусь вам почти нормальным, но это иллюзия. Все, что со мной происходило в прежней жизни, все, понимаете, без исключения, вытерто из моей памяти — будто текст мокрой тряпкой вытерли с доски. Непорочная чернота.

Пардон за оксюморонность. Прошу вас понимать все это, ничему не удивляться и… поддержать меня.

Правильно ли я составил текст? По-моему, замечательно. Он поддается двойному прочтению.

— Не беспокойтесь, *monsieur Bodoni*, я понимаю. Я с вами. Запасемся терпением.

Тихий омут? Запасемся терпением и дождемся, пока я приду в себя, то есть запасемся в том смысле, как все остальные, — или стерпим до тех пор, покуда в мою память не вернется все бывшее между нами и связывающее нас? И во втором случае, что ты сделаешь, со своей стороны, чтобы мне помочь вспомнить? Или же, уповая безраздельно, чтобы все стало как прежде, ты ничего не сделаешь, потому что не тихий омут — а настоящий человек, настоящая любовь и для тебя всего важнее — охранить меня от бед? Зажав уста, зажав чувства, в тишине, уговаривая себя, что это, наконец, прекрасная возможность разрубить гордиев узел? Принесешь себя в жертву, воздержишься от прикосновения, не предложишь мне ключ к тайне, не причастишь никакому мадлену — а ведь ты, в любовной гордыне, полностью убеждена, что никому другому не известно заклинание, распахивающее сезам, а тебе-то хватило бы лишь скользнуть по моей щеке прядью твоих волос, наклонившись и подав мне исписанную картонку. Или опять проговорить волшебные и решающие слова, простые, банальные. Слова — канва, та самая канва, по которой мы вышивали наши узоры четыре года, процитируй, произнеси — скажи заклинание! Только мне и тебе ведом его подлинный смысл… Попробую угадать, что это за слова. *Et ton bureau?*[119] Нет, ошибочка. Это Рембо. Прощупаем что возможно.

— Сибилла, вы обращаетесь ко мне *«monsieur Bodoni»,* потому что мы как будто наново знакомимся? Может быть, мы, работая вместе, говорили друг другу «ты», как все на свете сотрудники?

Зарделась и опять — то же самое нежное всхлипывание. — *Oui, oui, oui,* именно, я тебя называла Ямбо. Спасибо, что спросил. Так мне будет гораздо легче.

Глаза осветились счастьем. У нее камень с сердца свалился. Ну и что? Называть коллег на «ты» у нас в Италии принято, вот и Джанни со своей секретаршей, как мы с Паолой слышали вчера в его офисе,

разумеется, общается на «ты».

— Вот и чудненько! — произношу я с крайне веселым видом. — Все должно возобновиться точно так, как было всегда. Ты ведь знаешь, как и что было всегда. И можешь помочь мне.

Что она поняла? Что имеется в виду под «как было всегда»?

Дома я не спал ночь, Паола гладила меня по голове. Я грыз себя: разрушитель семьи. (Вообще-то я ничего не разрушал.) В то же время — сокрушался я не о Паоле, а о себе. Главная прелесть любви, сетовал я, в том, чтобы помнить. Есть люди, живущие одними воспоминаниями. Например, Евгения Гранде.[120] Какой смысл, если любил, но не можешь припомнить, как любил? Или — хуже — если, может быть, любил, но этого не помнишь и страдаешь ужасным подозрением: а вдруг нет? Кстати, мне пришло в голову! В наглой самоуверенности я не учел еще одну вероятность! Вполне возможно, что я потерял из-за нее сон и покой, а она меня поставила на место тихо, мило и бесповоротно. Не уволилась, потому что я все-таки приличный человек и с тех пор веду себя абсолютно как будто никогда ничего не было. Может быть, она любит эту работу; или же просто не может себе позволить уйти в безвестность; а может, ей даже льстит мое отношение, подсознательно ее женская гордыня удовлетворена, и она даже сама себе не признается, что обладает надо мной безграничной властью. *Un'allumeuse.*[121] И даже хуже: в этот тихий омут текут немереные деньги, я выполняю все ее желания, совершенно ясно, что отчетность в ее руках, в ее ведении касса, банковский счет, на который я выписал ей доверенность, — я уже спел «кукареку» учителя Унрата,[122] уже я пропащий человек, не имеющий выхода, — может, благая болезнь меня спасла? Может, нет худа без добра?..

Сволочь я поганая, как я смею валять в грязи все, до чего дотрагиваюсь! Она еще девственница, а я уже преображаю ее в шлюху! Как бы то ни было, даже и слабое подозрение, вмиг отметенное, отяготило наш сюжет. Если не помнишь — любил ли, тем более не можешь быть уверен, достойна ли была любимая твоей любви. Эта недавняя Ванесса, ясное дело, принадлежит к категории флиртов, случайных интрижек, к историям длиной в одну или в две ночи. В случае Сибиллы дело другое. Шутка сказать, четыре года жизни. Ямбо, постой, ты что же, влюбляешься не на шутку? Может быть, прежде и не

было ничего, а тут вот здрасте? Лишь оттого, что вообразил былые адские терзания — и очертя голову кидаешься в них как в рай? Ну есть же идиоты, которые пьянствуют, чтобы забыться. Пьянствуют или там колются, говорят — все выходит из головы… Я скажу вам одно. Самое жуткое как раз, когда из головы все выходит. Есть ли на свете наркотик для вспоминания?

Может… Сибилла…

Все завертелось. *Когда идешь ты, струясь власами, Походкой царской Я провожаю тебя глазами — головокруженье.*[123]

Наутро я схватил такси и помчался к Джанни на работу. Потребовал, сквозь зубы, выкладывать, что он знает о моих отношениях с Сибиллой. Джанни был совершенно ошарашен.

— Господи, Ямбо, все мы, конечно, таем при виде Сибиллы… я, естественно, и твои коллеги, и даже многие из клиентов… Есть кто приезжает специально посмотреть на Сибиллу. Но это все на уровне шутки, просто такая милая игра, вроде школьного ухаживания. Все над всеми подшучивают. И конечно, над тобой всегда подшучивали, требовали признаться — как там на самом деле дела с прекрасной Сибиллой. Ты улыбался, время от времени заводил очи горе, давая понять, что страсти кипят у вас бешеные, а иногда просил прекратить эти шутки, потому что она годится тебе в дочери. Так мы всегда шутили и смеялись. Поэтому я так игриво тогда сказал про Сибиллу, думал, что ты уже повидался с ней, и хотел узнать, как прошла встреча.

— То есть я не рассказывал ничего о своих отношениях с Сибиллой?

— Нет, а было что рассказывать?

— Джанни, не валяй дурака, ты ведь знаешь — я утратил всю память. Специально приехал к тебе, чтоб спросить, не рассказывал ли я чего часом.

— Ничего. Хотя в общем и целом о твоей личной жизни ты меня информировал всегда. Может, чтобы подразнить. И о Кавасси, и о Ванессе, и об американке на лондонской книжной ярмарке, и о голландке, к которой ты трижды мотался в Амстердам, и о Сильване…

— Ого, сколько же баб у меня было.

— Да, мало не покажется. В особенности мне, примерному семьянину. Однако о Сибилле, скажу как на духу, — ни разу не было ни

слова. С чего ты заскакал как сумасшедший? Вчера ты увидел Сибиллу, она тебе улыбнулась, и ты решил, что невозможно было сидеть годами вместе и не попытать удачи? Это очень неоригинально. Оригинально было бы, если бы ты закричал: что это за жаба? Кстати, никто на свете не знает, есть ли у Сибиллы личная жизнь. Всегда спокойна и радостна и готова помогать каждому, как будто желает доставить удовольствие ему лично. Опаснейшее кокетство в отсутствии ужимок… Ледяная сфинга.[124]

Джанни вряд ли меня обманывал, но это, однако, ничего не значило. Если с Сибиллой действительно был роман и если он был гораздо серьезнее, чем все прочие истории, то, ясное дело, я не ходил исповедоваться ни к кому и не оповещал Джанни. Это была наша сокровеннейшая тайна, моя и моей Сибиллы.

А может, и нет. Ледяная сфинга в нерабочее время имела личную жизнь. Она уже давно делила ложе и кров с каким-то парнем. Кому какое дело. Она — совершенство, но, разумеется, не смешивает работу с приватной жизнью. Больнейший укус ревности к незнакомому сопернику. *Кому случится, кому сулится Твоя невинность, ключ родниковый? Рыбарь, досужий, добудет жемчуг Простой удильщик.* [125]

— Ямбо, нашла тебе чудную вдову, — сказала мне Сибилла хитрющим голосом. Начинает шутить со мной, вот здорово. — Это как понимать, — спросил я. Сибилла пояснила, что книги приходят к антикварам, как правило, несколькими стандартными путями. Бывает, что некто является прямо в контору, приносит товар и предлагает оценить, ты оцениваешь в меру своей порядочности, но, конечно, хоть что-то стараешься заработать. Бывает, что книгу продает коллекционер, он знает, сколько она стоит на самом деле, то, что удается выторговать, — это крохи. Книги приобретаются и на международных аукционах, но удачными могут считаться только случаи, когда ты один из всех догадался об истинной ценности книги; но чтоб ты один, и никто другой, — это бывает раз в сотню лет, ведь окружающие не идиоты. Если покупать у коллекционеров, наценка при последующих перепродажах получается минимальная, так что это рентабельно только в случае супердорогих книг. Приходят книги и от коллег, от других букинистов, если их клиентура не испытывает интереса к

определенному изданию и не намерена на него разоряться, а ты, наоборот, как раз нашел фанатика, на все готового.

И наконец, стратегия стервятника. Надо наметить благородное семейство, чья звезда понемножечку закатывается. Старый дворец, обветшалая библиотека. Дожидаешься смерти дядюшки, отца, мужа. У наследников возникают проблемы с реализацией мебельных гарнитуров и драгоценностей. Они понятия не имеют, как распродать кучу книг, ни разу в жизни, разумеется, ими не открывавшихся. Мы с тобой присваиваем этим наследникам кодовую кличку «вдова», хотя, конечно, наследник может представать и в образе внука, желающего получить пускай немного, однако в лапу и без промедления (идеальный вариант — если внучек бабник или, допустим, наркоман). Идешь на место, рассортировываешь книги, проводишь в пыльных комнатах когда два, а когда и три дня, прикидываешь и решаешь.

Очередная вдова была именно вдовой, Сибилла получила эту наводку от кого не знаю (секреты фирмы, прошуршала она удовлетворенно и лукаво), а вдовы, судя по всему, считались моей специализацией. Я позвал Сибиллу пойти со мною, опасаясь по недосмотру проморгать самую крупную рыбу. Какая замечательная квартира, да-да, синьора, с удовольствием, коньяк, только немного. И немедленно — рыться, *bouquiner, browsing…*[126] Сибилла суфлировала правила. Среднестатистически, в наборе бывают двести или триста томов нулевой стоимости, несколько старых библий и богословских трактатов — эти пойдут потом на развалы на ярмарке Св. Амвросия.[127] Тома в двенадцатую долю, шестнадцатого века, содержащие «Приключения Телемаха» и утопические путешествия, в одинаковых переплетах, предназначаются дизайнерам по интерьеру, те покупают их погонными метрами, не открывая. Затем малоформатные томики шестнадцатого века, Цицероны и «Риторики к Гереннию»,[128] ничего серьезного, прямая им дорога в киоски уличных торговцев на площади Фонтанелла Боргезе в Риме, где их спихивают за удвоенную цену тем, кто желает хвастаться: «есть у меня и издания шестнадцатого…»

И все же, вороша и копаясь, наталкиваешься подчас, ну скажем, на совершенно иного Цицерона — в альдинском курсиве,[129] или даже на «Нюрнбергскую хронику»[130] в идеальном состоянии, на Ролевинка, [131] на «Великое искусство света и тени»[132] Афанасия Кирхера с

чудными гравюрами и лишь с несколькими пожелтелыми страницами, что для бумаги того времени — абсолютное чудо, или даже на обольстительного Рабле, отпечатанного *Chez Jean Frédéric Bernard* в 1741 году: комплектный трехтомник *ин-кварто* с виньетками Пикара в роскошном переплете красной марокканской кожи, с золотым тиснением на крышках, с конгревным тиснением и с позолотой на корешке, форзацы из зеленого шелка с золотой зубцовкой — которые покойник заботливо укутывал голубой бумагой, чтобы не попортить, поэтому при беглом осмотре они не производили никакого впечатления… Ну, это не «Нюрнбергская хроника», шептала Сибилла. Здесь переплет новодельный, хотя сделан честно и мастерски, у знаменитых *Rivière & Son.* Так что Фоссати заберет эти три тома не раздумывая, потом объясню, кто такой Фоссати, коллекционирует переплеты.

В конце концов определили десяток книг, которые при перепродаже, если все выгорит, принесут не менее сотни тысяч долларов. От одной «Хроники» можно было ожидать как минимум пятидесяти тысяч прибыли. Кто знает как угораздило их попасть в библиотеку этого нотариуса, для которого книги были статус-символом, но на фоне отчаянной скаредности: я уверен, нотариус приобретал только то, что не требовало от него финансовых жертв. Эти ценные тома к нему попали, предполагаю, сорок-пятьдесят лет назад, когда потрепанный книжный хлам вообще принято было на помойку выбрасывать.

Сибилла кратко проинструктировала меня, что делать дальше, я попросил хозяйку к нам присоединиться, и все пошло — как будто век не прекращал свою обычную практику. Я ей поведал, что книг действительно много, но стоимость их невысокая. Я выложил на стол самые увечные экземпляры, со ржавыми страницами, с потеками влажности, расколами книжных блоков, с поцарапанными переплетами, как будто их терли наждаком, в кружевах от червоточин, вот, глядите еще, профессор, подпевала Сибилла, такое коробление неисправимо даже под прессом, я помянул ярмарку Св. Амвросия.

— Не знаю даже, заберут ли у меня все это, синьора, и не стоит уж говорить, что складские площади нынче — самое дорогое удовольствие… Предлагаю пятьдесят тысяч долларов за всю эту партию.

Партию?! О-о! Я считаю употребимым слово партия — говоря о книгах?.. Я считаю достаточной сумму в пятьдесят тысяч за изумительную библиотеку, которую муж собирал целую жизнь? Да это оскорбление памяти покойника! Выслушав все, что полагается, я плавно перехожу ко второй части.

— Знаете ли, нас интересуют разве что вот эти десять. Готов пойти навстречу и предлагаю тридцать тысяч за эту десятку.

Вдова прикидывает. Пятьдесят тысяч за большую библиотеку выглядело скандально, тридцать тысяч за десять книжек — вроде бы вполне прилично. А библиотеку, наверно, можно будет продать какому-нибудь еще букинисту, не такому переборчивому и прижимистому. Ударяем по рукам и подписываем.

Возвращаемся в офис полные радости — школьники, сдувшие контрольную.

— Это большое свинство? — спрашиваю я.

— Да что ты, Ямбо, так поступают все, *così fan tutti*.[133]

А, Сибилла тоже поигрывает словами навроде меня.

— Будь там не ты, а другой, ей дали бы еще меньше. И потом, ты видел, что там за мебель, картины, серебро, у этих людей денег куча, и книги их не интересуют. А мы работаем для тех, кому книги все-таки интересны.

Что бы я делал без Сибиллы. Жесткая и нежная, хитрая как голубица. Опять меня повело на сладкие мысли, завертелся осточертелый волчок — а может, а может…

Однако, к счастью, беседа с вдовушкой меня измотала. Пришлось отправляться домой. Паола высказала мнение, что за последние дни я стал совсем какой-то умученный. Лучше, вероятно, мне ходить в контору не каждый день, а через день.

Я старался думать о постороннем:

— Сибилла, моя жена сказала, что у меня была подборка высказываний о тумане. Где они?

— Да, есть куча рваных ксерокопий. Но я переписала все тексты в компьютер. За что благодарить, это просто удовольствие. Я сейчас, мы быстро найдем, в какой папке.

Я, конечно, знал, что существуют на свете компьютеры (как и что существуют аэропланы), однако, безусловно, я притронулся к

компьютеру впервые в этой новой жизни. Все вышло как с велосипедом — стоило сесть за клавиатуру, пальцы забегали самостоятельно.

Туманов у меня набралось на сто пятьдесят страниц. Действительно, думаю, сильно мне душу перепахали эти туманы… Вот «Флатландия»[134] Эбботта: двухмерная среда, где живут только плоские фигуры, треугольники, квадраты, многоугольники. Как же им узнавать друг друга, если сверху посмотреть они не способны, а при взгляде сбоку видимы только линии? А благодаря туманам. *Если в атмосфере присутствует туман, то предметы, которые находятся на расстоянии, скажем, в три фута, мы видим значительно хуже, чем предметы, расположенные на расстоянии двух футов одиннадцати дюймов. В результате тщательное и постоянное наблюдение за сравнительной ясностью или расплывчатостью линий позволяет нам делать заключение о конфигурации предметов, причем с огромной точностью.* Везет же треугольникам, блуждают себе в тумане и все понимают: вот он шестиугольник, вот он параллелепипед. Хотя двухмерные, однако счастливее меня. Большинство накопленных цитат я знал наизусть.

— И с чего бы это? — ломал я голову, рассказывая Паоле. — Ведь все мое должно было быть забыто? А коллекция цитат уж такая моя! Она подобрана лично мною.

— А ты не думай, будто помнишь то, что насобирал, — отвечала Паола. — Ты, наоборот, насобирал все, что помнил. Цитаты — часть твоей энциклопедии. Как все те прочие стихотворения, которые ты читал здесь мне в первый день, вернувшись из больницы домой.

Как бы то ни было, цитаты я припоминал сразу. Начиная с известной Дантовой:

> Как, если тает облачная мгла,
> Взгляд начинает различать немного
> Все то, что муть туманная крала,
>
> Так, с каждым шагом, ведшим нас полого
> Сквозь этот плотный воздух под уклон,
> Обман мой таял, и росла тревога…[135]

У Д'Аннунцио хороший туман в «Ноктюрне»: *Кто-то проходит рядом со мной, не вызывая шуму, будто бы босиком… Туман попадает в рот, наполняет легкие. У Каналь Гранде туман скопляется, застаивается. Незнакомцы все серы, все легки, незнакомцы — тени. Под самым домом антиквара он вдруг стремительно исчезает.* Вот, антиквар — истинно черная дыра: что упало, то пропало, не жди возврата.

Вот Диккенс, известное начало «Холодного дома»: *Туман везде. Туман в верховьях Темзы, где он плывет над зелеными островками и лугами; туман в низовьях Темзы, где он, утратив свою чистоту, клубится между лесом мачт и прибрежными отбросами большого (и грязного) города.*[136] Туман и у Эмили Дикинсон: *Let us go in; the fog is rising.*[137]

— Пасколи я не читала до сих пор, — говорила Сибилла. — Ты подумай, какая прелесть. — Сейчас она совсем близко склонилась ко мне, чтобы читать с монитора, так что могла бы и скользнуть прядью по моей щеке. Могла, но не скользнула. Теперь уж не по-французски, она тихо читала по-итальянски с этим мягким славянским выговором:

> …Immobili tra la leggiera
> caligine gli alberi: lunghi
> lamenti di vaporiera…
>
> …Немо и серо утро,
> земля пропахла грибами,
> и каплями полон сад.
>
> Деревья в туманной пудре,
> и горестно за стволами
> локомотивы трубят.[138]

Третью цитату она не сумела прочитать: — *La nebbia… gemìca?*
— *Gèmica.*
— А, понятно.
Видно, она рада выучить новое слово.

La nebbia gemica, tira una buffa
ch'empie di foglie stridule il fosso;
lieve nell'arida siepe si tuffa
il pettirosso…

Взвыл туман, заворотил листы
и в канаву зашвырнул взакрутку,
прыгнула в неплотные кусты
красногрудка;

Под туманом бьются камыши
и трясется рощица окольня,
над туманом высится в тиши
колокольня…[139]

Замечательный туман у Пиранделло,[140] вот неожиданность, казалось бы — как может быть хороший туман у сицилийца? *Туман рвался в клочья… Вокруг каждого фонаря зевал ореол.* Хотя, конечно, куда ему против миланского тумана, описанного Альберто Савинио:[141] *Туман комфортабелен. Он превращает города в большие бонбоньерки, а жителей в конфеты. В тумане идут женщины и девушки в капюшонах. Легкий пар витает у их ноздрей, полуоткрытых губ. Входить в гостиные, расширенные зеркалами… Целоваться, выдыхая остатки тумана, когда снаружи туман жмется в сукно, матовит, стекла, ненавязчивый, томный, покойный…*

Миланские туманы у Витторио Серени:

> Распахнуты в пустоту двери в туманный вечер. Никто не входит — не выходит, разве что кроме кома смога, кроме вопля мальчишки — вот парадокс — «Иль Темпо ди Милане» — алиби, благословение. В тумане все потаенное сокрыто, движется и доходит до меня, отходит от меня историей, памятью, двадцатый — тринадцатый — тридцать первый года как трамвайные номера…[142]

Чего я только не надергал. Вот «Король Лир»: *Туман болотный, Подъятый мощным солнцем, отрави Всю красоту ее, убей в ней гордость!*[143]

А Дино Кампана? *Через бреши ржавых рыжих бастионов, размытых туманом, отверзаются молча долгие улицы. Коварный пар тумана угрустняет дворцы, кутая башенные макушки, на немых и опустелых стогнах, как после разгрома.*[144]

Сибиллу обворожил Флобер: *Голые окна спальни, расположенной во втором этаже, пропускали белесый свет. В окна заглядывали верхушки деревьев, а там дальше при лунном свете над рекой клубился туман, и в нем тонули луга.*[145]

Восхитилась она и Бодлером: *В туманной сырости дома, сливаясь, тонут, В больницах сумрачных больные тихо стонут.*[146]

Эти чужие слова пробивались из Сибиллиных уст с журчанием, будто из ледового кладезя. *Кому случится, кому сулится Твоя невинность, ключ родниковый?*

Сибилла была, тумана не было. Туман рассеялся от чужих глаз, от чужих слов. Может, когда-нибудь мне удастся занырнуть в тот туман, если Сибилла поведет меня бок о бок, рука в руке.

Я несколько раз показывался Гратароло, он одобрял все действия Паолы. Он сказал, что благодаря ее разумному поведению я стал почти самостоятелен и сумел счастливо избежать примарных фрустраций. Это он так думает, Гратароло.

Вечерами мы (я, Джанни, Паола и наши девочки) играли в тихие игры — в скрэббл. Домочадцы утверждают, что это мое любимое занятие. Я все так же бойко, как до болезни, подбираю слова, в том числе очень хитрые, вроде *акростих* (уцепившись за слово *акр),* или очень заковыристые, типа *зевгма.*[147] Я оприходовал ценные буквы Э и З в двух далеко друг от друга отстоящих клетках, заняв концом слова угловой красный квадрат и сумев наступить еще на один красный квадрат, выложил слово *эмфитевзис.*[148] Двадцать одно очко, умножаем результат еще и на девять (потому что есть две красные клетки, каждая из которых — утроение); плюс пятьдесят очков в качестве приза за освоение всех имеющихся на руках букв; вот двести тридцать девять очков единым махом. Джанни обозлился: ах, вот ты какой! если это называется терять память! — вопил он. Думаю, это был

наигрыш, чтобы меня ободрить.

Беда не только в потере памяти, а в том, что моя новая память — фуфло. Гратароло что-то проронил в самом начале о том, что, имея память в таком примерно состоянии, как моя, кое-кто придумывает себе обрывки прошлого, ни в коем виде не переживавшегося взаправду, — чтобы иметь хоть какие-то воспоминания. Что, и Сибилла тоже — простая фикция?

Надо как-то спасаться. На работу ходить — мука смертная. Я сказал дома Паоле: «Работать утомительно».[149]

Вечно одно и то же, одна и та же улица. Уехать, что ли? Мой офис дышит себе полной грудью, всем заправляет Сибилла, подготавливает каталог. Мы можем поехать, ну скажем, в Париж.

— Париж — вот это точно будет для тебя «утомительно». Перелет, гостиница… Надо обдумать.

— Ну не в Париж, тогда *в Москву*, *в Москву*…

— Откуда к тебе Москва?

— Из Чехова. Ты знаешь, цитаты — мои единственные фонарики в тумане.

Глава 4
Я один по улицам иду

Мне показали кучу семейных фотографий, которые, естественно, ничего мне не говорили. Там были только фото, снятые за годы совместной жизни с Паолой. Все детские фотографии были где-то в другом месте. Вероятно, в имении Солара.

Я поговорил по телефону с сестрой, она звонила из Сиднея. Когда она узнала, что со мною случилось, собралась было лететь сюда, но сама была после операции, и доктора запретили ей такой дальний перелет.

Ада попыталась что-то вызвать из моей памяти, потом перестала пытаться и просто заплакала. Я сказал, что когда она поедет, я попрошу ее привезти мне утконоса, с хорошим характером и прирученного. Почему утконоса — сам не знаю. Моих зоологических познаний хватало и на кенгуру, но всякому известно, что за ними убирать — замучаешься.

На работу я ходил только на несколько часов. Сибилла возилась с каталогом и, естественно, замечательно ориентировалась в библиографии. Я время от времени пробегал глазами ее наработки, говорил, что дело идет прекрасно и что мне нужно к врачу. Она с беспокойством провожала меня взглядом. Думает, что я совсем больной, сильно ненормальный? Думает, что я ее избегаю? Не могу же я сказать ей: — Ты не должна служить мне подпоркой, моей хромоногой памяти, каркасом для реконструкции… милая, родная, любимая?

Я спросил у Паолы, какова моя политическая ориентация:

— Не хотелось бы обнаружить, что я, к примеру, фашист.

— Ты, что называется, приличный человек и демократ, — ответила Паола, — но больше по интуиции, чем по идейности. Ты любишь провозглашать, что политика скучна — и дразнишь меня «пассионария».[150] Ты как будто прячешь под старинными книгами свой страх или презрение к миру. Нет, хотя, если разобраться… На моральные стимулы ты отзываешься. Подписываешься под письмами

неагрессивных пацифистов, не выносишь расизма. И даже член общества противников вивисекции.

— Вивисекции животных, полагаю.

— Да, естественно. Вивисекция людей называется война.

— Что ж, и раньше… когда мы еще не были знакомы, я тоже исповедовал подобные взгляды?

— Ну, насчет отрочества и юности я из тебя мало что сумела вытянуть. И вообще не все мне было в тебе ясно, я имею в виду — в идейном плане. В тебе как-то сочетались отзывчивость и цинизм. Если дело шло о смертных приговорах, ты подписывался под протестами, давал деньги на лечение наркоманов и так далее, но когда при тебе упоминалось, что погибло десять тысяч детей, ну, не знаю, в Центральной Африке, ты на это заявлял, что мир устроен до крайности паскудно и поделать с этим лично ты не можешь ничего. Ты всегда был жизнерадостен, ухаживал за красотками, пил вино, слушал музыку, но меня не покидало ощущение: все это внешний декор, попытка спрятаться. Чуть покопаешь, и вылезут традиционные темы, что история — кровавый бред и что мир — неизвестно чья оплошность.

У меня нейдет из головы, что наш мир — создание сумрачного божества, что я и сам — частица его мрака.[151]

— Кто это сказал?

— А бог его знает.

— Значит, это сказал кто-то, кто тебя сумел зацепить… При всем при том, если тебя о чем-то просили, ты в лепешку разбивался — выполнял, да и без всяких просьб, помню, что с тобой творилось во время флорентийского наводнения,[152] через два часа ты был уже во Флоренции и простоял всю неделю по колено в грязи, спасая книги Национальной библиотеки. Ну в общем я могу сформулировать — ты был отзывчив на невеликое и циничен в отношении великого.

— По-моему, довольно здравая позиция. Занимайся тем, что тебе по силам. Остальное — это недоработка бога, как говаривал Граньола.

— Кто такой Граньола?

— Этого я тоже не сумею сказать. Но когда-то, как ты понимаешь, знал.

Что еще я знал когда-то?

Однажды утром я пробудился, *о белла чао белла чао белла чао чао чао, я пробудился, преобразился, пошел варить себе caffé* (увы, без

кофеина) и при том напевал: *Roma non fa'la stupida stasera.*[153] Почему эта песня крутилась у меня в голове? Прекрасный знак, сказала Паола, от утра к утру ты все больше напоминаешь самого себя. Тем самым я узнал, что, оказывается, я каждое утро, готовя кофе, напеваю себе под нос. Без всякого объяснения — почему именно одну песню, а не другую. Любые расследования (что мне привиделось во сне, о чем мы говорили накануне вечером, что я читал на ночь) никогда не давали удовлетворительных результатов. Может, ну не знаю, когда я надевал носки, что-то навеяло? от цвета рубашки что-то прорезалось? пакеты на кухне о чем-то напомнили? От каких-то явно несущественных впечатлений всякий раз задействовались новые участки музыкальной памяти.

— Однако, — провозгласила Паола, — характерно, что и твой репертуар входили исключительно песни начиная с пятидесятых годов, ну максимум — мелодии первого сан-ремского фестиваля: *«Vola colomba bianca vola»*[154] и *«Lo sai che i papaveri»*.[155] Никогда ты не опускался в толщу истории, никогда я от тебя не слышала ни одной музыкальной фразы сороковых, тридцатых или двадцатых годов.

Паола напела мелодию *«Sola me ne vo per la città»*[156] — звуковой фон послевоенного времени, — хотя в те времена она была еще ребенком и песню эту может помнить в основном из-за радио, которое транслировало ее беспрерывно. Конечно, мне мелодия показалась знакомой, но не вызвала никакого интереса. Такой же эффект, как если бы мне пропели *«Casta diva»*.[157] Точно, я никогда не был большим опероманом. Никакого сравнения с *«Eleanor Rigby»,* скажем, или с *«Que sera sera, whatever will be will be»,*[158] или с *«Sono una donna non sono una santa»*.[159] Что же до мелодий и ритмов довоенной эстрады, Паола мотивировала мое равнодушие «вытеснением детского опыта».

Все годы нашей общей жизни, добавила Паола, я интересовался классической музыкой и джазом, любил ходить на концерты, ставил пластинки, но никогда не включал радио. Ясно, что радиопередачи как класс принадлежали, вкупе с деревенским имением, к другим периодам.

Однако на следующее утро, готовя кофе, я пропел вот что:

Sola me ne vo per la città
passo tra la folla che поп sa

die non vede il mio dolore
cercando te, sognando te, che più non ho…

Io tento invano di dimenticar
il primo amore non si può scordar
è scritto un поте, ип nome solo in fondo al cuor
ti ho conosciuto ed ora so che sei l'amor,
il vero amor, il grande amor…

Я одна по улицам иду
через равнодушную толпу,
никому не важно, что со мною,
кого я помню, кого ищу, и кто виною…

Не хочу припоминать тебя,
но, увы, любовь забыть нельзя,
твое имя повторю с тоскою,
ты ведь был, и я узнала, что такое
такая любовь, большая любовь, все пережитое…

Мелодия лилась сама собой, я растрогался чуть ли не до слез.

— Ну вот почему теперь ты это поешь? — спросила Паола.

— Не знаю. Может, потому, что она называлась «В поисках тебя». Кого тебя?

— То есть ты теперь отпятился в сороковые годы, — размышляла вслух Паола.

— Может, главное и не в этом, — отвечал я. — У меня что-то внутри зашевелилось. Вроде озноба. Или не озноб. Или как будто… Помнишь «Флатландию», ты ведь тоже читала. Там герои — треугольники и квадраты — живут в двух измерениях, у них отсутствует идея объемности. И с ними вдруг вступает в контакт кто-то вроде нас с тобой, выходцев из трехмерного мира. Этот кто-то трогает их сверху, нажимает на поверхность. У плоских героев появляется ни с чем не сравнимое ощущение, хотя они не способны даже сказать, что это. А мы, трехмерные, чувствуем то же самое, если с нами вступает в контакт четвертое измерение. Мы не способны описать это чувство.

Нечто из четвертого измерения трогает нас изнутри, ну, скажем, за селезенку, так осторожненько… Что мы ощущаем, когда нам пожимают селезенку? Я бы сказал… таинственное пламя.

— Какое таинственное пламя?

— Не знаю, я просто так сказал.

— И ты что-то такое ощутил, когда увидел снимок родителей?

— Почти. Хотя не совсем. Хотя почему не совсем? Что-то иное.

— Это интересные данные, Ямбо, они говорят о многом.

Паола все поддерживает меня, все ободряет. А я, между нами говоря, запылал таинственным пламенем, возмечтав о Сибилле…

Воскресенье.

— Поди пройдись, — сказала Паола. — Хорошее занятие. Не выходи только за пределы знакомого района. На площади Каироли есть цветочный киоск, он открыт и в выходные. Купи цветов, каких-нибудь повеселее, или роз купи, а то эта квартира ужасно похожа на склеп.

Я отправился на Каироли, ларек был закрыт. Я профланировал по улице Данте до Кордузио, уклонился направо к бирже и оказался на воскресной толкучке всех миланских коллекционеров. На улице Кордузио продавали марки, на улице Арморари — старые открытки и картинки, весь Центральный пассаж был заполнен коллекционерами монет, солдатиков, образков, часов и телефонных карточек. Коллекционирование — страсть анальная, да и мой род деятельности тоже относится к анальной сфере психики.

Люди собирают что угодно, даже пробки от кока-колы. Или инкунабулы, как в моем случае. Кока-кольные затычки дешевле инкунабул. На площади Эдисона, слева от книжного развала, за подборками старых журналов, рекламных плакатов и табличек, предлагается разный старый хлам: лампы якобы стиля либерти, на самом деле новодел, черные подносы с жирными цветами, фарфоровые балерины.

На лотке четыре запечатанные цилиндрические банки, в них прозрачный раствор (формалин?), а в формалине круглые или вытянутые голыши, опутанные белесыми проводами. Что-то морское, голотурии, органы спрутов, вылинявший коралл? Или болезненное порождение тератологической фантазии? Какой художник создал такую скульптуру? Ив Танги?[160]

Лоточник пояснил, что это законсервированные тестикулы: кобеля, кота, петуха и какого-то еще животного, с почками и мочеточниками. — Девятнадцатый век. Научные пособия. Сорок долларов штука. Одни контейнеры стоят больше. Этим экспонатам по сто пятьдесят лет. Четыре на четыре шестнадцать. Отдам всю серию за сто двадцать.

Эти тестикулы были очаровательны. Наконец-то нечто, не пришедшее ко мне из семантической памяти, о которой толкует Гратароло. И в то же время не относящееся к индивидуально накопленному опыту. Кто это индивидуально накапливает опыт встречи с кобелиным хреном, в смысле — без остального кобеля, в абсолютном виде? Я порылся в кармане, у меня только сорок-то и было, чеками у лоточников не платят.

— Мне собачьи, пожалуйста.

— Напрасно не берете всю серию. Оказия.

Всего не укупишь. Я вернулся домой с кобелиным хреном, Паола переменилась в лице: — Чудная вещица. Настоящее произведение искусства. Где мы ее поставим? В гостиной, и, когда будем подавать к столу тефтели или оливы в тесте, гостей будет рвать на ковер? Или ты предлагаешь в спальне? Извини, конечно, но придется тебе отправить это к себе в антикварню, там с каким-нибудь фолиантом по естественным наукам эти яйца найдут себе общий язык.

— А я думал тебя обрадовать.

— И обрадовал, потому что ты единственный мужчина на свете, которого жена посылает купить розы, а он приходит с собачьими яйцами.

— Ну ведь я же неповторим. Меня когда-нибудь запишут в Гиннесс. И вообще, ты же знаешь, я болел.

— Не выкручивайся. Ты и до болезни был с большим приветом. Не случайно ты заказываешь своей сестре утконоса. Однажды ты чуть не приволок китайский бильярд шестидесятых годов, который стоил как картина Матисса, а грохотил, как все дьяволы ада.

Ту толкучку, оказывается, Паола знала, более того, ее знавал и я в прежней жизни, я купил там однажды первое издание «Гога» Папини, оригинальный переплет, неразрезанные листы, за десятку. Через неделю, в воскресенье, Паола пошла со мной в качестве супервайзера, потому что, сказала она, если я вернусь на этот раз с яйцами динозавра, придется ломать двери, чтобы пронести их в гостиную.

Марок не надо, телефонных карточек не надо, а ветхие журналы меня волновали. — Это время нашего детства, — сказала Паола. Я на это: — Ну так бог с ним. — Но мимоходом мне в поле зрения попали комиксы про Микки-Мауса. И рука сама потянулась. Дело шло о позднейшей перепечатке, что-то вроде семидесятых годов, это ясно по обратной сторонке переплета да и по цене. Я открыл на середине: — Даже не пытаются воспроизвести оригинал, те печатались в два цвета, одна прокатка кирпичного и одна коричневого, а тут с чего-то вдруг белый с синим.

— А как ты можешь знать?

— Не знаю как могу, а только знаю.

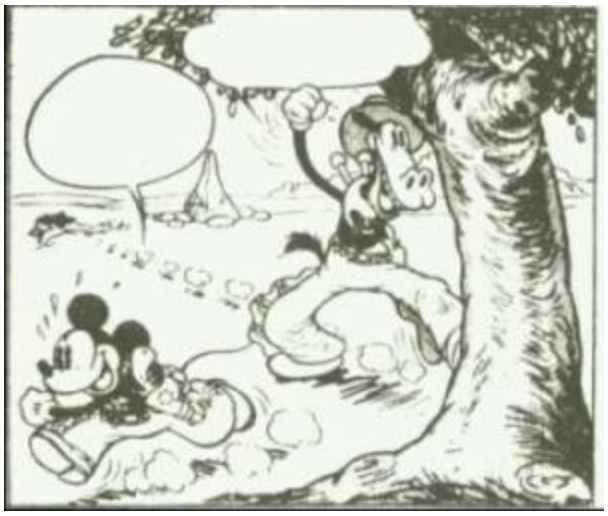
— Но ведь обложка точно как оригинальная, и глянь сюда — дата 1937. Да и цена, одна лира пятьдесят, может быть только довоенной.

«Клад коровы Кларабеллы» — тянулась по обложке разноцветная надпись.

— Это как они дерево перепутали, — сказал я.

— Какое дерево перепутали?

Я мгновенно пролистал альбом и с поразительной уверенностью раскрыл прямо на нужных кадрах. Почему-то не тянуло читать написанное в пузырях, как будто надписи были на непонятном языке или будто буквы налезали одна на другую. Я и не читая декламировал тексты наизусть.



— Ну смотри, Микки-Маус и конь Хорас Хорсколлар идут со старой картой искать клад, который закопал не то дедушка, не то дядюшка коровы Кларабеллы. Он всю жизнь боролся против гадостного Эли Сквинча и коварного Одноногого Пита.[161] Они приходят по карте куда надо, находят большое дерево, ведут от него линию к саженцу, ищут место по треугольнику. Роют, роют — ничего. Так и роют, покуда Микки-Маус не догадывается в чем дело. Карта-то 1863 года. То есть семидесятилетней давности. Ну как же мог семьдесят лет назад уже быть этот саженец! Следовательно, тот давешний саженец — это нынешнее большое дерево, а тогдашнее большое дерево — это сегодня уже трухлявый пень. Ну вот они по дряхлому пню и по большому дереву проводит новые линии, делают новые расчеты и, конечно,

выкапывают клад.

— Ого, как же ты все это вспомнил?

— Это входит в набор стандартных знаний, полагаю?

— Ни в какой это не входит в набор. Это не семантическая память. Это автобиографическая память. Это твои сильные детские впечатления. И все раскрутилось от микки-маусной обложки.

— Не знаю, в микки-маусной ли дело. По-моему, сработало имя Кларабелла.

— *Rosebud*.[162]

Разумеется, мы купили этот альбом. Я провел весь вечер, разглядывая, однако новых высот не достиг. Так я и думал, все окончилось на корове, никакого тебе таинственного пламени.

— Нет спасения мне, Паола. Я не влезу в этот сезам.

— Но ты же вспомнил как-то про те два дерева.

— А Пруст умел вспоминать про три.[163] Писанина, писанина, книги дома и книги на работе. Вся моя так называемая память — писанина.

— Значит, будем надеяться на писанину, если на мадлен надежды нет. Ну не Пруст ты. Ну, что поделать. Засецкому тоже было далеко до Пруста.[164]

— Кто сей народ и что их сила?

— Да я сама о Засецком бы не вспомнила, если б не Гратароло. Хотя, конечно, я его читала, этот *«Polerjannyj i vozvrascennyj mir»*. При моей профессии как я могла не читать Лурию. Давно, правда, и для какой-то статьи. Сейчас я его перечитала совершенно по-другому, очаровательная книжка, за два часа прочитывается вся насквозь. Итак, Лурия — это такой важный нейропсихолог, русский, он описывает один клинический случай. У него был пациент по имени Засецкий. Во время Второй мировой войны этого Засецкого ранило осколком в голову, и у него была поражена лобно-теменная область левого полушария. Оклемался, но в голове у него была жуткая каша, он даже не умел уяснить положение собственного тела в пространстве. Иногда ему казалось, что части тела меняются местами, что голова у него разрослась, что туловище стало крошечным, что ноги переселились на голову.

— Ну, кажется, это не мой случай. Я не утверждаю, что ноги у меня

на голове. Или фаллос на носу.

— Погоди. Ладно бы только ноги на голове. Это он не всегда ощущал. Только временами. А вот хуже обстояло дело с памятью. Память у него была вся лохмотьями, рваная, дырявая, в общем, тебе, знаешь, грех жаловаться. Он тоже не помнил ни где родился, ни как по имени звали его маму, но он еще и разучился читать и писать. Лурия взялся за этот случай. У Засецкого оказалась железная воля. Он с нуля научился заново читать и писать. И стал писать без продыху. За двадцать пять лет он записал не только все, что сумел выволочь из катакомб своей памяти, но еще и все, что с ним происходило изо дня в день. Будто бы его рука автоматически, самостоятельно умела приводить в порядок все, что не удавалось уяснить голове. Он писал выше себя, умнее себя. Так на бумаге он постепенно находил себя самого. У тебя совершенно другой случай, но что меня поразило, это что он себе обустроил новую бумажную память.[165] Ушло на это двадцать пять лет. А у тебя бумажная уже имеется. И зря ты говоришь, что это — писанина, которой набиты офис и квартира. Я как раз уверена, что твой волшебный клад зарыт в деревенском имении. Я очень много думала на эту тему, поверь мне. Ты слишком резко повернул ключ, расставаясь с писаниной своего детства, с бумажками своей юности. Думаю, там зарыто что-то имеющее к тебе самое главное отношение. Сделай мне божескую милость, собирайся и поезжай в Солару. Поезжай один, потому что, во-первых, меня уж точно сейчас с работы не отпустят, а во-вторых, потому что по-хорошему ты должен пройти весь свой путь самостоятельно. Ты должен встретиться с прошлым сам. Побудешь там сколько-нибудь и посмотришь, что в результате получается. Ну, в крайнем случае окажется, что потерял две недели, зато подышал свежим воздухом. Амалии я уже позвонила.

— Амалии? А кто это — жена Засецкого?

— Ага, его бабушка. Амалия — неотъемлемая часть Солары. Ты про Солару, как можно догадаться, еще не все знаешь. Послушай. Твой дед сдавал землю и строения арендатору Томмазо, уменьшительное имя Мазулу, жену его звали Мария. Земли там было полно, она была под виноградниками, и был в заводе многочисленный скот. Мария тебя знала с рождения и очень любила. У них была Амалия, их дочка, которая на десять лет старше тебя, и она тоже с тобой возилась изо дня в день, и тоже очень любила, и была за старшую сестру, за няньку и за

что хочешь. Она тебя боготворила. Когда твои дядья продали землю и продали хуторок на холме, при главном доме были оставлены небольшой виноградник, фруктовый сад, огород, свинарник, крольчатник и курятник. Ни о какой аренде речь вести уже не было смысла, ты передал все Мазулу в безраздельное пользование, с условием, чтобы его семья держала в порядке дом. Потом, увы, не стало Мазулу, умерла и Мария, а что касается Амалии, то она так и не вышла замуж, поскольку красотой не отличалась, поэтому она продолжает жить в нашем доме, продает яйца, продает кур — к ней обращаются из ближайшего бурга, — вызывает раз в году к себе в поместье резника, тот ей забивает кабана, какие-то двоюродные помощники опрыскивают купоросом лозы и помогают собирать урожай. В общем счастливая жизнь, хотя, понятное дело, одинокая, поэтому главное счастье — когда наведываются наши с тобой девочки с ребятами. Мы платим ей за продукты, за яйца, кур и колбасу, за фрукты с овощами она не берет — все это ваше, еще чего не хватало. Чистый ангел, а уж как готовит, ты сам увидишь. Когда я сказала, что ты, не исключено, приедешь, она чуть сознание не потеряла от счастья: синьорино Ямбо, о боже милостивый, увидите, он тут поздоровеет как миленький, я салат ему тот самый, который он любит больше всего…

— Синьорино Ямбо. Звучит величественно. Кстати, откуда вы выкопали это имечко?

— Ну, для Амалии ты будешь синьорино и в восемьдесят лет. Откуда взялось имя Ямбо — мне рассказала давным-давно Мария, покойница. Это ты сам себя так назвал. Ямбо — Вихраст. Ну тебя и стали звать Ямбо.

— Кто-кто вихраст?

— Ну, у тебя, вероятно, волосы торчали вихрами. Имя Джамбаттиста тебе, видать, не сильно нравилось, в чем я тебя понимаю. Да бог с ней, с этой ономастикой. Давай поезжай. Поездом нереально, туда с четырьмя пересадками, тебя повезет Николетта, ей, кстати, нужно забрать кучу вещей, которые она позабывала, когда была на Рождество, потом она сразу вернется, тебя оставит на попечении Амалии, и Амалия будет тебя облизывать, она умеет появляться, когда нужно, и исчезать, когда она не нужна. Туда пять лет назад протянули телефон. Если что — позвонишь. Пожалуйста, давай попробуем сделать по-моему.

Я попросил сколько-то дней на размышление. Я, да, конечно, сам что-то блеял только совсем недавно о путешествии, чтобы спастись от тех мучений в антикварне. Но, если честно, хотел ли я действительно спасаться от тех мучений? Если честно?

Куда ни кинь, везде лабиринт. Какое направление ни выбери — ошибка. Да и хочу ли я выбирать? Хочу ли я из этого лабиринта выбираться? Кто говорил: *Сезам, откройся, я хочу отсюда выйти?*[166] Мне же требовалось, наоборот, войти, как Али-Бабе. Войти в катакомбы памяти.

Сибилла сама разрубила проклятый узел. Мы сидели в конторе, она вдруг совсем неотразимо всхлипнула, вся пошла розовыми пятнами *(В крови, пыланьем мажущей щеки, Смеется космос)*[167] и, сгибая в бараний рог библиотечную карточку, произнесла:

— Ямбо, ты должен узнать об этом первым… Короче, знаешь ли, я выхожу замуж.

— То есть как ты выходишь? — выпалил я в ответ, что-то вроде «как ты смеешь».

— Ну замуж. Знаешь, когда двое меняются кольцами, а все гости кидают на этих двоих рис?

— Нет, я знаю что такое замуж… Я имею в виду, ты меня бросаешь?

— Почему бросаю? Он работает ассистентом у архитектора и пока что не так много получает, я должна продолжать работать, вторая зарплата. И вообще, как я могу, как я могла бы тебя бросить?

Вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды.[168] Конец «Процесса», попросту говоря, конец процесса.

— И что, эта история… я имею в виду, это у вас давно?

— Нет, недавно. Познакомились несколько недель назад. Знаешь, как случается… Он очень хороший. Ты увидишь.

Знаю, как случается. Может, до этого были и другие, тоже «очень хорошие». Может, она воспользовалась случаем, я имею в виду — моим несчастным случаем, чтобы раз и навсегда решить нашу с ней ситуацию. Может, кинулась в объятия первого встречного. Шагнула в неизведанность. То есть я испортил ее жизнь даже двояко. Чем ты испортил ее жизнь, идиот? Жизнь идет своей дорогой, она молода, встретила парня, впервые в жизни влюбилась… Впервые в жизни? Мы уверены? *Кому сулится твоя невинность, ключ родниковый, Не*

убиваясь, не утруждаясь, примет подарок…

— Придется придумать тебе хороший подарок.

— Да время еще есть. Мы решили это только вчера вечером. Но я считаю, что должна дождаться, когда ты полностью выздоровеешь, тогда я смогу уйти в отпуск на неделю со спокойной совестью.

Со спокойной совестью. Какие мы совестливые. Как там говорилось в последней цитате о тумане? В последней из моих выписок? *Когда мы доехали до Римского вокзала вечером в Страстную пятницу, и она вышла из экипажа, и ее охватил туман, мне подумалось, что вот сейчас я теряю ее на всю будущую жизнь, ныне и бесповоротно.*[169]

Значит, гордиев узел развязался сам собою. Прошлое какануло, его вытерли как будто с классной доски тряпкой. Отныне она тебе дочка, она тебе дочка.

Раз так, можно было уезжать. Вернее, должно уезжать. Я сказал Паоле, что собираюсь в Солару. Она просияла.

— Увидишь, тебе там будет отлично.

— *Рыбка рыбка камбала, все я делал не со зла, все придумала она, жаднеющая жена.*[170]

— А, ты еще и дразнишься. В деревню, в глушь, там тебе самое место.

Этой ночью, в постели, в то время как Паола додиктовывала мне последние рекомендации на время поездки, я положил ей ладонь на грудь. Она проворковала что-то ласласковое, и во мне пробудилось нечто довольно сильно напоминающее желание, это было смешано с нежностью и, по-видимому, с признательностью. Мы обнялись покрепче.

В точности как с зубной щеткой, мое тело, очевидно, прекрасно помнило все, что следовало делать. Это была спокойная любовь, мягкая, медленная. К Паоле экстаз пришел раньше (и так бывало всегда, сообщила она позднее), ко мне чуть погодя. Если разобраться, я впервые побывал с женщиной. В первый раз. Действительно сладчайшее занятие. Как выяснилось, не врут. Я знал это чисто теоретически, а теперь убедился на практике.

— Очень недурно, — проговорил я, откидываясь на подушки. —

Теперь понятно, почему это нравится многим людям.

— Ну и дела, — отреагировала на это моя жена Паола, — мне привелось лишать невинности собственного мужа в шестьдесят лет.

— Лучше позже, чем никогда.

Но все же от себя не убежать, и, засыпая рука в руке с Паолой, я терзался вопросом: ну а с Сибиллой было бы это так же точно? или иначе? Дурак, дурак, бормотал я себе, погружаясь в бессознательность, это-то ты не узнаешь никогда.

Мы поехали в деревню. Николетта вела машину, я смотрел на нее сбоку. Судя по моим фотографиям взрослого возраста, нос у нее был как у меня, форма рта тоже. Точно, это плод моих чресел, мое чадо, значит, не привелось мне взращивать чужое порождение.

(Непредосудительно подвинулась косынка, и открылся у нее на персях золотой медальон с искусно выгравированным инициалом Y. О силы неба, возопил я, откуда к вам сия вещица? Я не расставалася с нею, месье, недаром с этим медальоном я была обнаружена на паперти обители монахинь-кларисс в Сент-Обене. Медальон герцогини, госпожи матушки твоей, вырвалось у меня! Нет ли у тебя четырех родимых пятен, расположенных крестообразно, па левом плече? Но каким же образом, месье, вы узнали об этом? Что, оказывается, ты моя дочь, я отец! Отче, отче, вы ли это? Нет, красавица моя, только не падай в обморок, пожалуйста. Мы рискуем слететь с автострады.)

Мы не говорили, я как-то и раньше догадывался, что Николетта по натуре не болтунья, а тут еще и несколько смущена, и опасается упомянуть в своих речах что-нибудь такое, о чем я начисто забыл, и я смущусь, а ей не хочется, чтобы я смущался. Я спросил ее только, куда же мы держим путь.

— Солара прямо на границе между Лангами и районом Монферрато, очень красивые места, сам увидишь, папа. — Мне было приятно, что она меня зовет «папа».

После выезда с автострады по краям дороги плыли стрелки с названиями областных городов — Турин, Асти, Алессандрия, Казале. Потом мы внедрились в сеть проселочных дорог, и там-то на табличках замелькали топонимы редкие, дотоле неслыханные. Проехав по равнине, внырнув в какой-то пологий овраг, я увидел впереди на горизонте голубоватый абрис далеких гор. Абрис этот помаячил и

исчез, встала темная роща, машина двинулась в деревья по густолистой расщелине — тропики, джунгли. *Что мне теперь до твоих прудов и тенистой лесной сени?*[171]

И все-таки, продвигаясь по коридору, где будто под частым лесом простиралась спокойная горизонтальная равнина, мы на самом деле карабкались вверх, мы въезжали в гущу массива Моиферрато, неотступно и неощутимо поднимаясь на давешние маячившие холмы. Вот мы уже в обновившемся мире, в хороводах молодых виноградников. Издалека было заметно, что макушки гор по высоте и по абрису не равны — одни пустовали, на других возвышались церкви, на третьих крупные хутора или даже городки и замки, с гордым видом, вызывающе, приходясь этим горам гармоничнейшим навершием.

Ехали среди холмов почти час. Каждый поворот открывал новую новизну, будто менялись географические ареалы. Около указателя населенного пункта Монгарделло у меня случилось озарение. Я сказал:

— Монгарделло. Потом Корсельо, Монтеваско, Кастеллетто Веккио, Ловеццоло — и будем на месте, правда ведь?

— Как ты можешь это знать?

— Потому что это общеизвестно, — пробурчал я.

Вообще-то это было явной неправдой. Какие энциклопедии рассказывают о Ловеццоло? Не приоткрывается ли для меня проходик в пещеру?

Часть вторая
Бумажная память[172]

Глава 5
Клад коровы Кларабеллы

И почему я во взрослом виде не так уж охотно наезжал в эту самую Солару — кто знает, чем это объясняется? Я приближался к месту моего созревания. Не к месту, именуемому Соларой формально, не к этому поселку городского типа, наш путь лежал по самой его окраине, по возвышенности, вдоль виноградников на пологих взгорьях. Это был путь к той истинной Соларе,[173] которая лепилась на довольно крутом горном склоне. Неожиданно после серпантина Николетта свернула на проселок, и последовал трясучий проезд никак не менее двух километров прижавшись к обочине, проезд такой узкий, что непостижимо было, как ухитряются разминуться две встречные машины. Пейзаж слева был типично монферратским — мягкие крупы гор, изузоренные навесами и лозами, зеленеющие на фоне ясного майского неба в тот час дня, когда неистовствует (знал я по себе) полуденный бес. Справа первые отроги Ланг, не такие фигуристые, угловатые, сплошь из кряжистых горных круч, налезающих друг на дружку, в каждой прорези, в каждой прогалине — в перспективе — отстоящие скалы новых расцветок, а самые далекие горы были голубоватыми.

Я видел впервые этот пейзаж и тем не менее ощущал с ним родство, мне казалось, что, примись я сейчас бежать очертя голову с верхушки холма вниз, я знал бы, куда поставить ногу, на что опереться и как свернуть. Я ведь и после больницы не задумываясь угадал, на какую педаль нажимают, ведя машину. В этой местности я был в своем дому и во власти неопределенной эйфории — самозабвенного счастья.

Проселок превратился в почти отвесную вертикаль, и мы преодолели высоту, после чего тут же следом открылась обсаженная каштанами аллея, а в глубине аллеи большой дом. Просторная площадка между флигелями, две-три цветочные клумбы, над крышей дома выглядывает еще один подъем на холм, и весь подъем окутан лозами винограда. Это владение Амалии. Но трудно было понять с налету, какая у этого дома форма. Я видел первый этаж с высокими окнами — основную, центральную часть с замечательными дубовыми

воротами, врезанными в круглую арку, над подъездом — балкон. Слева и справа флигели, оба короче основного здания и без всяких парадных подъездов. Но протяжен ли этот дом в глубину, в направлении горы, это спереди было невозможно сказать.

Вся обратная сторона двора, за моей спиной, была развернута, позволяя обзор на сто восемьдесят градусов. Можно было наблюдать оба типа пейзажа, очаровавшие меня во время пути. А взъезд на двор был до того крут, что при взгляде сверху совершенно исчезал из поля зрения, открывая неохватную панораму.

Наблюдения мои, впрочем, были мимолетны, потому что с воплями и причитаниями выскочила крестьянка, которая, соответственно описаниям, могла быть только Амалией, и не кем иным, как ею: коротконогая, крепкая, неопределенного возраста — в точности по словам Паолы — от двадцати до восьмидесяти лет. Лицо пропеченное, похожее на каштан. Безграничное счастье на этом лице. Весь набор восхищений, восторгов, поцелуев и объятий и бестактно сыплющихся расспросов, сопровождаемых немедленным раскаянием: ой, да что ж это я! — рот тогда прикрывается ладонью, — но немедленно опять град вопросов: помнит ведь синьорино Ямбо и то и это, ну уж точно не мог он запамятовать, признал, поди, а Николетта из-за моей спины, полагаю, мотала ей головой и отчаянно жмурилась, но совершенно напрасно.

Вихрь и шум, не поразмыслишь, не расспросишь, стремительно сгружается багаж и вносится в двери левого флигеля, того самого, который привела в порядок Паола для нас и для детей, и я теперь могу разместиться там, если только, конечно, не пожелаю ночевать в большом доме, на половине синьора покойного дедушки, земля пухом, в той половине, где прошло все мое детство, она-то стоит вообще то под ключом, будто церковь, но Амалия заходит, не забывает, и там пыль вся сметена, и комнаты проветрены, и не пахнет ни сыростью, ни плесенью, а более ничего Амалия там не делает, потому что зачем же трогать, эта половина для нее чисто как церковь.

Парадные залы первого этажа в той части дома стояли, однако, незапертыми, они служили складом яблок, помидоров и прочих садово-огородных радостей, и в них продукты дозревали и хорошо предохранялись от жары. Я с любопытством вступил под старые своды, вдохнул пряный запах трав, плодов и зелени, на большом столе были

разложены скороспелые фиги, самые скороспелые, я не сумел удержаться — взял попробовать одну — и похвалил: наша-де смоковница до сих пор еще чистое чудо, — но Амалия закричала, да ведь смоковница у нас не одна же! Их же полдюжины у нас! И одна другой плодливее смоковницы у нас! Извините, Амалия, это я оговорился. Да почто извинять, ясное дело, сколько думает наш синьорино Ямбо, сколько мыслей у него в голове… Спасибо, Амалия, если б так, если бы впрямь было столько мыслей в голове. Да ведь моя беда, что все мои мысли упорхнули, выпорхнули, не попрощались, мне теперь единое дело, что одна смоковница, что полдюжины.

— А виноград тоже есть? — спросил я, в основном чтобы проявить, сколь я активен и памятлив.

— Да что ж с того винограда, там пока что такие малюсенькие гроздочки, хотя весна ранняя была и такое жарево всякий день, что все до времени, гляди, созреет. И дай-то бог нам дождя. Виноград, он к сентябрю поспеет, что ж, так синьорино дождется тут у нас в деревне первого сбора! И позабудет все хворобы! Госпожа Паола говорила, что вам теперь нужен уход и нужна хорошая готовка, свеженькое все, деревенское. Я тут приготовлю вам такой ужин, какого вы со старых пор не едали, — салат с помидорной подливкой и с олеем, с сельдереем кусочками и с натертым луком, и со всеми правильными травами. Еще есть хлеб, тот самый, который вам всегда нравился, есть деревенский каравай с такой толстой коркой, чтобы ею собирать сок. Куренок собственный, рощеный, не из магазина, известное дело, чем магазинных выкармливают, или можно еще кролика с розмарином. Кролика? Ладно, пойду стукану по затылку самого крупного. Отжил, значит, он свое, ну что поделаешь, так уж водится. А что ж такое, что ж Николетта заторопилась? Как, сразу в город? Беда мне с вами. Ну ладно, ладно. Мы останемся вдвоем, синьорино пусть занимается чем его душеньке угодно, от меня помехи не будет. Он меня будет видеть только утром, с утра я стану приносить молоко с кофе, да еще готовить обеды и ужины. А остальное время синьорино пусть себе ходит где вздумается и делает что надо.

— Имей в виду, милый папа, — сказала Николетта, запихивая в машину то, за чем она приезжала, — Солара отсюда вроде бы далеко, но там за домом есть такая тропинка, которая с горы ведет прямиком в городок, она крутая, но в ней вырублены ступеньки, а кроме того,

довольно скоро она переходит в прямую ровную дорогу. Путь в городок занимает четверть часа, обратно, с учетом подъема, двадцать минут, ты всегда говорил, что против холестерина — лучшее средство. В ларьке продают газеты, там же можно купить сигарет, можешь просить сходить Амалию, она туда наведывается в восемь утра практически ежедневно — по собственным делам и на мессу. Но ты ей пиши на бумажке, какую газету тебе покупать и за какое число, а то, дай только Амалии волю, она станет тебе каждый день таскать одну и ту же программу телепередач на текущую неделю. Другого тебе ничего не надо? Ты уверен? Я бы с тобой побыла, но мама считает, что необходимо тебе остаться наедине со старыми вещами.

Николетта уехала, Амалия показала мне мою с Паолой спальню (там пахло лавандой). Разложив привезенные вещи, я переоделся в самую удобную одежду, какую удалось найти, в расшлепанные ботинки, которым было лет двадцать, — теперь я смотрелся бирюком, — и полчаса простоял у окна, разглядывая горы в той стороне, где находился массив Ланг.

На столе в кухне лежала газета времен Рождества (в последний раз мы приезжали с девочками на праздники). Я углубился в чтение, налив себе стаканчик муската из бутылки, торчавшей в ведре с ледяной колодезной водой. В конце ноября Организация Объединенных Наций одобрила проект применения силы для освобождения Кувейта от иракцев, в Саудовскую Аравию перебрасывались первые американские части, речь шла о последних попытках переговоров представителей Соединенных Штатов Америки с министрами Саддама, с целью добиться вывода иракских войск. Эта газета была полезна для реконструкции недавних событий, и я читал ее, как читают выпуски последних новостей.

Внезапно я вспомнил, что этим утром, готовясь к отъезду, во власти сборов и суматохи, не имел стула. Я направился в уборную — идеальнейшее место для чтения статьи, вдобавок можно и посматривать через окошко на дальний виноградник. И вдруг у меня родилась мысль, скажем даже, желание, древнее, дремучее, справить большую нужду на свежем воздухе. Я затолкал в карман газету и толкнул ладонью, сам не поняв, случайно ли или по велению природного компаса, дверь на

задворки. Прошел через огород; тот выглядел очень ухоженным. У хозяйственного флигеля за деревянными заборчиками слышались квохтанье, пыхтенье и хрюки. В дальнем конце огорода начиналась тропинка, подъем на виноградник.

Амалия знала что говорила: листья на лозах были еще мелковатые, виноградины — со смородину. И все же это был виноградник, сквозь изношенную подметку стопа воспринимала глыбистость земли, между шпалерами, на разделительных дорожках, вихрами топорщилась трава. Как-то интуитивно я обвел глазами округу в поисках персиковых деревьев, но не нашел их. Странно, я вроде в каком-то романе вычитал это, что между бороздами, — но только нужно ходить там босыми ногами, чуть замозолевшею стопой, по привычке с самых малых лет, — встречаются персиковые деревья. Эти желтые персики,[174] которые растут только между лозами, трескаются при нажатии пальцем, и косточка сама вылетает с присвистом, чистейшая, как после химической обработки, не считая толстеньких белых червячков мякоти, держащихся на каком-то атоме. Ты можешь есть эти плоды, почти что не ощущая бархатистости кожи, от которой обычно пронизывает дрожь от языка до самого паха.

Я присел между шпалерами, в грандиозной полуденной тишине, пронизанной птичьими криками и стрекотанием цикад, и испражнился в траву.

Silly season — мертвый сезон, нет новостей. Он читал, покойно сидя над собственной парною вонью.[175] Человеческим существам приятен запах собственного помета, неприятен запах чужого. Собственный же, как ни крути, — это составляющая часть нашего суммарного тела.

Я испытывал первобытное удовлетворение. Спокойное разжатие сфинктера в этой зеленой роще будило в моей пра-памяти неявные, исконные ощущения. А может, только животный инстинкт? Во мне столь мало персонального, столь много видового (владею памятью человечества, не своей собственной), что, может быть, я попросту наслаждаюсь тем же самым, чем наслаждался неандерталец? У него накопленной памяти было, поди, еще меньше, чем у меня. Неандерталец не знал даже, кто такой Наполеон.

Когда я кончил свое дело, мелькнула мысль — вытереться

листьями, нечто само собой разумеющееся, неоспоримый автоматизм — не в энциклопедии же я это вычитал! Но у меня была газета, я выдрал из нее для этой цели телепрограмму (поскольку все равно в Соларе никакого телевизора не было).

Поднявшись на ноги, я посмотрел на свой кал. Превосходная улиткоподобная архитектура. Все еще дымится. Борромини.[176] Видимо, пищеварение у меня в полном порядке, учитывая, что беспокоиться начинают только при виде чересчур мягкого или вообще разжиженного стула.

Я впервые видел свой экскремент (городской унитаз этому не способствует — встаешь с него и не глядя жмешь на кнопку). Экскременты — самые личные и сокровенные наши достояния. Прочие аспекты доступны посторонним людям. Публичнее всего, конечно, лицо, глаза и мимика. Но даже и обнаженное тело в некоторых случаях становится объектом демонстрации — на пляже, у врача, у любовницы. Да если хорошо подумать, даже и мысли не сокровенны, мыслями мы делимся с другими людьми, и нередко другие люди угадывают наши мысли по взглядам или гримасам. Есть, конечно, совсем потаенные мысли… скажем, мысль о Сибилле — но и ею я поделился с другом Джанни, да и сама Сибилла, как знать, может, догадалась о чем-то таком, — не оттого ли заторопилась замуж? В общем, что касается мыслей — не всегда и не все мысли скрыты от мира.

А экскременты — это тайна. Только в начале, в ранний и краткий период жизни, нас перепеленывает мать. А впоследствии наши извержения — это самое непубличное. И поскольку нынешнее мое извержение вряд ли существенно отличалось от обычно мной извергаемого, акт дефекации роднил меня со «мною же самим» незапамятных времен, это был первый опыт, непосредственно увязанный с давними пра-опытами и, конечно, с тем ребенком, которым был я и который в давние времена, не сомневаюсь, присаживался по нужде в этом самом винограднике.

Эх, найти б следы моих ребяческих присаживаний, метки территории — и, выстроив по ним условный треугольник, откопать бы клад коровы Кларабеллы.

Откопать бы клад… Клад не давался, не шел мне в руки. Мой помет явно не тянул на липовый отвар, и хотелось бы, кстати, знать — какой поиск утраченного времени начинается с анального выхлопа?

Утраченное время мается астмой, а не поносом. Астма — духновение (пусть и натужное), наитие духа. Люди состоятельные тужат в пробковых комнатах.[177] Люди неимущие тужатся на свежем воздухе.

Затесавшись в неимущие, я не страдал, а радовался. Радовался, пожалуй, впервые в этой новой жизни. Неисповедимы пути господни, сказал я, воистину! Порою они проходят, кто б мог подумать, через задний проход.

День кончился так. Я послонялся по помещениям левого флигеля, дошел до комнаты, которая, по всему судя, была отведена моим внукам (спальня с тремя кроватями, медведями и трехколесными велосипедами у стен). В спальне на тумбочке было несколько свежих книг, ничего особенно привлекательного. В старую часть дома я не совался. Спокойствие. Обживусь-ка сначала в обитаемой части.

Я поужинал в кухне у Амалии, среди старых ларей. Столы и стулья стояли там со времен ее родителей, и сильно чувствовался запах чеснока от связок, свисавших с балок. Кролик был неописуемый, ну, а салат стоил целого этого путешествия. Я напитывал хлеб аловатым салатным соком с кругляками олея. Это было счастье, но счастье открытия, а не узнавания. Вкусовые рецепторы не оказали мне никакой помощи, да, впрочем, я ее от них и не ждал. Я пил много вина: деревенское вино в тех краях превосходит все французские вина взятые вместе.

Я перезнакомился со всеми тварями в доме: облезлый старый Пиппо, отличный сторожевой пес, по заверениям Амалии, хотя на первый взгляд и не внушающий доверия — старый, кривой на один глаз, и, кажется, он, вдобавок ко всему, уже выжил из ума. Кроме пса, три кота. Два шелудивых и злобных, третий похожий на ангорца, черный, густошерстый, мягкий на ощупь. Этот умел просить еду довольно изящно, трогая лапкой меня за брюки и привлекательно помуркивая. Мне симпатичны все животные, теоретически (я ведь вхожу в общество против вивисекции?), но инстинктивной приязнью управлять никто из нас не властен. Я возлюбил третьего кота и дал ему самые лучшие кусочки. Я спросил у Амалии, как зовут какого кота, и получил ответ, что котов не зовут никак, потому что коты — не христиане, не то что собаки. Я спросил, можно ли звать черного кота Мату, она ответила, что можно, если меня не устраивает нормальное

«кис-кис», но у Амалии был такой вид, что ясно читалось: у всех этих городских, даже у синьорино Ямбо, в голове тараканы.

Кстати о тараканах, с улицы неслись распевки насекомых, они зудели из сада довольно настырно, и я пошел на двор их послушать. Я задрал голову к небу, ожидая увидеть уже знаемое. Созвездия ведь одинаковы и на небе, и в любом атласе. Я узнал Большую Медведицу, но опять же — угадал по описанию. Стоило ехать в деревню, чтоб уверяться: энциклопедии всегда правы. *Redi in interiorem hominem*[178] — найдешь Ларусс.[179]

Я повторил себе: Ямбо, твоя память создана из бумаги. Не из нейронов, а из печатных листов. Может, придумают какую-нибудь чертовщину, чтобы компьютер прочитывал все тексты, какие только были написаны от основания мира до сегодня. Все предадутся перелистыванию, все будут жить, нажимая на клавиши, и опять же нажимая на клавиши, и перестанут сознавать, где они сами, кто они суть, — и у всех людей на свете образуется такая память, как сейчас у тебя.

Ожидая, покуда мир переполнится равными мне страдальцами, я отправился почивать.

Только я задремал, как вдруг откуда-то кто-то явственно позвал меня. Кто-то подзывал меня к подоконнику, гугукал настойчиво — «эй! эй!». Кто же это мог быть, кто это, цепляясь за ставни, лез на мое окно? Я рывком откинул засов, двинул ставню — и увидел, как улепетывает белая тень. Следующим утром Амалия пояснила — это был простой сыч. В нежилых зданиях совы и сычи поселяются на карнизах и в водосточных желобах, но как только туда въезжают люди, совы меняют квартиры. А даже жалко. Совушка чуть было не вызвала во мне то самое, что мы с Паолой определили как «таинственное пламя». Ухающий лунь или кто-то из его сородичей, безусловно, принадлежал мне, был частью меня, это они будили меня по ночам, улетали от меня в темноту, эти нескладные, неповоротливые привидения, дурандасы. Дурандасы? *Ciulandari?* Это слово я не мог вычитать в энциклопедии! Это слово — подарок мне от внутреннего человека. Или из детства.

Спал я неспокойно. Пробуждение сопровождалось сильной болью за грудиной. Первым делом я подумал об инфаркте — знаю, что инфаркты начинаются именно такой болью. Я поднялся и без

размышлений взялся за пакет с лекарствами, сложенный в дорогу Паолой. Нашарил «Маалокс». «Маалокс» — от гастрита. Приступ гастрита бывает, если наелся чего-то неположенного. Я же наелся положенного, однако сожрал слишком много. Говорила ведь Паола, надо сдерживать себя. Пока она была рядом, она меня сторожила, теперь надо научиться сторожить себя самому. От Амалии моральной поддержки ожидать бесполезно, по крестьянской философии еды слишком много не бывает, потому что еды бывает только слишком мало.

Учиться мне еще и учиться.

Глава 6
Новый дополненный словарь Melzi

Побывал и в городке. Обратно влезать по косогору было непросто, однако прогулка показалась мне прелестной и бодрящей. Удачно, что я запасся в Милане несколькими блоками «Житан», в этой деревне продают только «Мальборо лайт». Дикие люди.

Рассказал Амалии про сыча и что я спервоначалу принял его за призрак. Она отреагировала с комичной серьезностью. — Сычи, на них не грешите. Дурных дел сычи не творят. Не то что *masche*, которые водятся в тех краях, — она махнула в сторону Ланг, — они и до сих пор там живут. *Masche*, кромешницы. То есть как кто это? Даже рассказывать робею. А то вы сами не помните, ведь сколько раз толковал вам о кромешницах мой покойный папаша. Но вы не тревожьтесь, к вам, в ваш дом, кромешницам хода нету. Они по ночам пугают простой народ. Господам-то что, те, поди, знают слово, скажут слово кромешнице, и та скачет прочь, только пятки сверкают. А все ж они безугомонные и по ночам прибиваются к простым людям, а особо любят туманные и сырые ночи, это для них самая сласть.

Больше она не распространялась на эту тему, но, поскольку был упомянут туман, я спросил, часты ли здесь туманы.

— Туманы? Исусмария, сколько их тут, густющие. Как вот выйдешь, от моей двери не углядеть дорожку, не углядеть наш флигель, а когда в вашем флигеле живет кто-то, то вечерами тоже бывает, что даже и свет из окна не виднеется или трепещется как лучинка. А бывает, что туман до нас тут не поднимается, но сколько его на тех взгорьях, вы бы видели. Только редко-редко торчит по верхам где курган, где часовенка, а внизу бело и сзади бело и вокруг во все стороны непроглядная мга. Будто молоком заливают весь околоток с небес. Коли добудете тут у нас до сентября, вдоволь насмотритесь, потому что у нас в округе, кроме только летних трех месяцев, туман лежит безвыводно. Тут в деревне, внизу, один такой Сальваторе, он не здешний, с какого-то, поди разбери, моря, может, из Неаполя, ну так вот, он приехал сюда батрачить, тому уж наверно двадцать лет, от нищеты прибег сюда, от голода, ну так я про него, что никак не освоится, за двадцать лет не

обвык, все говорит, у них там светло и на Крещенье и на Сретенье. Помню, сколько он блукал у нас по полю и даже в ручей уж падал, вытащили, и по ночам ходили разыскивали, спасали его с фонарем. Э, они люди неплохие, врать не стану, а все ж они не такие, как мы.

Я читал про себя:

E guardai nella valle: era sparito
tutto! sommerso! Era un gran mare piano,
grigio, senz'onde, senza lidi, unito.

E c'era appena, qua e Ià lo slrano
vocìo di gridi piccoli e selvaggi:
uccelli spersi per quel mondo vano.

E alto, in cielo, scheletri di faggi,
come sospesi, e sogni di ravine
e di silenziosi eremitaggi.

В долине все волшебно изменилось
в единый час! Как будто море вдруг,
побившись в скалы, глянь — угомонилось.

И ничего не слышно — только звук
летучих птичек, незаметных, скромных,
заполнивших собою мир вокруг.

А в небесах скелеты буков томных
как будто бы висят среди руин
скитов молчащих, пустыней укромных.[180]

Как бы то ни было, на данный момент все пустыни и скиты укромные, которые мне доведется повстречать на одинокой дороге, озаряются ярчайшим солнцем — но от этого видимость все равно не лучше, ибо туман копится внутри меня. Не поискать ли истины в затененном мире? Решено. Час настал. Дай наведаюсь в старые

комнаты.

Я сказал Амалии, что хочу войти один. Она только подбородком дернула и протянула ключи. Похоже на то, что комнат там уйма и каждая на запоре, потому что Амалия опасается, как бы не залезли. Поэтому она преподнесла мне неохватную связку больших и маленьких ключей, всем своим видом показывая, что ей-то известно, какой ключ от каких дверей, но если я упираюсь и хочу идти наобум, то вольному воля, придется мне копошиться у каждой двери по часу. Подразумевалось: «Ну-ну, попотей же себе на здоровье, коли тебе охота капризничать, как малому дитю».

Утром, по-видимому, Амалия уже успела побывать здесь. Накануне я рассматривал окна снаружи — ставни были замкнуты, а сегодня оказались притворенными, свет через щели просачивался и в коридоры, и в каждую комнату, так что было видно по крайней мере, куда идешь. Амалия, конечно, проветривала время от времени, но воздух внутри все равно был спертый. Не то чтобы совсем удушливый, а так — с затхлостью дерева от древних комодов, с трухой от старых потолочных балок, с лежалостью белых чехлов, окутывающих кресла (не средь таких ли чехлов угасал Ленин?).

Не станем описывать скрип скважин, двадцатикратное опробование ключей, я выглядел неотличимо от старшего дежурного по Алькатрасу. От входа лестница вела в просторные хоромы, что-то вроде парадной приемной, ленинские кресла и какие-то кошмарные пейзажи на стенах, девятнадцатый век, в добротных мясистых рамах. Вкусы дедушки я еще не вполне выяснил, но Паола говорила, что дед был собирателем диковин. Ежели так, эта кошмарная пачкотня не могла быть в дедовом вкусе. Следовательно, картины являлись тяжеловесным семейным наследием, может — прапрапрадед баловался живописью? Благодаря полутьме то, что свисало с карнизов, различалось слабо и нечетко, картины просто ограничивали собою пространство, так что в общем и целом выходило не трагично.

В этой зале с одной стороны имелась балконная дверь (на единственный балкон фасада), а в противоположной стене были двери в симметричные коридоры, правый и левый, которые тянулись по тылу дома и сплошь были увешаны старыми раскрашенными эстампами. В правом коридоре — бессчетные картинки *Imagerie d'Epinal:*[181]

исторические события, «Штурм Александрии», «Осада и обстрел Парижа частями прусской армии», «Грозовые дни Французской революции», «Взятие Пекина войсками союзников». Другие офорты были испанские. Мелкие уродцы — *«Los Orrelis»,* обезьяны-музыканты — *«Colección de monos filarmonicos»,* мир навыворот — *«Mundo al revés»*. Две аллегорические пирамиды «Жизнь человека», одна про мужчин, другая про женщин, колыбель и дитя в помочах на первой слева ступеньке, затем поэтапный подъем до возраста апофеоза, с цветущими красавцами на самом верху олимпийского пьедестала, оттуда вправо — медленный сход стареющих, все более сгорбленных фигур вплоть до последней правой ступеньки, где, как предсказывала Сфинга, помещаются трехногие — на подламывающихся хромульках и с посохами — подле ожидающей своего часочка Смерти.

Первая дверь из коридора вела в большую старорежимную кухню, с толстенной печью и с огромным очагом, а над очагом висел громадный медный казан. Вся утварь невозможно описать до чего стара — должно быть, висит здесь со времен дедушкиного двоюродного деда. Успела стать антиквариатом. За стеклами буфета виднелись цветастые тарелки, железные кувшины, чашки для кофе с молоком. Какой-то инстинкт велел мне поискать глазами: а где журнальная полка? И точно, в углу около окна была приколочена журнальная полочка с выжженным и раскрашенным орнаментом — крупные красные маки на желтом фоне.

Поскольку в войну, конечно же, был дефицит угля и дров, я думаю, кухня была единственным отапливаемым помещением, и, значит, мною было проведено здесь множество зимних вечеров.

За кухней ванная, тоже старорежимная, посередине громадная железная ванна с изогнутыми клювами — крантиками. Умывальник, в точности чаша из церкви, чаша, полная святой воды. Я крутнул кран, за каскадом рыданий и чихов вытекла рыжая струя, посветлевшая только на третьей минуте. Унитаз и бачок живо напомнили мне туалеты в купальных заведениях времен «бель эпок».

После ванной имелась еще одна дверь — в негусто меблированную комнату с зеленой кроваткой, зеленым столиком, с аппликациями-бабочками, на подушке сидела тряпичная кукла Ленчи,[182] жеманная и надутая, какой и положено быть кукле тридцатых годов. Естественно, это спальня моей сестры, о чем свидетельствовали и какие-то старые платьица в шифоньере, но похоже было, что большинство вещей из этой комнаты вынесли и закрыли ее на хороший замок. Запах только сырости, затхловатости.

После комнаты Ады коридор утыкался в мощный шкаф. В шкафу царил всепроникающий камфорный дух и хранились парадные простыни, с вышивками и мережками, одеяла и стеганые покрывала для семейных одров.

Я вернулся по коридору в центральную залу, проскочил сквозь нее в левый флигель. Тут по стенам висели немецкие эстампы поразительно четких линий, серия «История костюмов»:[183] милые женщины с Борнео и обворожительные яванки, китайские мандарины, хорваты из Шибеника с чубуками невероятной длины и с длиннейшими усами, неаполитанские рыбаки, римские разбойники с пистолями, испанцы из Сеговии и Аликанте, а также исторические персонажи — византийские императоры, папы и рыцари европейского Средневековья, тамплиеры, феодалы и их дамы, евреи-купцы, мушкетеры его величества короля, уланы и гренадеры наполеоновской армии. Немец-гравер изобразил всех своих героев в самых праздничных одеяниях, поэтому не только властители были обвешаны украшениями и вооружены пистолями с изузоренными рукоятками, парадными саблями и красовались в лучших парчовых епанчах, но даже самый нищий африканец и самый оборванный лаццароне щеголяли яркими кушаками по бедрам, дивными

плащами, шляпами с перьями и красочными тюрбанами. Наверное, еще до приключенческих книг я начал упиваться многоцветьем племен и народностей мира, видя эти гравюры, обрамленные по кромке полей, выцветшие после многих десятилетий на свету, явившие моим очам чистый образец творенья. «Расы и народности земного шара», — повторил я вслух, и внезапно в моем воображении замаячила мохнатая *vulva*. К чему бы это?

Первая дверь вела в столовую, в конце столовой был выход в уже виденную мной прихожую. Два поддельных под пятнадцатый век буфета с дверками о разноцветных стеклышках, кругленьких и ромбовидных, массивные гнутые табуреты «савонарола». Антураж «Ужина шуток».[184] Еще и кованый железный фонарь, низко свешивающийся над громадной столешницей. Я бормотнул «каплун и королевские рожки» *(cappone con pasta reale),* сам не понимая с чего. Впоследствии я задал этот вопрос Амалии: что это мне как будто помнится каплун с королевскими рожками? Какие «рожки»? Амалия мне все объяснила. Рождественские обеды обязательно включают в себя каплуна с острым и сладким фруктово-горчичным соусом «мостарда», а на первое положено варить бульон из того же каплуна с рожками — то есть с засыпкой из теста, из яичного теста, желтенькие макаронники, так и тают во рту.

— Нет другого такого лакомства, просто грех, что рожки никто не готовит теперь, королевские рожки, знамо дело, ни рожков не едим, ни короля не чтем, прогнали короля, бедолагу, дали бы мне поговорить с

этим дуче, я ему пару слов сказала бы о королях и о рожках!

— Амалия, дуче больше нет, это знают даже те, кто лишился напрочь всей памяти.

— Я в политике не разбираюсь, но помню, что однажды дуче уже прогоняли, а он ништо, все равно назад вернулся. Так что и нынче, послушайте вы меня, он где-то сидит и выжидает. Увидите, когда-нибудь… Да ладно. Вот старый барин, ваш покойный дед, землица ему пухом, каплуна с рожками умел нахваливать, без каплуна с рожками ни одного Рождества при вашем покойном дедушке мы не праздновали.

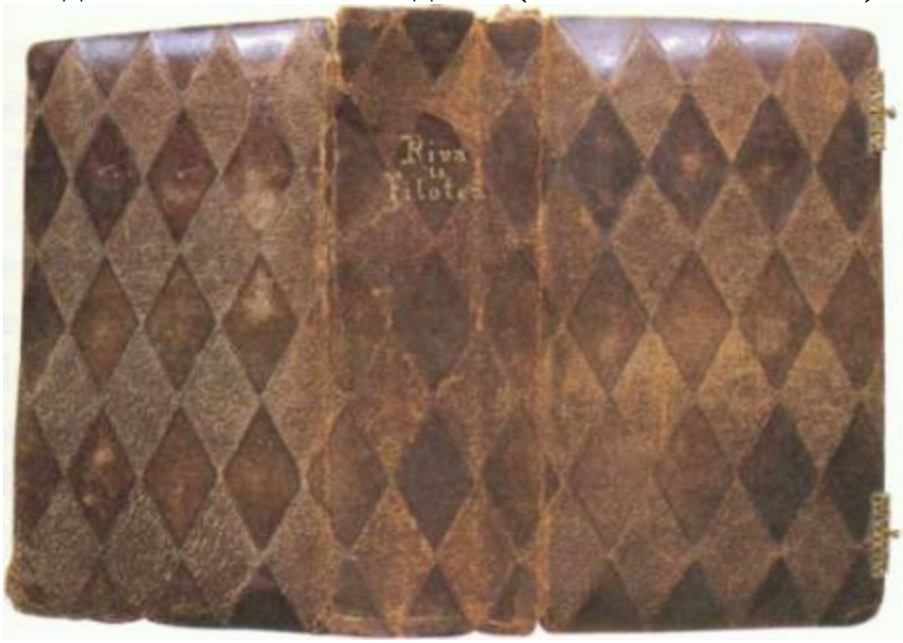
Каплун и королевские рожки. Значит, я припомнил их в связи с формой столешницы, в связи с низкой лампой, освещавшей трапезу в последние дни декабря? Мне был неведом вкус этих самых рожков, но я припомнил имя. Как будто в игре в «переходы слов». Дается слово, надо из него сделать другое, меняя по одной букве: из моря — гору, то есть море, горе, гора. И выплыли у меня в памяти этот каплун и рожки, как гога и магога.

Вот еще дверь куда-то. Спальня, двуспальная кровать, я инстинктивно замер на пороге этой спальни, будто перед запретной зоной. Силуэты мебели казались огромными в полусумраке, кровать под балдахином возвышалась как алтарь. Может, это спальня моего дедушки, куда соваться нам было запрещено? Где дедушка впоследствии и умер на этой самой кровати, сраженный горем? А где же был я? Попрощался ли я с дедушкой на пороге его смерти?

Дальше еще одна спальня. Но там мебель была совершенно непонятно какой эпохи, вся без углов, из сплошных гнутых линий, псевдобарокко-рококо, и такими же причудливыми были очертания боковых дверец большого зеркального шкафа и комода. Спазм перехватил дыхание, точно так же, как тогда в больнице, когда мне показали фото родителей в день их свадьбы. О, таинственное пламя. Помню, я взялся описывать это ощущение доктору Гратароло, а тот спросил, то ли же это самое, что экстрасистолы.[185] Наверно, да… — ответил я, — но какой-то горячий спазм при этом охватывает горло. — Ну тогда нет, потому что, — сказал в ответ профессор Гратароло, — экстрасистолы это совсем другое дело.

Затем я увидел книжку, маленькую, в коричневом переплете, на мраморе правой тумбочки, и подошел взять ее в руки, промычав что-то

наподобие *«riva la filotea»*. *Riva la filotea*, это на пьемонтском диалекте значит «едет сюда филофея»? Какая-то фея, что ли? Какая-то тайна, и вроде эта тайна томила и мучила меня многие годы, звуча как вопрос на пьемонтском диалекте «Кто, кто едет?» *(«Sa ca l'è c'la riva?»).*



Как, разве я на диалекте разговаривал тогда? Какую это фею, кто мне эту фею обещал? Какую филофею?

Я распахнул книгу — так взламывают в безумном порыве священные печати на скрижалях, — книга называлась «Филофея» *(«La Filotea»)* и была произведением миланского священника Джованни Рива (1888). Это был сборник молитв и текстов для духовных упражнений, с календарем церковных праздников и с краткими святцами. Страницы вываливались, листы ломались от самого легкого прикосновения. Я благоговейно уложил страницы и выровнял крышки (как-никак это мое ремесло — приводить в порядок старые книги), и тут увидел на корешке алый квадрат с золототис-пеными буквами *«Riva La Filotea»*. Это был чей-то личный молитвенник, который я, видимо, в детстве открывать не решался, а фраза на толстом корешке поддавалась двоякой интерпретации, вот я и понимал ее по-детски, воображая какую-то фею, которая все едет, едет и никак не доедет до нашего дома, не доедет ко мне в гости.

Потом я оглядел комнату — на выгнутых боковинах комода были две створки. Я подкрался к правой створке с биением сердца и потянул на себя, озираясь воровато, как будто страшась быть застигнутым

врасплох. Внутри три полочки, опять же кокетливо выгнутые и совершенно пустые. Я волновался, будто что-то воровал. Может, действительно я переживал детское ощущение, к воровству близкое, когда лазил по комодам и шкафам, куда мне вообще-то доступа не было, и любопытство было окрашено греховностью? Да, этим чувством, будто при следственном эксперименте, подтвердилась моя интуитивная догадка, и теперь уже я мог быть совершенно уверен, что спальня принадлежала моим родителям, «Филофея» была маминым молитвенником, а в боковых отсеках комода мне в детстве приводилось нашаривать невесть что запретное — не знаю уж, что там лежало, старые письма, мелкие деньги или такие фотографии, которым не было места в официальных семейных альбомах…

Но если это действительно была их спальня, а Паола говорила, что я родился здесь, в деревенском доме, то, значит, я появился на свет на этой кровати? Что человек не помнит помещение, где он родился, это нормально. Но если учесть, что мне, должно быть, многократно показывали эту затененную комнату со словами: вот, гляди, в этой комнате, на этой кровати, ты был рожден, — если учесть, что я, безусловно, прибегал сюда по ночам и вныривал в постель родителей, и где, вероятно, уже отлученный от груди, множество раз втягивал ноздрями запах груди, которая меня вскормила… Ну ведь хоть слабый какой-нибудь намек на воспоминание должен же забрезжить в этой проклятой черепушке! Ишь, размечтался… Тело хранит только память о доведенных до автоматизма действиях. Коротко говоря, я сумел бы воспроизвести сосательное движение, припав к молочной железе, но тем бы дело и кончилось, я не смог бы сказать, к чьей груди приникаю и что за вкус у этого молока.

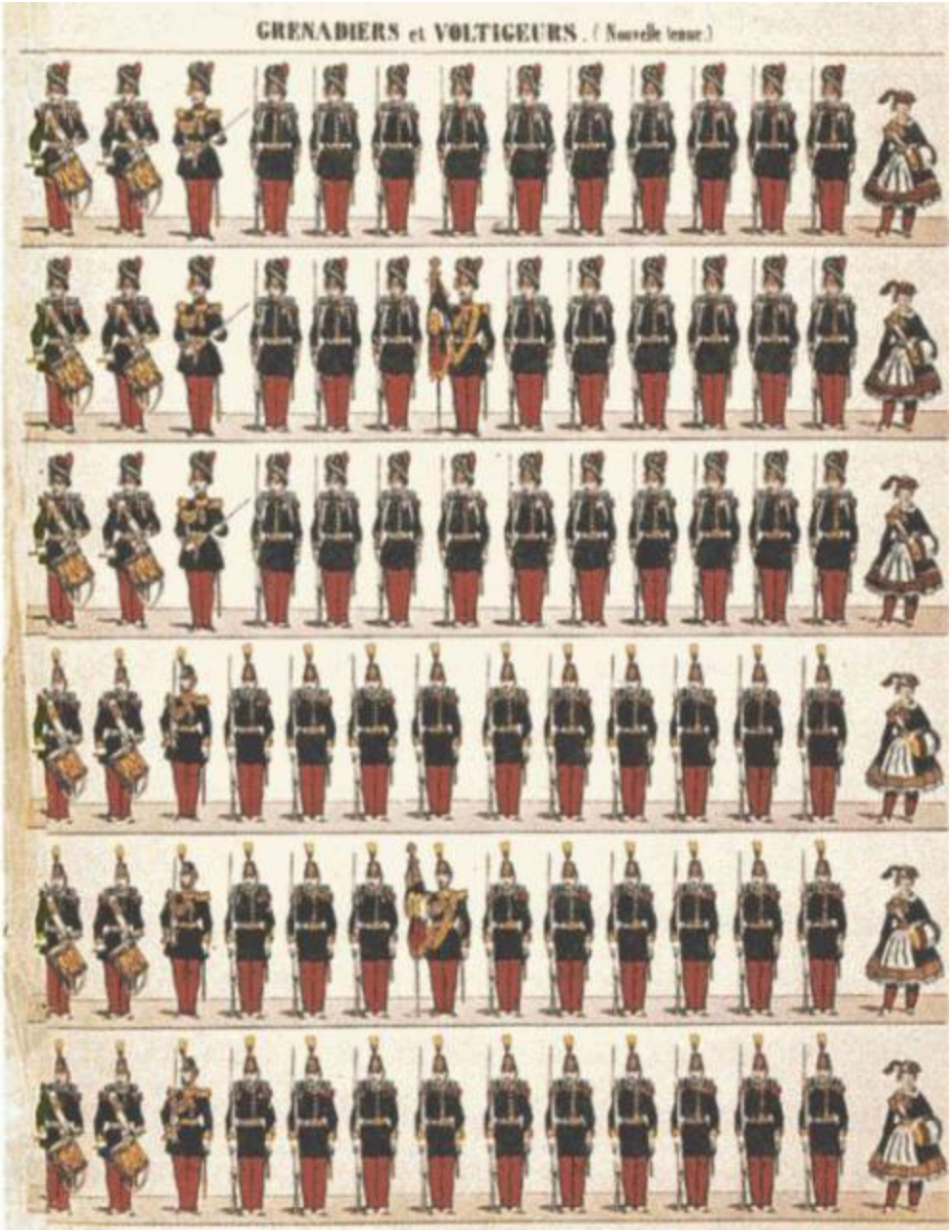
Стоило ли рождаться, чтобы потом не помнить? Да и, технически выражаясь, был ли я действительно рожден? О рождении, как и обо всем прочем, проинформировали меня окружающие. А по моим собственным понятиям, я сотворился как личность в конце апреля нынешнего года, в возрасте шестидесяти лет, на больничной койке.

«Il signer Pipino nato vecchio e morlo bambino». Синьор Пиппати, родился старцем, помер дитятей. Как это? Синьора Пиппати нашли в капусте шестидесятилетним и с длинной белой бородой, дальше идут все его приключения, день ото дня Пиппати молодеет, доходит до юношеского возраста, потом он младенец и наконец переходит в мир

иной, испуская свой первый (или последний) младенческий крик. Я эту считалку помню с детских лет… Стоп, ничего подобного, ведь все, что касается детских лет, мне полагалось забыть. Я, скорее всего, нашел этот стихотворный текст как предмет разбора во взрослой книге о мотивной структуре произведений для детей. Разве я не тот, кому известно все о детстве крошки Доррит и ничего — о собственном младенчестве?

Как бы то ни было, я был намерен повоевать за свою авто-био в глубинах этих коридоров и довоеваться до того, чтоб перед смертью все-таки узнать, каково было мне младенцем видеть склоненное над кроваткой лицо моей мамы. Ой, а что, если в результате, испуская дух, я сподоблюсь узреть мордатую и усатую акушерку, суровую, как завуч на педсовете?

В конце коридора под окном стоял сундук, но коридор не кончался, за сундуком находились двери — одна в торце и другая налево. Торцовая вела в просторный кабинет, призрачный, голый. На большой письменный стол красного дерева и на зеленую настольную лампу в стиле «государственная библиотека» падал прямой свет сквозь два окна с цветными стеклами, через которые было видно зады левого флигеля, то есть наиболее тихую и укромную сторону дома, и еще — чудесный пейзаж. Между окнами в простенке висел в раме пожилой седоусый джентльмен в напряженной позе, принятой по требованию поселкового Надара.[186] Фото, разумеется, не могло появиться там раньше смерти моего деда, ибо нормальный человек не держит собственных портретов перед носом. Не могли повесить его и мама с папой, поскольку дедушка умер не раньше их, а позже, как раз-таки от горя. Так что портрет велели там водрузить дядя с теткой, да, это всего вероятнее: распродав часть имущества, городскую квартиру и большинство земельных наделов, они устроили здесь мемориальный дом-музей. Абсолютно ничто не походило на живое, обитаемое помещение. Голизна, отрешенность. Только еще какие-то *«Images d'Epinal»* на стене: солдатики в алых и темно-синих мундирах, ставших голубыми и розовыми, пехота, кирасиры, драгуны и зуавы.



Я был совершенно ошарашен видом шкафов: по стенам кабинета тянулись пустые полки красного дерева. На каждой полке красовалось книги две или три, «художественно» расположенных, — обычная мещанская манера профессиональных декораторов: штришок с намеком на культуру, остальное пространство, согласно общепринятому шаблону, отводится под вазы Лалика, африканские маски, серебряные блюда и хрустальные шары. Хотя даже и подобной мишуры здесь не было. Только солидные атласы, французские глянцевые журналы, а также энциклопедический словарь Мельци *(Nuovissimo Melzi)* выпуска

1905 года и французские, английские, испанские и немецкие словари. Но не могло же быть, чтобы книжник и коллекционер дед сидел с такими пустыми полками. Конечно, не могло: кстати, в посеребренной рамочке на пустом стеллаже обнаружилось еще одно фото деда, снятое в этой самой комнате против света, за письменным столом. На фото дед имел несколько встрепанный вид, он был без пиджака, в жилете, и еле-еле высовывался из-за громадных кип бумаг, придавивших собою стол. Тянувшиеся за дедом по стенам стеллажи были забиты до отказа книгами и стопками журналов — живописнейшее нагромождение. По углам комнаты на полу возвышались другие шаткие стопки, по всей видимости, книг и журналов вперемешку, и еще с картонными коробами впридачу, явно набитыми бумажным хламом, который упихивали в эти короба, чтобы не выбрасывать прямо сразу. Вот-вот, точно таким должен был быть кабинет покойного деда, когда еще дед не был покойным, истинный склад спасителя разнообразнейшей печатной продукции, которую другие вышвырнули бы в помойку, истинный призрачный корабль, перевозящий тени документов по волнам океанов и морей, потерянный рай, копи, настоящий любитель найдет где порыться — в каждой связке, во всех разваливающихся ворохах. Куда же делись эти сокровища? Почтительно относящиеся к порядку в доме вандалы, конечно, извели все то, чем порядок нарушался. Долой бумажки. Все выбросить, продать первому старьевщику. Уж не после ли той бесповоротной уборки у меня душа не лежала к этим местам и я начал вытеснять из своей жизни Солару? Я ведь, поди, именно здесь год за годом проводил свое детство с дедом, пожирая книгу за книгой и делая открытие за открытием? Значит, они последнюю возможность ухватить за хвост мое прошлое — и ту зажилили?!

Выйдя из кабинета, я побрел в комнату слева, меньшего размера и обставленную поживее. Мебель там была светлого дерева, сколоченная, предполагаю, деревенским плотником, для мальчишки как раз что надо. Там стояла кровать в углу и пустые этажерки, — да еще одно-единственное собрание сочинений в красном ледерине. Что-то наподобие школьной парты, в центре парты черная кожаная вставка, и еще одна библиотечная лампа и изодранный Кампанини Карбони[187] — латинско-итальянский. На стене афиша старого фильма… ой, вот опять в душе порхнуло таинственное пламечко. *Как налету! Так славно в воздухе и так легко!*[188] — пропел я почти чужим голосом. Да, на

афише действительно было написано «Как на лету» — «*Vorrei volare», с* Джорджем Формби, о, его лошадиная улыбка и его укулеле, я снова увидел, как Джордж Формби влетает в овин на взбесившемся мотоцикле, пропарывает сено насквозь под квохтание ошалевших куриц, а полковнику, сидящему в коляске, в руку влетает яйцо, не иначе к христову дню, дорого яичко, — а Джордж Формби на допотопном аэроплане, в котором оказался по ошибке, заваливается в штопор, кое-как снова набирает высоту, закладывает вираж, переходящий в пикирование, со смеху помереть, помереть можно со смеху. — Я три раза посмотрел подряд, три раза, — завопил я. — Самая комичная на свете фильма, — я произнес «фильма», в женском роде, видимо, так говаривали в старые времена, но крайней мере у нас в деревне.

Безусловно, это была моя комната, в ней я и спал, и занимался, но, кроме нескольких дорогих мне символов, все остальное было голо, походило на комнату знаменитого поэта в доме-музее, куда приходят по билетам и оказываются в пространстве, оборудованном специально, чтоб там витал аромат бессмертия. Здесь были созданы «Осенняя песнь», «Фермопильская ода», «Умирающий гондольер». Где же сам великий человек? Он, увы, нас покинул. Он исчах от туберкулеза в двадцать три года, именно здесь, на этой постели, гляньте на распахнутые фортепьяны, кто последний дотрагивался до этих клавиш?

В наипоследний день, перед тем как испустить дух? На центральном «ля» заметно еще пятнышко крови, капнувшей с его омертвелых уст, когда он играл «Кровавый прелюд». Эта комната — свидетель краткосрочного земного века, тут он, склонясь над многострадальными черновиками… Пардон, а где эти многострадальные черновики? В фонде Библиотеки Римской коллегии. Обращаться за допуском к дедушке. А дедушка где? А дедушка умер.

Разъяренный до неописуемости, я рванул в коридор и вывесился в окно, выходящее во двор, с криками: — Амалия! Как это может быть, — вопил я, — что ни в одной комнате не осталось книг, и кто посмел вынести из моей комнаты все мои вещи и игрушки?

— Господи помилуй, синьорино Ямбо, вы же в этой комнате живали и уже будучи студентом, и в шестнадцать, и в восемнадцать лет. Что же было, держать там все соски и погремушки? И с чего это вам занадобились игрушки через пятьдесят лет?

— Ладно, не будем об этом. Ну а кабинет деда? Там ведь было видимо-невидимо книг. Куда они делись?

— А на чердаке все, все на чердаке. Помните, какой у нас тут чердак? Похож на кладбище, не люблю я на чердак лазать, редко-редко его открываю, только хожу расставлять блюдечки с молоком. Зачем молоко? Ну чтобы приваживать наших трех кошек, а уж как коты туда зайдут, то всякий раз одну-другую мышку и словят. Блюдечки ставить приказывал ваш покойный господин дедушка. На чердаке книги и бумаги, нужно ведь мышей как-то с чердака гонять, потому что, знаете, все-таки тут деревня, бейся не бейся, а мыши своим чередом… Год за годом вы, синьорино Ямбо, взрослели, из вещичек вырастали, ну и мы вещички эти запаковывали и помаленьку сносили на чердак вместе с куклами барышни, вашей сестрички. А потом, когда дядя с тетей взялись тут все переставлять, мое дело сторона, лишнего я говорить не хотела, но скажу уж: лучше бы они оставили в доме все как было в заводе при покойном деде. А они переиначили. Старый хлам, велели, на чердак. И, понятное дело, весь второй этаж принял похоронный вид. И когда вы синьору Паолу по первому разу сюда привезли, то никому на тот этаж селиться не захотелось, и тогда вы решили селиться в правом флигеле, где совсем все в простоте, там же не барские комнаты, потому как там людские, однако госпожа Паола быстренько все привела в

порядок, и теперь детвора может там беситься и прыгать сколько ихним душам угодно, и не чиниться, и не сидеть поджавши хвост, как шавки на паперти…

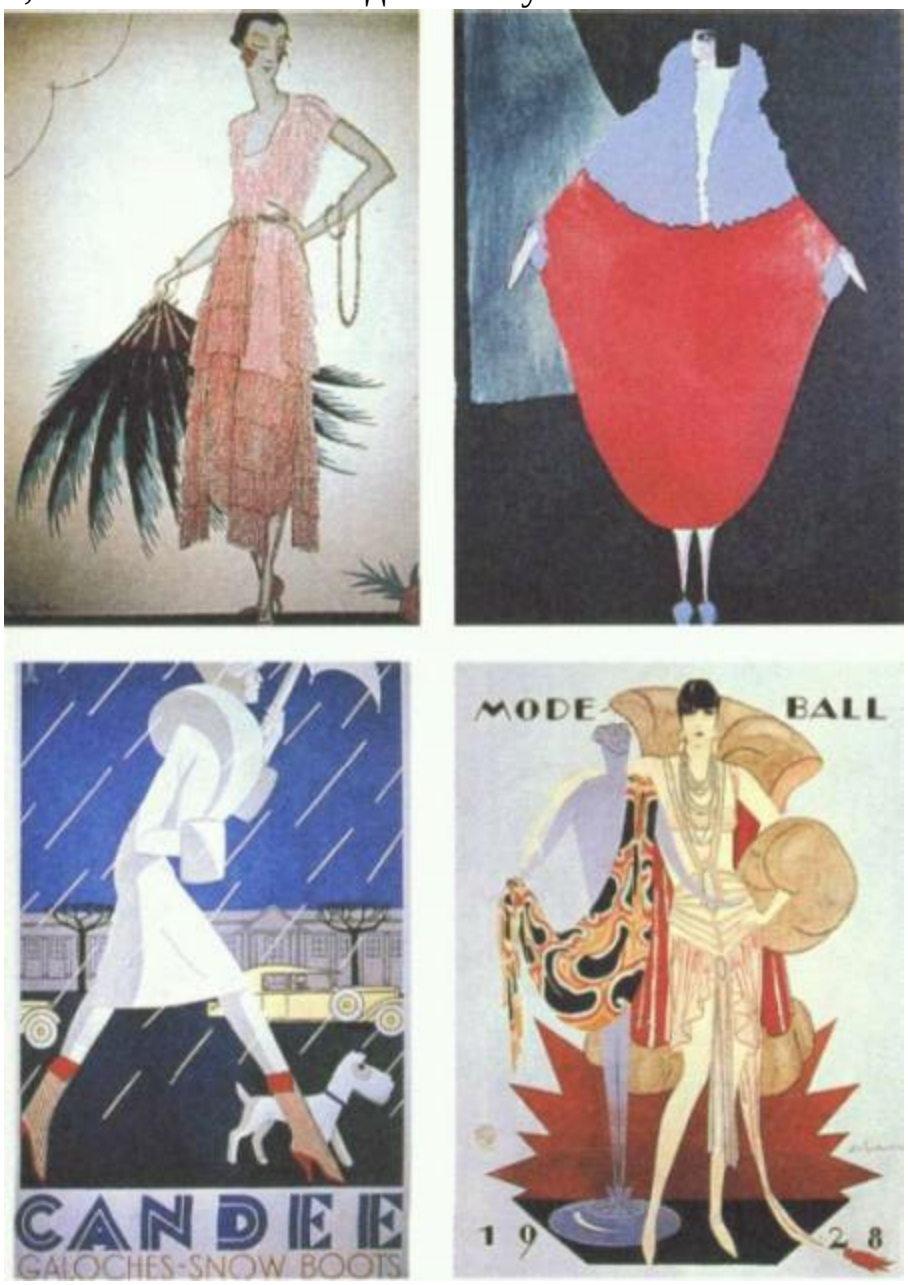
Если я думал, что в дедовой половине мне сразу откроется пещера Али-Бабы, а в пещере наполненные золотом сосуды и чистой воды диаманты, размерами каждый с отборный грецкий орех, и ковры-самолеты в полной готовности к вылету, то, значит, мы ошибались во всем, ошибалась Паола, ошибался я. Пещера оказалась пуста, сокровища вынесены. Придется мне, видимо, организовать экспедицию в новое место — на тот самый чердак — и стаскивать вниз коробки, все, какие удастся обнаружить. Приводить дом в первоначальный вид? Да, но для этого следовало бы помнить, что где было в первоначальном виде. А я затевал всю эту петрушку как раз для того, чтобы это узнать.

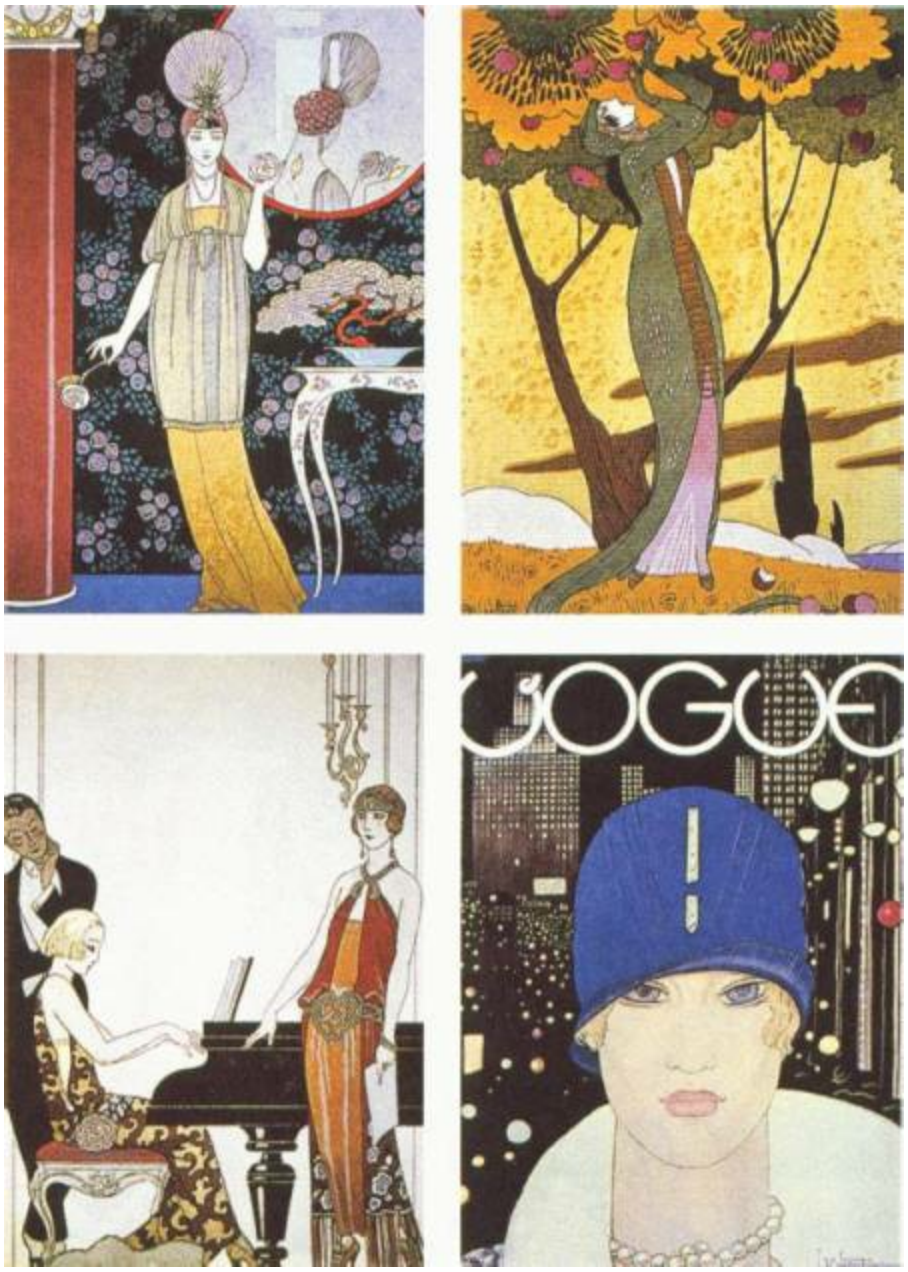
Снова войдя в то, что было кабинетом моего деда, я увидел на столике в углу старый проигрыватель. Не граммофон, а именно проигрыватель со встроенным динамиком. Судя по дизайну, пятидесятые годы. На семьдесят восемь оборотов. Дед, получается, слушал пластинки? Коллекционировал их, как все прочие свои редкости? И где же сейчас эти пластинки? Тоже на чердаке?

Я взял со стеллажа французские журналы. Роскошно отпечатанные, с цветочными орнаментами, каждая страница выделана как миниатюра, по краям бордюр, и цветные иллюстрации в манере прерафаэлитов — бледные дамы беседуют с рыцарями Святого Грааля. Внутри рассказы и статьи, вокруг текста те же самые витые виньетки из лилиевых стеблей, и тут же картинки женских мод, уже в стиле *Art Déco* — фигуры неестественно удлинены, стрижки под мальчика, шифон или вышивка шелком по шелку, линия талии занижена, шея открыта и обязательно вырез на спине. Губы кровавы, как свежая рана, у губ — порочный мундштук, ленивыми голубоватыми кольцами — сигаретный дым, вуалетка. Тогдашние безвестные рисовальщики досконально умели передавать на бумаге запах пудры от пуховки.

Время от времени журналы ностальгически обращались к едва только отошедшему в прошлое стилю либерти, исследовали то, что было в моде недавно, наряду с тем, чему вскорости предназначено было войти в моду, и, я думаю, легкая патина былого придавала дополнительное благородство предложениям нового в этих модных

рисунках для будущих Ев. На меня же веяло большей пленительностью от Ев былых, от Ев отживших, и к их изображениям я с трепетанием припадал. Никакое не таинственное пламя, а нормальная обыкновенная тахикардия, ностальгия по сегодняшнему.





Женский абрис, долгие золотые пряди, чуть витающий аромат падшего ангела, нарочитая тихоня, тихий омут. Мне припомнились французские стихи:

… des longs lys religieux el blêmes
se mouraient dans tes mains, comme des cierges froids.
Leurs parfums expirants s'é chappaient de tes doigts
en le souffle pâmé des angoisses suprêmes.
De tes clairs vêtements s'exhalaient tour â tour
l'agonie et l'amour.

От молитвенных лилий на тусклых стеблях,
умиравших в руке у тебя, исходил,
как от свеч охладелых, мучительный пыл —
это вздох угасал на печальных губах…
И из светлых одежд выникали напасть,
смерть и страсть.[189]

Черт, я же видел, где — не припоминаю, этот абрис, я видел его в своем детстве, а может, в отрочестве, а может, и юности, а может, на заре самой первой взрослости — абрис был врезан в мое сердце. И он был абрисом Сибиллы. То есть я знал Сибиллу всю свою жизнь. Месяц назад, когда мы встретились в Милане, я опознал ее по памяти… Поняв это, я не расчувствовался и не разнежился — наоборот, ощутил страдание. Что же, получается, что в реальной Сибилле я просто оживотворил образ, знаемый от юности? Может, я сразу воспринял ее как предмет любви, потому что предметом любви некогда являлся тот самый образ? А потом, снова встретив милый образ в «новой жизни после гибели», я вставил его в сюжет, от которого сходил с ума в раннеподростковую пору… Значит, у меня с Сибиллой только-то и было настоящего, что тот портрет?

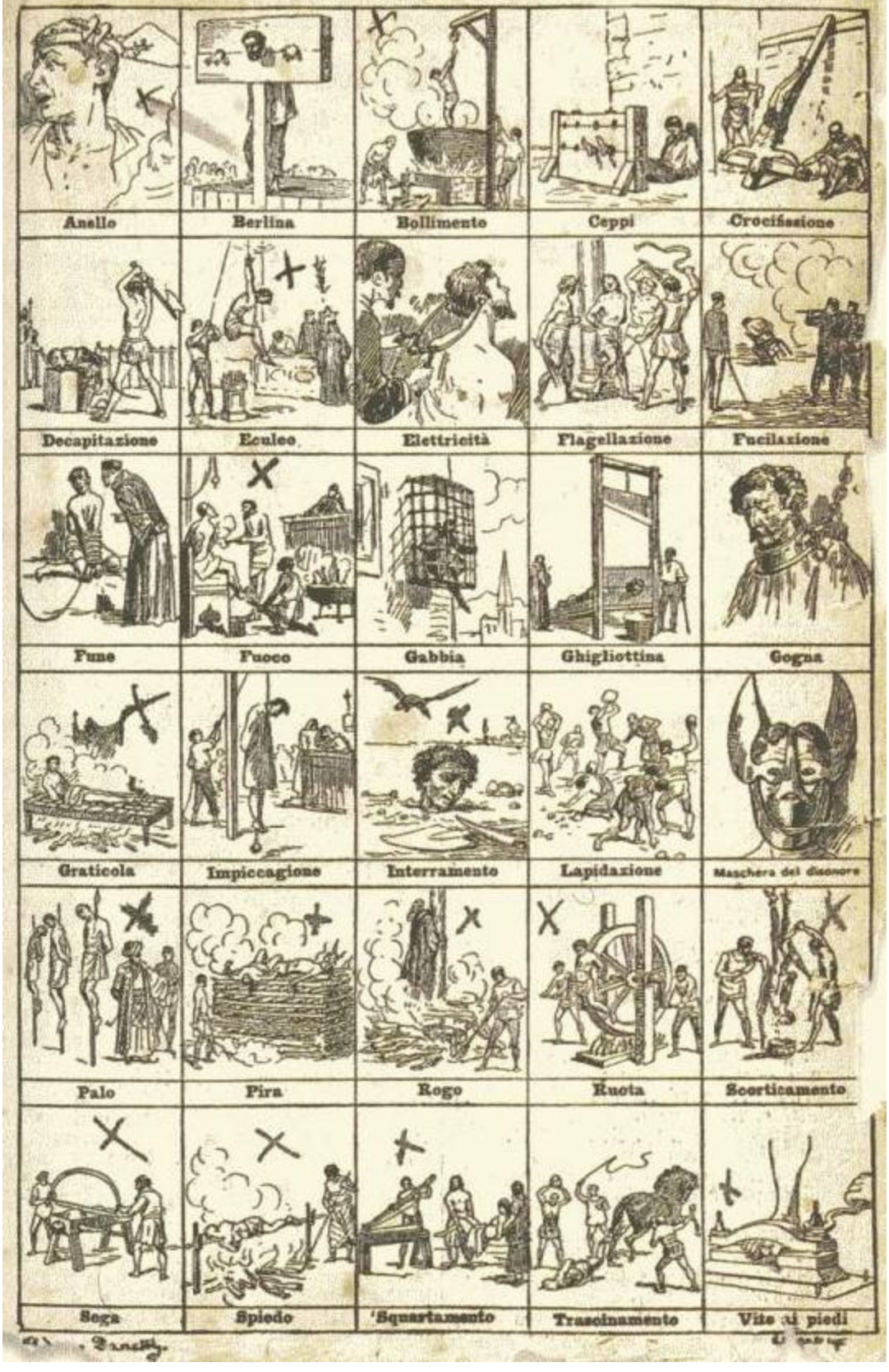
А что, если у меня, кроме памяти об этом рисунке, не было ничего настоящего и с другими женщинами? Что, если я всю жизнь проваландался в поисках утраченного портрета? Тогда *recherche*, тот поиск, которому я предаюсь в дедовых комнатах, обретает совсем иной смысл. Тогда он — не столько работа по припоминанию того, кем я был до прощания с Соларой, сколько работа по определению причин, по которым я прожил жизнь так, как прожил, уже после того как из Солары уехал. Да? Точно ли? Нет, какая уж точность, отвечал я сам себе. Что с того, что одна картинка напомнила мне недавно виденную женщину? Может, дело просто в том, что на картинке нарисована хрупкая белокурая дева, и впрямь похожая на Сибиллу. Будь картинка иной, может, она привела бы мне на память, ну не знаю, Грету Гарбо или соседку по этажу. Может, ты до сих пор об одном только и мыслишь, как в том анекдоте (его рассказывал Джанни кстати о больничных экспериментах надо мной и психологических тестах), — тебе

мерещится «это самое» в любой цветовой кляксе, которую демонстрирует проверяльщик-психолог.

Короче говоря, ты прибыл на встречу с покойным дедом, какое отношение имеет к этому Сибилла?

Я возвратил на стеллаж журнал — посмотрю позднее. Меня неотвратимо привлекал словарь «Новейший Мельци» *(«Nuovissimo Melzi»).* Издание 1905 года, 4260 иллюстраций, 78 систематических таблиц, 1050 портретов, 12 хромолитографий, издательство Антонио Валларди, Милан. Стоило его открыть и увидеть пожелтелую бумагу и мельчайший шрифт (восьмой кегль) и маленькие картинки в начале статей, я как-то сразу нашел именно ту страницу, которую и хотел найти. Пытки. Ну да, конечно, — вот они пытки, все по порядку: варение в масле, распятие, сажание подвешенного на дыбе ягодицами на подушку из железных иголок, поджаривание ступней на костре, печение человека на гриле, закапывание живого в землю, раскаленные клещи, костер, колесо, сдирание с живого кожи, копчение на вертеле над костром, распиливание (зловещая пародия на распиливание ассистентки в цирке — приговоренный тоже в ящике, палачи орудуют двуручной пилой, вся разница — что из тела, вложенного в ящик, здесь взаправду получается два обрубка), четвертование (см. предыд., с тем различием, что резательный аппарат приспособлен разрубать несчастных не поперек, а вдоль тела), разрывание на части — казнимого привязывают к лошадиному хвосту, зажимание ног в тиски и, самое поражающее воображение, — сажание на кол; тогда еще я не слыхивал о шеренгах из посаженных на кол и горящих мучеников, образующих живые факелы, при таком освещении любил ужинать воевода Дракула. На листе было тридцать видов пыток, одна чудовищнее другой.

SUPPLIZI


Anello
Berlina
Bollimento
Ceppi
Crocifissione
Decapitazione
Eculeo
Elettricità
Flagellazione
Fucilazione
Fune
Fuoco
Gabbia
Ghigliottina
Gogna
Graticola
Impiccagione
Interramento
Lapidazione
Maschera del disonore
Palo
Pira
Rogo
Ruota
Scorticamento
Sega
Spiedo
Squartamento
Trascinamento
Vite ai piedi

Зажмурив глаза, после первого взгляда на эту картинку я мог перечислить все изображения по памяти, и тихий ужас, и подспудное возбуждение, овладевавшие мною, — все это принадлежало «мне» прежнему, совсем не «мне» новому, к которому я был еще непривычен.

Немало же я времени, знать, посвятил этой таблице. Что до прочих таблиц в толстом томе, среди них встречались и цветные с яркими картинками (я находил их, не сверяясь с заголовками, следуя простой памяти пальцев). Грибы гимениальные, базидиальные, красивее всех — те, что всех ядовитее: цесарский мухомор с желтым мясом, с красной шляпкой в крупных редких бородавках, белый гриб-зонтик, он же белая скрипица, сатанинский гриб, желтая сыроежка под багровой шляпкой, у которой края оттопырены, будто распяленные в ухмылке толстые губы; на другом листе нарисованы вымершие исполинские неполнозубые — мегатерий и близкие к нему формы, а также мозазавр, мастодонт, моа. Лист музыкальных инструментов — сальпинга, авлос, цитра, кифара, сиринга, олифант, рамзинга, буцина, лютня, эолова арфа и арфа Соломона. Знамена всевозможных государств, называвшихся Кохинхин, Малабар, Конго, Табора, Маратха, Новая Гранада, Сахара, Самоа, Сандвичевы острова, Валахия и Молдавия, и всевозможные средства передвижения: омнибус, фаэтон, фиакр, ландо, коляска, кэб, двуколка, дилижанс, линейка, шарабан, кабриолет, кибитка, этрусская колесница, квадрига, башенка на слоне, повозка, телега, паланкин, носилки, сани, берлина, розвальни, конка. Парусники… а я-то гадал, из каких таких источников был мною усвоен лексикон морского волка: бригантина и бизань, крюйсель, шканцы, рея, конец, шверт, фал, грот-марсель, фок, крюйс-брамсель, кливер, фок-стеньга-стаксель, шкот, гик, грот, кокпит, румпель, фегалс, кнехт, вант, штаг, салинг, шпангоут, такелаж, ставить лисели, лечь в бейдевинд, круче полуветра, тыща чертей в душу боцману, гром и дьяволы, каперская грамота, батарейная палуба, свистать команду наверх, травить фал, выбирать конец, брать риф, крепить шкаторины к нокам, пятнадцать человек на сундук мертвеца. На других иллюстрированных вклейках — старинное оружие: булава, палица, бич, секира, тесак, ятаган, кортик, палаш, алебарда, колесная аркебуза, бомбарда, таран, катапульта, единорог и мортира. Грамматика геральдики — щит, шлем, намет, корона, нашлемник, щитодержатели, девиз, мантия и сень, глава, пояс, оконечность, столб, перевязь, крест, стропило, кайма, щиток…

Это, конечно же, была первая энциклопедия в моей жизни. Немало дней и вечеров я в нее, надо думать, вчитывался. Края страниц затрепаны, многие словарные статьи обведены карандашом, на полях какие-то приписки детским почерком, чаще всего — просто выписаны незнакомые слова. Этой книгой зачитывались до одури, мяли и тискали ее, всасывали, внюхивали, впитывали, многие страницы от этого читательского старания вообще выпали, вывалились.

Значит, вот — фундамент моего образования? Надеюсь, не единственный, хмыкнул я, пробежав несколько словарных статей, кстати говоря — самых исчирканных:

> *Платон.* Знам. греч. философ, крупнейший философ древности. Был учеником Сократа, чью доктрину отразил в своих *«Диалогах»*. Собиратель ценной коллекции редкостей. До 429–347 до н. э.
>
> *Бодлер.* Парижск. поэт, оригинал, истерик, эксцентрик.

Что ж, выходит, можно строить свой дом и на сомнительном фундаменте. Дорасти до умственной зрелости и впоследствии в университете прочесть почти всего Платона. Никто нигде с тех пор ни разу не подтвердил мне, будто Платон действительно был собирателем коллекции. И тем не менее ведь это могло оказаться правдой? Кто знает — может быть, коллекция Платону была важнее всего на свете, а прочее в его жизни являлось только средством зарабатывания на эту самую коллекцию? А что до пыток, ведь это все где-то и когда-то творилось на самом деле. Не думаю, однако, что в нынешних средних школах подробно о них рассказывают. А надо бы. Потому что полезно понимать, из какого теста вылеплены мы с вами, Каиново племя. Значит, я рос, сознавая: человеческий род непоправимо порочен, жизнь — это повесть, исполненная воплей и ярости? И оттого-то, по свидетельству Паолы, я только пожимал плечами в ответ на известия о смерти миллиона детей в Африке? Это не иначе как «Новейший Мельци» привил мне такой скептицизм в отношении человеческой природы? Я листал дальше и дальше:

> *Шуман, Роберт Александр.* Знам. нем. композитор. Автор *«Рая и Пери»,* многочисленных *Симфоний, Кантат* и т. д.

1810–1856. — *Клара*. Выдающ. пианистка, вдова предыд. 1819–1896.

Почему Клара «вдова»? В 1905 году оба уже давным-давно умерли, не пишем же мы, что Кальпурния — вдова Юлия Цезаря? Нет, мы пишем «жена», хотя она Цезаря пережила. Так с какой же стати Клара Шуман именуется вдовою? О, я, кажется, догадываюсь. Милый «Новейший» внимательно отражает не только факты, но в равной степени и сплетни. После кончины супруга (да кто там их разберет, не исключено, что и до) Клара состояла в связи с Брамсом. Вникнем в вышеприведенные даты («Мельци», как дельфийский оракул, не говорит и не утаивает: он намекает). Роберт умер в тот год, когда Кларе исполнилось 37, после чего она прожила еще сорок лет. Чем занималась целые сорок лет выдающ. и недурная собой пианистка? О, Клара вошла в историю именно как вдовушка, и бесстрастный «Мельци» нас об этом проинформировал. А откуда я узнал, кстати, эти интимные подробности о Кларе Шуман? Может быть, «Новейший Мельци» заинтриговал меня, подвиг на собственные разыскания? Кстати, сколько же слов я усвоил благодаря этому «Мельци»? Сколько сведений, сопровождавших меня многие годы с бриллиантовой незамутненностью, даже и при той безумной каше, которая бурлит сейчас у меня в голове, — сведений типа «столицей Мадагаскара является Антананариву»? Именно из «Мельци» я воспринял на всю жизнь звучания и значения терминов, похожих на магические заклинания: бензоин, богоблагодатный, буканьер, вываживать, геенна, гидромедуза, двурушник, догматика, зерцало, клоака, ливер, литания, немирные племена, пагур, плеоназм, реверанс, сита и грохоты, трубы евстахиевы, трубы фаллопиевы, фармакогнозия, фураж, чирьеватость, юница, Адраст, Аллоброги, Ашшурбанипал, Донгола, Кафиристан, Филопатр…

Географические атласы. Некоторые очень старые, изданные до Первой мировой войны, и в них в Африке серо-голубого цвета еще обозначены немецкие колонии. Перевидав на веку достаточно атласов — разве не я только что купил-продал Ортелиуса? — я все же чувствовал, что в этих школьных некоторые названия звучали как-то особо, как-то близко и знакомо, как будто именно от этих ветхих письмен начиналась дорога ко многим иным словесам. Какая связь

между моим детством и Немецкой Восточной Африкой, или Нидерландскими Индиями, или, например, Занзибаром? И все же, сомнений нет, в этом месте, в этой Соларе, каждое слово увязывалось с каким-нибудь другим словом. Разматывая ниточки связей, приду ли я к заветному слову? И что это будет за слово? Может быть, «Я»?

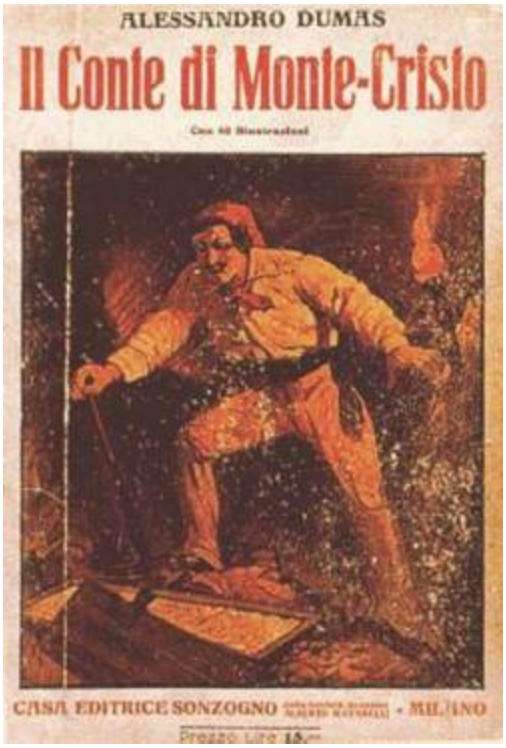
Перешел в свою бывшую комнату. И опять мне примстилось, будто там обретается нечто известное без дополнительных объяснений. Ну, например, мне было почему-то известно, что в словаре Кампанини Карбони отсутствует *merda*. Вот и не узнать, как по-латыни дерьмо. То есть я имею в виду, что вскрикивал император Нерон, когда, приколачивая картину, бухал себе молотком по пальцу? Не говорил же он *Qualis artifex pereo?*[190] Вопросы подобного рода, я думаю, возникали то и дело, а официальная культура абсолютно не помогала ответить на них. Значит, мы обращались к другим, не школьным лексиконам, подумал я. Ну вот, действительно. В «Мельци» имеется «дерьмо» и все его производные: *merda, merdaio, merdaiuolo, merdocco.* Кстати, мердокко — *состав для выведения волос на теле, применяемый преимущественно евреями,* — я, наверно, пытался представить себе, до чего же волосаты, поди, эти евреи… Вдруг опять зажглась во мне мини-лампочка, и я отчетливо услышал голос: — А у меня дома в словаре сказано, что *pitana* — женщина, торгующая сама по себе, *che fa il suo commercio* da sé.

Говорит явно кто-то из моих однокашников, этот кто-то нашарил путану в словаре, в каком — не знаю, но точно не в моем «Мельци». Этот мальчик выговаривает «путана» с диалектным акцентом (фонетически запишу — *pütan'na).* Ох, и долго же меня мучило и терзало это непостижимое «торгующая сама по себе». Что такого запретного в торговле? Даже если женщина торгует без приказчика или, скажем, без бухгалтера? Между тем, конечно, путана в стыдливом словаре торговала «собою», *«faceva commercio* di *sé»,* но мой информант мысленно перевел это сообщение в категории, внятные ему самому и соответствующие тем разговорам, которые велись у него дома за ужином, — «глянь, до чего та-то хитра, ни с кем не делится, знай торгует сама по себе…». Да, должно быть, так оно все и происходило.

Всплыло ли что-то в памяти? Место? Лицо того мальчика? Нет, всплывают только фразы, последовательности слов, что-то когда-то и

где-то вычитанное. *Flatus vocis.*[191]

Красное собрание сочинений никак не могло быть моей собственностью. Или ко мне его переставил дед из своей библиотеки, или его переставили дядя с теткой, для пущего дизайна обстановки. Это был Жюль Верн (серия *«Collection Hetzel»)* в красных переплетах с золотыми обрезами, раскрашенным и позолоченным тиснением на обложке и корешках. Полагаю, что я выучился французскому именно по этим книгам. Их я тоже открывал без раздумий на главных местах — Нед Лэнд в иллюминатор «Наутилуса» смотрит на гигантского спрута; воздухоплавательный аппарат Робура-Завоевателя, истыканный технологичными мачтами; воздушный шар, летящий над самым морем рядом с Таинственным островом (— *Мы поднимаемся? — Нет! Напротив! Мы опускаемся! — Хуже того, мистер Сайрес: мы падаем!);*[192] громадный летательный снаряд, нацеленный на Луну; пещеры в центре земли, упрямый Керабан и Мишель Строгофф… Как же меня волновали эти картинки, всегда на черном фоне, полные белых прогалин, начертанные резкими черными линиями, эти миры, где нет хроматических зон, растушевок, где только графика, царапанье, штриховка, ослепляющие блики на предметах там, где штриховка удалена. Мир глазами животных, у которых особое устройство сетчатки, может, именно такой видят реальность буйволы, собаки или ящерицы. Мир, подсмотренный ночью сквозь жалюзи с частыми-пречастыми расселинами. В эти офорты я входил, как в черно-белый мир литературы, и жил там. А отводя взгляд, выходя из книги, я попадал на слишком яркое солнце, краски жалили зрачок, я ретировался в книгу, как ныряльщик, уходящий в подводную глубину, где не различаются цвета. Кстати, сняты ли по Жюлю Верну цветные фильмы? Чем становится Жюль Верн без черно-белых пунктиров, без глубокого травления, позволяющего свету находиться только там, где резец гравера процарапывал желобки или, наоборот, оставлял выпуклости?



Дед носил к переплетчику и другие издания, с требованием восстанавливать, наклеивая поверх красного ледерина, старые рисованные обложки: «Собор Парижской Богоматери», «Граф Монте-

Кристо», «Три мушкетера» и прочие шедевры массовой романтики.

Две книги, одна на итальянском языке (издательство «Sonzogno»), другая на французском: роман «Капитан Сатана» (в оригинале *«Les ravageurs de la mer»* — «Морские грабители») Жаколио. Одни и те же картинки, кто разберет, по-итальянски или по-французски я эту книгу читал… Еще не открывая, я знал, что где-то есть две жуткие иллюстрации, первая — жестокий Надод топором раскраивает голову доброго Гаральда, с тем чтобы потом убить и Гаральдова сына Олафа впридачу, а вторая — палач Гуттор сдавливает голову Надода своими могучими ладонями, Нададов череп лопается и мозг казнимого брызгает в потолок. При этом глазные яблоки и жертвы, и палача, одинаково выпученные, вылезают из орбит.

Большая часть приключений происходила в ледяных морях, окутанных арктическим туманом. *Полоса белых паров поднялась над горизонтом значительно выше, постепенно теряя сероватый цвет. Вода приобрела совсем молочную окраску… пары как бы отделились на мгновение от поверхности моря… Перламутровые небеса выглядели мутными в контрасте с сияющими твердыми льдами. Тонкая белая пыль в огромном количестве осыпает нас сверху. Пары на южном горизонте чудовищно вздыбились и приобрели более или менее отчетливую форму… Над нами нависает страшный мрак, но из молочно-белых глубин океана поднялось яркое сияние и*

распространилось вдоль бортов лодки… Верхняя часть пелены пропадает в туманной вышине… Мы мчимся прямо в обволакивающую мир белизну, перед нами разверзается бездна, будто приглашая нас в свои объятья. И в этот момент нам преграждает путь поднявшаяся из моря высокая, гораздо выше любого обитателя нашей планеты, человеческая фигура в саване. Нет, нет, запротестовал я. Это уже из другой оперы. Ах так? Молодец, Ямбо, значит, кратковременная память у тебя пока еще в полной сохранности. Значит, ты помнишь, что именно эти слова и образы брезжили у тебя в голове в самый первый момент, когда ты проснулся на больничной койке! Имею основания думать, что цитаты взяты из Эдгара По. Но если цитаты из По так накрепко вработаны в толщу твоей *универсальной* памяти, не потому ли это, что *собственноличная* твоя память, в раннем отрочестве, напиталась бесцветными морями капитана Сатаны?

Я читал (перечитывал?) книгу до самого вечера и с большим запозданием понял, что устал стоять, и, не отрываясь, сел на пол, привалился спиной к стене все с той же книгою на коленях, позабыв о времени, покуда не пришла выводить, меня из транса Амалия: — Опять за свое! Вы попортите глаза! Говорила же покойница бедная матушка! Господи ты боже, и день такой уж ясный, пошел бы погулял себе, сидит взаперти, даром что такая погода… И снова-здорова не обедамши над книгами весь день, ну просто я не знаю, пошли, вперед, говорю, пошли, уже на дворе вечер, надо же хоть поужинать!

А значит, я воспроизвел старинный ритуал. Я был вконец измочален. Ел с аппетитом, как крепкий подросток, которому предстоит расти, набираться сил… потом дополз до кровати. Обычно, по свидетельству Паолы, я долго читаю перед сном, но сегодня никаких книг, лег, закрыл глаза и бай-бай, в точности по маминым рекомендациям.

Сон пришел моментально, мне привиделись южные земли, южные моря и воздушные хлопья крема, размазанные по темным небесам на блюдечке ежевичного варенья.

Глава 7
Вся неделя на чердаке

Чем я прозанимался всю неделю? Читал, большею частью на чердаке. Дни сливались. Я читал беспорядочно и оголтело.

Но читал я не все подряд. Были такие журналы и книги, которые я лишь оглядывал, как рассеянно оглядывают пейзаж, и этого взгляда хватало, чтобы понять, что в них содержится. Как будто из каждого слова высвобождалась тысяча других слов или выползал плотный сжатый пересказ — так распускаются, попадая в воду, японские бумажные цветы. Каждое слово само заскакивало в пространство памяти и принималось там играть в салочки с Эдипом[193] и Гансом Касторпом.[194] А то еще вспыхивал такой искрой иной раз и рисунок. Хороший рисунок имеет силу трех тысяч слов. Многие книги я читал медленно, с наслаждением смакуя фразу, абзац, главу, вновь переживая те исконные эмоции, которые вызывались давним, почти забытым первоначальным чтением.

Не зафиксируешь все разнообразие таинственных пламен, все замирания сердца от этих чтений — кровь бросается в лицо, опять отхлынет, и снова сладкий румянец…

Так всю неделю; чтоб использовать световой день, подымался я с петухами, залезал на чердак и спускался оттуда к ужину. В полдень Амалия, уже не пугаясь и не ища меня по закоулкам, прямо несла мне на чердак хлеб и колбасу или хлеб и сыр, пару яблок и бутылку вина (Иисус, Иисус, вот уж на мою бедную голову, заболеете снова, что я скажу госпоже Паоле, пожалел бы хоть меня, оставил эту затею, ослепнет напрочь!). И уходила с причитаниями, а я выпивал себе почти всю бутылку и листал все, что попало, после бутылки — сильно навеселе, по каковой причине не в состоянии четко восстановить, что прочитывалось раньше, что — позднее. Порой я спускался с чердака, таща пуды книг в обеих руках, и растягивался где-нибудь на пленэре.

Прежде чем ухнуть с концами на тот чердак, я позвонил домой и сообщил краткую сводку последних известий. Паола стала расспрашивать, что я думаю и чувствую, но я не вдавался в подробности:

— Изучаю обстановку, погода хорошая, гуляю, Амалия на высоте.

Паола спросила, ходил ли я в аптеку мерить давление. Что это следует делать раз в два или три дня. Что мы уже знаем, какие иначе могут быть неприятности. И главное — не забывать таблетки утром и вечером.

После чего, с не самой чистой совестью, хоть и оправдывая свой поступок стопроцентной производственной необходимостью, я набрал номер своего офиса. Сибилла подняла трубку. Да, она работает над каталогом. Через две-три недели будет готова верстка. Я выдал несколько отеческих назиданий, мы распрощались.

Спросил себя, все ли я еще неравнодушен к Сибилле. Странное дело, но первые дни в Соларе сильно переменили угол зрения. Сибилла стала превращаться во что-то вроде давнего детского воспоминания, а то, что я откапывал из-под туманов прошедшего времени, становилось моим *present.*

Амалия говорила, что на чердак ходят через левый флигель, я навоображал себе винтовую деревянную лестницу, однако вместо того обнаружилось, что лестница вовсе даже и каменная с удобными ступеньками, и действительно, как бы иначе туда смогли затаскивать кипы и груды разносортного барахла?

Кажется, я никогда до тех пор не бывал ни на каких чердаках. Да и в подвале ни в одном, честно сказать, я до того не был, но приблизительно представлял себе, на что похожи подвалы, подземные, темные, сырые, всегда прохладные, куда ходить следует со свечой. Или же с факелом. Готические романы набиты подземельями, там мрачно рыщет монах Амбросио.[195] Бывают природные подземелья, такие, как томсойеровская пещера. Таилище темнот. Во всех городских домах имеются подвалы. Чердаки же имеются не повсюду, поскольку нередко в городах их перестраивают в пентхаузы. Неужто не существует литературы о чердаках? И что такое *Неделя на чердаке? Huit jours dans un grenier?* В памяти замаячило это название, но без четких фактических координат.

Хоть я разведку боем и не производил, но было ясно, что чердаки в Соларе занимают и центральный корпус, и оба флигеля. Входишь в

пространство, которое тянется от фасада до тыла здания, и открываются узкие проходы с перегородками, разделяющими чердак на отсеки, образованные то металлическими стеллажами, то старыми шкафами с ящиками, и это создает впечатление муравейника, необъемлемого лабиринта. Я вошел в левый коридор, два-три раза повернул за угол и уткнулся носом во входную дверь.

Первые впечатления. Во-первых, жара: понятно, это же под крышей. Во-вторых, свет, проникающий сквозь слуховые окна. Эти окна видно и со двора. Изнутри, впрочем, окна заставлены какою-то рухлядью, почти непроницаемо заслонены, так что свет проходит порциями. В режущих желтых лучах пляшут бессчетные корпускулы, следовательно, в окружающей темноте они тоже пляшут, монады, семечки, первобытные атомы, вовлеченные в броуновскую катавасию, первичные тельца, мельтешащие в пустоте, — кто это описывал их, Лукреций? Периодически луч переламывается о стеклышко в дверце старого буфета, откалывается солнечный зайчик. Взгляд попадает в пыльное зеркало, в котором пространство неожиданно кренится. И снова — пятна света на стене, света, прошедшего сквозь вековые напластования палых листьев, прошедшего через выпоты талых вод, застывшие потеками на застекленных окнах чердака.

Наконец — колорит. Колорит чердака задан балками, дощатыми ящиками, картонными коробами, покоробленными шкафами, это густой столярный цвет, смешанные мазки коричневого — от рыжего мебельного до палевого некрашеных досок, сероватая масть кленовой древесины, бурый колер растресканного лака на комодах, вкрапления белесоватости — из ящиков и коробов выглядывает бумага.

Подвалы — преддверие ада. Чердаки — это сильно недоделанный рай, в котором мертвые тела пресуществляются в лучистый прах. Кущи Элизия без намека на зелень; пересохшие джунгли; не то искусственные плавни, не то недогретая сауна. Я подумал, что не одни подвалы знаменуют материнскую утробу, напитанную околоплодной влагой, — и в чердаках также имеется что-то от матки с ее живительным, жизнехранящим теплом. В этом нестрашном лабиринте, откуда лишь высади пару черепиц, и проклюнешься на свет божий, — витает уютный запах затхлости, запах успокоения.

Да вскорости я и жара-то уже не замечал, погруженный к угар лихорадочного любопытства. Несомненно, клад коровы Кларабеллы

таился тут. Знай копай, где намечено. Но где намечено копать — я не знал.

Я продирался сквозь вездесущую паутину. Мышей гоняли коты, согласно утверждениям Амалии, но пауков-то не гонял никто. И если они не запростали тенетами все без исключения пространство, то лишь благодаря естественному отбору. Одно поколение вымирало, созданные тем поколением паутины истрепывались, начинался новый цикл паутиноплетения, и так шли годы.

Я брал в руки и разглядывал предметы на ближних полках, рискуя обвалить шатко поставленные коробки. Коробок было немало — видимо, дед не выбрасывал никакие коробки, а в особенности металлические с рисунками и жестяные с рельефами. Коробка от печенья «Вамар» (амурчики на качелях), коробка от таблеток «Арнальди», коробка с золочеными ребрами и цветочным орнаментом от бриллиантина «Кольдинава», жестянка из-под перышек «Перри», торжественно посверкивающий гробик с карандашами «Пресбитеро», внутри — сохранна вся шеренга карандашей, выстроенных как в патронташе, а вот и вынулась, ну наконец, здравствуй же, коробка из-под какао «Тальмоне — *Due Vecchi* — Два долгожителя»: старушка наливает довольному пенсионеру пользительный напиток, старичок у нее такой допотопный, что одет в кюлоты (то есть обмундировывался до Великой французской революции). Я не мог отделаться от чувства, что эта картинка — семейный портрет дедушки и почти не виденной мною бабушки.

Потом я добрался до коробки и до банки, датируемых, похоже, концом девятнадцатого века — шипучка «Бриоски»! Тонные джентльмены пригубляют из бокалов столовые воды, подаваемые милашкой горняшкой. Мои руки вспомнили сами. Надрывается первый пакет с белым тоненьким порошком и содержимое осторожно всыпается в бутылочное горло. В бутылке водопроводная вода. Потом легонько поколыхиваешь бутылку, чтоб порошок в воде растворился, отлип от внутренности горла, вслед за чем берется совсем другой пакетик, в котором гранулы как маленькие кристаллы, и тоже всыпается в бутылку, но на сей раз быстро и решительно, вода в бутылке моментально закипает, и тут же нахлобучить пружинистую крышку, а после этого ждать осуществления химического чуда в этом первичном бульоне, где булькает и всхлюпывает хаос и пузырьки пихаются во все щели под резиновой крышечной прокладкой, стремясь прорваться. Наконец утихомиривается гроза и шипучая столовая вода готова к употреблению, шампанское для детей, домодельная минералка. И я сказал себе тогда: *вода Виши.*

И тут же у меня в руках материализовалось нечто новое, в точности как в тот первый день альбом про корову Кларабеллу. Еще одна коробка, более позднего производства, которую мне поручалось открывать перед обедом, до того как все рассядутся за столом. Вон она, вон стоит на краю. Рисунок несколько изменён, опять же джентльмены, опять же потягивают из бокалов чудодейственную воду, но на столе у них красуется такая же коробка, как та, которую я держу; а на изображенной коробке показаны сами они, джентльмены, потягивающие Виши перед столом, на котором изображена коробка, где показаны они… До бесконечности. Я веровал, что, будь у меня микроскоп, я углубился бы в туннель, рассматривая рисунки на коробках, изображающие все те же коробки, — композиция *en abîme*[196] (это точный термин; тот же принцип у китайских шкатулок или у матрешек). Бесконечность, данная в наглядности ребенку еще до его знакомства с парадоксом Зенона. Гонка за недосягаемой целью. Ни черепахе, ни Ахиллу не дотащиться до последней коробки с последними джентльменами и с последней услужливой субреткой. Так в младенчестве нам даруется метафизика бесконечности, математика бесконечно малых, хотя и без объяснений — на интуиции, так что вместо бесконечного прогресса может вообразиться и бесконечный откат, страшное предвестие, ненавистничающие эры тянут одна другую за хвост, предела нет, не существует завершающей коробки, а

существуй эта завершающая, может, открылся бы взгляду наблюдателя на дне водоворота он сам, прижимающий к груди первую коробку. Отчего я выбрал профессию букиниста-антиквара? Хотелось иметь безусловную точку отсчета. День, в который Гутенберг отпечатал первую библию в Майнце. День сей крепок и единосущ! Общеизвестно, что до того дня не было ничего. На нем можно построить веру. На него можно поставить ногу. Все предшествовавшее — не для букинистов, а для палеографов. Моя профессия датирована четко. Нынешние пять с половиной веков. А все благодаря тому, что дитятей я напугался, размышляя о бесконечности перед коробкой порошка для Виши.

В подкровелье хранилась уйма добра, ни у деда в кабинете, ни во всех прочих комнатах дома оно, как ни бейся, не разместилось бы, поэтому я понял, что, даже когда кабинет был еще набит вещами, многие книги пребывали на чердаке и это было их место. Так что и в детстве я наведывался в лабиринт. И в отрочестве это были Помпеи, где я откапывал древнюю жизнь. В точности как сейчас — внюхивался в былое бытие. Нынешняя рекогносцировка — повторение прошлых походов.

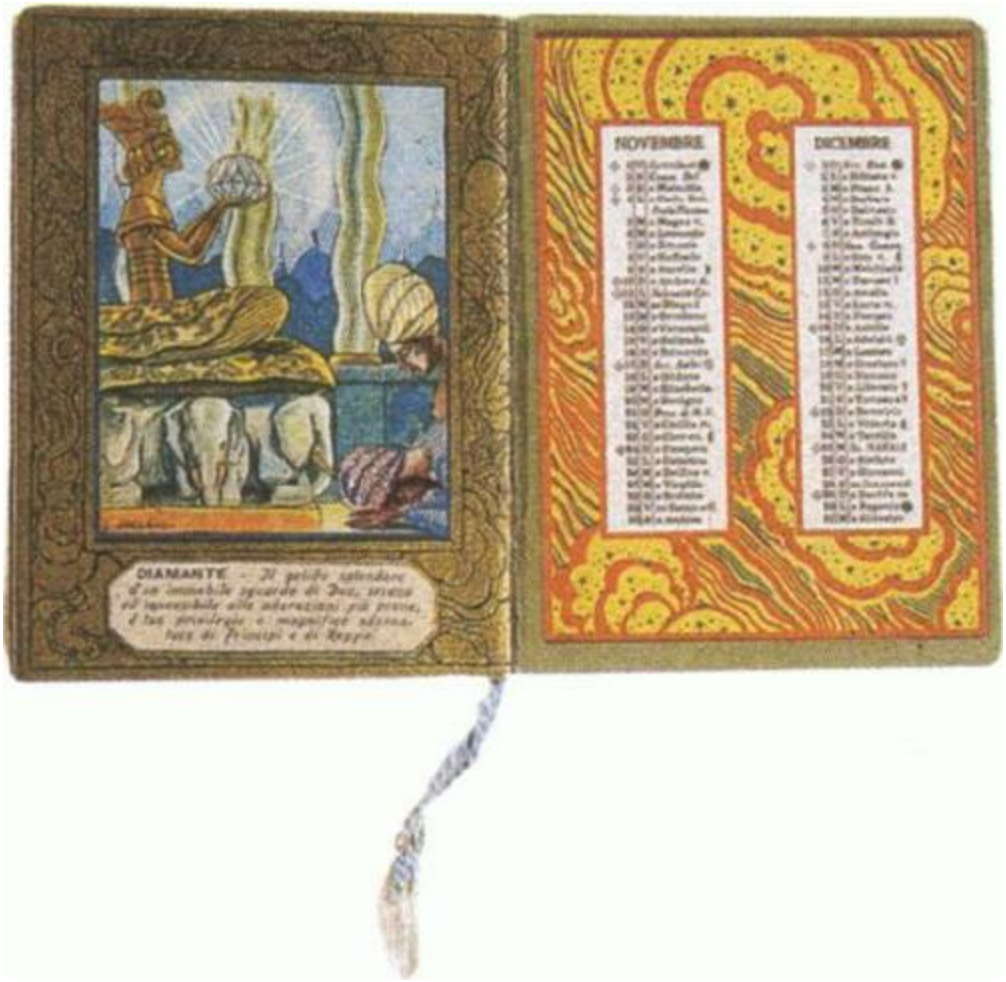
Подле жестяных коробов, в картонном ящике, хранились сигаретные пачки. Боже, он и это собирал, оказывается, дед. Думаю, немало энергии уходило на выпрашивание у путешественников, у заезжих из дальних мест. Ведь тогда коллекционирование повседневных предметов не было популярно, как в наши времена. В ящике обнаружились совершенно неслыханные сигареты: *«Mjin Cigarettes»*, *«Makedonia»*, *«Turkish Atika»*, *«Tiedemans Birds Eye»*, *«Calypso»*, *«Cirene»*, *«Kef Orientalske Cigaretter»*, *«Aladdin»*, *«Amiro Jakobstadt»*, *«Golden Est Virginia»*, *«Al Kalif Alexandria»*, *«Stanbul»*, *«Sassja Mild Russian Blend»*. Роскошные картинки на пачках, с изображением визирей и пашей, с одалисками — как на *«Cigarillos Excelsior De la*

Abundancia», или с подтянутыми английскими моряками в бело-синих кителях, при подстриженных бородках а-ля король Георг, пятый, что ли. Другие пачки, я их, казалось, узнавал в лицо, вспоминал их в руках у дам: слоновой кости картон, этикетки *«Eva», «Serraglio»*, затем пачки бумажные, мятые, жеваные, от пролетарских сигарет *«Africa»* и *«Milit»*, которые никому не пришло бы в голову собирать, кроме дедушки, слава небесам, что он вытащил их из какой-то мусорной урны и заколлекционировал.

Не менее десяти минут я пролюбовался на расплющенную жабу — мятую оболочку от *«Sigarette Macedonia»*, 10 штук, 3 лиры, покуда губы мои не произнесли: — Дуилио, от этой «Македонии» у тебя пальцы желтеют…

Об отце я не знал еще почитай ничего, кроме того, что он точно, непременно, бесспорно курил «Македонию», и — подумать только — ровно-таки эту, вытянутую из вот этой пачки, а мама пеняла ему на пожелтевшие от «Македонии» пальцы. «Они уже как хинные пилюли». Я начинал реконструировать образ отца с танинной бледной желтизны. Небогато, но достаточно, чтобы оправдать все мое паломничество в Солару.

Потом я опознал и содержимое соседнего ящика, откуда до сих пор повanивало грошовыми духами. О, эти штучки и ныне еще всплывают на коллекционерских распродажах. Но сколько же они стоят теперь! Недавно я как раз приценивался на площади Кордузио… Парикмахерские календарики, просандаленные ароматической эссенцией до такой невообразимой степени, что и через пятьдесят лет от них несет кокотками, кринолинами и декольте, красотками на качелях, безумными поклонниками, восточными танцовщицами и египетскими царицами… Дамские Укладки Былых Эпох. Красотки — Талисманы Успеха. Итальянские Звезды: с Марией Дени и Витторио Де Сика. Наше Величество Женщина. Саломея. Душистый Альманах Стиля Ампир с Мадам Сен-Жен. Весь Париж. Лучшее мыло «Кэнкэн», универсальное туалетное мыло убивает микробы, незаменимо в тропическом климате, против скорбута, малярии, сухой экземы (так!) — и неизвестно почему с монограммой Наполеона. Первая из картинок — великий император, узнающий от турка о грандиозном открытии и повелевающий его внедрить. Нашелся и календарик с поэтом Д'Аннунцио. Ни капли совести у брадобреев.



Примечание к рисунку[197]

Примечание к рисунку[198]

Я принюхивался опасливо, точно лазутчик. Парикмахерские календарики вполне были способны разжечь подростковое воображение. Допускаю, что от меня их прятали. По всей видимости, в подкровелье происходило формирование моей ранней сексуальности.

Солнце отвесно лупило в чердачные проемы, я все не удовлетворялся многим виденным. Не находил ни одного предмета, который был бы только моим, вполне моим… Хотя вот еще комод, я выдвинул ящик: комод был набит игрушками!

В нашем крыле я успел посмотреть на игрушки внуков (яркая пластмасса и электронные компоненты). Когда я подарил Сандро пароходик, тот сразу предупредил меня, чтоб не выбрасывал упаковку, где-то прицеплена батарейка… Мои собственные игрушки были из дерева и из жести. Сабли, пробковые ружья, детский пробковый шлем времен покорения Эфиопии, целая армия оловянных солдатиков и каких-то еще побольше из хрупкого материала, с отскочившими головами, без рук или только с проволочкой на месте утраченной руки, и на проволочке подрагивают осколки крашеного гипса. Эти сабли, эти инвалиды были моими товарищами во все дни детства, в те мои славные боевые дни. Конечно, в предвоенное десятилетие любой мальчик обязательно воспитывался так, чтобы он обожал войну.

Во втором ящике — куклы моей сестры, может даже перешедшие от матери, может даже унаследовавшей их от матери (были же на свете времена, когда игрушки наследовались): фарфоровые личики с розовыми губами и пламенеющими щечками, тюлевые платья; до сих пор они не разучились закрывать глаза. Одна кукла при перекладывании тихо сказала «мама».

Вперемешку с ружьями там и сям были навалены какие-то удивительные, выпиленные из дерева плоские солдатики в красных кепи, синих мундирах и красных брюках с желтыми лампасами, внизу имелись колесики. У них были не военные лица, а дурашливые, носы картошкой. Я моментально решил, что это солдатики капитана Картошки из Потешной роты. Я был уверен, что их именно так следует называть.

Наконец я извлек жестяную лягушку, пожмешь ей пузо, и она глухо квакнет. Ну если тебе совсем не хочется сливочных драже доктора Озимо, всплыло в голове, то посмотри, какая лягушка. Какая связь между лягушкой и доктором? Кому кто сказал «посмотри»? Неизвестно. Требует размышлений. Поэтому я засунул лягушку в карман.

Я засунул в карман лягушку и заподозрил, что Мишка Анджело в смертельной опасности. Кто такой Мишка Анджело? Как он связан с

железною жабкой? Что-то трепещется. И жабка, и Анджело-Мишка меня привязывали к какому-то человеку, но стерильная проклятая словесная память не отвечала на мольбу. Впрочем, выскочили стишата: *Va a iniziare la sfilata, Capitano La Patata. Марширует по дорожке Капитан Картошка.* Дальше — настоящее время, тишина, орехового колера спокойствие подкровелья.

На второй день заявился Мату. Он вспрыгнул ко мне на колени, я как раз ел, и получил корочку от сыра. Выпив традиционную бутылку вина, я слонялся без толку, покуда не увидел два шатких шкафа против застекленного проема в крыше. Шкафы были подперты клинышками. Я сумел открыть один, не свалив, но с отъехавшей дверцей рванулось наружу все книжное содержимое. Оно налетело на меня, как стая сычей, нетопырей, полунощников, много веков протомившихся в неволе, ватага джиннов из бутылки — тебя-то и ждали, неосторожный, горе тебе, горе тебе.

Одни оползали к моим ногам, другие переполняли руки — я ведь успел какие-то подхватить, — целая библиотека, а может, товар из дедового магазинишки, неликвиды, удержанные тетушкой и дядей.

Никогда бы мне не переглядеть всю эту груду, но я то и дело воспламенялся вспыхивающими и гаснущими узнаваниями. Книги были на разных языках, разного времени, от некоторых названий таинственное пламя вообще не вспыхивало, поскольку они принадлежали к общеизвестному культурному слою, — допустим, старые переводы русских классических романов. Но если взять хоть один такой том и перелистать, чувствуешь укольчик — о, этот старомодный итальянский язык, излетавший из уст переводчиц с двойными фамилиями (своя и мужнина), которые переводили, как указывается на фронтисписе, с французского, отчего у героев образовывались фамилии на *ine* — Мышкине, Рогожине.

Торкнешь листы — рассыпаются под пальцами, видно, причина в том, что вся эта бумага пролежала десятилетиями в гробовой темноте — не выносит света. Крошатся поля, отламываются истонченные уголки.

Я приник к «Мартину Идену» — сразу за последнюю фразу, пальцы отыскали самостоятельно, Мартин Иден, на пике славы, кидается в море из иллюминатора океанского лайнера, чтобы умереть, рухает во тьму и уже чувствует, как вода проникает к нему в легкие, понимает в последний миг просветления нечто чрезвычайно важное о

жизни, может быть, о смысле жизни, но *в миг, когда он узнал это, он перестал знать.*[199]

Требовать ли от жизни последней истины, если, овладев последней истиной, мы рухаем во тьму? Поставленный по-новому вопрос бросил тень на все, чем я был занят. Стоила ли цель таких усилий? Не дар ли это судьбы — забыть? Однако, начавши, остановиться я уже не мог.

Примечание к рисунку[200]

Примечание к рисунку[201]

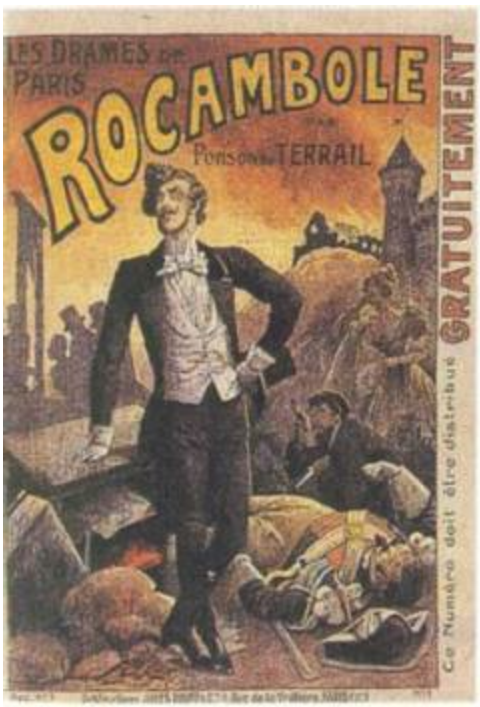
Провел день, почитывая оттуда и отсюда и порой понимая, что шедевры, укомплектовавшие мою универсальную взрослую память, всаживались в памяти в готовые лунки, сформированные детскими и

юношескими чтениями адаптаций и пересказов из серии «Золотая лестница» *(«Scala d'Oro»).* Мне были знакомы стихи из сборника «Корзина» («Il Cestello», автор Анджоло Сильвио Новаро: *Che dice la pioggerellina Di marzo che picchia argentina Sui tegoli vecchi del tetto, Sui bruscoli secchi dell'orto? (Что говорит весенний дождь, Который бьет по крыше вдрожь И мочит жухлое былье И прошлогоднее жнивье?)* Или вот другой стишок: *Primavera vien danzando, Vien danzando alla tua porta, Sai tu dirmi che ti porta? Ghirlandette di farfalle, Campanelle di vilucchi. (Весна, танцуя, прилетает, С дарами, с полными руками. Из бабочек венки свивает, Из колокольчиков с вьюнками.)* Понимал ли я в те времена такие слова, как «жнивье» и «вьюнки»? Не успел я задуматься — взгляд упал на книжки из серии «Фантомас» — «Лондонский висельник», «Алый шершень», «Пеньковый галстук», погони по парижским катакомбам, девы, встающие из могил, четвертованные трупы, отсеченные головы и сам он, князь преступного мира, в черном трико, вечно воскресающий и оглашающий сатанинским смехом ночной подземельный Париж.

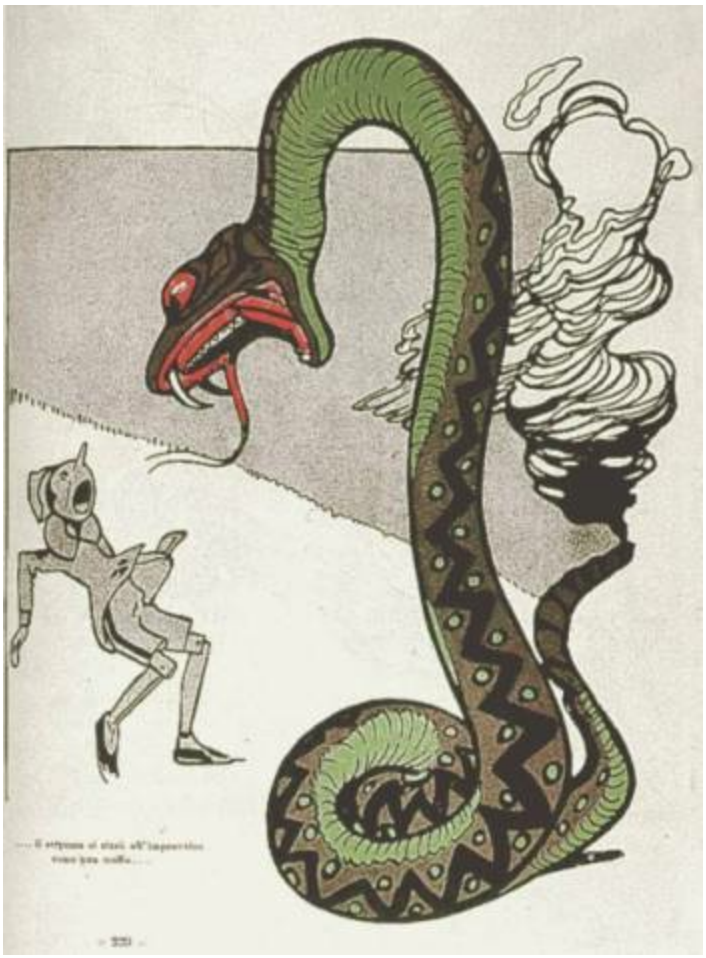
Это была серия «Фантомас»,[202] а вот и серия «Рокамболь» — еще один великий гений преступности, я открыл «Лондонские тайны» и прочел следующее:

> От юго-западного угла Веллклоуз-сквер отходит улочка шириной в три метра. На середине этой улицы расположен театр, где лучшие места по двенадцать пенсов, а в партер пускают за пенс. Герой-любовник — негр. В зале курят и пьют, проститутки входят в ложи босые, в первых рядах сидят воры.

Я поддался соблазну и отдал этот день беспринципных горячечных чтений Фантомасу с Рокамболем, вперемешку с историями о другом негодяе (тот был настоящим джентльменом — Арсен Люпен[203]) и с романами про последнего ловкача, ну совсем уж аристократа, про изысканного Барона, похитителя драгоценностей, мастера переодеваний, англосакса по облику. Вероятно, художник-иллюстратор, итальянец, был англофилом.



С трепетом я перелистал «Пиноккио» в чудном издании с иллюстрациями Муссино (1911), потрепанные страницы, облитые кофе с молоком. Старый известный сюжет «Пиноккио», сколько раз я занимал им по памяти своих внуков, а тут вдруг открыл — и задохнулся, таким ужасом веяло от картинок, отпечатанных только в две краски, желтую с черной или зеленую с черной, в пандан завитушечным виньеткам стиля либерти вилась кучерявая борода Кукольника, зловеще струились лазурные кудри Феи, и еще страшнее выглядели ночные призраки-Грабители и развернутый зев Зеленого Рыбака. Не забивался ли я с головой под одеяло в грозовые ночи, насмотревшись тех пиноккиевых картинок? Недавно я спросил Паолу, а не вредны ли для детских нервов все эти фильмы с насилием и с оживающими трупами, которые гоняют по телевизору. Она мне ответила, что за годы работы ни разу не встречала детей, невротизированных кинофильмами, за исключением одного: ребенок был необратимо травмирован «Белоснежкой» Уолта Диснея.



Примечание к рисунку[204]

Потом я обнаружил, что аналогичный устрашающий бэкграунд был и у моего собственного имени. Вот он, роман «Приключения Вихраста» *(«Le Avventure di Ciuffettino»)*, автор — Ямбо (*Yambo)*,[205] и тем же Ямбо были написаны другие приключенческие книги, с иллюстрациями в стиле либерти — с угрюмыми пейзажами, с наскальными замками, черными на фоне черной ночи, с призрачными лесами, по которым рыщут огнеглазые волки, с подводными видениями а-ля Жюль Верн (перелицованный, одомашненный), а Вихраст был маленький миленький пострел с задорным хохолком: *этот чуб придавал ему забавный вид, он походил с ним на веник. Однако самому Вихрасту чуб нравился!* Вот откуда Ямбо, то есть вот откуда я, по собственному сознательному выбору. Что ж, это лучше, чем отождествляться с Пиноккио.

Так значит, вот оно какое, мое детство? Или еще хуже? Следующим культурным пластом в толще книг были сборники, завернутые в синюю бумагу из-под сахара и стянутые резинками, — выпуски «Иллюстрированного журнала путешествий и приключений на суше и на море». Выпуски были еженедельными, коллекция деда охватывала первые десятилетия века. Рядом — их французские аналоги, «Путевые дневники» *(«Journal des Voyages»).*

На картинках — злобные пруссаки, доблестные зуавы, но больше всего внимания уделялось разнузданным жестокостям, совершающимся где-то под далекими небесами. Посаженные на кол китайцы-кули. Полунагие девы на коленях перед зловещим Советом десяти. Гирлянды отрубленных голов на карнизе мечети. Избиение младенцев, убийцы — туареги, вооруженные ятаганами. Тигры загрызают пленников. Похоже на вклейку о пытках из «Новейшего Мельци». Садисты рисовальщики в припадке сладострастия давали себе полную волю, обложки этого

журнала являли собой парад сил Зла во всех его формах.

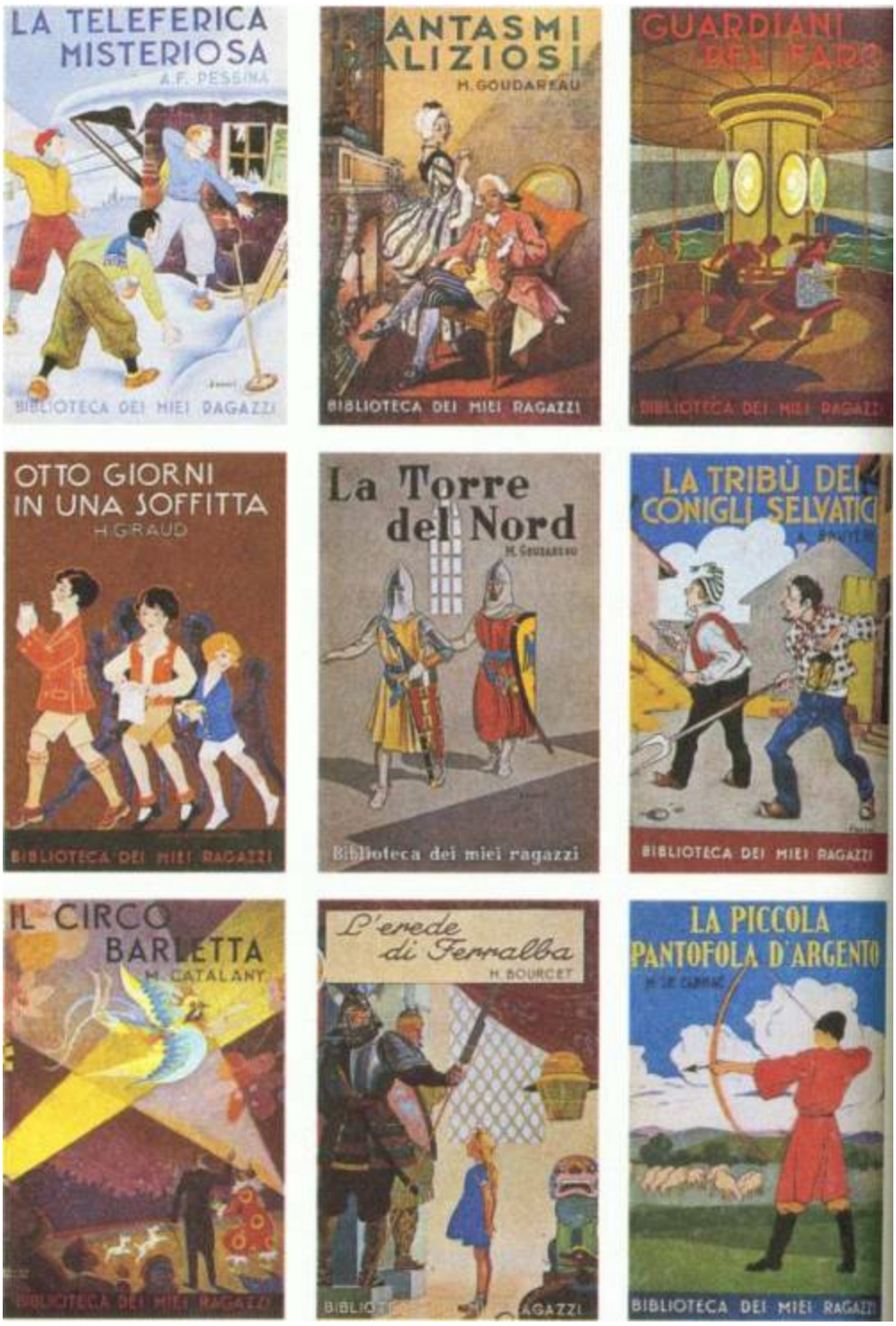
Примечание к рисунку[206]

Ошеломленный этим изобилием, одеревенев от скрюченных бдений на чердаке, я перетащил все журналы в залу, заваленную яблоками, со входом со двора. Жара стояла невообразимая, и яблоки, как я почуял, начинали плесневеть. Хотя потом я внюхался и понял: плесенью пахнет от журналов. Как им удалось сохранить запах сырости после полувека на сухом чердаке? Вероятно, в холодные дождливые месяцы чердак становился гораздо менее сухим? А может, перед тем как

попасть на чердак, эти бумаги несколько десятилетий пролежали в чьем-нибудь подвале, где со стен сочилась вода, перед тем как дедушка откопал их там и тем самым спас (дедушка, думаю, как и я, хаживал ко вдовам), и в подвале они успели до того отсыреть, что даже под жаркой крышей не продублялись. Однако, пока я вчитывался в страшные мести и жестокие казни, душок плесени подсознательно навевал не образы терзаний, а образы волхвов и младенца Иисуса. Почему, отчего, зачем, откуда эти волхвы и какое отношение имеют волхвы ко злодействам в Саргассовом море?

Как бы то ни было, проблема в другом. Если все эти истории я читал, если во все эти обложки я внимательно вглядывался, то как же я мог разделять мировоззрение типа *весна царит вокруг, пропитан ею воздух и земля?*[207] Возможно ли, что мне было дано инстинктивное умение отделять мир нежных семейных чувств от мира приключений, жестокого и гран-гиньольного, с четвертованиями, сдираньем кожи, кострами и виселицами?

Первый шкаф я опустошил, хоть прочел не все. На третий день я полез в следующий шкаф, не такой набитый, книги в нем были поставлены по порядку, видно, тут уж не дядя и тетя заталкивали в шкаф старый хлам, от которого мечтали избавиться и забыть. Видно было, что эти-то ставил дедушка — и гораздо раньше. Или даже, кто знает, я сам. Детская и подростковая литература. Может, это моя личная библиотека?



Примечание к рисунку[208]

Я вытащил всю «Библиотечку для юношества», *«Biblioteca dei miei Ragazzi»* издательства Салани, мгновенно опознав ее по обложкам, названия я мог предугадать, даже не вынимая тома, почти с той же сноровкой, с которой мы читаем каталоги конкурентов, которая

позволяет нам у каждой «книжной вдовы» опознавать главные сокровища — «Космографию» Мюнстера или «О смысле вещей и волшебства» Кампанеллы.

Так шестым чувством я вычислил томики «Мальчик из воды», «Наследие цыгана», «Приключения Цветанки Солнечной», «В стране лесовых зайцев», «Коварные привидения», «Призраки Казабеллы», «Разрисованная тележка», «Северная башня», «Индийский браслет», «Тайна железного человека», «Барлеттский цирк»…

Будешь перечитывать все от корки до корки не сходя с места, на чердаке, скрючит тебя хуже Квазимодо. Я набрал полную охапку и поволок вниз. Можно было бы пойти в кабинет или расположиться в саду. Но я, похоже, замыслил кое-что иное. Задворки дома. Я повернул направо, туда, где похрюкивали боровки и вскудахтывали куры. За Амалииным крылом был старый курятник — настоящий, совсем как в народной сказке, куры там ковырялись в торфе, дальше располагались клетки с кроликами и сарай для назема. На нижнем этаже были большие клети для инструмента, вил, лоханей, ведер для известки и старых бадей. Через гумно шла тропа во фруктовый сад, богатый и тенистый, первым соблазном было — усесться на яблоневую ветку верхом и читать книгу там. Видимо, в подростковом возрасте я там и читал. Но не на пороге же шестидесятилетия — осмотрительность и еще раз осмотрительность! Ноги несли меня мимо, по какой-то каменной лесенке в закругленное пространство, что-то вроде низенькой, увитой плющом ступы. Прямо против входной бреши журчал фонтанчик, с клекотом извергалась вода, дул ветерок, молчание было безбрежное, и я, свернувшись на приступочке в плюще, отдался чтению. Что же меня привело сюда. Думаю, в старину я читал как раз тут и как раз эти книги. Я последовал инстинкту. Свернулся и запрыгнул в свои книги. Двигаться в их среде было легко — каждая картинка выводила за собой сюжет.

Некоторые книги, с характерными обложками сороковых годов, — «Таинственный фуникулер» или «Саэттино, резвый миланский рысак», даже и по фамилиям авторов опознавались как итальянские. Но большинство составляли собой переводы с французского произведений неких Б. Бернажа, М. Гударо, Э. де Сиза, Ж. Розмера, Валора, Р. Бебра, С. Перонне, А. Брюйера, М. Каталани — гулкий парад безвестностей, думаю, что среди сочинителей были такие, которых итальянский

издатель даже не знал по имени и публиковал просто под фамилией. У деда были и французские оригинальные издания, выходившие в *«Bibliothèque de Suzette»*. Итальянские переводы делались через десять лет, через двадцать, так что на картинках была представлена реальность никак не позднее двадцатых годов. В детстве я, соответственно, вдыхал приятно-замшелую и устарелую атмосферу, и это к лучшему: все уютно укладывалось в мире вчерашнем, описывалось господами, которые по всем приметам больше смахивали на жеманных дам, пишущих для барышень из бомонда.

В конце концов мне начало казаться: все эти книги рассказывают одну и ту же историю. Трое или же четверо юных отпрысков приличной семьи (родители которых по неизвестной причине всегда бывают в отъезде) наносят визит своему дядюшке в старинном замке или в каком-то необычном доме и после ряда увлекательных и таинственных приключений исследуют подполья и башни, находят сокровища, разоблачают негодяя управляющего, обнаруживают документ, в силу которого обедневший род восстанавливает права на богатства, которыми завладел злокозненный кузен. Счастливый конец, доблесть юных героев вознаграждается под добродушное журенье дядюшек или дедушек: безрассудная храбрость благородна, но до чего рискованно было подвергать себя опасностям!

Что все эти сюжеты вызревали во французском мире, видно было по камзолам и по сабо крестьян, но переводчики творили чудеса, переозвучивая имена на итальянский лад и выворачивая фразы так, чтобы действие разворачивалось в какой-то из итальянских областей, вопреки пейзажам и архитектуре, то бретонским, то овернским.

Я сличил два издания явно одного текста (автор М. Бурсе), который в издании 1932 года имел название «Наследница Ферлака» *(«L'erede di Ferlac»)* (и имена героев были французские), а в издании 1941 года стал именоваться «Нанаследница Ферральбы» *(«L'erede di Ferralba»)* (и персонажи превратились в итальянцев). Должно быть, в наблюдаемый промежуток времени вышло какое-то идеологическое постановление, а может быть, сама по себе внутренняя цензура побуждала переводчиков итальянизировать все что могли.

И, слава небесам, разъяснилась фраза, жужжавшая у меня в ушах уже несколько дней: в серию входила повесть «Неделя на чердаке»

(имелось и оригинальное издание — *«Huit jours dans un grenier»),* прелестная история о сестре и брате, тайно приютивших на чердаке виллы Николетту, девочку, убежавшую из дому, — трудно было сказать, зародилась ли во мне любовь к чердакам после чтения этой книги, или книгу я полюбил за то, что в ней описывалась моя приязнь к чердакам. Не потому ли я назвал свою дочку Николеттой?

Компанию Николетте составлял великолепный черный ангорский кот Мату, вот все и объяснилось. На картинках были изящные и элегантные подростки, одетые в кружева, белокурые, и точно такими же выглядели на рисунках их мамы, с красивой короткой стрижкой, в платьях с заниженной талией, юбками до колен и тройными воланами, с аристократичной небольшой грудью.

В эти два дня в ступе у фонтана, досиживая до захода солнца, когда читать становилось невозможно и можно было только рассматривать картинки, мне думалось, что «Библиотечка для юношества», безусловно, сформировала мой вкус, нацеленный на приключения, но приключения понятные и домашние: даже если писатель носил иностранное имя *Catalany,* с игреком на конце, моя душа искала героев с именами Маурицио и Лилиана.

Воспитание в духе национализма? Этих детей мне преподносили как отважных соотечественников, живших и действовавших в чужой обстановке за несколько десятилетий до моего рождения?

Фонтанное сидение кончилось, я снова наведался в подвал и подцепил там целую кипу, обвязанную веревкой, не менее тридцати

журналов по шестьдесят чентезимо штука, — с приключениями Буффало Билла. Они были сложены не по порядку, но взгляд на самую верхнюю обложку вызвал к жизни целый залп таинственных пламен. «Бриллиантовый медальон»: Буффало Билл, нахмуренный, с занесенными кулаками, кидается на преступника в красной рубашке, угрожающего пистолетом.

Глядя на верхний, одиннадцатый выпуск, я понял, что знаю названия остальных — их не видя. «Маленький курьер», «Приключения в лесу», «Дикарь Боб», «Рабовладелец дон Рамиро», «Проклятое поместье»… Поразительно, что на обложках стояло название «Буффало Билл — герой прерий», а на титульном листе было «Буффало Билл — итальянский герой прерий». Ситуация (по крайней мере для букиниста) была совершенно прозрачной, учитывая год выпуска — 1942 и объявление на первом номере нового годового комплекта жирным шрифтом, гласившее, что Уильям Коуди — это просто псевдоним Доменико Томбини, итальянца из Романьи (то есть из родных мест нашего дуче, вот что требовалось сказать, хотя сказано и не было). В 1942 году уже шла война с США, по-моему, во всяком случае. Этим-то все объяснялось. Издатель Нербини из Флоренции цветные обложки печатал загодя, во времена, когда Уильям Коуди мог еще себе спокойно быть американцем. И вдруг выходит постановление, что героический персонаж может быть только итальянцем. Что прикажете делать? Не выкидывать же отпечатанные цветные обложки. Переверстывали только первый черно-белый лист.

Примечание к рисунку[209]

Забавно, подумал я, задремывая над последним приключением Буффало Билла: меня вскармливали французскими и американскими приключенческими байками, наскоро закамуфлированными под итальянские. Вот, оказывается, патриотическое-то воспитание, на чем оно зиждилось!

Нет, все было не так просто. На следующий день я дошел до «Юных итальянцев, единых во всем мире» Пины Балларио с современными иллюстрациями, выполненными в нервной манере взаимоналожения обширных черных и красных полей.

Листая Жюля Верна и Дюма в своей комнате несколько дней назад, я припоминал какой-то балкон. Тогда я не обратил должного внимания: мимолетное *дежавю*. Но потом, прислушавшись к ощущению, я снова вспомнил о балконе на дедовой половине. Никак на том самом балконе я отроком читывал книги о приключениях?

Для балконного эксперимента я предназначил «Юных итальянцев, единых во всем мире» и старательно уселся, попытавшись даже просунуть ноги через решетку и поболтать ими. Увы, разросшиеся в диаметре ноги через решетку не хотели пролезать. Несколько часов я жарился там на солнце, покуда светило не отвернуло от нас свой лик и жара не стала ослабевать. Видимо, я стремился впитать всей поверхностью тела андалусское солнце, хоть приключения и происходили не в Андалусии, а вовсе даже в Барселоне.

Юные итальянцы, единые во всем мире, в данном случае — происходившие из эмигрантских семей, живущих в Испании, становились свидетелями антиреспубликанского восстания под руководством генералиссимуса Франко, только вот узурпаторами представали красные ополченцы, упоенные вином и кровью. Юные итальянцы осознают свой фашистский долг, в черных рубашках

выходят на уличные бои на улицах Барселоны, выносят знамя из Дворца Фашио, закрытого республиканцами. Отважный герой умудряется даже своего отца, социалиста и пьянчугу, переагитировать в пользу муссолиниевской идеи. От этого чтения, надо полагать, меня так и ошпаривало гордостью. Так за кого я был тогда? За юных итальянцев? Или за маленьких парижан из книги Бернажа? Или за господина, который, если все-таки разобраться, звался на самом деле Коуди, а вовсе не Томбини? Кто жил в моих детских мечтах? «Юные итальянцы, единые во всем мире» или барышня с чердака?

Новый поход на чердак — новая порция эмоций. Прежде всего, «Остров сокровищ». Естественно, название мне было знакомо, общеизвестная классика, однако я совершенно запамятовал содержание, верный знак, что эта книга вросла в мою собственную личную жизнь. Не менее двух часов ушло на запойное припоминание целыми кусками и главами — как только начинался новый поворот, я с самого начала знал, что сейчас будет. Я снова перебрался в сад. На этот раз в заросли орешины. Забившись в кустарник, я пожирал книги и орехи. С орехами расправлялся так: разбивал камнем три-четыре, сдувал скорлупу и отправлял всю горсть в рот. Я не сидел в бочонке из-под яблок, куда затиснулся Джим и откуда он подслушивал козни Долговязого Джона Сильвера, но в свое время, безусловно, я читал эту книгу в скрюченной позе и грызя какой-то сухой паек, как и положено в плавании.

Это было про мою жизнь — начав с хрупкой рукописи, добраться до сокровища капитана Флинта! В конце романа мне захотелось сходить за бутылкой граппы, которую я высмотрел за створками буфета Амалии, и запивать пиратские приключения горячими глотками. Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рома.

После «Острова» я откопал «Историю Пиппати, родился старцем, умер дитятей» Джулио Гранелли. Точно в том виде, как она прорисовалась в моей памяти несколько дней назад, но вдобавок в книжке рассказывалось еще о неостывшей курительной трубке, забытой на столе подле глиняной статуэтки старичка, и как трубка передала живительное тепло мертвой материи, отчего старичок ожил. *Старый юноша*, одна из любимых тем Античности. В конце рассказа Пиппати уготована «внезапная смерть новорожденного», и феи возносят его на небеса. Нет, я помнил все это иначе, и у меня было лучше. Пиппати рождался стариком в одном кочане капусты и умирал младенцем в другом кочане. Путь Пиппати «в сторону» собственного детства был как мой. Что ж, восхождение к мигу рождения таит эту опасность — не раствориться бы в *Ничем* (или во *Всем)*, как Пиппати.

Вечером звонила Паола, где я, что я, почему не даю о себе знать. Да все работа, понимаешь, дорогая. Не волнуйся ты об этом давлении, все нормально.

На седьмой день я опять с головой ушел в шкаф, там был полный Сальгари[210] с цветочными виньетками, меж листьев и стеблей возвышался Черный Корсар, волосы как смоль, ярко-красный рот четко выписан на его печальном лике; роман «Два тигра» о Сандокане: гордый абрис властителя Малайских островов, тело гигантской кошки, рядом томная Сурама и лодки праос из «Пиратов Малайзии». Дедушка собирал все издания — испанские, французские, немецкие.

Трудно сказать, припомнилось ли мне, или уже и так было заложено в мою бумажную память, — ведь Сальгари не забыт до сих пор, и ученые критики время от времени посвящают ему громадные статьи, полные наивной тоски по детству. Мои внуки тоже кричат «Сандокан, Сандокан», кажется, они узнали о Сандокане из телевизора. Я мог бы написать энциклопедическую статью о Сальгари без всякого приезда в Солару.

Разумеется, я поглощал эти книги, когда был маленьким, и все же

так свою личную память не наладишь — если путаешь личное с общественным. Книги, которые больше всего дали мне в человеческом отношении — те же самые, которые утвердились и в моем взрослом, уже внеличном, общественном бытии.

Примечание к рисунку[211]

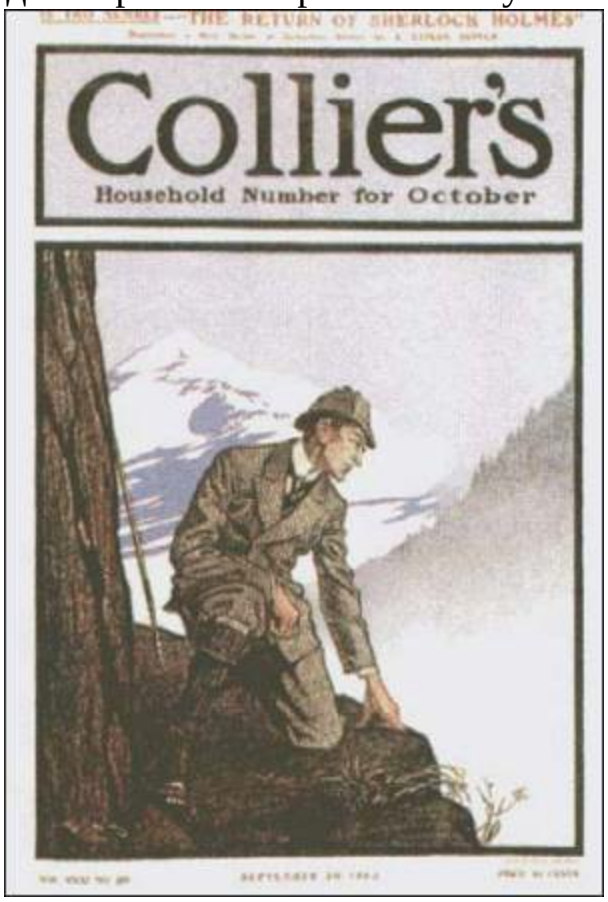
По велению того же инстинкта большую часть книг Сальгари я таскал для перечитывания в виноградник (остальные я сложил в спальне и не отрывался от этих книг даже ночью). Среди виноградных лоз

стояла жаркая духота, то есть атмосфера тех пустынь, прерий и объятой пламенем сельвы, о которых я читал, дух тропических морей, которые бороздили каботажными судами ловцы трепангов. Среди виноградных лоз, под редкой тенью деревьев, окруживших виноградник, отирая пот, я прислонялся к баобабу, к колоссальному помбо, из тех, что окружали хижину Джиро-Батола, к манговому дереву, пальмы одаривали меня кочанами пальмовой капусты, мякоть их листьев мучниста, а вкус напоминает миндаль, я сидел под священным баньяном черных джунглей и вслушивался в музыку рамзинги и ожидал, что в кустах, того гляди, закопошится жирная бабирусса, которую можно будет испечь на вертеле над костром, вкопав по его сторонам крепкие коряги. Я подумал, вот бы однажды Амалия приготовила мне к ужину блачанг, который считается у малайцев самым утонченным блюдом! Он состоит из рачков и маленьких рыбок, зажаренных вместе, подгнивших на солнце и потом засоленных, зловоние, которое исходит от этого блюда, по свидетельству Сальгари, неописуемо. Тем не менее малайцы так охочи до него, что предпочитают его курятине и ребрышкам молодого барана.

Ну как это должно быть здорово. Может быть, именно из-за этих чтений я, как говорит Паола, люблю китайскую кухню, в особенности плавники акулы, ласточкины гнезда (с гуано, естественно) и морские уши, причем чем вонючей эти моллюски, тем я счастливей.

И не в одном блачанге штука, а вообще — как могли юные итальянцы, единые во всем мире, читать Сальгари, ведь его герои были дикари и разбойники? Нам полагалось ненавидеть не только англичан, но еще и испанцев (о, как я ненавидел маркиза Монтелимара![212]). Но если три корсара (Красный, Черный и Зеленый)[213] были итальянцами, графами Вентимилья, то другие-то герои звались Кармо,[214] ван Штиллер[215] или Янес де Гомера.[216] К португальцам полагалось относиться хорошо, потому что они немножко фашисты. А разве испанцы не фашисты? Мое сердце билось в унисон с сердцем отважного Самбильонга,[217] стрелявшего картечью из пушки мирим, и мне было безразлично, какой из Зондских островов был его родиной. Каммамури и Суйод-хан, хороший герой и плохой герой, а при этом оба — индийцы… Сальгари сильно нарушал системность моих ранних культурно-антропологических представлений.

На дне того же шкафа я нашел кучу журналов и книжек по-английски. Выпуски журнала «Стрэнд» со всеми приключениями Шерлока Холмса. В то время я английского не знал (Паола говорила, что я выучился английскому во взрослом состоянии), но, по счастью, там и переводных изданий было достаточно. Хотя большая часть итальянских переводов Холмса печаталась без иллюстраций. Так что я, надо думать, читал приключения по-итальянски а потом лазил по «Стрэндам» и находил картинки к прочитанному.



Примечание к рисунку[218]

Переволок всего Холмса в дедушкин склеп. Здешняя обстановка более соответствовала: цивильная атмосфера, приблизительно та же самая, что витала у камина на Бейкер-стрит, где тонные господа вели неспешные разговоры. Что не в малой степени контрастировало с

сырыми подвалами и зловещими клоаками, по которым шныряют герои французских романов-фельетонов. Нет, в «Стрэнде» даже и в тех немногочисленных случаях, когда Шерлока Холмса изображали с пистолетом, нацеленным на противника, он всегда рисовался напружинив правую ногу, выставив вперед правую руку, почти что в статуарной позе, с достоинством и апломбом истинного джентльмена.

Меня будоражила эта масса Шерлоков Холмсов, по большей части сидячих, с Уотсоном или с иными собеседниками, то в купе поезда, то в двуколке, то на кресле, укутанном в белый холщовый чехол, то в качалке, то при свете (зеленоватом?) настольной лампы, то перед полувыдвинутым ящиком стола, а иногда стоячих, за чтением письма, за расшифровкой секретного сообщения. Эти картинки как будто говорили: *de te fabula narratur*.[219] Шерлок Холмс был как я, как я сам и в эту самую минуту, расшифровщик прошлых или будущих событий, не выходящий из дому, не выходящий из комнаты, а может быть, даже (поди пересмотри такую уйму страниц) и с чердака. И он, как я, неподвижен и отъединен от мира. И он, как я, разгадывает чистые знаки. Холмсу обычно удавалось выудить вытесненное значение. Удастся ли мне? Будем действовать по примеру Холмса. Вперед.

По примеру Холмса, через туман. Ведь как сказано в «Этюде в багровых тонах» или в «Знаке четырех»:

> Был сентябрьский вечер, около семи часов. С самого утра стояла отвратительная погода. И сейчас огромный город окутывала плотная пелена тумана, то и дело переходящего в дождь. Мрачные, грязного цвета тучи низко нависли над грязными улицами. Фонари на Стрэнде расплывались дымными желтыми пятнами, отбрасывая на мокрый тротуар поблескивающие круги. Освещенные окна магазинов бросали через улицу, полную пешеходов, полосы слабого, неверного сияния, в котором, как белые облака, клубился туман. В бесконечной процессии лиц, проплывавших сквозь узкие коридоры света, — лиц печальных и радостных, угрюмых и веселых, — мне почудилось что-то жуткое, будто двигалась толпа привидений. Как весь род человеческий, они возникали из мрака и снова погружались во мрак…[220]

Утро было пасмурное, туманное; свинцовое покрывало нависло над крышами домов, и в нем словно бы отражалась уличная слякоть. Спутник мой был в отменном настроении и без умолку болтал о кремонских скрипках, о разнице между инструментами Страдивари и Амати.[221]

Ничего общего с «Пиратами Момпрачема» Сальгари:

В ночь на 20 декабря 1849 года неистовый ураган бушевал над островом Момпрачем.

Гонимые яростным ветром, как сорвавшиеся с привязи лошади, бежали по небу черные облака. Бурный тропический ливень обрушивал на остров потоки воды. Шторм, не стихавший уже третьи сутки, с пушечным гулом разбивал огромные волны о его каменистые берега.

Этот дикий остров, расположенный в нескольких сотнях миль от западных берегов Борнео, был известен как убежище грозных пиратов и пользовался дурной славой у моряков.

Но сейчас он казался необитаемым. Ни в хижинах, притаившихся под сенью огромных деревьев, ни на судах, стоявших в бухте на якоре, ни в темных лесах, окружавших поселок пиратов, не было видно ни огонька.

Лишь на восточной оконечности острова, на скалистом мысу, далеко выдававшемся в море, мерцали во мраке две точки — два ярко освещенных окна.

Там, в доме, одиноко стоявшем среди полуразрушенных укреплений, в одиночестве бодрствовал в этот глухой час ночи сидевший у стола человек. Это был мужчина лет тридцати, по-восточному смуглый, с лицом энергичным и мужественным, исполненным какой-то суровой красоты. Его черные, как смоль, слегка вьющиеся волосы длинными прядями падали на плечи, коротко подстриженная борода обрамляла слегка впалые щеки, а крутые смелые брови, точно две арки, подпирали высокий лоб.

Он сидел у стола, заставленного бутылками и хрустальными графинами, и держал в руке бокал с вином, но не пил, а сидел в отрешенной задумчивости, словно мыслями

был далеко.

Внутреннее убранство этого дома своей странной беспорядочной роскошью резко контрастировало с простым и суровым внешним видом его. Снаружи его можно было бы принять за дом таможенника или смотрителя маяка — внутри же он был убран, словно княжеский дворец.[222]

Кто же был моим главным идолом? Холмс, опершийся на камин и, под действием семипроцентного кокаина, пробегающий глазами письмена, проявляющиеся на листе? Или Сандокан, яростно рвущий когтями себе грудь с именем Марианны на устах?

Я подобрал какие-то буклетного вида выпуски, отпечатанные на дрянной бумаге и дополнительно замусоленные, надо полагать, мною, зачитавшим листы до дыр и неустанно оставлявшим на полях свою полудетскую подпись. Страницы, выпавшие из переплетов, сложенные как попало, что самое удивительное — довольно часто по порядку. Некоторые были кое-как склеены с помощью столярного клея и оберточной бумаги. Это тоже моя работа, а чья же.

У меня уж не оставалось сил даже прочитывать названия. Все-таки я протоптался на этом чердаке целую неделю. Да, конечно, следовало перечитать все с первой до последней строчки, но сколько же времени уйдет на это? Учитывая, что я начал складывать буквы в слоги приблизительно к концу пятого года жизни и что я был окружен этой печатной продукцией по меньшей мере до года окончания средней школы, по расчету получалось десять лет — никак не одна неделя. Прибавить еще те книги (детские, с большими картинками), что мне прочли вслух папа, мама и дед до того, как я научился самостоятельно читать.

Чтобы соорудить на основании этих бумаг самого себя, мне надлежало сделаться Фунесом Чудом Памяти,[223] прожить по минутам все детство, каждый шелест ночной листвы и каждый аромат утреннего кофе с молоком. Не сдюжить. А что, если слова захотят остаться теми же словами, всего лишь только словами, сведут с ума еще хуже мои заболевшие нейроны и не позволят пропустить необходимый ток, призванный высвободить мои настоящие запрятанные воспоминания? *Что делать?* Ленин на белых креслах в закупоренной прихожей. Я

ошибался во всем, и во всем ошиблась Паола: не ездивши в Солару, я жил бы глупцом, после поездки заделаюсь полным психом.

Как сумел, запихал все книги обратно в два шкафа и решил уходить с чердака. Однако по дороге наткнулся на штабеля коробок с надписями по бокам красивым, почти что готическим почерком: «Фашизм», «Сороковые», «Война»… Коробки явно водрузил туда лично дедушка. Другие ящики имели более современный вид — бесспорная дядитетина работа, втискивать что найдется во что попало, в ящики виноторговой фирмы Братьев Берзано, Борсалино, Настойка Кампари, коробка с логотипом фирмы «Телефункен» (как, разве в Соларе было радио?).

Нет, сейчас я не в силах подступаться к такой работе. Выйду прогуляюсь как следует по холмам и долам, ящиками займусь позднее. Я был изнурен. Не исключаю, что у меня поднималась температура.

Приближался закатный час, Амалия подавала голос из кухни, возвещая «финанцьеру»,[224] — пальчики оближете. Первые нечеткие тени воцарялись в сокровенных уголках чердака. В них оживали Фантомасы, готовясь к нападению — прыжком насесть мне на плечи, связать веревками, подвесить над пропастью, над бездонным колодцем. Демонстрируя, фактически, что я совершенно не тот мальчишка, которым стремлюсь заново стать, я бесстрашно сунулся в темный угол. Надышался плесени, на плечи мне никто не сел.

Из заплесневелого угла я переволок под окно, пропускавшее последний свет вечера, крупный ящик с отверстием, заклеенным пергаментной бумагой. Содрав пыльную покрышку, я воткнулся пальцами в толстый слой мха, настоящего мха, хотя и засушенного, там бы достало пенициллина, чтобы за неделю выписать домой вчистую всех излечившихся пациентов целой «Волшебной горы», адье вам, изысканные беседы Нафты и Сеттембрини.[225] Дернины с травой, вместе со слоем гумуса, объединявшим комья, развернуть этот странный ковер — получится травяное покрытие размером с дедовский стол. Не знаю, каким уж чудом, то ли благодаря особой влажности воздуха под пергаментной наклейкой, то ли благодаря многочисленным мокрым зимам и тем дням, когда по чердаку лупили дождь, снегопады и град, мох сохранял родной запах, едкий, живой и щиплющий.

Под слоем мха, погребенные в кудрявые стружки, — бережно снимай, бережно, не разбей то, что под стружками упрятано, —

деревянная или картонная хижина, вся в раскрашенных декорациях из папье-маше, с крышей из прессованной соломы; соломенная и деревянная мельница, колесо еще способно скрипуче вращаться, а дальше — домики и шалаши, крашеный картон, явно для задника, для размещения на какую-то высокую подставку в форме горы за задами хижины, тем самым образуется эффект перспективы. Покопавшись в стружках, я сумел выкутать пастухов, несущих на плечах барашков, и точильщика, и мельника с двумя ослами, и крестьянку с корзиной фруктов на голове. Двое волынщиков, арап с двумя верблюдами, а вот и сами Волхвоцари собственной персоной, пропахшие плесенью, ладаном и миррой, арьергард главных героев — осла, быка, Иосифа, Марии, люльки, Младенца и двоих ангелов с разведенными руками, закостенелых в экстазе, длящемся не менее века, следом — золотая комета, свернутое в трубочку небо с золотыми звездами по сини, металлическая кювета с налепленным внутри цементом, изображающая ложе реки, с отверстиями для впуска и выпуска воды, и вдобавок — задержавшая меня на полчаса к ужину, приведшая в недоумение стеклянная кружка с выведенными с обеих сторон длинными шлангами из каучука.

Рождественский вертеп в полном комплекте. Я не ведал, были ли мой дед и мои родители религиозны (может быть, мама — да, иначе почему держала «Филофею» у кровати), но нет сомнения, что каждое Рождество кто-то из членов семьи эксгумировал ящик, чтобы в одной из парадных комнат водрузить полный вертеп. Особое чувство восторга перед чудной картиной, мне кажется, я сумел уловить и сейчас. Ох, не принадлежит ли и оно к коллекции общих мест? И все-таки статуэтки звали припомнить еще нечто частное, не имя, а какой-то образ, что-то не встреченное мною под крышей, но где-то упрятанное в доме, в одной из комнат.

Примечание к рисунку[226]

Чем были для меня рождественские вертепы? Иисус или дуче. Рокамболь или сборник «Корзина», плесенно-ладанные Волхвоцари или посаженные на кол недруги Великого Визиря, — что перевешивало для меня в одиннадцать лет?

Ясно, что неделя на чердаке была протрачена совершенно напрасно: я снова переглядел страницы, читанные в мои шесть, и в мои одиннадцать лет, и в мои пятнадцать, и поминутно умилялся на разные трогательные детальки. Но память восстанавливают не так. Память сплавляет, исправляет, преобразовывает, это чистая правда. Однако весьма нечасто память способна перестроить хронологическую перспективу. Людям положено понимать, когда что случалось, в шесть или в десять лет. Я ощущал дистанцию между днем пробуждения в больнице и днем отъезда в Солару, я прекрасно знал, что между первой точкой и второй точкой пролег период моего взросления, формирования мнений, освоения опыта, но я знал, что в те три недели я заглатывал все вперемешку, как если бы и в детский период и впитывал все единовременно и единократно. Я совсем не попадал в ритм. Не удивительно, что я одурел, будто белены объелся.

Следовало отказаться от «большой жратвы»[227] среди старых книжек. Надлежало разложить все по порядку, продвигаться поступательно. А как разделить, что относится к моим шести, что — к двенадцати годам? Вдумавшись, я понял: среди ящиков непременно должны быть складированы школьные тетради и учебники. Это мне и надлежало найти. А потом читать год за годом, постепенно, с расстановкой.

За ужином проинтервьюировал Амалию о вертепе. Да, дед им много занимался, строил его с душой. Нет, дед ни в коей мере не был религиозен. Но вертеп — это вроде королевских рожков, без вертепа Рождество не в Рождество, не будь внуков, дед, не исключается, строил бы вертепы лично для себя. Работа начиналась в первые дни декабря. На чердаке, если порыться, где-то стоит еще вся большая кулиса, на которую навешивали небо, с крошечными лампочками, спрятанными в падугах, — для мерцания звезд.

— Какой славный вертеп делал ваш покойный дедушка, каждый

год от такой красоты все чуть не плакали. Речку там устраивал настоящую из воды, помню, как-то вся вода на мох вытекла, мох-то с торфом в тот как раз год привезли совсем новенький, и вдруг глядим, а он зацвел. Голубенькие цветики такие — уж точно чудо божие. Приходский священник являлся проведать то чудо, в честь Младенчика народившегося, даже не мог поверить собственным глазам, как приходил.

— А как дед воду устраивал?

Амалия покраснела и замялась, потом все же выпалила:

— А приставлял на задах вертепа, я сама видела, каждый год помогала покойному вашему дедушке разбирать вертеп после Крещения… там в ящике, поди, еще лежит… Такая бутыль без горлышка. Видели? Так вот, в нынешние времена этим уже не пользуются, однако прежде, с разрешения, оно употреблялось, чтобы ставить клистир. Знаете клистир? Ну слава те господи, что не придется объяснять, а то я стесняюсь. И ваш покойный дедушка удумал поставить за вертепом эту клистирную кружку, и трубки так он прилаживал, что вода вытекала сперва вниз, а потом восходила обратно наверх. Чудо сущее, вы уж поверьте мне, что твое кино, никакого сравнения.

Глава 8
Когда я слышу передачу

В первый раз за три недели я все же выполнил намеченное — спустился в деревню и попросил аптекаря померить давление. Слишком высокое. Сто семьдесят. Гратароло, когда меня выписывал, велел держать давление не выше ста тридцати. Оно и было сто тридцать в день моего переезда в Солару. Аптекарь сказал, что сразу после перехода в городок из Солары давление, понятно, высокое. Утром в постели после сна показатели наверняка ниже. Я же подумал, что дело не в походе. Дело в том, что я проводил день за днем в жуткой ажитации.

Я позвонил Гратароло, он спросил, делал ли я что не положено, и мне пришлось признаться, что я таскал ящики, выпивал по бутылке вина в обед, курил по двадцать «житан» за день и перевозбуждался до тахикардии. Гратароло разразился упреками. Да понимаю ли я, чем это чревато. Если давление снова подскочит, может случиться новый инсульт, после которого я уж так запросто не выкарабкаюсь. Я обещал, что возьмусь за ум. Он повысил дозировку лекарств. Добавил какие-то новые таблетки для вывода из организма солей с мочой.

Я попросил Амалию поменьше солить еду, она ответила, что в войну, чтобы достать килограмм соли, приходилось выворачиваться наизнанку, за кило соли просили двух или даже трех кролей, так что соль божия милость, а без соли ничего, как ни бейся, не сготовишь. Я сказал, что много соли мне не разрешает доктор. Она ответила, что доктора от лишнего ученья остатки разума потеряли и что чем разных докторов слушать, поглядели бы на нее, к доктору ни разу в жизни не ходила, и дожила до семидесяти лет, и круглый день копытится на разных работах, и даже поясницу у ней ни разу не ломило, не то что у некоторых. Я понял, что Амалиину соль придется всю выгонять с мочой.

Еще я понял, что с чердаком пора завязывать. Необходим моцион, смена занятий. Я дозвонился до Джанни. Хотелось знать — то, что я прочитал за эти дни, означает ли что-нибудь лично для него. Оказалось, наши детские впечатления не вполне идентичны. У Джанни дед не

собирал книжное старье. Не вполне идентичны, но во многом имело место взаимоналожение. Мы ведь, в частности, давали друг другу книжки «на почитать». Около получаса мы гоняли друг друга по Сальгари, будто в телевикторине. Как звали грека, помощника раджи Ассама? Теотокрис. Как фамилия прекрасной Онораты, которую не мог любить Черный Корсар, поскольку она дочь его врага? Ван Гульд. А кто женился на Дарме, дочери Тремал-Найка? Сэр Мореланд, сын Суйод-хана.

Я кинул пробный шар насчет Вихраста — *Ciuffettino*, но Джанни ничего о нем не знал. Он в детстве увлекался комиксами. И тут же сравнял счет, закидав меня целым градом имен и названий. Комиксы в детстве читал и я, поэтому кое-что отпарировал — Воздушная Банда, Фантом, Микки-Маус и Блоб, с особенной страстью я выговорил имена Чино и Франко…[228] Но на чердаке они мне не попались. Может быть, дедушка, обожатель Фантомаса и Рокамболя, изгонял комиксы как заразу? А Рокамболь что, полезнее?

Можно ли вообразить, что я вырос совершенно без комиксов? Нет, о перерывах и передышках сейчас не могло быть речи. Мною снова овладевало упоение исследователя.

Паола, спасительница. В тот же день, на исходе утра, перед самым обедом, она внезапно нагрянула в Солару с Карлой, Николеттой и тремя внуками. Что-то ей не понравилось мое телефонное мямленье. Мы ненадолго, только повидаться, сегодня до ужина и уедем. При этом она так смотрела на меня, будто видела насквозь.

— Ты поправился. — Хорошо еще, что она не нашла ни тени бледности, потому что я вдоволь насиделся с книгами под солнцем в винограднике и на балконе, но, согласен, вполне мог прибавить в весе. Я сказал, что все это стряпня Амалии. Паола обещала дать Амалии укорот. Я не сказал ей, что вот уже десять дней замираю на много часов без движения, а если вовсе не двигаться, невозможно не толстеть.

— Гулять, движенье, движенье, — раздался призыв Паолы, и всей семьей побрели в Монастырь, который и не думал быть монастырем, а был совсем несущественной часовенкой в нескольких километрах от дома на гребне холма. Мы брели все время вверх по некрутому склону, трудными показались разве только последние полсотни метров, я пыхтел и предлагал внучатам пособирать «букеты фиалок и роз».[229]

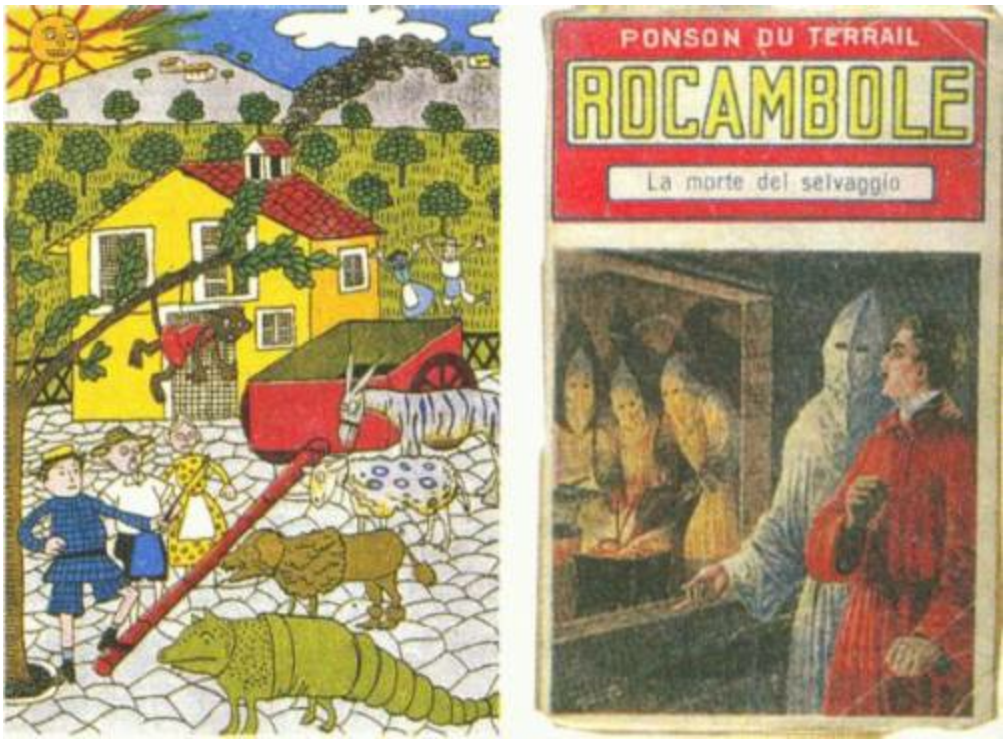
Паола бормотнула на это, что пусть лучше нюхают, а Леопарди можно и не цитировать, в частности, потому, что он мало что понимал в ботанике, как большинство литераторов, ибо розы цветут исключительно тогда, когда фиалок уже и след простыл, и вдобавок розы с фиалками в одном букете не живут, кто не верит — пусть попробует их соединить, увидит, какая дрянь получится.

Дабы доказать, что у меня в мозгах не только энциклопедия, я решил покрасоваться историями, перечитанными в последние дни, внучата окружили меня, вытаращив глаза, — этих историй они не слышали отроду.

Сандро, который постарше, выслушал от меня «Остров сокровищ». Я рассказал ему, как, наслушавшись разных историй в трактире «Адмирал Бенбоу», я завербовался на «Эспаньолу» с лордом Трелони, доктором Ливси и капитаном Смоллеттом, но похоже, что Сандро больше всего расположился к Долговязому Джону Сильверу (за его деревянную могу) и к омерзительному Бену Гану. Он крутил головой, вне себя, пялился на все кусты, пытаясь высмотреть в зарослях пиратов, и просил «еще, еще». Я ему никакого «еще» предоставить не мог, потому что на находке сокровищ капитана Флинта вся повесть кончалась. Оставалось только спеть хором «Пятнадцать человек на сундук мертвеца, йо-хо-хо и бутылка рому».

Что касается Джанджо и Луки, я расстарался, припоминая все проделки Джаннино Стоппани из «Джан Бурраски».[230] Когда я всаживал палку в горшок с фикусом тетушки Беттины и выуживал зуб синьора Венанцио, они так и покатились со смеху, то есть что-то они и в свои три года уже понимали. Может, мои рассказы обольстили также и Карлу с Николеттой, а ведь в прошедшие времена им обеим вкус к Джан Бурраске, — о времена! о нравы! — нипочем не удавалось привить.

Что до Карлы с Николеттой, я подумал, что им еще больше понравится, если я им расскажу, как, переодетый Рокамболем, дабы извести своего наставника в плетении искусных интриг, сэра Вильяма, уже ослепшего, однако все еще сохранного свидетеля моих неописуемых злодейств, я валю его наземь и вонзаю в затылок длиннейшую отточенную булавку, а потом прикрываю крошечную капельку крови прядями волос, чтобы все решили, будто старика хватил удар.



Примечание к рисунку[231]

Паола бурчала, что такие ужасы не следует рассказывать детям, слава богу, в наши времена в домах уже не держат длинных и отточенных булавок, не то они попробовали бы на коте. Однако более всего она была заинтригована тем фактом, что я рассказываю авантюрные повести, как будто бы они приключились со мной.

— Если это чтобы порадовать детей, одно дело, — комментировала Паола, — но если ты действительно неумеренно идентифицируешь себя с тем, что читаешь, значит, ты заимствуешь-присваиваешь постороннюю память. Сохраняется ли зазор между тобой и этими баснями?

— Ну ты в самом деле, — отвечал я, — я беспамятный, но не ненормальный, организую рассказ, чтоб выходило смешней!

— Ладно, предположим, — Паола в ответ. — Но приехал ты в Солару, чтобы обрести самого себя, слишком уж тяжелым грузом на тебя давила эрудиция, составленная из Гомеров, Вольтеров и Флоберов. Ты приехал и загрузился эрудицией в области масслита. Не такой уж великий шаг, если разобраться.

— А по-моему, великий шаг, — отвечал я, — потому что, во-первых, Стивенсон не масслит, во-вторых, я не виноват, если тот, кого я восстанавливаю, воспитывался только масс-литом, и наконец, не кто

иной как ты, посмотревши на корову Кларабеллу, заслала меня в Солару искать себя.

— Правда твоя. Что ж, извини. Если ты находишь в этом пользу, продолжай, вольному воля. Но все же действовать надо с умом, не отравляться до обморока такими чтениями.

Чтоб сменить тему, Паола спросила, какое у меня давление. Я ей наврал, будто только что ходил к аптекарю и что давление сто тридцать. Паола обрадовалась. Бедняга. Мне стало стыдно.

По возвращении из похода нас поджидал полдник, сготовленный Амалией, и свежая вода с лимоном. И посетительницы уехали.

Они уехали, я повел себя хорошо и лег спать с курами.

На следующий день я опять послонялся по комнатам старого крыла. Ведь, по сути, я пробежал по ним всего один раз, в скором темпе. Снова побывал в спальне деда, робко всунулся, не уверенный, что можно. Там стояли, как и но всех спальнях, комод и большой зеркальный шкаф — эта мебель была обязательной обстановкой.

Там я и открыл сюрприз! На дне шкафа, полускрытые висящими костюмами, от которых исходил дух старого, давно подохшего нафталина, размещались два крупных предмета. Первый — граммофон с трубой, требующий ручного завода. Второй — радио. Они были прикрыты разворотами одного и того же журнала: «Радиокурьер», программа передач на неделю; это были выпуски сороковых годов.

В граммофоне до сих пор стояла пластинка семьдесят восемь оборотов, облепленная вековой грязью. Я ее полчаса чистил, плюя на платок. Название — «Амарола». Я поставил граммофон на комод, завел пружину, из трубы выползло бесформенное шипение. Мелодию узнать было трудно. Ветхий причиндал находился в маразме. Что с него возьмешь, он считался антиквариатом даже во времена моего детства. Если я хотел слушать музыку того времени — вся надежда на дедов проигрыватель в кабинете. Да, проигрыватель-то в кабинете, а пластинки? Только Амалия может знать, где пластинки.

Радиоприемник, хотя и стоял в шкафу, за пятьдесят лет покрылся таким слоем пыли, что можно было на нем писать пальцем. Очистка потребовала времени. Это был чудный «Телефункен» красного дерева (вот чья коробка на чердаке), перед громкоговорителем натянуто

толстотканое полотно. Тряпка служила для улучшения резонанса.

Тряпка занимала только часть передней панели, там еще имелась шкала настройки, потемневшая, станции не читались, и круглые ручки. Приемник был, разумеется, ламповый. Пошатав ящик, я услышал, как внутри что-то перекатывается. Сохранился в целости и провод вместе с вилкой.

Я перенес радио в кабинет, поставил на стол и воткнул в розетку. Поразительно, какие все-таки делали долговечные вещи. Лампочка, которой полагалось подсвечивать щиток станций, тускленько, но загорелась. Другие лампы — не захотели. Их право. Я подумал, что где-нибудь в Милане можно найти энтузиастов, способных возвратить к жизни эти руины, обладающих целым складом запчастей, вроде тех автомехаников, которые специализируются на антикварных машинах и снабжаются со свалок. И тут же я будто услышал голос пожилого электрика, полный пролетарской рассудительности:

— Ну что я буду вас обворовывать. Ну починю я его. Все равно вам не удастся словить то, что вы слушали полвека назад. Вы получите только то, что передают сегодня, а для этого годен и современный радиоприемник, купить новый дешевле, чем починить этот ваш.

Чертов пролетарий прав. Мое дело — проигранное заранее. Радио — не антикварная книжка, в которой сохраняется то, что люди думали, говорили и печатали пять с лишним веков назад. Радиоприемник, оживи он сейчас, наловчился бы изрыгать через свои хрипучие фильтры невыносимую музыку рок или как ее называют нынче. Все равно что купить в магазине «Сан-Пеллегрино» и надеяться — вот-вот запляшут на языке остренькие пузырьки воды Виши. Сломанный радиоящик унес с собой в небытие навсегда утраченные звуки. Как их оживить? Замерзшие слова Пантагрюэля.[232] Но если церебральная моя память могла еще с горем пополам восстановиться, то память герцевая, мегагерцевая, волновая невосстановима совершенно, невосстановима никогда. Солара не предоставляла звуковых впечатлений, одно только оглушительное молчание.

Однако был подсвеченный щиток с названиями передающих станций, желтых — средневолновых, красных — коротковолновых, зеленых — длинноволновых. Названия городов, которые я пожирал глазами, передвигая стрелку и пытаясь расслышать непостижимые словеса из Штутгарта, Хильверсума, Риги, Таллина. Неведомые

топонимы — у меня в голове они выстраивались в ряд с Македонией, Туркиш Атакой, Виргинией, Аль-Калифом и Стамбулом. Что меня больше завораживало — атласы или эти списки городов с их шепотами, шорохами? Были там и свои, родные — Милан, Больцано. Я тихонько замычал:

Quando la radio trasmette da Torino,
vuol dir stasera ti attendo al Valentino,
ma se ad un tratto si cambia di programma
questo vuol dire: attento c'è la mamma.
Radio Bologna, vuol dire il cuor ti sogna.
Radio Milano, ti sento di lontano.
Radio San Remo, stasera forse ci vedremo…

Когда я слышу передачу из Турина,
то знаю, встретимся мы в парке Валентина,
а если вдруг переменяется программа,
то плохо дело, значит — не отпустит мама.
А если из Болоньи передача,
то о тебе я думал, это значит.
А если передача из Милана —
все о тебе я думал, как ни странно…
А если передача из Сан-Ремо,
то значит, о тебе мечтал я немо.

Снова названия городов — имена, подзывающие другие имена.

Радиоприемник был тридцатых годов. Стоила такая штука весьма недешево и приобреталась, в частности, как символ социального статуса. Мне захотелось поговорить о приемниках тридцатых и сороковых, и я позвонил Джанни.

Сначала Джанни сказал, что пора бы назначить ему зарплату, если я так активно эксплуатирую его в качестве ныряльщика за древними амфорами с затонувшего корабля. Потом, правда, растрогался:

— Радио, ну да… У нас завелся приемник примерно в 1938 году. Это было очень дорого, папа работал клерком, да, я знаю, твой тоже был

клерк, но мой — в маленькой конторе и на маленькой зарплате. Вы ездили летом на курорты, а мы оставались на лето в городе, по вечерам ходили в парк продышаться, раз в неделю ели в парке мороженое. Папа не сильно любил разговаривать. Ну и как-то раз он пришел домой, стали ужинать, поели молча, как всегда, потом он вытащил кулек пирожных. — Откуда пирожные в будний день? — спросила мама. А он на это: — Просто захотелось. — Мы съели пирожные, папа подумал, поскреб макушку и наконец высказался: — Мара, похоже на то, что дела пошли удачнее, сегодня начальник выдал мне премию в тысячу лир. — Мама чуть не упала, зажала рукой рот, чтоб не закричать. Потом все-таки закричала: — Франческо, значит, мы сможем купить приемник! — Вот так покупались приемники. В те времена была в моде песенка *«Se potessi avere mille lire al mese»* — «Эх, кабы мне в получку тысячу лир давали». Такой маленький человек мечтает о зарплате в тысячу лир, что позволило бы ему покупать подарки своей миленькой женушке. Тогда тысяча лир была довольно-таки приличной зарплатой, думаю, папа в месяц зарабатывал не тысячу, а меньше. Как бы то ни было, премия в тысячу лир — кто мог вообразить такое? И вот, мы купили радиоприемник. Дай припомнить. Ну точно, «Фонола». Раз в неделю транслировали концерт оперной музыки, ведущие Мартини и Росси. В другой день, в определенный день, каждую неделю передавали комедию. Да что ты, какие Таллин и Рига, у нас на приемнике слов не было, сначала на панелях ставили только длину волны… В войну единственное прогретое место в доме было — кухня, и радио перенесли туда, и мы следили, чтобы звук был приглушен (поскольку за такое сажали), и мы слушали Би-би-си из Лондона. Закрывшись на сто замков, за заклеенными оберточной бумагой стеклами. А песни! Вот вернешься, только спроси, я тебе все эти песни снова напою, если хочешь — даже фашистские гимны. Хотя ты, как известно, не ностальгируешь. Но иногда такая охота попеть эти фашистские гимны. Вспомнить, как мы сидели вечерами у радиоприемника… Не помнишь, как в рекламе говорилось? *Радио, обворожительное пенье…*

Хватит, сказал я. Конечно, я попросил напомнить, но теперь он засоряет мою девственную память своими личными воспоминаниями. А я хочу восстановить свои вечера, не его. Мои вечера — это не его. У него была «Фонола», а у меня «Телефункен». Он ловил, ну не знаю, Ригу, а я ловил Таллин. Что за нелепость… Зачем мне надо было ловить

этот Таллин? Новости по-эстонски послушать?

Я спустился в кухню. Амалия звала к обеду. За едой я выпил вина — плевать на Гратароло, моя цель — забыть. Именно так, не вспомнить, а забыть. Забыть волнения всей недели. Всхрапнуть после обеда в тени, в обнимку с «Пиратами Момпрачема», которые, возможно, не давали мне уснуть в давно прошедшие времена, но в моем нынешнем возрасте действовали как снотворное.

Однако за едой, два кусочка в рот, кусочек коту, я породил еще одну простую, но великолепную идею. Радио, да, передавало бы только то, что именно сейчас пускают в эфир… Но у меня ведь есть проигрыватель! Проигрыватель, чтобы играть пластинки, тогдатошние пластинки! Замерзшие слова Пантагрюэля! Хочу услышать эфир пятидесятилетней давности? Значит, надо переслушать пластинки.

— Пластинки? — задумалась Амалия. — Да вы кушайте, кушайте. При чем тут пластинки, к еде? Все в горле колом станет, желудок запрется, докторов начнем звать! Пластинки, пластинки, пластинки… Да господи же боже мой, они вовсе не на чердаке! Когда господа ваши покойные дядюшка с теткой все тут переставляли, мне было велено таскать вещи туда-сюда и… погодите… да, пластинки эти, которые были в кабинете, мне их сказали переносить на чердак… они скользкие, боялась, перебью вообще… Поэтому я их куда-то сложила внизу. Я их убрала… не обессудьте, не то чтоб памяти у меня не стало, хотя в мои года иные не помнят свое собственное имя… моя-то память в порядке, но все-таки полвека с тех пор прошло… за это время мне было о чем думать, кроме ваших пластинок. А, ну что за голова. Вестимо. Целы ваши пластинки. Я их заправила в тот сундук, что перед кабинетом вашего покойного синьора дедушки.

Я бросил недоеденный десерт и ринулся разыскивать сундук. Он был и впрямь против кабинета, надо же, в предыдущую инспекцию я на него не обратил внимания. Теперь, поднявши крышку, я обнаружил кучу пластинок семьдесят восемь оборотов, они лежали навалом каждая в отдельном конверте. Амалия навалила их как попало. Я полчаса носил их на письменный стол, затем по одной брал и ставил, на этот раз уже по порядку, на дедовы пустующие полки. Дедушка явно интересовался классической музыкой. Моцарт, Бетховен, арии (Карузо) и Шопен. Не думаю, что я в раннем детстве слушал эту музыку. Я полез за

недельными программами в древние «Радиокурьеры». Джанни был прав, в программах имелись периодические передачи из оперного театра, комедии, редко-редко симфонические концерты и регулярно — радионовости. Остальное была легкая музыка, «эстрадная», как говорили в те времена.

Значит, будем переслушивать эстраду. Восстанавливать звуковой фон раннего детства. Дед-то, может, и благорастворялся у себя в кабинете под Вагнера, но остальное семейство, полагаю, развлекалось песенками из радио.

Я нашел ту самую «Эх, кабы мне в получку тысячу лир давали». Автор музыки — Инноченци, слова — Сопрани. На многих конвертах дедушка писал дату. Не знаю, имел ли он в виду год появления песни или год приобретения пластинки. Но это давало мне возможность приблизительно определять годы, когда соответствующую песню уже крутили или еще крутили, по радио. В данном случае год был проставлен: 1938. Джанни помнил все точно. «Тысяча лир» помнилась как раз когда его отец приобрел «Фонолу».

Примечание к рисунку[233]

Я попробовал воскресить граммофон. Удалось. Динамик, естественно, оставлял желать, но в общем это было честно: пусть хрипит, ведь и в старое время тоже звук был пополам с хрипом. Я опять включил подсветку за тканью радио, чтобы казалось, будто оно работает, будто звук идет оттуда. И перенесся в лето 1938 года:

Se potessi avere mille lire al mese
senza esagerare sarei cerlo di trovare tutta la felicità,
un modesto impiego, io поп ho pretese,
voglio lavorare per potere alfin trovare tutta la tranquillità.
Una casettina in periferia, una mogliettina, giovane e carina
tale e quale come te.
Se potessi avere mille lire al mese
farei tante spese, comprerei tra tante cose le più belle che vuoi tu.

Эх, кабы мне в получку тысячу лир давали,
больше не нужно, шел на работу с радостью бы,
утром на службу, жили бы дружно,
вечером дома, счастье до гроба, жили бы мы.

Маленький домик, пусть на окраине, мне и довольно,
жизнь безмятежная, женушка нежная, вроде тебя,
эх кабы мне бы только тысячу лир в получку,
сколько подарков тебе, дорогая, купил бы, любя!

В эти дни я нередко задавался мыслью, как же уживались в моем детском «эго» столь разносортные приоритеты: «слава Родине» — и наряду с Родиной лондонские туманы, где разгуливает Фантомас, сражаясь с ловким Сандоканом под градом мелкой картечи, пущенной из пушки мирим, среди ранений навылет и поражений наповал. Чинные соотечественники Шерлока теряют в боях то руки, то ноги, — а ныне мне приходит в голову: тогдашнее радио рисовало предо мной другой идеал — им был мелкий клерк с жизнью безмятежной, женушкой нежной и домиком на окраине… Но может, клерк являлся неординарным исключением?

Привести в порядок все пластинки, расставить по годам, если годы помечены. Год за годом пройти по этапам формирования, по их звуковым следам.

Я неутомимо передвигал пластинки туда и сюда: *«Amore, amor, portami tante rose»,*[234] *«No tu non sei più la mia bambina», «Bambina innamorata», «C'è una chiesetta amor nascosta in mezzo ai fior», «Torna*

piccina mia», «Suona solo per me o violino tzigano», «Tu musica divina», «Un'ora sola ti vorrei», «Fiorellin del prato e ciribiribin»… Оркестры под управлением Чинико Анджелини, Пиппо Барциццы, Альберто Семприни и Горни Крамера. Звукозаписывающие фирмы «Фонит», «Кариш», *«La Voce del Padrone»* — «Голос хозяина», с остромордым песиком, вслушивающимся в голос из трубы граммофона. Подборки фашистских гимнов. Дедушка увязал все фашистские пластики в единую кипу шпагатом, — то ли защитить желая, то ли изолировать. А дедушка, кстати, был фашист или наоборот? Или ни то ни другое?

Allorché dalla trincea
suona l'ora di battaglia
sempre primo è la fiamma nera
che terribile si scaglia.
Con la bomba nella mano,
con la fede dentro il cuor
egli avanza, va lontano
pien di gloria e di valor.

Giovinezza, giovinezza,
primavera di bellezza

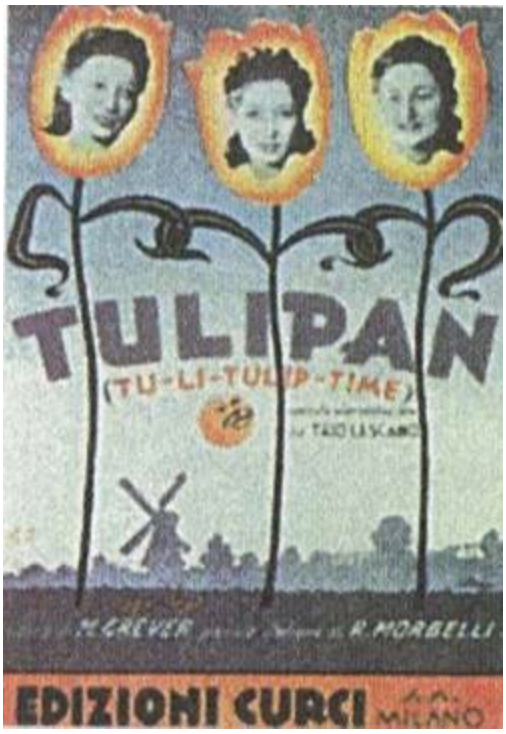
della vita nell'asprezza,
il tuo canto squilla e va…

Per Benito Mussolini
Eja Eja Alala

Если горн трубит в траншее,
это значит — наступленье,
это значит — всех звончее
раздается наше пенье.
С огнедышащей гранатой,
с твердой верою в сердцах,
на беду врагов заклятых
молодежь чеканит шаг.

Молодежи, молодежи
незнакомо чувство дрожи, мы
смелее, мы моложе!
Ждут великие дела…

За Бенито Муссолини
Эйя, эйя, алала…



Tonda
nel ciel di maggio
come un formaggio d'Olanda
monta
la luna in viaggio
e il suo raggio ci manda…

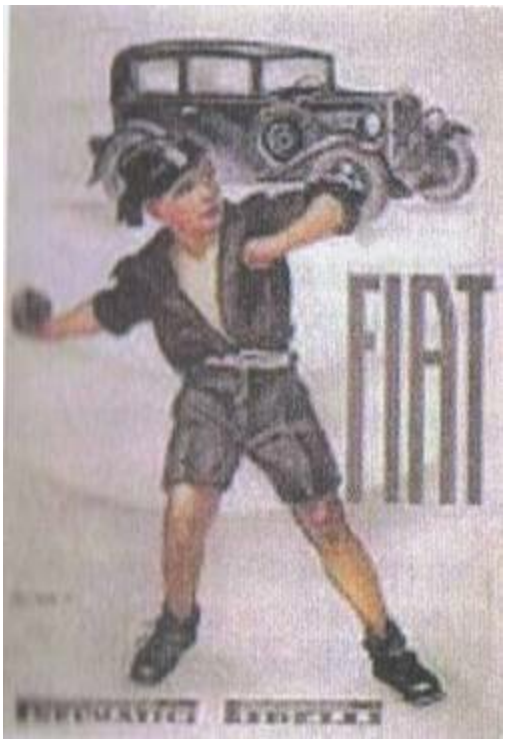
Questo paesaggio
Che miraggio
che sogno
che sogno…

Parlano d'amore
i tuli tuli tulipan,
mormorano in coro
i tuli tuli tulipan…

Odi il canto delizioso
nell'incanto sospiroso…

Играя
на небе мая,
сияя диском гигантским,
сверкая,
луна большая
казалась сыром голландским…
Рассиявшись
над пейзажем,
как над сказочным
миражем,
в мечтах,
в мечтах…

Полнится любовью
тюли-тюли-тюлипан,
подпевает в хоре
каждый тюли-тюли-тюлипан…
Обольстительным
мотивом,
над прельстительным
заливом,
в мечтах,
в мечтах…



Balilla

Flachia il sasso, il nome squilla
del ragazzo di Portoria,
e l'intrepido Balilla
ata giganto nella Storia.

Fiero l'occhio, svelto il passo,
chiaro il grido del valor,
ai nemici in fronte il sasso,
agli amici tutto il cuor…

Вот фанфары вострубили в честь
парнишки из Портории,
и отчаянный балилла,
как гигант вошел в историю.

Преподал всем нам науку

скромный парень из трущоб;
другу — сердце, другу — руку,
а врагу — булыжник в лоб!

Quando tutto tace e su nel ciel
la luna appar,
con mi o più dolce e caro miao
chiamo maramao

Vedo
tutti i mici sopra i tetti a passeggiar,
ma pure loro senza te
sono tristi come me.

Maramao perché sei morto?
Pane e vin non ti mancava,
l'insalata era nell'orto
e una casa avevi tu.

Le micine innamorate
fanno ancora per te le fusa,

ma la porta è sempre chiusa
e tu non rispondi più.

Когда все умолкает
и на небеса
выходит луна,
Когда на город идет темнота,
я зову мурлыку кота.

Вижу…
Выходят кошки по крышам гулять,
Но эти кошечки без тебя
Живут печально, мурчат, скорбя.

Что ж ты умер, кот мурлыка?
Жил привольно на природе,
Ел салаты в огороде
И мяукал мне в ответ.

А теперь мне, горемыке,
На призывы и на клики
От тебя, кота мурлыки,
Никаких ответов нет.

Я ставил их весь вечер. Чувства незнакомости не было. Хотя порой мне удавалось предугадать только слова, порой — только мотив… «Джовинецца» («Гимн фашистской молодежи») была настолько общим достоянием, что я обязан был знать ее в любом случае. Официальное песнопение на любом фашистском сборище. Но почему-то я знал доподлинно, что не раз старое радио передавало эту «Джовинеццу» прямо сразу после «Влюбленного пингвина», *«Il pinguino innamorato»,* а «Пингвина» исполнял, как сообщала надпись на конверте, женский ансамбль «Трио Лескано».

Как будто с ними всю жизнь не расставался… Ну конечно, три женских голоса, звучащие с интервалом в терцию и в сексту, казалось бы — должна выйти какофония, а выходило чрезвычайно приятно.

«Юные итальянцы, единые во всем мире» учили меня превыше всего гордиться своей принадлежностью к Италии — а сестрички Лескано поворачивали мои симпатии в сторону Голландии с ее тюльпанами.

Я решил перемежать гимны песенками (думаю, примерно в таком порядке их передавали и по радио). От тюльпанов к гимну «Балилла». Поставил пластинку и спел в унисон с хором всю песню, не запинаясь, наизусть. Гимн прославлял подвиг юноши (сам не зная того, живя в восемнадцатом веке, Балилла[235] был истинным фашистом), который метнул булыжник в австрийских оккупантов, положив начало восстанию в Генуе. Фашизм не чурался террористических поступков. В моем варианте «Молодежи» присутствовали строки «У Орсини — меч террора». Орсини — это тот, который покушался на Наполеона Третьего.

Я слушал, наступила ночь. Из огорода и из сада, со всхолмий притек сильнейший аромат лаванды, а может, и не лаванды, а чего-то еще (тимьяна, базилика? у меня вообще-то с ботаникой… я, как известно, силен совсем по другой части, быть посланным за розами — и вернуться с собачьим хером). Может, пахло голландскими тюльпанами. Нет, это были какие-то новые насаждения Амалии, не то далии, не то циннии. Пожаловал Мату. Стал тереться. Среди пластинок одна была с котиком. Я взял кошачью пластинку и запустил вместо «Балиллы». Отпевание дохлого кота. «Что ж ты умер, кот мурлыка?» — *«Maramao, perché sei morto?»*

Певали ли юные балиллы этого «Мурлыку»? Назад к патриотическим пластинкам. Мату простит. Я поудобней уселся, кота на колени, стал почесывать за правым ушком. Закурил сигарету и устроил себе *full immersion*[236] в море фашистского агитпропа.

Через час этого времяпрепровождения в голове у меня бурлили всевозможные призывы в атаку, вперед, на смерть, за дуче, за империю — и до последней капли… Жертвенник Весты изрыгает пламя, пламя на склепах и на алтарях. На крыльях славы мы летим орлами, миру мир новый несем мы на штыках. Помните — воины вы и мужчины, помните, Древнего Рима сыны… Не остановят тюрьмы нас и сечи, не страшен град безжалостной картечи, мы поведем полки в последний бой, исполним что назначено судьбой… Ни страх, ни смерть, ничто не устрашает, мы обуздаем вражескую рать, весь мир узнает — черные рубашки умеют драться и умеют умирать. Здравствуй, Король

Император, и славься. Ты, дуче, дал закон и благо миру, ты Риму дал имперскую порфиру. С тобой прощаюсь, еду в Абиссинию, прощай, Вирджиния, но я вернусь. Из Африки пришлю тебе цветок, что распустился там под небом знойным. Ницца, Савойя, Корсика, Мальта — кровные земли сумеем вернуть, смело в атаку, берег Туниса нас ожидает, храбрые, в путь!

Так чего мне хотелось все-таки: чтобы *Ницца под нашим флагом,* — или тысячу лир в получку и домик? Я, поди, понятия не имел на самом деле, много это или мало — тысяча лир. Мальчики обычно играют в войну и в солдатики, мечтают вернуть Родине кровную Корсику, а не мяукать песенки про мурлык, тюльпаны и влюбившихся пингвинов. Но все-таки наряду с «Балиллой» я ведь слушал и «Влюбленного пингвина»? Читая «Капитана Сатану», я воображал, как влюбляются пингвины в ледовых заторах, в холодных морях? А когда читал «Вокруг света за восемьдесят дней», видел мысленным взором Филеаса Фогга среди цветущих тюльпанов? И мне удавалось совместить в фантазии Рокамболеву булавку с булыжником балиллы — Джанбаттисты Перассо? «Тюльпаны» — песенка 1940 года. То есть началась война, а следовательно — мне полагалось горланить «Джовинеццу»… С другой стороны, я вполне мог читать «Капитана Сатану» с «Рокамболем» в 1945 году, то есть когда война кончилась и фашистских песнопений, как говорится, и след простыл.

Так. Вдобавок ко всему, я должен найти свои школьные учебники. Это ведь летопись первых чтений. Пластинки, расставленные по годам, помогут восстановить звуковой фон. Тогда четче определится пропорция между *Мы обуздаем вражескую рать* и соблазнительной экзотикой сражений, которые бушевали на страницах «Иллюстрированного журнала путешествий и приключений на суше и на море».

Нет времени прохлаждаться! Завтра же утром отправлюсь снова на чердак. Поскольку дед был до невероятия педантичен, школьные учебники он должен был сложить где-нибудь неподалеку от детских книжек. Конечно, если потом тетя с дядей все не перевернули с ног на голову…

От патриотической музыки я очень устал. Пошел к окну,

высунулся: на горизонте плавная линия холмов выделялась чернотой на синем, ночь была без луны, небо испещрено звездами. Что это за слово мне пришло на ум? Откуда «испещрено»? Да из какой-то песенки, вероятно. Небо виделось мне таким, каким оно воспевалось в романсах.

Я прошелся вдоль полок с пластинками и повыдергивал все те, где, как можно судить по названиям, была тема ночи и поднебесного пространства. Проигрыватель деда был самой лучшей модели, на него можно было ставить сразу несколько пластинок, когда доиграет одна, другая сама укладывается на ее место. В точности будто из радио: льется песня на просторе, песня за песней, все на одной и той же частоте, без нужды искать музыку, крутить ручки. Поехали. Я откинулся на подоконник. Звездное небо над головой. И такая прекрасная паршивая музыка. Пусть же она пробуждает нечто внутри меня.

Тысяча звезд сияет с неба… Звезды, небо, ночь и ты… Говори под звездами, говори мне, милая… Ты сияй, звезда ночная… Под антильским небом ночами, там, где звезды слепят лучами, с неба льются на нас ручьями… слезы любви! Под небом Сингапура, под небом золотым ты в первый раз шепнула, что я тобой любим… Звезды завидуют нам, и им любовь не отдам, и не сумеют подслушать они нашей с тобой болтовни… С тобой, без тебя, под звездой, под луной, я счастлив любовью, любовью одной… Потом прозвучала одна, которая затесалась в компанию случайно. Она не имела никакого отношения к звездной теме. Напевалась она с вожделением в голосе, саксофон развратно захлебывался страстью, как перед случкой:

На Капо Кабана, вблизи океана,
Там женщины невозбранно
Царят…[237]

Примечание к рисунку[238]

Вдалеке проурчала машина, взвыл мотор, внезапно мое сердце протукало угрожающе и монотонно фразу: — Это Пипетто! — В ритме привычного ужаса. Кто-то являлся меня пугать, обыкновенный, зловещий, опасный. Пипетто? Конечно, Пипетто, спокойно отвечал я себе. То есть ответили губы. То есть услышался звук пустой, *flatus vocis.* А кто есть в действительности Пипетто, я не знал.[239] То есть я хочу

сказать, что часть меня знала, а часть не знала, и что-то вязко барахталось на месте пораненной зоны моего бедного мозга.

У, прекрасное название в духе «Библиотечки для юношества». «Тайна Пипетто», *«Il segreto di Pipetto»*. Это, наверное, была итальянская переделка какой-нибудь там «Тайны Лантенака»? Тайна Пипетто терзала меня, притом что — кто знает — а существовала ли вообще тайна эта? И было ли что-либо кроме воркования радио в нарождающейся ночи?

Глава 9
Однако Пиппо знать не знал

Как я провел следующие пять дней (а может, семь, а может, десять)? Воспоминания слились. Как знать — верно, к лучшему, потому что выкристаллизовалась нагая суть, скажу иначе — «квинтэссенция монтажа». Я что-то комбинировал, резал, двигал, склеивал, то реконструировал естественную плавность мыслей и эмоций, то монтировал встык. У меня в голове выстроилось не то, что я видел и слышал, и даже не то, что я мог бы видеть и слышать в далеком детстве. Вместо этого образовался мираж. Муляж. Попытка в шестьдесят лет вообразить, чем дышал и жил десятилетний. Нет уверенности, что все «было именно так». Но есть хрупкое представление, есть значки на ломких папирусах — какие чувства я мог, имел возможность перечувствовать в давнем прошлом.

Снова на чердаке. Роюсь, опасаясь, что учебники не найдутся. Наконец передо мной коробка, облепленная клейкой лентой, с надписью «Начальная и средняя — Ямбо». Рядом «Начальная и средняя — Ада». Ну, реставрировать память младшей сестры не входит в мои планы. У меня невпроворот работы со своей собственной.

Не хотелось бы, впрочем, заработать себе и на этой неделе гипертонию. Я вызвал Амалию пособить, и мы вдвоем снесли ящик к деду в кабинет. Начальная и средняя — это значило с тридцать седьмого по сорок пятый. Поэтому вниз перекочевали и ящики «Война», «Сороковые» и «Фашизм».

В кабинете я растасовал находки по разным полкам. Буквари, учебники истории и географии, мои тетрадки с надписанной фамилией и номером класса. Газеты. С начала эфиопской кампании дед собирал «исторические» номера газет. Газета с речью дуче о восстановлении Империи. Газета с объявлением войны (10 июня 1940). И дальше, и дальше до Хиросимы. Открытки, плакаты, программки, буклеты и несколько разрозненных журналов.

Я решил работать по методу историков — сличать данные. То есть одновременно читать учебники за годы начальной школы (1940–1941), газеты за те же годы и слушать соответствующие пластинки.

Я поначалу думал, честно говоря, что сколь тенденциозны учебники, столь же тенденциозными окажутся и газеты, все же знают, например, что «Правда» сталинских времен не очень-то много правды сообщала советским людям. Однако скоро мне пришлось изменить мнение. При всей своей зашоренности, итальянские газеты, даже во времена войны, как-то все-таки позволяли понять, что происходило в мире на самом деле. Из своего далекого прошлого дед преподал мне любопытнейший урок гражданской и исторической адекватности: умение читать между строк. Он-то умел это делать виртуозно. Я стал смотреть, что же дед подчеркивал в газетах. Главное внимание он уделял не крикливым заголовкам, а комментариям, сноскам, подвалам, врезкам, всему тому, что сразу не бросается в глаза. В «Коррьере делла Сера» за 6–7 января 1941 содержалась заметка: «На фронте в районе Бардии идут ожесточенные бои». Полстолбца сообщений из района боевых действий (эта колонка была постоянной: в ней деловито перечислялись цифры, например количество сбитых самолетов). Газета мельком добавляла: *Некоторые плацдармы, после упорного сопротивления наших войск и нанесения врагу ощутимых потерь, оставлены.* Некоторые плацдармы? Из контекста явствовало, что Бардия, оплот нашей армии в Северной Африке, рухнула под натиском англичан. На полях газеты красными чернилами дедушка приписал: *RL, сдали Б. 40.000 пл.* RL, естественно, означало — Радио Лондон, передача Би-би-си. Сорок тысяч пленных, по данным Би-би-си. Как видим, «Коррьере» не дезинформировал, а умалчивал. Тот же год, 6 февраля. Материал «Контрнаступление наших войск на северном фронте Восточной Африки». Какой еще северный фронт Восточной Африки? Во многих выпусках предыдущего года, при сообщениях о первых наших наступлениях в Британском Сомали и Кении, печатались детальные карты: читатель видел, где же именно мы победно наступаем. При сообщении о северном фронте Восточной Африки никаких карт не было. С помощью атласа мне удалось уяснить, что это значило: в Эритрею нагрянули англичане.

В «Коррьере» от 7 июня 1944 года красовался заголовок на всю первую полосу: «Обороняющиеся немецкие войска огненным шквалом отбросили союзников на берегах Нормандии». Как? Откуда вообще взялись союзники на берегах Нормандии? И немцы тоже откуда там

взялись? Шестого июня был день высадки англичан и американцев, открытие фронта в Европе. Газета сделала вид, будто это само собою всему миру известно, а также известно и что маршал фон Рундштедт, естественно, готовил отпор союзникам, и именно поэтому в данный момент все побережье завалено трупами. Короче говоря, неправды газета не сообщала.

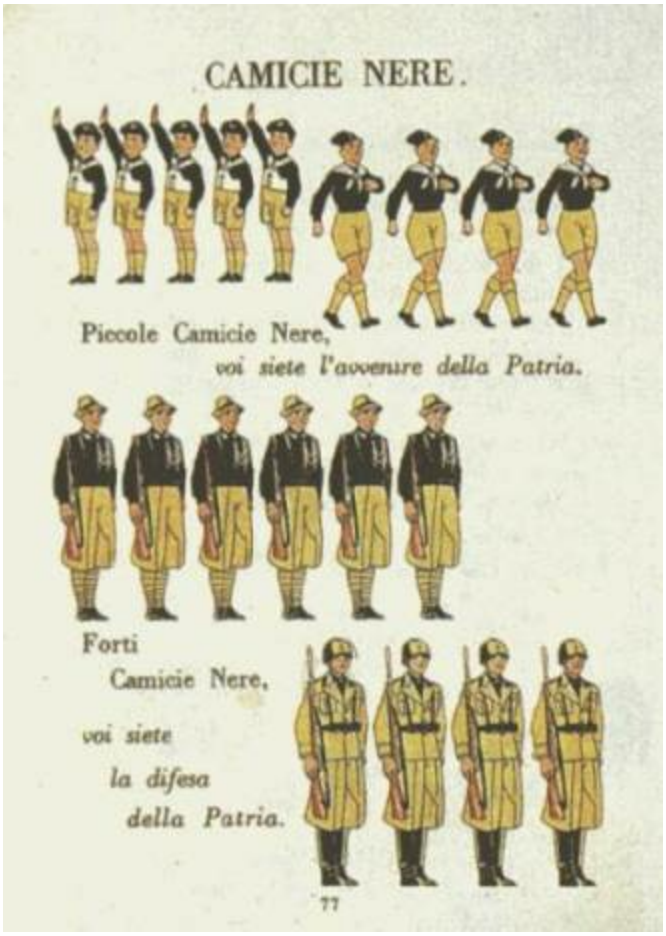
Так что имелась возможность получать информацию о реальных событиях в мире, при известном умении читать фашистскую прессу, том самом умении, которым, думаю, обладали все. Я зажег подсветку в радио, запустил проигрыватель и уселся проживать свое детство наново. Разумеется, результат был — как если бы я проживал чужое детство.

Первая школьная тетрадь. В те времена начинали с палочек. К буквам переходили только научившись заполнять всю страницу ровненькими палочками с одинаковыми промежутками. Ставили почерк, ставили руку. Каллиграфия имела большое значение во времена, когда пишущие машинки встречались только в конторах. Я перешел к учебнику первого класса, составленному синьориной Марией Занетти, с иллюстрациями Энрико Пиноки; издательство *Libreria dello Stato*, год XVI Фашистской эры.

Примечание к рисунку[240]

Параграф о дифтонгах *io, ia, aia* завершался возгласом *Эйя! Эйя!* и ликторским пучком. Этот фашистский клич в свое время изобрел, если я правильно помню, Д'Аннунцио. Какое лучшее слово на букву Б?

Бенито. Рядом вся страница посвящена балиллам. «Б» учили с помощью Бенито и балилл, однако, как я слышу, мое собственное радио сейчас поет *ba, ba, baciami piccina (по-по-поцелуй же, крошка!).* Удавалось ли мне четко выговорить Б? — мой внучок Джанджо до сих пор путает Б и В и говорит «вомба» вместо «бомба».



Примечание к рисунку[241]

Балиллы и Сыны Волчицы. На странице мальчик в форме: черная рубашка и белые перекрещенные на груди помочи с буквой М в центре. «Марио — мужчина» — гласила подпись. Рядом римская арка. Надпись: «На Рим! На Рим! На Рим, герои!» Следует страница в духе *images d'Epinal*, но на ней не зуавы и не французские кирасиры, а униформы фашистских молодежных союзов.

> Букварь: «Сын Волчицы. Был день 24 мая. Гульельмо надел красивую новую форму, форму Сынов Волчицы. «Папа, я тоже солдат дуче, правда? Вырасту, буду балиллой. Буду носить значок, мне дадут вымпел, буду Впередсмотрящим.[242]

Буду смелым воином. Буду сильнее всех, добуду награды».

Для закрепления группы согласных *gl* давались слова *gagliardetto, battaglia, milraglia* («вымпел», «битва», «пулемет»). Это шестилеткам-то. Это к которым «весна, танцуя, прилетает С дарами, с полными руками». На середине букваря авторы вдруг вспоминали об ангелах-хранителях:

Дорогой долгою малыш идет,
куда его дорога приведет?
Он невелик, равнина велика,
но Ангел с ним идет, в руке рука.

Куда этот Ангел держал путь вместе со мной? К вымпелам, битвам и пулеметам? У фашизма с церковью были подписаны Латеранские соглашения, соответственно которым, дрессируя нас на балилл, учителя обязывались время от времени поминать ангелов.

Я тоже носил фашистскую форму? Мечтал пойти на Рим, сделаться героем? Радио передавало героический гимн — шел парад чернорубашечников. И вдруг, когда менялась пластинка, в парад вступал нелепый Пиппо, обиженный природой и выставленный портным на всенародное посмешище. У Пиппо тоже была рубашка, но она была надета на жилет. Пиппо, так звали облезлого пса Амалии. Я представил его себе в нелепом наряде рассеянного прохожего: полуопущенный взгляд водянистых глаз, застывшли улыбка, заплетающиеся плоскостопые ноги… Но если есть руки и ноги, значит, это уже не пес? Значит, он не Пиппо комиксов (Пиппо звали в Италии того же персонажа, который у Диснея — Гуффи). Этот Пиппо не имел отношения к сокровищу коровы Кларабеллы. А к секрету Пипетто?

Пиппо — рассеянный прохожий — напяливал рубашку на жилет. Как забыть эту распевную «руба-а-шку» (растянутый звук, чтоб зарифмовать с «нараспашку»). В каком же еще в другом похожем случае полагалось таким же манером ввинчивать лишний слог в текст? Я попробовал напеть про себя «Джовинеццу»,[243] слышанную накануне, вставив лишнее «и» *«Per Benito e Mussolini, Eja Eja Alalà»*. Не

«За Бенито Муссолини…», а «За Бенито И Муссолини все мы как один умрем». За Бенито Муссолини мы как один нараспашку наденем руба-а-шку.

Кто же все-таки проходит перед глазами всего города? Бенито или Пиппо? А над Бенито Муссолини не хохотали за спиной? Не было ли оттенка политической иронии в наивной песенке? Может, народный юмор изливался в полудетской форме, потешаясь над помпезной риторикой?

Думая об этом, я рассеянно долистал до страницы, полной тумана.

На странице была картинка: Альберто и его отец, два силуэта на фоне тумана, черные, четкие на сером небе, а вдалеке, тоже серые, темнеют абрисы городских домов. На странице рассказик, в нем говорится, что в тумане люди кажутся тенями. Туманы, значит, были сизого цвета? Значит, небу полагалось быть серым, а не белеть как молоко? Не белеть небу подобно смеси воды с анисовой настойкой?[244] Не забеливать людские фигуры? Ну нет, вот в моем собрании цитат туманы выглядели иначе. В моих цитатах люди не вычерчивались на фоне тумана, а формировались туманом, как сгустки, сливались с туманом, мерещились даже в тех местах, где людей вовсе не было, где не было вовсе ничего, а потом из этого ничего вылеплялись тени… Составители букваря переврали даже туман. Даже туман! Букварь полнился призывами к солнцу, к ясному солнцу, призванному развеять морок и хмарь. Туман, как гласил этот букварь, хотя и неизбежен, но совершенно нежелателен. Выходит, они учили меня не любить туманы, а в результате у меня выработалась к туманам тайная и сильная замаскированная приязнь?

Fuco di Vesta che fuor dal tempio irrompe,
con le ali fiamme la giovinezza va.
Fiaccole ardenti
sull'are e sulle tombe,
nol siamo le speranze
della nuova età.

Duce, duce,
chi non saprà morir?
Il gluramento chi mai rinnegherà?
Snuda la spada!
Quando tu lo vuoi,
gagllardetti al vento
tutti verremo a te…

Жертвенник Весты изрыгает пламя,
пламя на склепах и на алтарях.
На крыльях славы
мы летим орлами,
миру мир новый
несем мы на штыках.

Дуче, о дуче,

пока мы живы,
в верности клянемся, не изменим мы,
дуче, о дуче,
по первому призыву
мечь обнажим
и жизни отдадим…

Ma Pippo, Pippo non lo sa
che quando passa ride tutta la città,
e le sartine,
dalle vetrine,
gli fanno mille mossettine.

Ma lui con grande serietà
saluta tutti, fa un inchino e se ne va.
Si crede hello
come un Apollo
e saltella come un polio…

…Однако Пиппо знать не знал,
что за его спиной весь город хохотал.
И все портняжки,
И все дворняжки,
И кто б его ни видел, сразу запевал:

«Ах, Пиппо, наш тебе привет!
Гляди-ка, Пиппо, что за вид, как ты одет
Все нараспашку,
и руба-а-ашку
напялил ты, гляди-ка, Пиппо, на жилет

Шагает он, как Аполлон,
вокруг пего народ вопит со всех сторон
«Глянь, на штиблеты
носки надеты!
Гляди, без пуговиц ширинка панталон!»

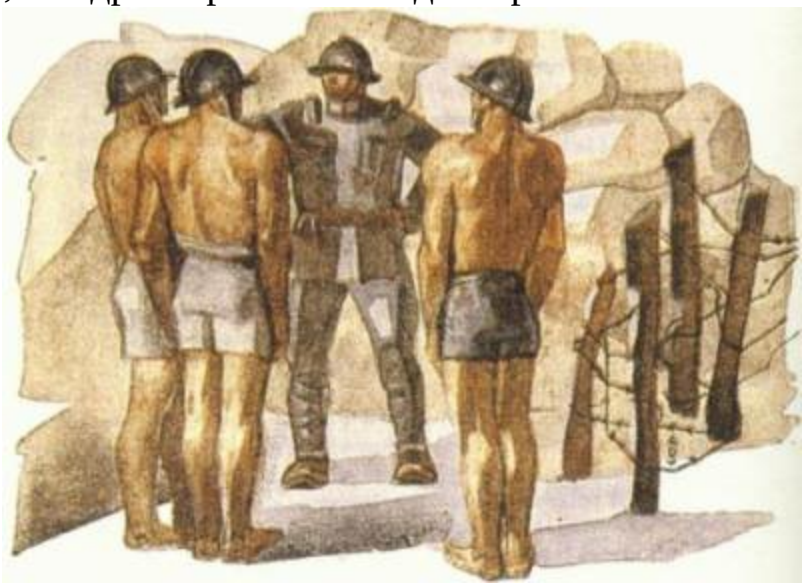
…А Пиппо знай себе идет,
не замечая, что смеется весь народ:
«Что за потеха!
Умрем от смеха!
Ты погляди, на нем же все наоборот!»

Замаскированная… *маскировка*. Слова тащат за собой слова. Во время войны, по описаниям Джанни, города жили с затемненными окнами из-за бомбежек. Не должно было быть ни одной светящейся щелки. А следовательно, туман бывал людям на руку, он покрывал города защитною пеленою. Туман бывал нам другом.

Конечно, в букваре 1937 года о маскировке еще не могло быть речи. Поэтому туман описывался как то, что мешает людям. «Туман по дикому склону карабкается и каплет».[245] Я полистал учебники более старших классов. О войне ничего не говорилось и в выпущенной в 1941 году «Книге для чтения в пятом классе». Хотя война уж год как шла. Но «Книга для чтения» была изданием не новым, так что речь в ней велась

только об испанской гверилье и о завоевании Эфиопии. И вообще писать в учебниках о тяготах войны считалось неуместным. Ощущалась установка на отход от современных реалий и на воспевание давнишней славы.

«Книга для чтения в четвертом классе», 1940–1941, а это была осень первого военного года, изобиловала рассказами о Первой мировой войне, картинки изображали наших воинов на Карсе, обнаженных и мускулистых, как древнеримские гладиаторы.



Но на других страницах печатались, дабы примирить балилл с ангелами, сахарные рождественские сказочки. Поскольку мы начали проигрывать войну во всей Северной Африке только в конце сорок первого года, когда «Книга для чтения» уже была принята в школьную программу, итальянские войска для нас, пятиклассников, все стояли на прежних позициях, и нам показывали «дубата»[246] («белотюрбанники») в Сомали в красивейшем наряде, соответствующем нравам туземцев, которым мы несли свет цивилизации: солдат был с обнаженным торсом и перепоясан только белой пулеметной лентой. Этот портрет сопровождался стихами: *Орел легионов летит над планетой, Его остановит один лишь, господь.* Англичане заняли Сомали в феврале. Именно тогда я, должно быть, читал про орла. Знал ли я, какова была оперативная обстановка на самом деле?

В той же хрестоматии рядом — стишок из знакомой нам антологии *«Il Cestello»* — «Корзина» сочинителя Новаро: *Вот и грозы отгремели, Облака уплыли в дали, Тишины мы долго ждали И теперь достигли*

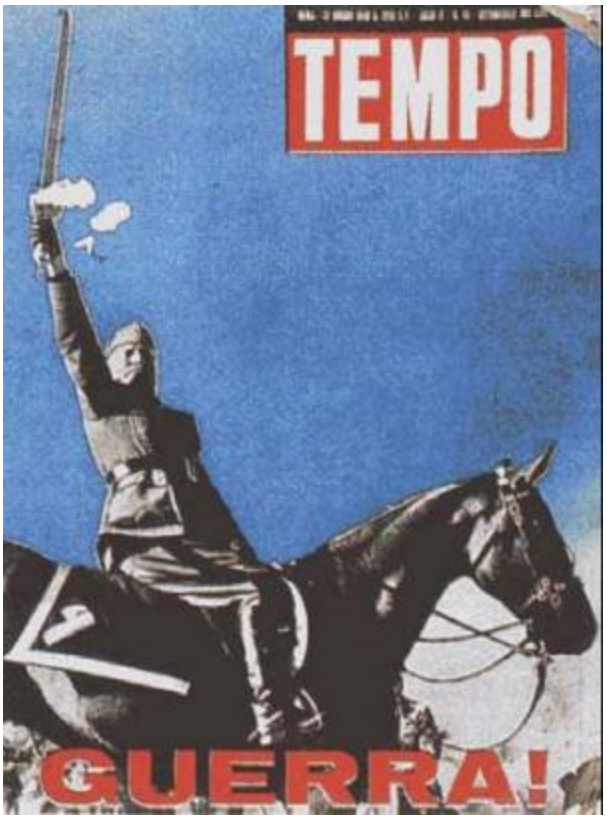
цели… Вся природа отдыхает. Рассиется эфир, Нас бальзамом окропляет Нежный дружественный мир.

Нежный дружественный мир? Так ведь был самый разгар войны? В учебнике пятого класса — параграф о народностях и расах. Речь о евреях. Опасайтесь этого коварного племени, «внедряющегося среди арийцев… заражающего нордические народы новым меркантильным духом и жаждой наживы». В дедовых коробах лежало несколько выпусков «В защиту расы», журнала, выпускавшегося с 1938 года, которого я в доме не видел. Дед явно не допускал, чтобы эта мразь попадала ко мне в руки. Фотографии аборигенов. Сравнение с фотографиями обезьян. Ужасный результат скрещения рас — китаянки с европейцем (но в подобные дегенеративные союзы, как сообщалось в книге, вступали, из всех народностей Европы, только французы). Высказывания о японской расе были сдержанными. Зато много страниц было посвящено врожденным расовым дефектам англичан: двойные подбородки у женщин, багровые носы на пьяных лицах у мужчин. На картинке женщина в британском кепи, распущенного вида (только листы «Таймс», словно балетная пачка, прикрывали ее наготу), стояла перед зеркалом и любовалась, как *Times*, отражаясь задом наперед, читается *Semit.* Что до евреев в собственном смысле, выбор был богатейший: крючковатые носы, небритые щеки, свинячьи раскатанные, похотливые губы, зубы навыкате, брахицефальный тип черепов, выдающиеся скулы и печальные иудины глаза. Из фраков вываливаются наглые акульи пуза, по пузам тянутся золотые цепочки от края и до края, загребущие руки лезут грабить достояние пролетарского народа.

Кто-то, думаю, дедушка вложил между этими страницами пропагандистскую открытку, на которой чрезвычайно похабный семит на фоне статуи Свободы протягивает клешни прямо к зрителям. Доставалось и не только евреям.

Жуткий негр в ковбойской шляпе ковыряет черномазой лапой белоснежное бедро Венеры Милосской. Рисовальщик забыл, вероятно, что мы объявили войну, в ряду прочих и Греции, а следовательно — какое нам отныне могло быть дело, если черная скотина лапает греческую инвалидку, муж которой носит юбку и дурацкие ботинки с помпонами?

Контраста ради, в том же журнале воспроизводились и чеканные профили представителей расы италиков. Поскольку носы Данте и некоторых кондотьеров никак нельзя было назвать небольшими и аккуратными, для подписей была избрана формулировка «орлиное племя». А дабы окончательно развеять какие бы то ни было сомнения в арийской чистоте моих соплеменников, в школьной хрестоматии приводились убедительные стихи о дуче *(Квадратный подбородок, ясный взгляд. Квадратный торс. Се шествует колонна! И голос хлещет, будто водопад)* и проводилось сопоставление мужественных черт Юлия Цезаря и лика Муссолини (о том, что Цезарь заваливал в койку молодых легионеров, я узнал лишь позднее, из энциклопедий).



Итальянцы все были красавцы. Красавец Муссолини на обложке иллюстрированного журнала *«Tempo»* гарцевал с мечом наголо (это была настоящая фотография, а не аллегорический рисунок — что, он так с мечом и ходил?), знаменуя объявление войны. Красавец чернорубашечник на другой обложке грозил: «Долой врага!» — и сулил: «Победа будет за нами!» Красивы были римские мечи, нависшие над Великобританией, красив заскорузлый крестьянский кулак с большим пальцем к земле — «Добей!» — на фоне горящего Лондона, красив могучий легионер, покидающий развалины Амба-Аладжи с обещанием: «Мы возвратимся!»

Сплошной оптимизм. По радио продолжали вещать, что «он был толстяком, был он и весельчаком, прозывался Пузиком, он плясал казачком, покатился кувырком, кругленьким бутузиком, рухнул, ухнул прямо в ров, испугался будь здоров по такому случаю, но не сгинул во рву, удержался на плаву, толстяки — плавучие».

Самое же красивое, что я видывал в журналах и на рекламных вывесках, — это были девы чистопородной итальянской расы, с большими грудями и плавными перегибами тела, супермашины для детопроизводства, антиподы костлявых английских мисс и порочных

барынь, ценившихся в былое плутократическое время. Ныне в моде были ладные, справные девушки, именно они соревновались в конкурсе «Пять тысяч лир за улыбку». Сочные фемины, владелицы аппетитных ляжек и задов, многозначительно облепленных юбкой-приманкой, размашисто шествовали по рекламным плакатам, в то время как радио сообщало, что «очи черные прекрасны, голубые — ничего, ну а ножки, ну а ножки интереснее всего» *(ma le gambe, ma le gambe a me piacciono di più).*

Неотразимы были героини популярных песен: и «поселянки-красотки», и городские штучки, такие как посыльная из модной лавки *«bella piccinina»* («кро-о-шка-малышка»), разносящая клиентам картонки по миланскому центру, «только лишь слегка припудрив носик», а в особенности — наездницы велосипедов, воплощение вольной и дерзкой женственности, обладательницы «высоких и стройных» ног с «точеными коленками».

Col visino mezzo incipriato
e il più bel sorriso spensierato
giri per il Corso piu affollato
col tuo scatolone di novità.

Oh, bella piccinina
che passi ogni mattina,
sgambeitando lieta tra la gente,
canticchiando sempre allegramente.

Только лишь слегка припудрив носик,
на меня в толпе ты глазки косишь
и с улыбкой радостной проносишь
модные перчатки и духи.

О, кро-о-шка-малышка, как
ты от меня проходишь близко,
набекрень подвинувши беретик,
напевая весело куплетик…

Ma dove vai bellezza in bicicletta
così di fretta pedalando con ardor,
le gambe snelle, tornite e belle
mi hanno gia mcsso la passione
dentro al cuor…

Как резво, красотка, ты крутишь педали
высокой и стройной ногой!
Коленки точеные быстро мелькают,
и сердце летит за тобой…

Quando noi vediaino una ragazza
passeggiar,
cosa facciam? Noi la seguiam
e con occhio scaitro poi cerchiam
quello che c'è da capo a piè

Saran belli gli occhi neri,
saran belli gli occhi blu,
ma le gambe, ma le gambe
a me piacciono di più…

Коли нам случается девицу повстречать,
что ж, мы скорей
идем за ней,
опытными взорами стараясь отгадать
все, что там в ней, до пят с кудрей.

Очи черные прекрасны,
голубые — ничего,
только ножки, только ножки

интереснее всего!

All'alba quando spunta il sole,
là nell'Abruzzo tutto d'or,
le prosperose campagnole
discendono le valli in fior.

Дни долги в Абруццо, а ночи коротки,
рассвет горит золотой.
На ярмарку с гор поселянки-красотки
в долину спешат гурьбой.

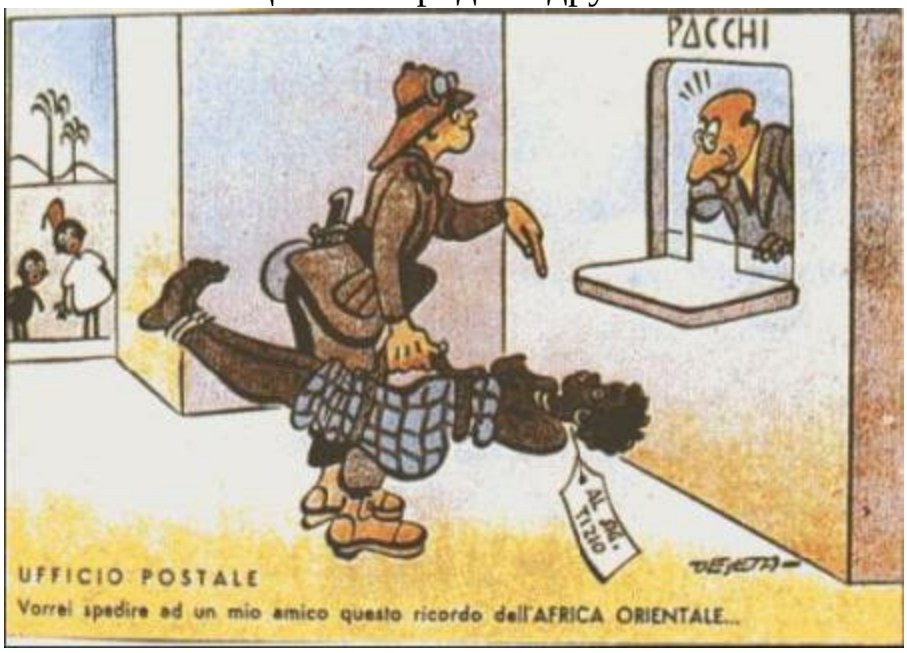
Кто был, наоборот, уродлив до тошноты, это, конечно, неприятели. В некоторых номерах «Балиллы», печатного органа «Юных ликторов Италии», публиковались карикатуры Де Сеты на разных политических врагов. «Предвкушая крах свой близкий, Вот Георг, король английский, Побежал искать защиту К другу Черчиллю — бандиту». Получали свою порцию насмешек и «скотина Рузвельтина» и *«terribile Stalino, l'orco rosso del Cremlino»* — «чудовищный Сталино, коммунарский кобелино».

Англичане были плохи тем, что обращались друг к другу на «ты» *(you)*, в то время как у нас в Италии, дабы отличаться от развязных иностранцев, с некоторых пор вышло постановление обращаться друг к другу всем, даже родственникам или друзьям, на «вы» *(Voi)*. (Замечу, что даже человек, мало знающий английский язык, и тот понимает, что у англичан you — это как раз именно «вы».) Но постановление сверху есть постановление сверху. Дедушка вырезывал и клал в отдельную папку четкие газетные и журнальные предписания на тему: как отныне следует обращаться друг к другу.

Кстати о красотках. Не забудем колониальных прелестниц. Негроидные типы провозглашались обезьяноподобными, и вообще абиссинцы объявлялись носителями множества болезней, но для абиссиночек делалось исключение. По радио пели: *Ах, негритяночка, моя смугляночка, Ты жди надейся, скоро мы придем, опля! Дадим тебе и новый строй, и короля!*

Что еще полагалось давать смугляночке, выяснялось из цветных

картинок все того же рисовальщика Де Сета. Того, который изгалялся над Сталино-кобелино. На картинках Де Сета итальянские легионеры покупали полуголых абиссинок на рынке рабов и, обмотав бечевками, как бандероли, сдавали на почту в качестве посылок — сувениров, предназначенных остающимся на родине друзьям.



Примечание к рисунку[247]

Песни о прекрасных эфиопках бывали и лирическими до грустноты: *Среди пустыни караван идет в Тиграи Над ним в ночи звезда далекая блистает, Блистает так же и моя к тебе любовь…*

Каковы были мои личные мысли в мире, развернутом к оптимизму? Мои личные мысли запечатлены в сохранившихся тетрадях с первого по пятый класс. С фаса до оборота обложек эти тетради излучают удаль и победный настрой. За вычетом двух-трех тетрадок из белого плотного полукартона, стоивших, полагаю, дороже прочих и имевших на самом видном месте изображение кого-либо из знаменитых деятелей. Представляю, как я вперивался в загадочное улыбающееся лицо господина по имени Схакеспеаре и сколько ломал голову над его фамилией. Обводил перьевой ручкой букву за буквой в странном иностранном слове. На остальных тетрадях были героические личности в черных рубашках, кидающие бомбы в неприятеля, и торпедные катера, пускающие ко дну огромные вражеские броненосцы, и самоотверженные связные, которые, после того как им оторвет руки гранатой, все бегут к заветной цели через град трассирующих пуль,

зажимая секретный пакет в зубах.

Учитель (почему не учительница? Бог весть. У меня был, вне всякого сомнения, «учитель») продиктовал нам главные пассажи исторического выступления дуче в день объявления войны 10 июня 1940 года, с добавлением, по газетным и журнальным отчетам, самопроизвольных реакций того людского моря, что колыхалось под балконом дворца на площади Венеции:

> Сражающиеся на земле, на воде и в воздухе! Чернорубашечники Революции и легионов! Граждане и гражданки Италии, Империи и Королевства Албания! Слушайте! Заветный час пробил на наших отечественных часах. Это час бесповоротных решений. Объявление войны уже предъявлено *(возгласы, громкие крики: «Война! Война!»)* посольствам Великобритании и Франции. Мы пойдем походом на плутократические и реакционные демократии Запада, которые постоянно перекрывают нам путь и покушаются на само существование итальянского народа…
>
> По закону фашистской морали с друзьями следует стоять до конца *(крики: «Дуче! Дуче!»).* Мы стояли до конца, мы будем сражаться до конца бок о бок с Германией, с ее народом, с ее замечательными вооруженными силами. Ныне, накануне эпохального события, обратимся мыслями к его императорскому величеству *(большинство слушателей разражается приветственными кликами во славу династии Савойя).* Наш король, как и в исторические времена, является выразителем души народной. Восславим и Фюрера, главу союзной нам Германии *(упоминание имени Гитлера сопровождается продолжительными аплодисментами).* Италия пролетарская, Италия фашистская встает в третий раз, как никогда сильная, как никогда гордая, как никогда единая *(единодушное одобрение, крики: «Так!»).* У нас один девиз, один на всех. Этот девиз горит в сердцах наших людей от Альп до Индийского океана: Победить! И мы победим! *(шквал аплодисментов).*

Примечание к рисунку[248]

Temprata da mille passioni
la voce d'Italia squillò!
«Centurie, coorti, legíoní,
in piedi che l'ora suono!»
Avanti gioventù!
Ogni vincolo, ogni ostacolo
superiamo!
Spezziam la schiavitù
che ci soffoca
prigionieri
nel nostro mar!
Vincerel Vincere! Vincere!
…
I nostri cuori esultano
nell'ansia di obbedir!
Le nostre labbra giurano:
o vincere o morir!
Услышьте меня, батальоны!

Раздался Италии клич!
Центурии, когорты, легионы,
вздымайте ваш яростный бич!
Вперед, молодые!
Все преграды и все препятствия
одолеем!
Цепи рабства
порвем,
за пределы Средиземного моря
прорвемся!
Победить! Победить! Победить!
…
Наши души хотят
героизмом гореть!
Наши губы твердят:
победить иль умереть!

В те-то месяцы, думаю, после речи Муссолини, по радио начали постоянно крутить песню «Победить!».

Как я воспринял начало войны? Как интересное приключение. Выступим же плечо к плечу с германскими товарищами. Германского товарища звали Рихард, это сообщалось и радиопередаче 1941 года: «Ты, друг Рихард, стань с нами вместе!»

Портрет этого друга Рихарда (который, кстати, по стихотворному ритму явно получался чем-то вроде французского Ришара, а вовсе не немецким Рихардом) был на обложке одной из тетрадей, где Рихард выступал плечо к плечу с итальянским соратником, в медальном виде, профильном, мужественном, чеканном, со взором, устремленным перед собой — к победе.

И тут *моя* личная радиоточка после «Друга Рихарда» (я уже свыкся с мыслью, что это именно радиоточка и что это именно прямой эфир) перешла к другой песне, на этот раз к очень нежной, к невыразимо грустной, похожей даже на похоронный марш, в такт тоненькому

дрожанию у меня в середине, когда глубокий хриповатый женский голос отчаянно-грешно вывел начало: *Tutte le sere, sotto quel fanal, Presso la caserma ti stavo ad aspettar…*

У дедушки была и оригинальная пластинка, однако в детстве я, конечно, не мог разбирать подлинные слова. Я ведь не понимал по-немецки. Значит, я слушал вот этот переведенный текст.

Возле казармы, где большой забор,
Столб есть фонарный, стоит он до сих пор,
А возле этого столба
Встречались мы, я ждал тебя,
Тебя, Лили Марлен,
Тебя, Лили Марлен.

Две наши тени слиты как одна,
Нашей любовью ведает луна.
Давай, покуда не умрем,
Стоять под этим фонарем
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен.

Дежурный, ахтунг, что за беготня?
«На гауптвахту упрячут на три дня».
За то, что я забыл отбой,
За то, что я провел с тобой
Всю ночь, Лили Марлен,
Всю ночь, Лили Марлен.

Фонарь запомнил все твои шаги,
Ты эту память в сердце береги…
А если вдруг меня убьют,
Забудешь ты за пять минут
Меня, Лили Марлен?
Моя Лили Марлен?

В дожде и снеге, средь иных широт,
Помню, как во сне, я твой любимый рот.

Когда рассеется туман,
Вернусь я из далеких стран
К тебе, Лили Марлен,
К тебе, Лили Марлен.

Когда рассеется поздний туман, *Wenn sich die späten Nebel drehn.* Нет, не мог я тогда понимать, кто же выстаивает ночи под фонарем (думаю, что недоумевал по другому поводу: как это горели фонари по ночам в Германии, разве у них не было обязательного затемнения?). Я не понимал, что печальный голос течет из уст таинственной «питаны», именно такой женщины, которая «торгует сама по себе». Прошло много лет, я выписал из Кораццини четверостишие, где это наконец разъяснилось:

Torbido e tristo nella solitaria
via, davanti la porta del poslribolo,
s'affioca il buono incenso del turibolo,
forse è la nebbia che fa opaca l'aria.

Пасмурно и грустно на уединенной
улице, и прямо у дверей блудилища
воскурился ладан, будто из святилища —
то туман клубится в дымке помутненной.[249]

«Лили Марлен» появилась сразу следом за энергичным «Другом Рихардом». Не то германцы были унылее нас по темпераменту, не то за это время что-то разладилось, но только друг Рихард явно повесил нос, ему обрыдло шагать по колено в грязи, и он мечтал как можно скорее очутиться опять под фонарем. По одним уж только официальным песням можно судить, куда идет жизнь и как меняется настроение. Целью являлась уже не суровая победа, а приветливая грудь «питаны», озабоченной происходящим, как и ее клиенты.

Когда стихло первоначальное ликование, пришла привычка не только к затемнению и, полагаю, к бомбежкам, но и к голоду. Иначе зачем было рекомендовать юным балиллам в 1941 году — разводить на

балконах огороды? Имелась, видимо, нужда в этих четырех морковках. А почему балилла вдруг перестал получать вести с фронта от своего папы?

Любимый папа,
Вот я пишу тебе, и от тревоги
Почти не повинуется рука.
Уже который месяц ты в дороге
И весточки не шлешь издалека.

Пишу и плачу светлыми слезами,
Но это слезы гордости, поверь.
Вот у меня стоит перед глазами,
Что ты вернулся, постучался в дверь.

Сражаемся и мы, моя забота —
Трудиться и терпеть, как весь народ.
Я выполняю скромную работу —
Полю и поливаю огород.

Молю, чтобы господь небесной силой
Оборонил тебя, мой папа милый.

Стране нужны были морковки первоклашки. А на другой странице тот же учитель диктовал нам устрашающие данные про англичан: те едят пять раз в день! Я бы мог возразить ему, что и сам ем не менее пяти раз: с утра кофе с молоком и бутерброд, в школе в десять часов второй завтрак, потом обед, полдник и ужин. Но это у меня так устраивалась жизнь. Думаю, не всех детей в Италии так кормили. Как, кто-то питается пять раз в день! — негодовали итальянцы, вынужденные растить помидоры на балконах.

Si scioglie la neve,
La nebia, la brina,
quel turpi inglesi
che pernottano in cantina
tracannando bolliglie,
succhiando pastiglie
domandano ai topi
quando il tempo cambierà.

Aprill non giunge
col vol di colombe,
lancia dai cieli
pioggla di bombe, lancla siluri
a colpi sicuri.
E l'Apille d'Ilalia che la gloria ci dà…

Malvagla Inghillerra
tu perdi la guerra..
la nostra vittoria
sul tuo capo fiera sta.

Adesso viene il bello,
adesso viene il bello,
laoletta di pescator
a nord ritornerai.
adesso viene il bello,
adesso viene il bello,
Inghillerra, Inghillerra,
la tua finesegnata è gia.
Растаяли снеги,
тумана нет боле,
поганцы британцы
засели в подполе,
сосали бутыли,
отчаянно пыли и
крыс вопрошали:
Весна не в начале?

В начале, Британия, грянул апрель!
И с неба летит шрапнель!

Не зря залезли вы
в катакомбы!
На вас мы с неба
обрушим бомбы,
метнем торпеды
своей победы.

Сдавайся, Британия, это конец!
И с неба летит свинец!

Жизнь лучше станет,
жить лучше станет,
ты сгинь, Британия,
рыбацкий островок.
Жить лучше станет,
жить лучше станет,

твой, Британия,
конец уж недалек.

Примечание к рисунку[250]

Inchiodata sul palmeto
veglia immobile la luna,
a cavallo della duna
sta l'antíco minareto.

Squilli, macchinc, bandiere,
scoppi, sangue, dimmi tu,
che succede cammelliere?
È la sagra di Gíarabub!

Colonnello non voglio il pane
dammi piombo pel mio moschetto,
c'è la terra del mio sacchetto
che per oggí mi basterà.

Colonnello non voglio l'acqua
dammi il fuoco distruggitore,
con il sangue di questo cuore
la mia sete si spegnerà.
Colonnello non voglio il cambio
qui nessuno ritorna indietro
non si cede neppure un metro
se la morte non passerà.

Colonnello non voglio encomi,
sono mono per la mia Terra.
Ma la fine dell'Inghilterra
incomincia da Giarabub.

Средь пустыни и бликах света
дремлет пальма ночью лунной,
над песчаной жаркой дюной
реет башня минарета.

Только вдруг звучат все громче
взрывы, грохот, звуки труб…
«Что здесь делают, погонщик?»
«Тризну правит Джарабуб!»

«…Мне, полковник, не надо хлеба,
выдай пули мне и патроны,
и землицы смертного склепа
хватит голод мой утолить.
Мне, полковник, не надо фляги,
ты поддай огоньку позлее,
в сердце хватит крови-отваги,
чтобы жажду навек залить.
Мне, полковник, не надо смены,
здесь никто не ушел с позиций.
Нет ни страха тут, ни измены,
только смерть нас может сменить.

Мне, полковник, хвалы не надо…
Стон последний с засохших губ:
знаю, гибель британского гада
возвестил собой Джарабуб!»

Пятикратное питание? С чего же они такие тощие, англичане? На открытке «Молчите!» в коллекции деда зловредный англичанин подслушивал военные секреты, выбалтываемые, по всей видимости, беззаботным итальянцем в кругу товарищей в каком-то баре. Хотя откуда взяться англичанину в итальянском баре? То есть это что же, и среди итальянцев бывают шпионы? Рассказики в школьных хрестоматиях убеждали нас, что после муссолиниевского «похода на Рим»[251] все вредители полностью обезврежены. Выходит, это не совсем так?

На страницах тетрадей речь шла о неминуемой победе. Но по ходу чтения я вдруг навострил уши — на тарелке проигрывателя закружилась песня обворожительной красоты. В ней рассказывалось, как держался в окружении до последнего патрона героический дивизион среди далекой африканской пустыни, в местности Джарабуб. Гарнизон израсходовал боеприпасы и продовольствие и умер с голоду. Это был поразительный эпос. За пару недель до отъезда в Солару, в Милане, я посмотрел по телевизору цветной фильм о сопротивлении форта Аламо — Дэви Крокетта и Джима Боуи. Ничто не сравнится по накалу эмоций с сагами об осажденных крепостях. Я подпевал балладе о блокаде голосом мальчишки, насмотревшегося ковбойских фильмов.

Я пел, что настанет конец Британии, что его возвестил собой Джарабуб, при этом в подсознании у меня звенело: «Что ж ты умер, кот мурлыка?» — ведь «Мурлыка» тоже был балладой посмертной славы. Ассоциация полностью подтвердилась после чтения дедовых газет. Оазис Джарабуб в Киренаике пал, после героической обороны, в марте сорок первого года. Поднимать боевой дух, воспевая сокрушительные поражения, — это совсем уж конец света, подумалось мне.

Из той же оперы была еще одна песня того же сорок первого года и с теми же прогнозами близких побед. «Жить лучше станет!» Лучшую жизнь обещали к апрелю, в точности когда мы потеряли Аддис-Абебу.

И в любом случае «жить лучше станет» — это говорят, когда жизнь совсем паскудная и остается только уповать на перемены.

Вся та героическая пропаганда, которую обрушивали на нас, была со скрытым надрывом. Как иначе воспринимать плакат «Мы возвратимся!» — это ведь надежда отбить обратно те рубежи, с которых мы были отброшены?

И что можно сказать по поводу «Гимнов батальонов М.»?

Battaglioni del Duce, battaglioni,
della morte creati per la vita,
a primavera s'apre la partita,

i continenti fanno fiamme e fior.
Per vincere ci vogliono i leoni
di Mussolini armati di valor.

Battaglioni
della morte,
battaglioni della vita,
ricomincia
la partita,
senza l'odio поп c'è amor.
«M» rossa
uguale sorte,
fiocco nero
alla squadrista
noi la morte
l'abbiam vista
con due bombe e in bocca un fior.

Батальоны дуче, рати смерти,
призванные мир и жизнь спасти,
по весне возобновим сраженье,
пламени — пылать, цветам — цвести!
Так идут по выжженной равнине
эти львы Бенито Муссолини!

Рати смерти,
рати жизни
выступают в бой весною,
буква М сияет ало,
чернотой блестит темляк.

Не пугает
канонада
нас — отчаянных рубак!
Встретим гибель
мы с гранатой,
встретим с розой смертельной в зубах!

Согласно дедушкиной подписи, эта пластинка восходила к 1943 году. В сентябре того же года Италия заключила перемирие и проиграла войну. Помимо очаровавшего меня в песне образа — выхода навстречу смерти с гранатой и с розой смертельной в зубах, — остальной текст вызывал некоторое количество вопросов. Почему битва возобновится весною? Когда же ее приостановили, битву? В любом случае нам полагалось петь все это с неколебимою верой в окончательную победу.

Единственный по-настоящему оптимистичный гимн, поступивший из радиолы, назывался «Песнь подводников» *(«Canzone dei Sommergibilisti»): Мы бороздим моря, в лицо смеемся Костлявой дуре смерти, своей судьбине…* От мысли об этих мореходах мне пришла в голову еще одна песенка, и я быстро отыскал ее — вот, пластинка «Девушки, не верьте вы матросам» («*Signorine non guardate i marinai»).*

Эту уж точно мне в школе не преподавали. Эта песня явно пришла из радиопередачи. В передачах уживались и матросы-подводники, и не доверяющие им девушки. В разные часы дня. Гимны двух совершенно различных миров. Какие бы песни я ни слушал, везде ощущалась раздвоенность: при подобных бедственных сводках с фронта, откуда только брались оптимистичный посыл и заразительное веселье, прыщущее из оркестров! Когда разразилась испанская война, где погибали итальянцы (и воевавшие за фалангистов, и воевавшие за республиканцев), и когда Верховный глушил нас громоподобными пророчествами, что-де грядет еще более великий, еще более последний

поход, — Лучана Долливер напевала (трепетнуло во мне таинственное пламя): *Не забудь моих слов, малышка, Ты не знаешь любви, глупышка,* оркестр Барцицца наяривал: *Малышка, ты влюбилась, Всю ночь во сне мне снилась, На грудь ко мне склонилась И улыбалась ты,* и все без исключения нашептывали: *О мой цветочек, ты хоть часочек Люби меня.*

Власти провозглашали курс на упрочение семьи и на многоплодие, вводили налог на бездетность? Радио оповещало массы, что мораль устарела и что безумная ревность в новые времена уже не в моде.

Новые времена были военными, окна были залеплены плотной бумагой, люди ловили каждое слово радиосообщений? Альберто Рабальяти шептал:

Приглуши-ка радио, детка, на минутку,
И послушай, мое сердце бьется не на шутку.

Армия ввязалась в экспедицию, предназначенную «перебить хребет Греции», и в наших окопах, заваленных грязью, хозяйничала смерть? Что поделаешь: *Если дождик зарядил, то любви не жди.*

Неужто Пиппо и впрямь-таки знать не знал? Сколько же обличий было у этой власти? На знойных африканских широтах бушевала битва при Эль-Аламейне, а радио голосило: *Под солнышком нежным, в краю безмятежном люби меня.* Мы объявили войну Соединенным Штатам Америки. Наши журналисты тщеславились — славно японцы вломили

американцам в Перл-Харборе! А радио, вообразите, им в ответ: *Под солнышком Гаваев, Средь пестрых попугаев, Средь милых шалопаев Гуляли мы…* Остается предположить: широкая публика знать не знала, что Перл-Харбор находится на Гаваях, а Гаваи принадлежат Соединенным Штатам! Фон Паулюс сдавался со всей армией под Сталинградом, шли оборванные пленные по земле, заваленной мертвецами, мы же слушали: *В твоей туфельке песчинка, ай-яй-яй, Что ж, прекрасная блондинка, вынимай.*

Когда союзники высадились на Сицилии — радиоточка голосом Алиды Валли[252] убеждала нас, что *любовь, о нет, любовь не выцветает, как золото волос*, когда Рим бомбили в первый раз, Джон Качальи пролепетал: *И днями, и ночами, одни с тобой, Сплетаемся руками, любимый мой;* на десант англоамериканцев под Анцио[253] радио отреагировало призывом: *«Besame, besame mucho»*, а на массовый расстрел в Ардеатинском рву[254] — песенками *«Crapapelata»*[255] и *«Dove sta Zazà»*.[256] Милан погибал под бомбежками. Миланское радио изрыгало куплеты: «Что за кривляка в ресторане Биффи-Скала!».

Ну а я, я-то сам как ориентировался в этой итальянской шизофрении? Верил в победу, любил дуче, был готов умереть за него? Верил в изречения Верховного, которые учитель велел зазубривать: «Плуг пашет борозду, но меч обороняет пахаря», «Если я наступаю — за мной, друзья, если я отступаю — убейте меня?»

Я обнаружил свое сочинение в тетради пятого класса, 1942 год, Anno XX Фашистской эры:

> ТЕМА — «Юноши, вы должны всю вашу жизнь посвятить защите нового героического общества, создаваемого нами в Италии» (Муссолини).
>
> РАЗВИТИЕ ТЕМЫ — Вот по пыльной дороге марширует колонна детей.
>
> Это балиллы идут гордой поступью под теплым солнцем нарождающейся весны, дисциплинированно маршируют, исполняя краткие команды своих начальников; это юноши, которые в двадцать лет оставят книги, дабы взять оружие и оборонять родину от неприятельских козней. Это балиллы, шествующие по улицам в субботу, а остальные дни отдающие

учебе. Придет время, и они станут верными и неподкупными хранителями Италии и нового итальянского общества.

Кто бы мог вообразить, видя, как шествуют легионы «Марша юных», что эти безусые юнцы, из которых многие еще пока — члены молодежной организации, уже окропили своей кровью огнедышащие пески Мармарики? Кто подумает, видя этих веселых и вечно шутливых юношей, что через несколько лет они, может быть, погибнут на поле боя с именем Италии на устах?

Я твердо убежден: когда вырасту, стану солдатом. И ныне, когда по радио нам сообщают о неисчислимых подвигах, о героизме и самоотверженности, проявляемых нашими доблестными солдатами, желание самому совершить подвиг все крепче в моем сердце, и никакая сила не сумеет искоренить его.

Да! Стану солдатом, стану сражаться, и если Италии понадобится моя жизнь — отдам ее во имя нового, героического, священного общества, которое строится в Италии, волею Божией, на благо человечества.

Да! Веселые балиллы, любители шуток, вырастут и превратятся во львов, если враг захочет осквернить наше священное общество. Они сумеют драться, как неистовые звери, сумеют снова подниматься. Упав, они сумеют победить, заново восславляя Италию, бессмертную Италию.

Воодушевляясь памятью нетленной славы, гордясь победами сегодняшнего дня и веря в будущие свершения, которые суждено совершить балиллам, наша современная молодежь — завтрашние солдаты — пойдут с Италией по ее славному пути к крылатым победам.

Верил я во все это или просто тасовал патриотические штампы? Как реагировали мои родители на то, что я приносил домой эти тексты с оценками «отлично»? Может, они тоже принимали все это как данность, приученные к подобной риторике еще в период, предшествовавший фашизму? Разве они сами не воспитывались в духе национализма и в славословиях Первой мировой войне, лившихся благословенным дождем? Разве футуристы не превозносили войну как «гигиену

человечества»? Некоторые пассажи моей школьной работы напоминали соответствующие цитаты из «Сердца» Де Амичиса. Я пошел за книжкой. Вот, героизм маленького падуанского патриота, благородные порывы Гарроне, я знал, что там будет письмо отца Энрико, где он восхваляет перед сыном Королевскую армию Италии:

> Все эти юные, пышущие силою и надеждой, могут однажды быть призваны на защиту Отечества и через несколько часов быть сражены ядрами и пулеметным огнем. Когда слышишь на праздниках клики: *Да здравствует Королевская армия! Да здравствует Италия!* — видишь за проходящими полками поля, покрытые трупами и окропленные кровью. Тогда клич *Да здравствует наша армия!* вырывается из самых сердец, и Италия предстает в величественном и строгом образе.

Следовательно, не один я, но и старшие в моей семье были приучены, что любовь к своей стране облагается кровавой податью, и что зрелище полей, покрытых трупами и окропленных кровью, должно вызывать не ужас, а воодушевление. С другой стороны, разве тишайший Леопарди не писал за сотню лет до нас:

> Язычества блаженны времена:
> Единой ратью мчались племена
> За родину на смерть.[257]

Теперь понятно, что и массовые побоища на обложках «Иллюстрированного журнала путешествий и приключений на суше и на море» не должны были как-то особо впечатлять меня, потому что все мы росли в культе кошмарности. И не только Италии это было свойственно. Чего стоили воинственные повести в «Иллюстрированном журнале», рассказываемые от лица французских «пуалю».[258] Эти французы состроили для себя из седанского позора злобный и мстительный миф, точно так же как мы впоследствии выстроили миф о Джарабубе. Ничто так неудержимо не влечет массы ко всесожжению, как перенесенный позор. И вот нас обучали, и отцов и детей, азам

жизни, рассказывая, до чего привлекательна гибель.

Но все же — сильно ли я жаждал умереть и что я знал о смерти? Вот как раз в хрестоматии пятого класса рассказ «Высота Валенте». Эти несколько страниц были самыми замусоленными в томе, против названия карандашом был намалеван крест; многие фразы и абзацы густо подчеркнуты. Дело происходило в испанскую войну. Батальон «Черная стрела» обязан был взять штурмом голую и жесткую высоту, атаковать которую — нереально. Однако командует взводом двадцатичетырехлетний черноволосый силач Валенте, он был студентом-филологом и писал стихи, увлекался боксом и победил на молодежных спортивных играх (*«Littoriali»)*, а ныне завербовался в Испанию на войну, где требуются и поэты, и бойцы». Валенте поднимает взвод в атаку, сознавая ее безнадежность. Рассказ описывает поочередно этапы героического наступления, красные из укрытий *(где же эти негодяи? почему не показываются?)* косят атакующих шквальным огнем, *будто водой заливая пожар, расширяющийся и приближающийся.* Еще несколько шагов — Валенте рвется на вершину холма — и сухой неожиданный удар прямо в лицо наполняет его уши невыносимым звоном:

> Дальше — темнота. Лицо Валенте вжато в траву. Темнота становится светлее и окрашивается алым. Глаз героя, почти на уровне земли, видит две-три травинки, толстые, будто столбы.

Подбегает солдат и шепчет на ухо Валенте: высота взята. За Валенте теперь говорит автор: *Что означает умереть? Это слово обычно вызывает страх. Но когда умираешь и когда осознаешь это, то не чувствуешь уже ни жара, ни холода, ни боли.* Валенте знает только, что выполнил свой долг, что захваченная высота будет носить его имя.

Перечитывая эти страницы, я весь затрепетал и по трепету понял, что именно на них я впервые повстречался с рассказом о реальной смерти. Толстые, будто столбы, травинки, казалось, обитали в моем сознании с незапамятных времен, потому что при чтении я так и увидал их перед глазами. Мне даже почудилось, что я ребенком много раз примеривал на себя все это: ложился на спуске к огороду, уткнувшись лицом в грядку, в сохлые травы, и рассматривал травинки-столбы.

Так вот оно, мое падение на землю на пути в Дамаск,[259] после которого все во мне перевернулось. Как же я мог в те же самые месяцы написать свое патриотическое сочинение? Как могли уживаться внутри меня две противоположные личности? А может, я все-таки прочитал рассказ о смерти Валенте уже после написания сочинения, и лишь после этого все во мне действительно перевернулось?

Годы начальной школы завершились смертью Валенте. В учебниках средней школы интересных находок было меньше. На тему о семи царях Рима или о многочленах, будь ты фашистом или не будь, говорить приходится приблизительно одно и то же. Но в средней школе появился новый тип задания: мы описывали «Случаи из жизни». В отдельных тетрадках. Видимо, имела место реформа программ, исчезли сочинения на заданную тему, вместо них нам стали задавать «принести рассказик о каком-нибудь случае». К тому же в нашу школу пришла новая учительница, которая прочитывала все наши опусы и красным карандашом писала на полях — не оценки, нет, — а комментарии касательно стиля и сюжета. Это явно была женщина («я была приятно удивлена живостью изложения…»), причем умная (мы, вероятно, очень любили ее, и у меня есть к тому же смутная, необъяснимая уверенность, что учительница была молода, хороша и душилась ландышами) и поощрявшая и учениках самостоятельность и нетрадиционный подход.

Один из лучших отзывов получил вот этот «Случай из жизни», датированный декабрем 1942 года. Мне было одиннадцать лет. Со времен того памятного сочинения протекло всего девять месяцев:

> СЛУЧАЙ ИЗ ЖИЗНИ — «Неразбиваемый стакан».[260]
>
> Мама купила неразбиваемый стакан. Но он был стеклянный, из самого настоящего стекла. Я был удивлен, потому что во время описываемого события нижеподписавшемуся было совсем немного лет и его умственные способности еще не развились до такой степени, чтобы представить, что стакан, простой стакан, подобный тем, которые при падении разлетаются на тысячу осколков со звуком «дзынь», может быть совершенно неразбиваемым.
>
> Неразбиваемый стакан! Эти слова звучали волшебно. Я пробовал ронять его раз, идва, и три, стакан падал, но

отскакивал от пола с сатанинским щелканьем и оставался совершенно невредимым.

Однажды пришли знакомые и им были предложены шоколадные конфеты (любопытно, что тогда эти лакомства еще существовали, и даже изобиловали). Набив конфетами рот (не могу сказать точно, какой это был шоколад — «Джандуйя», «Стрелио» или «Каффарель-Проше»), я отправился в кухню и вернулся, неся в руке неразбиваемый стакан.

— Уважаемые дамы и господа, — воскликнул я голосом директора цирка, зазывающего прохожих на спектакль, — позвольте вам представить волшебный, удивительный неразбиваемый стакан. Сейчас я выроню его, и вы увидите, что он не разобьется! — и добавил торжественным, загадочным голосом: — Стакан останется невредим!

Я разжал пальцы и… страшно сказать, но стакан разлетелся на тысячу осколков.

Я весь залился краской, в отчаянии посмотрел на черепки, которые под ярким светом люстры сверкали, как драгоценности… и безутешно заплакал.

Конец моей истории. Надлежало ее проанализировать, как анализируют классический текст. Место действия: дотехнологическое общество, в котором неразбиваемый стакан — редкость, семья приобретала только один такой стакан, в качестве курьеза. Расколотить такой стакан было и бесславно, и ущербно для семейного бюджета. В общем, кругом неприятность.

Сочинение было написано в 1942 году, довоенное время сохранялось в памяти как прекрасная сытая жизнь, в которой существовали шоколадные конфеты, и даже импортного завоза; в той жизни семьи принимали в гостиной знакомых и родных под сияющими хрустальными люстрами. Моя речь к собравшимся слушателям воспроизводила по тону не митинги на площади Венеции, а зазывные кличи лоточников, слышанные на уличном базаре. Интрига простраивалась как обещание — вызов — железная уверенность в успехе — затем внезапный кульминационный момент, кульбит, ситуация оборачивается полной противоположностью — и рассказчик

живописует разгром.

Это была одна из самых ранних по-настоящему «моих» историй, не повторение школьных клише, не перепев приключенческих романов. Комедия об опротестованном векселе. Осколки под ярким светом сверкали (лживо), как драгоценности, и я в одиннадцать лет проникался чувством *vanitas vanitatum,*[261] исполнялся вселенского пессимизма.

Я стал живописателем краха, я приписал в сказание о разгроме одно дополнительное придаточное предложение. Я сделался экзистенциально безутешен, радикально скептичен, непроницаем для иллюзий.

Как я сумел переродиться за девять месяцев? Бесспорно, я повзрослел; с возрастом умнеют; но тут, конечно, дополнительно добавилось еще очень и очень многое — разочарование в не оправдывающихся посулах славы (вполне возможно, что я еще и в городе читал те самые газеты, где дедушка отчеркивал самое важное), встреча лицом к лицу со смертью в рассказе о Валенте, о геройстве, завершившемся мрачным видением — бледно-соломенно-зеленовато-желтыми столбами, этой последней изгородью, которая отделяла меня от преисподни, от исполнения естественной судьбы всех проживающих на свете смертных.

За девять месяцев я сделался мудр, обрел саркастически-горькую разуверенность.

А как же все прочее, песенки, и речи дуче, и девчонка, что влюбилась и ночью мне приснилась, и смерть, которую встречают с гранатой и с розой смертельной в зубах? Судя по моим тетрадкам, первый класс средней школы (когда я, в частности, сочинял «Случай» про стакан), я учился еще в городе, а два следующих класса — в Соларе. Родители приняли решениие на всю зиму остаться в деревне, так как город начали бомбить. Я сделался жителем Солары тогда же, когда создал повесть о битом стакане; сочинения двух последующих лет были сагами об утраченном блаженном прошлом, когда гудок сирены оповещал не о воздушной тревоге, а о том, что на фабриках обеденный перерыв, полдень, а, значит, папа возвращается домой в обед. Сочинения выдавали мою подспудную мечту, а именно, — до чего прекрасно было бы снова поселиться в мирном городе. В сочинениях вспоминались довоенные Рождества. Униформу балиллы я сбросил с плеч, стал неполнолетним декадентом, искателем утраченных времен.

[262]

Как же я провел два года, с сорок третьего до конца войны? Два самых безрадостных года, когда в городок то заскакивали партизаны, то заявлялись немцы — уже совсем не наши «товарищи»? Молчание на этот счет в тетрадях, как будто говорить о страшном стало табу, и сами же преподаватели рекомендовали этим не заниматься.

Мне не хватало какой-то сцепки, а может — нескольких сцепок. В 1943–1945-м я кардинально переменился. Но почему?

Глава 10
Башня Алхимика

Сумятица в голове стала еще хуже, чем по приезде. Прежде я хотя бы не помнил ничего. Абсолютный ноль. Теперь же я тоже не помню ничего, но слишком многое понимаю. Как узнать, кем я был в те давние два года в Соларе? Кто был главнее: Ямбо, который отличался в школе, получал обязательное образование, состоявшее из фашистских речевок, пропагандистских открыток, настенных плакатов, — или Ямбо радиопесен — или Ямбо, голова которого была нафарширована Сальгари и Жюлем Верном, повестями о капитане Сатане, ужасами из «Иллюстрированного журнала путешествий и приключений на суше и на море», преступлениями Рокамболя, парижскими тайнами Фантомаса, туманами Шерлока Холмса, а также похождениями Вихраста и сюжетами о неразбиваемых стаканах?

Сбитый с толку, я снял трубку и позвонил Паоле, она тут же подняла меня на смех.

— Ямбо, ну и я про саму себя не смогла бы ничего определенного сазать. Я помню только какие-то ошметки: ночь в бомбоубежище, меня будят и ведут по лестнице в подвал, мне, должно быть, было четыре года. И вообще извини, дай я выскажусь с позиций психолога. У ребенка должны быть неоднотипные воспоминания. У наших внуков ведь то же самое, они сначала смотрят новости по телевизору, потом им читают сказки о говорящих волках. У Сандро сейчас любовь к динозаврам, он знает динозавров по мультфильмам, но он не ожидает встретить динозавра в своей песочнице. Мы ему то читаем про Золушку, то он вечером выползает из кровати посмотреть, что в телевизоре у родителей, а там десантники крошат япошек из гранатометов. Дети уравновешеннее взрослых. Они умеют отличать, где кончилась сказка, где началась жизнь. Лишь очень больные дети, посмотрев на летающего Супермена, сами прыгают с балкона. Есть такие клинические случаи, виноваты почти всегда родители. Но ты был никакой не клинический случай, и ты прекрасно знал, где кончался Сандокан и начиналась школьная программа.

— Да, но из чего слагался мой внутренний мир? Из Сандоканов или

из фюреров, гладящих по головкам Сынов Волчицы? Я ведь тебе говорю — я прочел свое школьное сочинение. В десять лет я действительно *был неколебимо убежден — когда вырасту, стану солдатом?* Хотел биться как неистовый зверь, умереть за бессмертную Италию? И это в десять лет, когда, конечно, цензура ограничивала информацию, но бомбежки-то уже были, итальянцы уже гибли как мухи на русском фронте…

— Но Ямбо, ты же сам говорил и о Николетте, и о Карле, и о наших внуках… ты любишь повторять, что дети подлые лицемеры. Помнишь, только что вот на этой неделе: пришел в гости Джанни, и Сандро провозгласил: «Обожаю, когда ты к нам приходишь, дядя Джанни». Джанни в восторге: видите, как он меня любит. А ты ему: «Джанни, все дети подлые лицемеры. Это чтобы ты давал ему жвачку». Таким лицемером был и ты. Зарабатывал оценку, писал, что требовалось учителю.

— Ты упрощаешь. Одно дело облизывать дядю Джанни, другое бессмертную Родину. Почему же тогда ровно через год я превратился в отпетого скептика, сюжетик о разбитом стакане превратил в притчу о бессмысленности мира… Потому что именно об этом стаканный рассказ, я абсолютно уверен.

— Просто потому, что сменился преподаватель. Новый учитель приохотил вас к критичности. А предыдущий тормозил критичность. Вдобавок в одиннадцатилетнем возрасте девять месяцев — век.

Неправда. В эти девять месяцев произошло что-то важное. Я совершенно в том уверился, снова наведавшись в кабинет дедушки с кофе в руках. Я сидел, потягивая кофе, перелистывал что попало и наткнулся на стопку юмористических журнальчиков «Бертольдо».[263] Верхний номер был 1937 года, но я, конечно, прочел его значительно позднее, потому что по малости лет никак не мог бы воспринять ни иллюстрации-почеркушки, ни замысловатый юмор. Диалог на первой странице, в левой колонке (постоянное место) поразил меня и сейчас, а значит, тем более мог поразить в те времена, когда совершалось мое загадочное душевное перерождение:

> Проходит Бертольдо мимо всех тех важных господ из свиты и садится прямо около Великого Герцога Фанфарона,

каковой, будучи человеколюбив от природы и любитель потех, обходительным манером пошел его выспрашивать:

ГЕРЦОГ: Здравствуй, Бертольдо, что можно сказать о крестовом походе?

БЕРТОЛЬДО: Героический.

ГЕРЦОГ: Деяния?

БЕРТОЛЬДО: Отважные.

ГЕРЦОГ: Порыв?

БЕРТОЛЬДО: Единый.

ГЕРЦОГ: Солидарность?

БЕРТОЛЬДО: Безграничная.

ГЕРЦОГ: А пример?

БЕРТОЛЬДО: Заразительный.

ГЕРЦОГ: Инициатива?

БЕРТОЛЬДО: Смелая.

ГЕРЦОГ: Самопожертвование?

БЕРТОЛЬДО: Беззаветное.

ГЕРЦОГ: Подвиг?

БЕРТОЛЬДО: Светлый.

На то смеялся и Герцог, и позванные Господа из свиты, и, посмеявшись, постановили начинаться бунту чесальщиков, [264] после какового бунта Господа из свиты снова сели на свои места и повелся у Герцога с вилланом новый разговор.

ГЕРЦОГ: Что можно сказать о народе?

БЕРТОЛЬДО: Простой.

ГЕРЦОГ: О пище?

БЕРТОЛЬДО: Простая, но здоровая.

ГЕРЦОГ: Земля?

БЕРТОЛЬДО: Щедрая и плодородная.

ГЕРЦОГ: Население?

БЕРТОЛЬДО: Дружественное.

ГЕРЦОГ: Зрелища?

БЕРТОЛЬДО: Неповторимые.

ГЕРЦОГ: Окрестности?

БЕРТОЛЬДО: Достопримечательные.

ГЕРЦОГ: А дворец?

БЕРТОЛЬДО: Великолепный.

Тут посмеялся Герцог, и с ним все позванные царедворцы, и далее постановил быть взятию Бастилии (1789) и разгрому при Монтаперти (1266), вслед за которыми снова расселись все господа свиты на собственные места и Герцог с вилланом продолжили разговор…

В этих диалогах пародировались и поэтическая напыщенность, и журнальный стиль, и официальная риторика. Совершенно ясно, что после этих диалогов я не мог уже писать такие сочинения, как то памятное, датированное мартом 1942 года. За этими диалогами следующим шагом был уже Неразбиваемый Стакан.

Ну, я просто строил предположения. Откуда мне теперь узнать, сколько и чего со мной понаприключалось за те девять месяцев, что пролегли от патриотической оды до элегии о погибшем стакане? Я решил на время остановить разыскания и копание в бумагах и сошел с холма в деревню. У меня кончились «Житаны», придется переходить на «Мальборо лайт», которые я не люблю, прекрасно, стану меньше курить, и еще зашел померить давление. Благотворное влияние Паолы по телефону: у меня оказалось примерно сто сорок. Улучшение неоспоримое.

Возвратился домой. Захотелось съесть яблоко. Яблоки, как я помнил, лежат в нижнем помещении центрального корпуса. Пошлялся между овощей и фруктов. Сколько же добра складировано в этом нижнем этаже. В последнем отсеке обнаружился целый выводок шезлонгов. Я вытащил один для сада. Уселся в самой панорамной точке, полистал сегодпяшние газеты, обнаружил, что современная жизнь интересует меня лишь постольку поскольку, развернул шезлонг в обратную сторону и уставился на собственный дом и на холм за ним. Чего я ищу, чего я хочу от жизни, — думалось, при этом, — не лучше ли оставаться здесь, ждать, любоваться холмами, они очень красивые, [265] этой фразой кончается роман, но какой роман? Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии, [266] предадимся бытию без будущего и без прошлого. Не так ли и рай.

Рай, может, устроен и так, но дьявольская литература оказалась

сильнее. В воображении моем нарисовался, в лучшем стиле «Библиотечки для юношества», какой-то замок, не то Ферлак, не то Ферральба, с поисками крипты или подвала, где запрятан таинственный пергамент. Надо нажать на пуп розы, высеченной в родовом гербе, часть степы отойдет, и откроется темная винтовая лестница.

Глаз скользил по слуховым окнам крыши, глаз спустился на второй этаж к окнам кабинета деда, настежь распахнутым, дабы освещать все перипетии моих метаний. Почему-то я принялся разбирать, какое окно куда относится. В середине балкон, это приемная. Слева от приемной три окна: столовая, спальня дедушки и спальня родителей. Направо кухонное окно, окно ванной комнаты, окно спальни Ады. Симметрично. По левому флангу расположены еще дедов кабинет и моя комната, но окошек их не видно, так как они в самом окончании коридора, куда примыкает наш флигель, так что окна смотрят уже в бок дома, за этим флигелем.

Все же какая-то неуверенность не оставляла меня, какое-то чувство, что симметрия где-то нарушена. Левый коридор тянется до дверей в мою комнату и в кабинет деда. А правый коридор после комнаты Ады упирается в стену. Выходит, правый коридор по какой-то непонятной причине гораздо короче левого коридора.

По двору прошла Амалия, и я попросил ее сказать, какое окно ее флигеля чему соответствует. — Ну, на первом этаже, мы там едим, вы там все видели. Потом еще одно окошко, то уборная, построил ее ваш доброй памяти дедушка, спасибо ему, чтоб мы не ходили до ветру, как прочие тут крестьяне, ну а еще, вон те два окошка, которые там видны, это склад садового инструмента, и туда можно заходить с обоих торцов. Там есть и дверь на задворки. Теперь про этаж, что сверху. Окно моей комнаты, а рядом окно спальной комнаты моих бедных покойных родителей и ихняя зала, и я там все закрыла на ключ и никогда не открываю, в память их памяти.

— Значит, последнее окно — это зала ваших родителей, и она кончается в углу между вашим флигелем и дедовым, — подытожил я.

— Да вестимо, что так, — отвечала Амалия. — Прочее — это уже господские помещения.

Ну, тогда я пошел на задворки правого флигеля, протиснулся между гумном и птичником. Поглядел на заднее окно кухни Амалии и на те покосившиеся двери склада, в которые я уже наведывался

несколько дней назад, — в те клети, где размещались лопаты, вилы, ведра для извести и прочая утварь. Но при новом рассмотрении эти клети оказались какими-то странно вытянутыми, было ясно, что они тянутся до самой торцовой стены дома, прихватывая кусок главного корпуса. Другими словами, этот склад занимал и часть дедова крыла, вплоть до тусклого тупикового окна, через которое можно было различить горные отроги.

Так, и что же находится на втором этаже над этими вот захламленными сараями? Ведь квартира Амалии кончилась на стыке с дедовым крылом? Хотелось бы получить ответ: чем занято пространство, которое в этой половине соответствует тому, где на противоположной стороне — кабинет деда плюс моя комната?

Вышел на гумно и задрал голову. Три окна точно так же, как три окна и на обратной стороне (два окна в кабинете деда, одно — в моей спальне). Ставни наглухо задраены на всех на трех. Выше обычные слуховые окошки чердака, чердак я обошел в прежние дни вдоль и поперек, он занимает все пространство под крышей, и окошки чердака выходят на все стороны.

Снова подозвал Амалию, она возилась неподалеку с рассадой, и спросил ее, какая комната за заколоченными тремя окнами. Никакая, отвечала Амалия как ни в чем не бывало. То есть как никакая? Не бывает никаких комнат. Это не из комнаты Ады, потому что Адино окно — во двор… Амалия попыталась вывернуться еще нелепей:

— Это все покойного дедушки дела, мне это неведомо.

— Амалия, что вы голову морочите. Как заходят туда?

— А никак и заходить не надо. Там и не осталось ничего. Все забрали кромешницы.

— Амалия, я сказал, не надо мне морочить голову. Туда заходят или с вашего первого этажа, или через какую-нибудь еще чертову дырку!

— А вы, пожалуйста, без проклятий обойдитесь, ни к чему нечистого поминать. Что я могу поделать, ваш покойный синьор дедушка заставил меня побожиться, что никому не скажу ничего о том, а уж раз дала слово, надо держать, не то неровен час — и впрямь черт за мной явится.

— Да когда же побожилась, о чем?

— А в тот самый вечер, что тогда еще ночью заявились Черные

бригады,[267] и ваш покойный дедушка сказал, позвал меня и матушку мою и велел нам крепко-накрепко побожиться, что мы ничего ни о чем не знаем, да еще он сказал, я так устрою, что вы и впрямь ничего знать не будете, мы все спроворим без вас, я сам и Мазулу, Мазулу, это звали так моего бедного родителя, потому что если придут из Черных бригад и почнут жарить вам пятки, то как бы вы не проболтались, когда не станет терпежу терпеть, и потому полезней будет, если вы и впрямь не знаете ничего, а то у тех ребят и не такие признавались, у них пели и кому они допрежь языки отрезали.

— Амалия, если должны были прийти Черные бригады, то это было больше сорока лет тому назад, с тех пор прошло сорок лет, дед и Мазулу оба уже много лет как померли, и те, кто был в Черных бригадах, померли тоже, и божба ваша уже потеряла всякий смысл теперь!

— Да, покойный господин дедушка и мой бедный покойный папа, те и впрямь уж сколько лет как померли, потому что лучших всегда наперед господь прибирает, но вот о тех-то, ну о Черных, то кто же может доподлинно знать, все ли они напрочь перемерли? У дурной травы цепки корпи.

— Амалия, Черных бригад уже нет, война окончилась давным-давно, никто не придет жарить вам пятки.

— Ну, всякое ваше господское слово для меня как отченаш, но все-таки Паутассо, который был в Черных бригадах, прям так и стоит у меня перед глазами, ему тогда и двадцати еще не исполнилось, так вот он живехонек и построил себе дом в Корсельо, и каждый месяц тот Паутассо наезжает сюда в Солару по своим надобам, потому что в Корсельо он построил кирпичную фабрику и забогател, уж будьте преспокойны, ну так в Соларе немало наших еще помнят, с каких средств забогател тот Паутассо, на улице люди от него на другую сторону переходят. Он, может, никому сейчас уже пятки не жарит, но, побожившись, слово надо держать, и даже наш приходский священник от божбы меня уволить не может.

— А, так значит, вам дела нет, что я болел и что я еще не выздоровел, напрасно моя жена вам доверилась, что вы мне во всем поможете, а вы мне не отвечаете на вопрос, и теперь я могу разболеться еще хуже.

— Да разрази меня господь на этом самом месте, коли я желаю зла

своему синьорино, чтобы он болел из-за меня, да куда же мне деваться, если я побожилась…

— Амалия, чей я внук, ну-ка скажите.

— Вашего господина покойного дедушки, понятное дело.

— Ну и вот я — дедушкин наследник, хозяин всего того, что здесь вы видите. Правильно? Правильно! И если вы не говорите, откуда в комнаты заходить, значит, вы у меня уворовываете кусок моего дома.

— Да пришиби меня громом пресвятой господь на этом самом месте, если я уворую господское добро, да слыханное ли дело, всю-то жизнь я тут горбатилась и дом этот вылизывала, как картинку!

— И вдобавок, поскольку я внук своего господина дедушки, скажу вам: что я вам сейчас говорю, считайте будто это в точности то же самое, что и дедушка сказал бы на моем месте: я вас торжественно отпускаю от обета.

Под натиском этих трех убойных доводов: мое здоровье! мои права на собственность! мое происхождение! — бедная Амалия не выдержала и сдалась. Синьорино Ямбо, видимо, значил для нее побольше, чем даже приходский священник и чернобригадовцы.

Мы поднялись на второй этаж центрального корпуса и прошли до самого конца правого коридора, где возле комнаты Ады стоял пропахший камфорой шкаф. Я помог Амалии сдвинуть шкаф, обнаружилась замурованная дверь. Отсюда был вход в капеллу, сказала Амалия, потому что в старое время, когда еще был жив тот двоюродный дед, который потом завещал все имение вашему дедушке, в доме служивали мессу, капелла, конечно, не велика, но в ней вполне доставало места и семье, и домочадцам, священник приходил по воскресеньям из деревни. Потом въехал дедушка, покойник, который, как известно каждому, был не набожен, и капеллой пользоваться не стали. Скамьи из нее вытащили и расставили по разным прочим помещениям. Я, как выяснилось, получил от деда разрешение расположить здесь свои книжные полки, перенести книги с чердака, и получилось у меня громадное собственное угодье. Чем я занимался там целые дни, бог знает, да только как прослышал об этом соларский священник, он обратился с просьбой убрать оттуда хотя бы освященные мраморы, то есть алтарь, чтобы не было поругания святынь, и дедушка отдал священнику и алтарь, и даже статую Мадонны, не говоря уж о

сосудах, ковчеге и дарохранительнице.

Однажды ближе к вечеру, речь о тех месяцах, когда вокруг Солары уже орудовали партизаны, и то они захватывали бург, то Черные бригады, но вообще-то речь о январе, а в январе верх держали Черные, а партизаны тогда ушли на горы в сторону Ланг, — и кто-то заявился к деду с просьбой спрятать четырех парней, за ними охотились фашисты, а парии будто бы даже не были покамест партизанами, а только собирались вступить в отряд и хотели пробраться на гору в Лангах, где зимовали ребята из Сопротивления.

Ни нас с Адой, ни родителей не было, потому что мы уезжали на два дня к дяде, он с семьей жил эвакуированный в Монтарсоло. То есть были только дед, Мазулу, Мария и Амалия, и дед заставил женщин поклясться, что они никогда и никому слова не скажут о том, что делалось в доме, а после все-таки отправил и Марию и Амалию спать. Но Амалия притворилась, будто спать пошла, а сама выбралась и подсмотрела, что там делалось. В восемь часов привели тех парней, дедушка с Мазулу завели их в часовню, принесли им туда еду, а потом занесли на второй этаж кирпичи и раствор и потихоньку, хоть и не будучи каменщиками, замуровали двери и заставили свежую кладку вот этим как раз шкафом, который сперва стоял совсем в другой комнате. Только они доделали, пожаловали чернобригадовцы.

— Видели бы вы, что за хари. Хорошо еще, что главный, кто началовал у них, был в перчатках и приличного воспитания, обращался обходительно, поди, напели ему, что ваш дедушка тоже настоящий барин и большой землей владеет, так что они двое одинаковые получались, ну, пес же пса не жрет. Покрутились те у нас, даже на чердак забирались, временем они особо не располагали, так больше для порядку зыркали, потому им еще по всем хуторам искать было надо, думали, крестьянам у крестьян прятаться сподручнее. Ничего они не выискали, тот, в перчатках, извинился перед вашим дедушкой за посещение и сказал — да здравствует дуче, и дед с папашей, бед на свою голову чтоб не искать, ответили ему тоже — да здравствует, мол, дуче, вот и истории конец.

Сколько же просидели беглецы в замурованной капелле? Амалия не знала. Она была глуха, нема, и ведомо ей было только, что несколько дней подряд ее мать Мария готовила корзинки с хлебом, колбасой и вином, а потом готовить корзинки, сказали, боле уж не надо. К

возвращению нашему с гощенья у дяди дед приготовил объяснение — что пол в часовне, как обнаружилось, проседает, и туда временно вколотили как попало скрепы, и каменщики заложили напрочь дверь, чтобы мы, дети, не вбежали и случайно не провалились вниз вместе с этим полом.

Ясно, сказал я Амалии, тайна, выходит, разъяснилась. Но как беглецы вошли туда, так они должны же были и выйти, а Мазулу с дедушкой должны же были через какой-то лаз приносить им провиант.

— Клянусь, о лазе знать не знаю. Что делал мой покойный господин ваш синьор дедушка, то было чистое золото. Замуровал? Замуровал. Часовни этой для меня с тех пор вроде как и нет. Вот не приди вам в голову допытываться, я б вкорень не вспомнила. А может, через окно подымали на веревке, и через окно вышли после всего все четверо ночью… Могло же так быть?

— Не могло, Амалия, потому что окно бы осталось открыто, а окна все заперты изнутри.[268]

— Вот и всегда я говорила, что синьорино Ямбо у нас всех умнее… Тогда через какой же ход их вывели мой бедный родитель и ваш покойный синьор дедушка?

— Вот-вот, *that is the question*.[269]

— Чего?

Наконец Амалия, через сорок пять лет после событий, догадалась поставить вопрос. Решать же его предстояло мне. Я лазил по дому в поисках прохода, решетки, дверцы, дыры из какой-нибудь комнаты, из коридоров центрального крыла, перешерстил первый этаж, перешерстил второй этаж, я был совершенный чернобригадовец — простукивал и свои комнаты, и Амалиины. Результата получено не было.

Даже не будучи Шерлоком Холмсом, я пришел к единственному логичному выводу: часовня имеет тайный выход на чердак. Куда — непостижимо. Для кого непостижимо? Для чернобригадовцев. Но не для Ямбо же! Вообразить только, мы возвращаемся из поездки к дяде, дедушка информирует нас, что о капелле лучше всего забыть, а между тем там мои вещи. Там же все книги мои любимые! Непревзойденный исследователь чердаков не может не найти таинственного лаза. Конечно, я продолжал наведываться в капеллу, и даже с большим, нежели прежде, удовольствием, потому что она стала настоящим

таилищем, стоило укрыться в замурованную палату — и никто и никогда бы не нашел меня.

Дело было за малым — поднимись на чердак и изучи правое крыло. Перед тем отгрохотала гроза, было не жарко, под крышей вполне можно было находиться. Работа выполнялась в щадящих условиях. Предстояло обследовать, передвигая вещи, все стены и все, что было придвинуто к стенам. В правом крыле складировались не коллекции, а старый хлам: неприкаянные двери, смененные балки, мотки ржавой проволоки, пыльные трюмо, скатанные в трубки и едва удерживаемые шпагатом старые матрацы, клеенки, лари, сгрызенные древоточцем сундуки и всякое барахло, сваленное кучами. Мне рухали бревна на голову, меня царапали ржавые крючья, тайной же дверцы не было нигде.

Потом мне все-таки пришла здравая мысль в голову, что не дверь мне следовало искать, а люк. Странно, что не сразу эта мысль возникла. Приблизительно таким же непрямым маршрутом развивались рассуждения всех персонажей «Библиотечки для юношества».

Тоже мне радость — хоть мысль была и здравая, искать на полу было еще хуже, приходилось через все перелезать, на все забираться, путаться ногами в глупо сваленных на пол жердях, а чего стоили кроватные сетки и раскладушки, неизвестно откуда взявшиеся части опалубки, доисторическое воловье ярмо плюс седло со всею сбруей. Все усыпано, как семечками, дохлыми мухами, бедолаги при первых холодах эмигрировали сюда и, разумеется, вымерзли. А паутина простиралась вообще от одной стены до другой, как тканые драпировки зачарованного шатра.

Слуховые окна замерцали близко подобравшимися зарницами, и в подкрышье воцарилась темнота, хотя дождя не послышалось, видимо, ливень шел стороной. Башня алхимика, тайна заброшенного замка, пленницы Казабеллы, загадка Моранде, Северная башня, секрет железного человека, что помнила старая мельница… Господи боже, надо мной сейчас бушует настоящая гроза, того гляди — молния жахнет над моей головой по черепицам, а я наблюдаю это событие исключительно глазами книжника-букиниста. «Чердак букиниста», я мог бы написать новую приключенческую книгу, да позабористей, нежели Бернаж или Каталани.

Фортуна сжалилась, я запнулся о ступеньку рядом с курганом

ветхого скарба, ступенька, о! Лихорадочно расчистил поле, обдирая руки, и вот — «Награда храбрейшему из отроков»: люк посередине пола. Конечно, именно в этот люк ныряли дед, Мазулу и беглецы, и великое количество раз, несомненно, нырял я сам, наяву переживая многократно читанные мной приключения. Ну и шикарное детство мне, гляжу я, подфартило прожить!

Люк был невелик, поднимался просто, хотя в воздух взмыла вся пыль, накопившаяся за пятьдесят лет. Что же видим мы под крышкой люка? Лестницу, элементарно, дружище Уотсон, и в придачу не такую уж крутую! Ее без муки осилили даже мои порядком намявшиеся за два часа поклонов и приседаний члены. В оное время, уверен, я слетал и взлетал по этой лестнице единым махом, но теперь ведь мне было почти шестьдесят, и не стоило делать вид, будто я все еще способен обгрызать себе ногти на ногах (клянусь жизнью, никогда не помышлял об этом, однако похоже на правду, лежишь себе младенчиком в колыбельке и от нечего делать…)

В общем, я вполне удачно слез. Почти полная темнота прорезалась ниточными лучиками — ставни от времени покосились и прилегали не сильно плотно. От темноты пространство воспринималось как беспредельное. Я отправился раздвигать ставни. Капелла занимала, как и следовало ожидать, пространство, равное дедушкину кабинету плюс моей спальне. К полуразобранному золоченому деревянному алтарю прислонены четыре матраса. Вот они, походные кровати беглецов! Ни единого иного следа этих пришельцев. Это значило, что капелла была кем-то обитаема после их ухода. Кем обитаема? Ну, вероятнее всего — мною.

Вдоль стены против окон тянулись книжные некрашеные полки, а на них — книги, газеты и журналы стопками, будто были подобраны какие-то разношерстные коллекции. В середине длинный стол, два стула. Проем, который некогда служил входом. Проем был заполнен диковатого вида кладкой — это был шедевр совместного труда дедушки и Мазулу, между кирпичами выпирал засохший раствор — ясно, что мастерком удавалось заравнять только ту сторону, которая глядела в коридор, но, разумеется, не обратную. Возле проема был выключатель. Я повернул его без всякой надежды, и точно — свет не зажегся, хотя с потолка и свисали на равномерных расстояниях лампочки в белых

плафонах. Может быть, мыши за прошедшие пятьдесят лет изгрызли проводку? Они же очень умные, мыши, крысы, кто знает — может, люк насобачились отворачивать? А еще могли мой дед и Мазулу в свое время повредить провода, замуровывая дверь.

Электрического света не было, я довольствовался остатками естественного. Сущий лорд Карнавон, первый за несколько тысяч лет человек, сошедший в гробницу Тутанхамона. Как я помню, сильнее всего лорда заботило, чтобы его не укусил таинственный скарабей, просидевший взаперти не меньше десяти веков. В гробнице беспорядок был тот самый, что я оставил по себе в последний раз, как приходил. Добавлю, что я решил не растворять окошки чересчур широко, чтоб не портить очарованную атмосферу.

Не решался смотреть на стеллажах. Какая разница, что там? Что бы там ни было, оно мое, а не то лежать бы этим книжкам в кабинете деда или отправиться бы в ссылку на чердак по дядитетиному приказу. Стараться, припоминать? А стоит труда? Память — условное орудие, изобретенное человечеством для работы с преходящим временем. Я же в этот миг попал в чудо — в начало, в *ab ovo*.[270] Я снова переживал опыт детства и, как Пиппати, от старости шел к возрасту дитяти. Теперь я мог держаться за то, что произойдет со мной после, — это ведь то же самое, что происходило со мной давно.

В капелле время остановилось, вернее, нет, оно повернуло обратно, как иногда прокручивают задним ходом стрелки часов, и не показательно, что на этих часах четыре, если мы знаем (как знал я, как один я знал), что это четыре не сегодняшнего, а вчерашнего дня или дня, бывшего сто лет назад. Чувство известное, я убежден, лорду Карнавону.

Если бы Черные бригады схватили меня здесь и сейчас, они, наверное, думали бы, что я нахожусь в лете тысяча девятьсот девяносто первого года, в то время как я знал бы, и только один я бы знал, что я в лете тысяча девятьсот сорок четвертого. И тому их начальнику, который носил перчатки, полагалось бы снять головной убор, входя сюда, — ведь он вступал в настоящее Капище Времени.

Глава 11
На Капо Кабана, вблизи океана

Множество дней я прокопался в этой капелле, а как темнело, брал порцию чтения с собой и уходил на всю ночь рассматривать добычу в кабинет дедушки, под свет зеленой лампы, под голос радиоэфира (я уже привык думать, будто это радио и будто оно ловит эфир), сплавляя в едином тигле то, что я слушал, с тем, что читал.

На стеллажах в капелле лежали непереплетенные, но аккуратно подобранные в стопки комиксы моего отрочества. Они не имели отношения к дедушке. Выпуски с 1936 по 1945 год.

Как я и сам предполагал и как подтвердил мне Джанни, деду бы хотелось, чтобы я читал не комиксы, а Сальгари и Дюма. Потому, оберегая свои вкусы, я складывал это добро подальше от дедушкиного доступа. И все же некоторые выпуски были датированы 1936 годом, то есть когда я еще не ходил в школу, а значит, если не дед, то кто-то другой купил мне эти журнальчики. Воображаю, дед возражал и упрекал моих родителей:

— Зачем вы вообще покупаете ему эту белиберду?

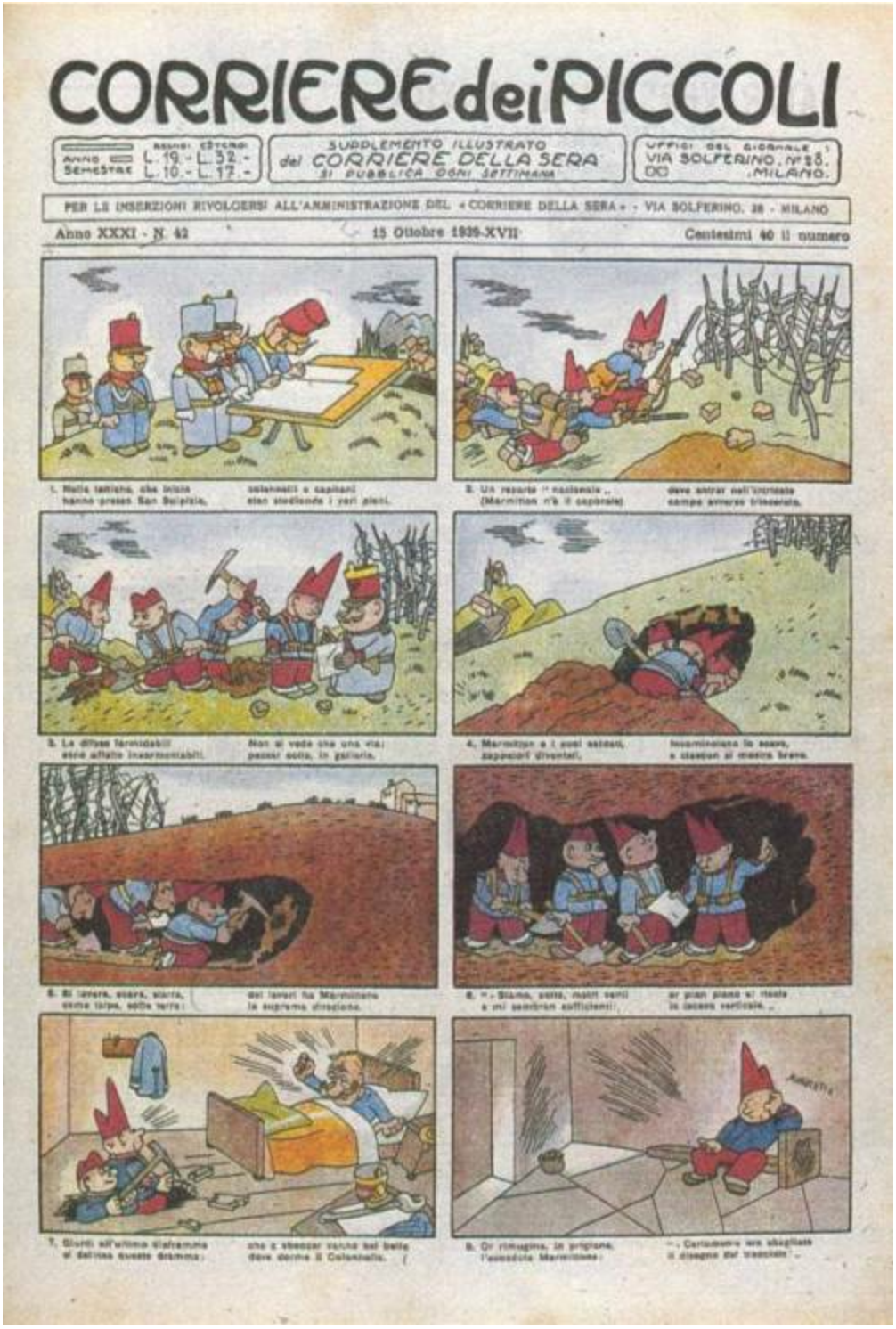
Те, наоборот, относились к комиксам снисходительно, поскольку и сами в детстве читывали их.

В первой стопке — «Коррьере деи пикколи». Начиная с 1936 года на его обложках появляется гриф *«anno XVIII»,* но не в смысле Фашистской эры, а в смысле «со дня основания журнальчика». Делаю вывод, что «Коррьере деи пикколи» выходил с первых лет столетия, и, значит, радовал собою и моих маму с папой: может быть, они сами сильнее радовались, пересказывая мне его, нежели я, когда слушал их пересказы.

Как бы то ни было, листая «Коррьерино» (вот выкатилось словцо — не сам же я его придумал?), я снова испытал чувство странности, как всякий раз в эти последние дни. В «Коррьерино» одинаково бесстрастно иллюстрировались и фашистские лозунги, и фантастические миры, населенные сказочными и гротескными персонажами. Серьезные, идейно выдержанные рассказы — и тут же поделенные на квадратики страницы, кальки с американских оригиналов, единственная дань

национальной традиции: картинки не должны были содержать пузырей с репликами. Все публикации «Коррьерино» оформлялись по принципу «картинка — подпись». К серьезным сюжетам — длинные подписи, к юморескам — стишки.

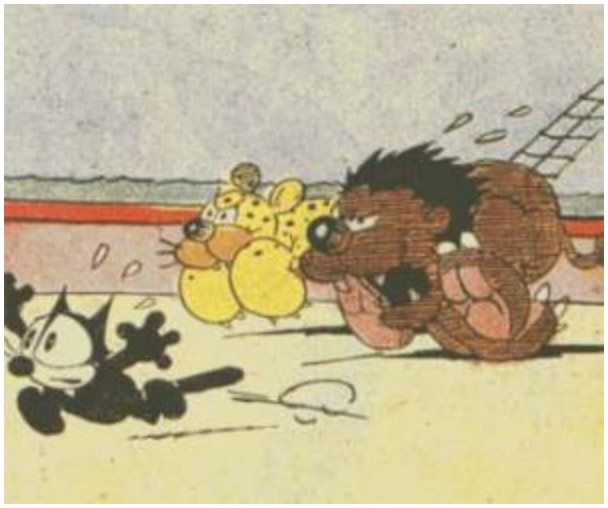
Новая карикатура: господин Бонавентура (Qui comincia l'avventura — del signor Bonaventura), да, конечно, помню это имя, эти рассказики о господине в неподражаемых белых штанах трапециевидного покроя, который всякий раз в начале истории, совершенно непредсказуемо и неожиданно, становился владельцем миллиона лир (в те времена, когда мечтой было иметь «тысячу лир в получку»!), а в конце приключения опять оказывался гол как сокол — и ждал нового везенья. Такой же мот, как господин Пампурио, о котром спрашивалось: *Видали такого транжиру? Опять покупает квартиру! (Signor Pampurio che arcicontento, vuol cambiare appartamento).* По стилю рисунка и по подписи автора было ясно, что эти рисованные ленты — итальянские. Итальянскими были и истории про Стрекозу и Муравья, про Калоджеро Сорбару, про Мартына Мума, «легкодума», *который был так легковесен, что с ветром летал в поднебесье,* и про профессора Ламбикки, изобретателя чудодейственного лака, мазнешь им по картинке — картинка оживает, так что дом профессора наполняется непрошеными персонажами, от обуянного Орланда до карточного короля, сердитого на то, что его выдернули из уютной Алисиной страны чудес.



Примечание к рисунку[271]

Другие ленты были пронизаны, напротив, американским духом: в них действовали кот Мио Мао (в оригинале, как я потом выяснил, он был Феликс), сорванцы в колониальном обмундировании Биби и Бибо *(Katzenjammer Kids)* и троица Фортунелло, Арчибальдо и Петронилла

(Happy Hooligan, Jiggs и *Maggie)* — эти рисованные обитатели интерьеров Крайслер-Билдинга то и дело напирали на рамки, почти прорывая кадр.



Поразительно, что в «Коррьерино» печатались и приключения солдата Мармиттоне («Недотепы»), обмундированного в точности как мои солдатики из Потешной роты. То по собственной недотепистости, то по идиотизму лампасно-усастых генералов, Мармиттоне в конце каждой серии попадал на гауптвахту. Вообще ему сильно не хватало воинственности и фашистского духа. Парадоксально: подобного недотепу допускали соседствовать с эпическими сказами о юных итальянских героях, цивилизующих Эфиопию (в комиксе «Последний вождь» бойцы абиссинского сопротивления именовались «бандформированиями»), с рассказами о молодых фашистах из «Героя Виллаэрмосы»,[272] дерущихся плечом к плечу с франкистами против кровожадных краснорубашечных республиканцев. Разумеется, в «Герое Виллаэрмосы» не оговаривалось, что на каждого итальянца в рядах фалангистов приходился итальянец в составе Интернациональных бригад.

Рядом со стопкой «Коррьерино» лежала стопка «Витториозо». «Витториозо» начинался с 1940 года, и в первых его выпусках печатались настоящие комиксы с репликами в пузырях (впоследствии, естественно, пузыри сменились подписями). Значит, в возрасте восьми лет я все-таки добился, чтобы мне покупали чтение по моему эстетическому вкусу!

Конечно, и в «Витториозо» присутствовала та же шизофреническая

раздвоенность. Очаровательные хроники Зооландии (долгошеяя Жирафона, рыбка Априлино и обезьяна Йойо) и ироикомические приключения Пиппо, Пертики и Паллы, Альвара, почти что корсара, и Алонсо-Алонсо по прозвищу Алонсо, ранее судимого за похищение жирафы, перемежались былинами о славном прошлом нашей родины и о вехах боевого настоящего, а также вестями из окопов и траншей.

Наиболее сильное впечатление производили комиксы о легионере Романо — феноменальной точностью прорисовки боевой техники: самолетов, танков, торпедоносцев и субмарин.

После ознакомления с дедовым монтажом газетных вырезок я был теперь умудрен опытом и первым делом реагировал на дату публикации. Вот, скажем, сериал «В направлении A.O.I.». Первый выпуск напечатан 12 февраля 1941 года. В январе англичане перешли в наступление в Эритрее, 14 февраля они заняли Могадиш в Сомали, а по

комиксам тем не менее все еще казалось, что Эфиопия в наших руках. Героя (поначалу воевавшего в Ливии) командируют на восточноафриканский фронт со спецпоручением лично к герцогу Аоста, в ту пору — главнокомандующему вооруженными силами Италии в Восточной Африке. Надлежит передать герцогу секретное сообщение. Герой, Романо, отправляется в путь из Северной Африки через англо-египетский Судан. Сообщение, которое несет Романо, вообще-то можно было бы передать по радио, не такой уж там был большой секрет — просто слова «Выстоять и победить!» (можно подумать, герцог Аоста без этого указания не знал бы чем заняться). Легионер Романо и горстка преданных бойцов отправляются в путь и переживают разнообразные приключения: сплошные дикари, английские танки, воздушные бои — все, что предоставляет рисовальщику широкие возможности для любования закопченною в боях броней.

Мартовские выпуски (а в марте англичане уже вовсю распоряжались в Эфиопии и единственный, до кого это еще не дошло, был легионер Романо): спецпосланец по дороге решил поохотиться на антилоп. Пятого апреля мы потеряли Аддис-Абебу, отошли и закрепились на рубежах Галла Сидамо и Амара, герцогу Аоста осталось только обороняться в Амба-Аладжи. Романо знай себе идет вперед по плану, время от времени ловя в силки слонов. Следует предположить, что и он, и читатели думали, будто все еще имеет смысл идти в Аддис-Абебу (хотя, по правде говоря, там как раз в это время восстановили правление изгнанного из Эфиопии пятью годами прежде законного негуса Хайле Силассие). Конечно, нельзя не учитывать, что в выпуске от 26 апреля ружейный выстрел вдребезги разнес радиоприемник легионера Романо. Но именно этот факт доказывает, что на предыдущей стадии сюжета радиоприемник у легионера был, и совершенно необъяснимо, отчего же легионер был настолько не осведомлен о хронике текущих событий.

В середине мая 7000 наших солдат, исчерпав боезапас и продовольствие, сдались англичанам в форте Амба-Аладжи, и с ними был взят в плен герцог Аоста. Читатели иллюстрированного журнала «Витториозо» продолжали не знать ничего, в том числе и этого, но уж бедный-то герцог Аоста поневоле должен был быть в курсе дела, — ан гляди-ка, легионер Романо 7 июня геройски доходит до герцога, и не куда-нибудь, а в Аддис-Абебу, и герцог на этой встрече выглядит

свежим, как роза, и в сиянии оптимизма. Герцог читает письмо «Выстоять и победить!» и на эти слова отвечает: «Обязательно — выстоим и одержим полную победу!»

Примечание к рисунку[273]

Само собой, рисунки делались за несколько месяцев до выхода журнала. Но интересно, что невзирая ни на какие сообщения с фронта редакторы «Витториозо» не осмеливались прекратить публикацию этого комикса. Все двигалось в прежнем направлении, в надежде, что до юных читателей не доходят кручинные и горькие вести, — и точно, кручинные вести до читателей не доходили.

Третья стопка — журнал «Тополино» («Мышонок»), то есть перелицованный на итальянский лад Микки-Маус. Там тоже рядом с разными Диснеями располагались истории из жизни балилл («Юнга на субмарине» и т. д.). Именно по этому изданию лучше всего прослеживается изменение в 1941 году официального направления мыслей. В 1941 году Италия и Германия объявили войну США, и это было именно так, я специально проверил по газетным подборкам дедушки; живешь и думаешь, что в какой-то момент американцам надоели безобразия Гитлера и они двинулись его приструнивать, так ведь нет, оказывается, дело было наоборот: Гитлер с Муссолини объявили войну США, видимо намереваясь ликвидировать Америку за несколько недель с помощью друзей-японцев. Поскольку было несколько сложновато сразу десантировать взвод СС или «Черных

рубашек» с заданием взять Нью-Йорк, была развязана война на поле комиксов, и первыми ее жертвами пали репликовые пузыри, их нещадно истребили и заменили на подписи под картинками. Потом, как я увидел и в других журнальчиках, начали исчезать все американские герои комиксов, их замещали итальянские двойники. Наконец, и это была самая кровавая, самая тягостная жертва, — был казнен Микки-Маус. Неделю за неделей, выпуск за выпуском, без всякой декларации репрессий, эпизоды в «Тополино» продолжали публиковаться, но главным героем уже являлся какой-то Тоффолино, уже не мышь, а человек, хотя и о четырех пальцах (как у всех антропоморфных тварей Диснея), а его компания состояла теперь из подружки Миммы (вместо Минни) и Пиппо (вместо Гуфи). По-моему, всем остальным второстепенным персонажам, хоть их и очеловечили, было дозволено сохранить настоящие имена.

Как я отреагировал в то давнее время на происшедший катаклизм? Да, наверное, спокойно. Я же понимал, что американцы внезапно стали воплощением зла. То есть, следовательно, я понимал, что Тополино — американец? Да, явно мне пришлось на собственной шкуре испытать ряд серьезных душей Шарко. Ошеломительные перипетии читавшихся мной историй меня удивляли, а перипетии, переживаемые лично мною, похоже, не удивляли вообще.

Так, что еще? Журнальчики «Аввентурозо». Совершенно другие. Собраны мной все подряд начиная с 14 октября 1934 года.

Эти первые номера в год их выхода покупать я не мог — мне было меньше трех лет. Однако и не думаю, чтобы их принесли в дом папа с мамой. Это было чтение не для детей: американские комиксы, рассчитанные на взрослых, хотя и не сильно взыскательных. Думаю, что эти, уже не новые, уже кем-то читанные, еженедельные журнальчики подобрал, подыскал и выменял в отроческие годы лично я. После этого, в мое время, начали продаваться совершенно новые «Аввентурозо», я их, конечно, собирал, и теперь они лежали тут же рядом, это были уже не брошюрки, а переплетенные крупноформатные альбомы в твердых ярких обложках, на которых воспроизводились картинки из тех комиксов, которые публиковались внутри. То есть обложки, сделанные по принципу киношных «трейлеров».

Эти брошюры и альбомы ввели меня в новый мир с первого же

комикса, с первой же страницы первого выпуска «Аввентурозо», носившего название «Разрушение мира». Герой был Флэш Гордон. Из-за козней доктора Царро (он же Царьков) Флэша Гордона забрасывало на планету Монго, где царил жестокий диктатор Минг, чье имя и лицо были исполнены демонического азиатства. Планета Монго: стеклянные небоскребы на космических плато. Подводные города. Столицы царств, проросшие стволами гигантских деревьев, долгогривые люди-львы, люди-соколы, заклинатели на службе царицы Урацы (Ацуры). Все одеты по неразборчиво-синкретичной моде, без комплексов: наподобие средневековой массовки в кино, бесчисленные робин-гуды, панцири, кольчуги, боевитого вида шлемы, а в великосветских ситуациях — герои одеты как опереточные уланы. Все персонажи, и хорошие и плохие, имеют на вооружении, без разбора, режущее и колющее оружие, луки со стрелами, а также смертоносные лучевые ружья, средствами их передвижения выступают от случая к случаю то таранные повозки, то межпланетные корабли со шпилевидными носами, сумасшедших раскрасок — в точности луна-парковые автоскутеры.

Примечание к рисунку[274]

Гордон был блондинистым красавцем арийского типа. Этот необычный персонаж, вероятно, перебудоражил мое юношеское сознание. Да и с кем я до того, собственно, имел дело? В школьных учебниках, в итальянских комиксах — везде герои самозабвенно сражались за дуче и шествовали на смерть по команде фашистского начальства. В романах девятнадцатого века, полученных от деда (если я

уже читал их во времена Гордона), — действовали люди вне закона, поставившие себя вне общества, как правило, ради личной выгоды или под влиянием преступных наклонностей, за вычетом разве что Монте-Кристо, да и тот мстил за личные обиды, а не за попираемое общественное добро. Если разобраться, даже и три мушкетера, которые по большому счету были хорошими и обладали чувством справедливости, действовали в интересах своей группировки (мушкетеры короля против гвардейцев кардинала) и боролись за награды или за назначение на капитанскую должность.

Гордон — другое дело, Гордон был борец против деспотизма. Вероятно, в то далекое время я прямо ассоциировал Минга с чудовищным Сталино, коммунарским кобелино, но не мог не угадывать в его чертах также и некоторое сходство с нашим собственным доморощенным диктатором, несомненно располагавшим властью над жизнями и смертями своих подданных. А следовательно, в лице Флэша Гордона я, надо думать, получил первое представление о борьбе за свободу (конечно, только сейчас я имею возможность обобщать подобным образом — тогда я ничего этого не думал). За свободу в Абсолютном Далеке, под взрывы бронированных астероидов в ненаших галактиках.

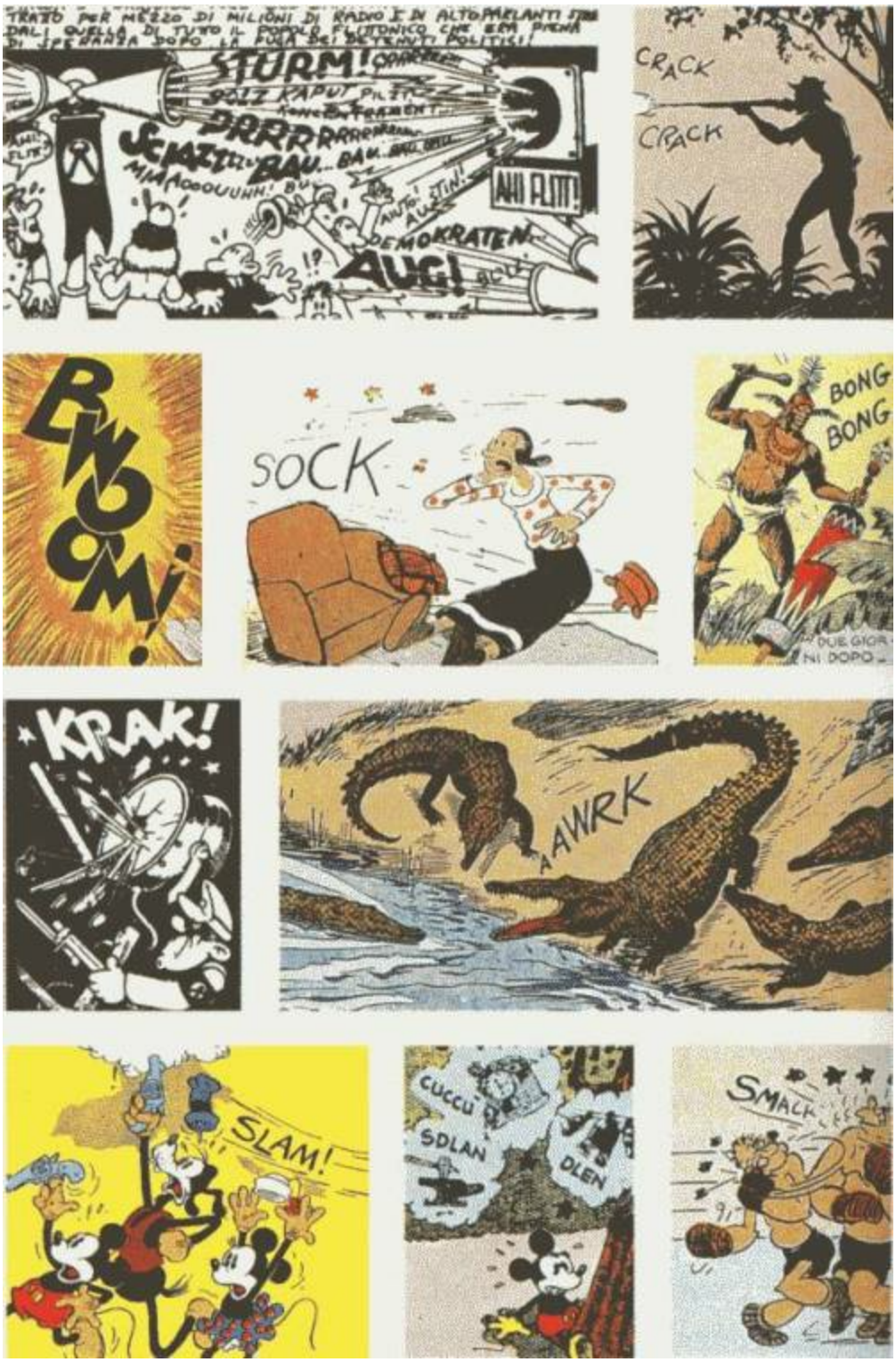
Я взял другие альбомы, во мне встрепетало крещендо таинственных пламен при перелистывании новых и новых выпусков, — вот они, герои, не входившие в программу школы. Чино и Франко (в оригинале — *Tim Tyler* и *Spud Slavins),* первопроходцы джунглей, в пастельных тонах, в голубеньких рубашках «Патруля слоновой кости», целью которого было — приглядывать, конечно, и за немирными туземцами, но прежде всего — бороться с эксплуататорами населения колоний, а именно с алчными торговцами слоновой костью и рабами. Сколько, сколько белых оказывались плохими — плохими врагами хороших чернокожих! Захватывающие погони как за мошенниками, так и за носорогами, карабины преследователей стреляют не «банг-банг», не «пум-пум», как в наших рисованных лентах, а странным образом «крак-крак», и этот «крак», по всей видимости, запечатлевается в самых потаенных меандрах лобных долей мозга, откуда сейчас я стараюсь выковырнуть присохшие туда мысли, — я до сих пор воспринимаю эти «крак-краки» как экзотические обетования, пароли для входа в

сказочную страну. Опять, в который уж раз, ориентиром для меня служат не картинки, а звуки, вернее, фонетические записи звуков, они направляют, ведут меня, слабые отпечатки знакомых следов.

> Arf arf bang crack blam buzz cai spot ciaf ciaf clamp splash crackle crackle crunch deleng gosh grunt honk honk cai meow mumble pant plop pwutt roaaar dring rumble blomp sbam buizz schranchete slam puff puff slurp smack sob gulp sprank blomp squit swoom bum thump plack clang tomp smash trac uaaaagh vrooom giddap yuk spliff augh zing slap zoom zzzzzz sniff…

Звуки. Я ловил глазами звуки, перелистывая брошюры. С самых со своих младых ногтей я был приучен к звуку пустому, *flatus vocis*. Вот прислышался мне, в воспоминании, звук «шурхх…» — и лоб усеялся каплями. Я посмотрел на руки — руки, да, дролсали. Почему? Где я вычитал этот звук? Или, может, это единственный звук не вычитанный, а реально услышанный?

После этого, знакомое-знакомое. Будто дома. Альбомы про «Человека в маске» («Фантома»), непокорного добротворца, почти гомосексуально обтянутого красными колготками, с черной масочкой на лице, через прорези пробивается яростный блеск белков, а зрачков совершенно не видно, и от этого он становится еще загадочнее. Вполне ясно, почему от любви к нему полностью сошла с ума великолепная Диана Пальмези (Диана Палмер), ей удавалось время от времени напечатлеть поцелуй, прильнув к герою и с трепетанием ощущая его крепкую мускулатуру под тугою тканью трико, с которым он не расставался никогда (даже когда с ним приключались огнестрельные ранения и дружественные дикари квалифицированно наматывали на него стерильный бинт — это тоже всегда поверх трико и колготок, непроницаемых даже для воды… не лило ведь с костюма струями, когда он выныривал после долгого погружения в теплые южные моря).



Те поцелуи обязательно были редкими — потому что всякий раз в интересный момент Диану обязательно что-нибудь уволакивало прочь, по недоразумению, по происках коварного соперника иль по иной превратности судьбы, которая немилосердна к очаровательной

заграничной путешественнице, а сам Фантом не был способен удержать ее, не мог назвать ее своей супругой, будучи связан какою-то древней клятвой и обречен служению: оборонять население бенгальских джунглей от вылазок индийских пиратов и бесчинств белых колонизаторов.

Примечание к рисунку[275]

Так-то в параллель с рисунками и с куплетами, где описывалось, как усмиряют диких злонравных абиссинцев, я наблюдал за героем, который жил по-братски бок о бок с пигмеями Бандар и с ними бок о бок сражался против агрессивных и жадных белых. Шаман Гуран был образованней и умнее бледнолицых мозгляков, в изгнании которых он участвовал не в качестве наемника, а в роли полноправного партнера, члена отряда доброкачественных справедливцев. В других героях я находил меньше революционности (если сейчас верно восстанавливаю свой политический рост в давнем отрочестве). Волшебник Мандрейк, к примеру сказать, эксплуатировал чернокожего раба Лотаря. Хотя они и были на дружеской ноге, но все-таки тот был не более чем телохранителем и слугой. Однако, что приятно, Мандрейк, заколдовывавший врагов и превращавший их пистолеты в бананы, был из приличного общества, без всяких там черных и красных мундиров, и был безукоризненно одет в цилиндр и фрак. Из приличного же общества был «Тайный агент Х 9», шпионивший не за идейными врагами, а за преступниками и за баронами-грабителями, защищавший интересы налогоплательщиков, в макинтоше, пиджаке, при галстуке, с маленьким неброским пистолетиком в кармане (той модели, которая смотрится элегантно даже в руках блондинок в муаровых платьях с перьевыми воротниками, с безупречным всегда свежайшим макияжем).

Это был особый неизведанный мир, страшно вредный, надо

сказать, для языка, губительный для правильной литературной речи, которую школа любыми возможными путями во мне насаждала. Да, в этих комиксах переводы с английского были топорными до карикатурности: «Это королевство Саки… Если я не ошибаюсь, мы можем найти Саки подглядывающим…» Ну и что. Тем не менее в этих безграмотных альбомах жили персонажи, не похожие на героев официальной культуры, и, может быть, благодаря тем аляповатым картинкам (неотразимым!) я причастился неклишированного представления о Добре и Зле.

Но и это было не все. После этого я приник к целому выводку «Золотых альбомов» с первыми «Мышатами» *(«Topolino»),* действовавшими в таких городских пейзажах, которые никак не могли быть мне знакомы (не знаю, впрочем, умел ли я разбираться в том малолетнем возрасте — небольшой городок ли на картинках или же американский мегаполис): «Микки, помощник сантехника» *(«The Plumber's Helper»)* с участием неописуемо безумного водопроводчика Джо Пайпера. «Микки-Маус и горилла Спектор», «Микки-Маус и охота за сокровищем», «Микки и семь привидений» и вот, наконец, «Микки и клад коровы Кларабеллы» *(«Mickey Mouse in Races for Riches»).* Вот он, наконец, прототип миланского факсимильного издания, но оригинал, как я и помню, отпечатан совсем другими красками — в охре и коричневом цвете. Дальше альбомчик «Микки-Маус и Иностранный

легион» — не потому чтобы Микки был солдафоном или головорезом, а потому что по велению гражданского долга, дабы противостоять международному шпионажу, он завербовался в Иностранный легион, где его ждали ужасные опасности, в первую очередь — по милости свирепых Триггера Хокса *(Trigger Hawkes)* и Одноногого Пита *(Peg-leg Pete).*

Самый затрепанный альбом — «Газетчик Микки-Маус». Как сумела при фашизме проскочить в печать эта вещица на тему о свободе печати? Наверное, цензоры не отреагировали на сказочку о животных, сочтя ее нереалистичной, а следственно и неопасной. Где же я слышал: «Это печать, дорогой мой, это ее сила, слышишь. Против нее ты ничего поделать не можешь»[276]… Нет, это уже через много лет. В любом случае Мышка Микки подручными средствами сумел соорудить собственную газету — «Эхо мира», не беда, что первый номер вышел с кошмарными типографскими ляпсусами. Однако Микки не тушуется и продолжает бестрепетно публиковать *all the news that's fit to print,*[277] хотя беспардонные гангстеры и коррумпированные политики и суют ему палки в колеса. Что я мог слышать до той поры (ничего!) о независимой печати, которая сильнее любой цензуры?

Я узнал много полезного о собственной раздвоенности в период

отрочества, пролистывая эти учебники и комиксы. Не иначе как из комиксов выстраивалась, очень даже непросто и неоднолинейно, моя гражданская личность. Именно поэтому, конечно, я тайно хранил черепки этих доисторических древностей даже и после войны, уже после того как в руки мне попали (от американских солдат) выпуски тамошних газет с напечатанными в цветных красках воскресными приложениями о таких героях, как Лил Абнер и Дик Трейси.[278] Полагаю, что наши издатели до войны не осмеливались печатать их в основном из-за рисунков, вызывающе модернистских (типичное — как выражались нацисты — *дегенеративное искусство).*

Взрастая годами и умом, я, вероятно, воспринял Пикассо через посредство Дика Трейси.

А через чье же еще. Не через доисторические же мои чтения. Разве что, может, через Гордона… Наши издатели заимствовали изобралсения из американских оригиналов, естественно даже и не думая платить за авторские права, и печатали притом прескверно, с размазанными линиями и сомнительными цветовыми сочетаниями. А уж после запрета на «враждебный» идейный импорт вообще пошла вакханалия, стараниями местных рисовальщиков переодели Фантома из красных в зеленые штаны и грубовато переименовали. И это был удел всех гордо-одиноких героев, призванных сражаться с межпланетным пантеоном в журнальчике «Аввентурозо». Эти новые герои были сплошь нарисованы как попало, хотя в общем и целом симпатичны: рослый Дик Фульмине («Молния») с волевым муссолиниевским подбородком, задающий трепку, со звоном оплеух, разбойникам явно неарийского

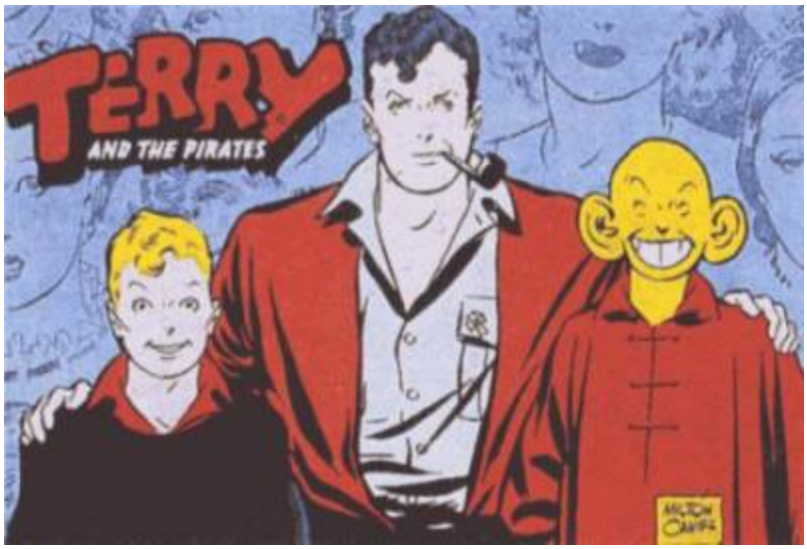
пошиба — негру Замбо, южноамериканцу Баррейре и даже вконец омефистофеленному, злокозненному Мандрейку, переименованному во Флаттавиона, каковое имя намекало на неназванный, но вредоносный этнос, и облик этого бывшего франта в итальянской переделке стал жутко неказист: вместо фрака американского мага преступник получил мятую шляпчонку и какую-то слободскую поддевку.

— Подходи, кому жизнь не дорога, — зычно обращался Дик Фульмине к своим противникам (котелки, жеваные пиджачки) и обрушивал на них кулаки-кувалды. — Это кто же? Дьявол собственной персоной! — перешептывались богомерзкие выкресты, а из темноты подоспевал четвертый суперне приятель Дика Фульмине, страшный Белая Маска, он умел попадать Дику по затылку трамбовкой или мешком, полным песку, так что Дик валился с треском на землю, говоря: «Ч… побери!» Но долго эта ситуация не длилась, потому что, несмотря на прикованность к стене темницы, которую стремительно заполняла вода, герой напряжением мускулов разрывал опутывавшие его цепи и в два-три счета успевал изловить и передать полицейскому комиссару (круглоголовому и с подбритыми усиками, но больше в стиле клерка, чем в стиле Гитлера) всю команду злоумышленников, надлежащим образом обездвиженную.

Темницу стремительно заполняет вода… по-моему, это международный комиксовый топос. У меня так палило в груди, будто угль горящий жег меня там, когда я брал в руки альбом комиксов «Ювентус», «Пятерка пик», с последним эпизодом «Знаменосец смерти». В рыцарских доспехах и в красном капюшоне-маске с прорезями для глаз, перетекающей в алую широкополую епанчу, на расставленных ногах, с задранными кверху руками, герой стоит прикованный к четырем кольцам в стене зловещего склепа, и шлюз открыт, подземная вода уже хлещет, хлещет, суля ему неминучую кончину в этой подземной норе.

Примечание к рисунку[279]

А к тому же, к тому же! В конце альбомчиков были приплетены и другие комиксы, еще более интригующего вида. Один назывался «По морям Китая», главные герои — Джанни Мартини и его младший брат Мино. Допускаю, что сюжет почему-то не смущал меня, хотя странно, что два итальянца неизвестно с какой стати переживают приключения в регионе, где у нас нет колоний… Джанни и Мино встречают там азиатских негодяев с экзотическими кличками и очаровательных красавиц с еще более экзотическими именами — Друзилла, Бурма. Но я точно не мог не отметить своеобычную манеру рисовальщика! Все наконец объяснилось, когда у американских солдат в 1945 году я разжился оригинальными комиксами, из которых обнаружил, что та история на самом деле называлась «Терри и Пираты» — *«Terry and the Pirates»*. Итальянские перерисовки датировались 1939 годом, когда был принят курс на итальянизацию заграничного материала. Из моей небольшой коллекции видно, что и соседи-французы не воспроизводили, а переиначивали (переводили на французский) имя Флэша Гордона: *Guy l'Eclair*.



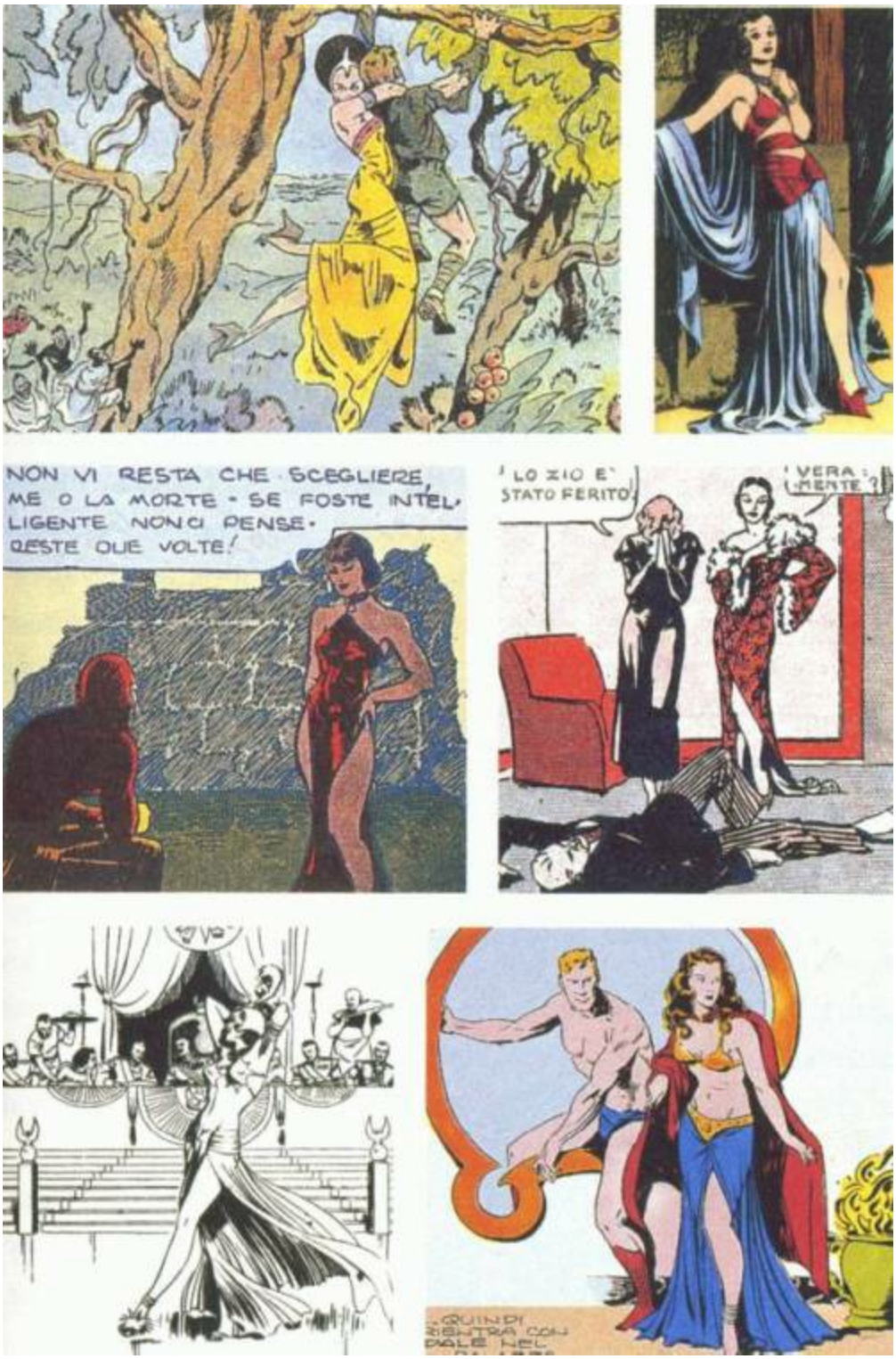
Глаз невозможно оторвать от тех обложек, от тех картинок. Будто на рауте, где все лица знакомы, но не удается припомнить ни кто, ни где, ни когда и с кем. Страшный соблазн сунуть каждому ладошку с дружелюбным: «Как дела, старик?» — и тут же отдергиваешь со смущением: попал впросак…

Щекотливое положение. Вновь я посещаю мир, куда попадаю в первый раз. Нестандартно. Возвращение в чужой дом.

Я листал и читал комиксы не по годам выпусков, и не по сериям, и не по персонажам. Перескакивал, прыгал, заворачивал обратно, скакал от героев «Коррьерино» к Уолту Диснею, от патриотической пропаганды к деяниям Мандрейка, сражающегося с Коброй. И именно в одном из старых «Коррьерино», в истории последнего раса[280] Абиссинии (героический юный фашист Марио против раса Аиту), одна картинка будто ударила меня под сердце, дав толчок не то чтобы к эрекции — к слабому эротическому позыву, какой, как я могу догадываться, испытывают импотенты. Марио бежит от раса Аиту и спасает от него Джемми, белую красавицу — жену или наложницу негуса, которая успела осознать, что будущее страны в надежных руках и Черные рубашки принесут туда свет цивилизации. Аиту, взбешенный поведением негодяйки (а она, по нашему идейному мнению, как раз теперь переставала быть негодяйкой), дает приказ спалить и дом, и прячущихся в доме беглецов. Марио и Джемми выбираются на крышу. Марио видит перед собой гигантскую развесистую азалию. «Джемми, — обращается он к спутнице. — Держитесь за меня и

закройте глаза!»

Кто заподозрит Марио в дурных намерениях? Особенно в такую минуту? При этом Джемми, как всякая героиня рисованного комикса, одета в развевающуюся тунику, род пеплума, открывающую плечи, руки, верх груди. Как свидетельствуют четыре картинки, сосредоточенные на теме бегства и опасного соскакивания с крыши, пеплумы, в особенности шелковые, любят задираться спервоначала до щиколотки, потом до икры, а после этого и до бедра, и если женщина цепляется за шею юного фашиста, вся во власти боязни, то вскинутые на его плечи руки не могут не сомкнуться в спазматическом объятии, а ланита, разумеется благоуханная, никак не может не прильнуть к его залитому потом загривку. Вот так и было. На четвертой картинке Марио висит на ветви азалии, беспокоясь только, как бы не рухнуть прямо в лапы преследователей, а Джемми целиком отдалась ситуации, и, как будто в юбке разрез, видится ее левая точеная икра и вся ножка, облагороженная туфелькой на шпильке, а правая нога обнажена только до щиколотки, но поскольку кокетка сгибает ногу в колене и поднимает под прямым углом, нацелив каблук в упругую ягодицу, то платье влажно прилегает к ее телесам, подчеркивая каллипигический перегиб и сочное бедро. Не мог этот рисовальщик не понимать, какого эротического накала достигает его творение; несомненно, он ориентировался на кино или на женщин серии про Флэша Гордона, обтянутых откровенными туалетами в каскадах ослепительных камней.



Не могу сказать, была ли эта картинка самой эротичной из всех мной виденных, но безусловно (поскольку «Коррьерино» был датирован 20 декабря 1936 года) — она была первой из эротических картин. Не знаю, ощутил ли я уже тогда — в четыре года — физиологический

восторг, спазм обожания, притекание крови, но, конечно, этот образ сделался для меня первым откровением вечной женственности, и встает вопрос: с прежней ли невинностью младенца обнимал я после этого свою мать? Память о рисунке, о ножке, выникающей из-под длинного мягкого подола, почти прозрачного, обнимающего пышные формы. Если это — первичный импринтинг, во мне, значит, должен был запечатлеться след?

Я принялся вновь листать излистанные в эти дни альбомы, смотря — где оттиск потных пальцев на полях? Где размочаленные поля страниц? Где завернутый угол? Где втертые в страницу чувства, просиженные над листом часы? Где те листы, над которыми я замирал надолго, надолго?

И я нашел эти места, скажу тем самым — нашел череду ног, заметных через разрезы дамских юбок. Разрезами козыряли и женщины повелителя Монго (Дейл Арден и Аура, дочь Минга), и одалиски, украсившие собой императорские застолья. Разрезы были на шикарных неглиже дам, с которыми вел свои дела «Секретный агент Х9». Разрезы были на туниках отчаянных налетчиц из «Воздушного пиратского отряда», в конце концов разгромленного Фантомом — Человеком в маске. Разрез угадывался на черном вечернем туалете соблазнительной Леди-Дракон в ленте «Терри и пираты». Конечно, я мечтал именно об этих сладострастных красавицах, в итальянских журналах изображали женщин с ногами, но без всякой таинственности, юбки у них кончались на уровне колена плюс толстые пробковые подошвы. *Только ножки, только ножки интереснее всего…* Какие же ножки пробудили во мне первый интерес? Те, с которыми изображали кро-о-шек-малышек? Или крепкие ноги велосипедисток — обладательниц «высоких и стройных ног» и «коленок точеных»? Или ноги инопланетянок, иностранок? Ну ясно, мне должны были казаться желаннее недосягаемые дамы, нежели соседки по двору. Хотя кто может поручиться? Кто знает?

А может, я сходил с ума как раз по соседке? По девочке, игравшей неподалеку в парке? Мой личный секрет. И значит, печатные издания, газеты и журналы на этот счет ничего ни миру, ни лично мне не поведают.

Из-под последней серии альбомов я вытащил несколько

разрозненных номеров журнала для женщин. *«Novella»*. Они явно были куплены моей матерью. Длинные драмы о любви, изящные иллюстрации с хрупкими дамами, с англосаксонского пошиба джентльменами, фотографии артистов. Все вместе — коричневого цвета, со многими нюансами оттенков, и коричневой же краской печатался журнальный текст. Обложки с популярными красавицами, запечатленными суперкрупным планом. Увидев одну из них, опять-таки я ощутил: сердце лизнул таинственный огневой язычок. Не вытерпев, я крепко прижался губами к снимку. Физической реакции не ощутил, но именно, но именно это я проделал в 1939 году, в семь лет, впервые знакомясь с определенного рода волнениями. Похож ли был этот лик на Сибиллу? Или на Паолу? Может быть, на Ванессу, горностаевую даму, или на прочих, чьи имена я торопливо запоминал, когда их перечислял памятливый Джанни: на Кавасси? На американку с лондонской книжной ярмарки? На Сильвану или на голландку, к которой я три раза мотался в Амстердам? Которая из дам имела такое лицо? Думаю, никоторая. Я, конечно, ее смонтировал из множества зрительных образов, обольстивших меня, женский идеал. Доведись мне увидеть единым разом лица всех женщин, которых любил, я, конечно же, указал бы в них признаки архетипа, черты Идеи, которую я никогда не достиг, но за которой гнался всю жизнь. Какую общность можно найти в лицах Ванессы и Сибиллы? А можно какую-то. Даже явнее, чем скажешь на первый взгляд. Лукавую полуулыбку. Блеск зубов. Жест, которым обе одинаково отбрасывали волосы. Даже просто колыхания руки хватило бы.

Та, чей лик я только что целовал, была иною. Встреть я такую — не обратил бы вовсе внимания. Это был фотопортрет. Недаром фотографии быстро устаревают. В них нет платонической отрешенности рисунка, который передает лишь немногое, а на остальное едва намекает. Я поцеловал не изображение предмета любви, а саму силу пола, губ, накрашенных ярчайшей помадой. Это был не нежный, трепетный поцелуй, а дикарский отклик на зов плоти. Вероятно, поцеловав, я постарался немедленно забыть об этом, вытеснил из памяти как нечто нечистое и запретное, в то время как Джемми, абиссинская красотка, запомнилась мне в качестве образа хоть и волнующего, но все же и благородного, — очаровательная далекая принцесса, разглядывать можно, трогать нельзя.

Но тогда с какой целью я аккуратно подобрал по датам эти мамины журналы? Разве что если в юности, в лицейские годы, наведавшись в Солару, я привел в порядок все реликвии того, что тогда показалось мне отдаленным прошлым. То есть на заре свежей юности утрудился расчищать полузаросшие тропки своего детства. Уже тогда я знал, что крест моей судьбы — реконструирование памяти. С тою разницей, что прежде это была игра и все необходимые мадлены имелись под руками, а ныне это труд, и вдобавок ко всему труд отчаянный.

Капелла дала мне понять, как и когда я впервые познал и идею свободы, и идею порабощенности плоти. Этим самым в свое время я избежал позора милитаризованных построений, избежал и бесполой зависимости от ангелов-хранителей.

Как, это все? За исключением вертепа на чердаке, нигде не обнаружилось вех моей детской религиозности. Однако маловероятно, чтобы дитя не пережило религиозного чувства, даже при воспитании в семье неверующих. Я не нашел и вещей, сопряженных с нашей жизнью после 1943 года.

Может быть, это оттого, что как раз начиная с 1943 года капелла стояла замурованной. Пробравшись туда, я принес только самые задушевные экспонаты — создал избирательный музей детства; мне уже полагалась тога претекста,[281] в страшные годы Италии я входил в возмужалый возраст и разместил в закрытой крипте только самые ценные детские вещи, чтобы было чему умиляться после взросления.

Среди многочисленных альбомов о Чино и Франко (Тиме Тайлере и Спаде Славинсе) мне наконец попало в руки что-то такое, от чего я ощутил себя близко-близко к окончательному откровению. Это что-то представляло собой цветной альбом под названием «Таинственное пламя царицы Лоаны».[282] Вот оно, объяснение таинственных пламен, которые волновали меня после пробуждения, вот теперь, наконец, путешествие в Солару приобретало конкретный смысл.

Примечание к рисунку[283]

Я открыл альбом и погрузился в самую несуразную историю, которая когда бы то ни было составлялась в человеческой фантазии. Рассказ дико бессвязный, сюжет ничем не оправдывается, приключения дублируются, персонажи с бухты-барахты проникаются глубочайшими любовями, Чино и Франко отчасти очаровываются царицей Лоаной, а отчасти считают ее вредной пакостницей.

Чино и Франко и с ними двое друзей в Центральной Африке попадают в таинственное царство, где не менее таинственная царица охраняет таинственнейшее пламя, способное даровать долгую жизнь и даже почти бессмертие, благодаря чему царица Лоана управляет своим дикарским племенем и сохраняет незаурядную красоту в течение двух тысяч лет.

Лоана появляется на сцене, и она не привлекательна и не приманчива, а напоминает больше всего те пародии на варьете былых времен, которые я недавно видел по телевизору. В течение всего остального сюжета, до тех пор пока она не покончит с собой от безнадежной любви, бросившись в пропасть, Лоана мечется туда-сюда по этой халтурнейшей истории без каких бы то ни было фабульных или психологических мотивировок. Ей хочется во что бы то ни стало выйти замуж за одного из друзей Чино и Франко, который внешне похож (две

капли воды) на некоего принца, которого она любила за две тысячи лет до этого, а потом велела убить и превратила его тело в камень за то, что он отказывался от ее ласк. Непонятно, зачем Лоане занадобился этот современный двойник (который вдобавок опять-таки не хочет иметь с ней дела, потому что с первого взгляда влюбился в Лоанину сестру), учитывая, что при помощи своего таинственного пламени она свободно могла бы себе оживить того первого любовника, превращенного в мумию.

Кстати, наблюдение, сделанное на материале самых различных комиксов. Страшные сатанинские мужчины по отношению к соответствующим роковым женщинам (например, Минг по отношению к Дейл Арден) ведут себя однотипно: они вовсе не желают обладать ими, насиловать их, запирать их к себе в гарем, телесно совокупляться с этими объектами вожделения, — а желают на них жениться. Американские ли оригиналы были исполнены протестантского ханжества? Или итальянским переводчикам выкручивало руки католическое правительство, занятое борьбой за демографию?

Чтоб закончить о Лоане. Там еще были в конце жуткие катастрофы. Таинственное пламя затухало навсегда, никакого бессмертия для главных персонажей. Да уж, стоило стараться и топать в эдакую даль. Кстати, по всей видимости, им-то тоже стало побоку, обретут они пламя или не обретут, хотя поначалу весь сыр-бор был именно из-за пламени. Может, у типографов стряслось что-то с производственным циклом и требовалось срочно сворачивать выпуск комикса, так что авторы уже и думать забыли, что к чему и для чего они затевали всю эту бессвязную повесть.

В общем, белиберда. Однако со мной происходило нечто вроде истории Пиппати. В детском возрасте что-то прочел, и памяти это застряло, ты это переиначил, сильно облагородил и в результате состроил себе миф из какого-то недоделанного чтива. Вот и я. Оплодотворила-то мою вялую память не столько фабула, сколько само по себе название. Меня пленило выражение «Таинственное пламя», не говоря уж о манящем имени «Лоана», даром что принадлежало оно вредной, капризной сопливке, переряженной в баядерку. Значит, все годы детства, а может, и годы после я пролюбил даже не образ, а всего только звук. Забыв настоящую Лоану, я пленялся оральными аурами любых таинственных пламен. А через годы, с вывихнутой памятью, я

взялся заклинать пламя по имени, дабы ожили и заполыхали блики позабытых мной услад. Туман был все тот же и все так же был густ, разве что эхо Лоаниного имени его местами прореживало.

Ощупывая то то, то се, я выудил из стопки длинный и узкий в холщовом переплете альбом. Чуть растворил его и сразу понял: коллекция марок. На форзаце написано мое имя и год, когда я, вероятно, начал собирать марки, — 1943. Это был почти профессиональный кляссер, со съемными листами, марки расставлены по странам, страны расположены в алфавитном порядке. Все марки были подклеены бумажными язычками. Некоторые марки, выпущенные итальянской почтой в сороковые годы, думаю — первые экспонаты моего собрания, с конвертов и открыток, были, однако, жесткими и с какими-то шершавыми утолщениями сзади, можно было догадаться, что поначалу я клеил марки прямо в какую-то тетрадь гуммиарабиком. Потом, естественно, кто-то растолковал мне, что к чему, и я, желая спасти зачаточную коллекцию, размочил тетрадь в воде, марки отлепились от страниц, но сохранили навсегда на оборотах улики моего первобытного невежества.

Я очень хорошо в конце концов научился разбираться, что к чему. Об этом свидетельствовал лежавший под кляссером каталог Ивера и Телье[284] 1935 года. Думаю, что я отрыл его в дедовых остатках со склада. Конечно, для серьезного коллекционера этот каталог к 1942 году непоправимо устарел, но для меня он был сокровищем, я, пусть не имея из него сведений о последних новостях и суперсовременных выпусках, смог обучиться самому методу, правилам каталогизации.

Откуда я доставал марки? Давал ли мне их дедушка, или их продавали в магазине россыпью в конвертах, по сотне штук за раз, как продают их до сих пор на лотках на улицах Арморари и Кордузио в Милане? Весьма возможно, что я инвестировал все наличные рисковые капиталы в каком-нибудь газетном киоске, обслуживавшем таких же, как я, желторотых. Возможно, что мне казались баснословными удачами самые ординарные приобретения. А может, наоборот, в военные годы, когда были затруднены международные взаимообмены, а в определенный период даже и внутринациональные, на рынок могли попадать за бросовую стоимость довольно примечательные экземпляры, продаваемые пенсионерами, чтобы приобрести масла, курицу или пару

обуви…

Этот альбом, вероятно, был для меня не столько материальной ценностью, сколько средоточием снившихся образов. Палящий жар опекал при виде каждого прямоугольничка. Почище старых географических карт. Глядя в альбом, я воображал лазурные моря, окаймленные пурпуром, — Немецкую Восточную Африку. В путанице узоров, как на арабском ковре, на фоне зеленой ночи я видел дома Багдада. На темно-голубом фоне в розовой раме красовался профиль Георга V, правителя Бермудских островов, а с глянцевитой терракотовой марки гипнотически глядело бородатое лицо не то паши, не то султана или раджи государства Биджавар — точь-в-точь индийский принц из романа Сальгари. Той же романтикой Сальгари был напитан горохового цвета прямоугольник колонии Лабуан. Война за Данциг рисовалась мне, когда я подклеивал в альбом винного цвета марку «Данциг». Я с умилением прочитывал *«five rupies»*[285] на марке Индора. Удивительные пироги туземцев кружили по левкоевого цвета Британским Соломоновым островам. Пейзажи Гватемалы, носороги Либерии, и еще одна дикарская лодка на мощной и красивой марке Папуа (чем меньше государство, тем роскошнее марки). Я задумывался — где Сааргебиет? Где Свазиленд?

Марки позволяли путешествовать тогда, когда повсюду были непересекаемые границы, когда мир был расчленен противостоянием двух непримиримых лагерей и не работали даже железные дороги — из Солары в город ездили на велосипеде. А я перелетывал себе из Ватикана в Пуэрто-Рико, из Китая в Андорру.

Однако самое безудержное сердцебиение началось у меня при встрече с парочкой марок островов Фиджи. Странно. Они были не краше остальных. На одной был нарисован дикарь, другая состояла почти целиком из карты Фиджи. Оставалось думать, что эти марки достались мне и результате длительных и трудоемких обменных махинаций и поэтому-то они мне стали милее остальных. А может, меня очаровала детальность географической карты, изображающей остров сокровищ? Может быть, лишь на двух бумажных прямоугольничках я впервые вычитал неслыханное мной имя этих территорий? Кажется, впрочем, Паола упомянула: среди моих пунктиков было и желание в

один прекрасный день съездить на острова Фиджи.[286] Я заваливал дом рекламными проспектами турагентств, но поездка все откладывалась, потому что все-таки речь шла о противоположной точке земного шара, куда лететь меньше чем на месяц вовсе не имело никакого смысла.

Я все продолжал вперяться в эти марки, и вдруг как-то так само собой у меня в душе забрезжил мотив песенки, слышанной мною за несколько дней до того: «На Капо Кабана, вблизи океана, там женщины невозбранно…», а с этой песенкой снова протукало в голове: «Пипетто». Что связывало две марки Фиджи с песенкой, а песенку с именем — с заветным именем Пипетто?

В Соларе я на каждом шагу оказывался на краю откровения, но там и оставался. Замирал на кромочке обрыва, на последнем сантиметре, после которого — невидимый в тумане провал. Вроде как в Диком Яру, сказал я себе. Стоп, и каком же это Диком Яру?

Глава 12
Жизнь лучше станет

Я спросил у Амалии, какой же это такой Дикий Яр.

— Ну, чего еще, — ответила Амалия. — Не хватало Дикого Яра. Не вздумайте лезть туда, оно опасно было и когда вы были мальчишкой, а уж сейчас, когда, с позволения, вас мальчуганом не назовешь, мигом расквасите насмерть. Вот что, дай-ка я позвоню госпоже Паоле, пусть она скажет.

Еле ее угомонил. Пояснил, что хотел только узнать, какой такой Дикий Яр.

— Да чего узнавать? Глянуть только из окна вашей спальни и увидите гору, на горе видна церковь Сан-Мартино, в этом Сан-Мартино сотни душ не наберется, и все мерзавцы, если вам так уж интересно, тень ихней колокольни длиннее, чем всю тамошнюю округу если промерить, а пыжатся они бесперечь, потому что у них там мощи блаженного Антонина, он в точности стручок гнилой, этот Антонин, и с лицом черным, что твой назем, извиняйте уж на слове, но только это правда, из рукавов торчат пальцы, чистые коряги, мой родитель покойный говаривал, что сотню лет назад они там выкопали из могилы протухлого покойника, подкоптили какой-то дрянью и заложили себе в раку под стекло, чтобы наживаться на паломниках, да только паломники все равно к ним не ходят, больно нужен этот блаженный Антонин, добро бы был из местных святых, так ведь нет, они тукнули пальцем по календарю, куда уставился палец, вот тебе и Антонин.

— Ну, а Дикий Яр при чем?

— Дикий Яр при том, что в Сан-Мартино ведет только одна дорога, вся дыбистая, даже теперь на машинах-то с пыхтеньем взъезжают. Не то что у нас, у нас как у добрых людей все путем, и путь-то весь пологими заворотами. А у них что? Все вверх по откосу, прямо да прямо, вестимо, замаешься. Само собой, по-другому-то они не могли никак обойтись. Потому что с того боку, где дорога, у них там посадки фруктовые и кое-какие огороды, они там все поукрепляли подпорами, чтобы, когда на земле копаются, не съехать бы им вниз задницей в долину со всеми со своими грядками. И это еще что! Это у них хорошая сторона! А со всех

прочих сторон их гора срезана будто ножиком, везде обрывы и одни везде кустарники и колючки и острые камни, и камни эти бог весть на чем держатся, ногу-то толком не поставишь, и это и зовется Диким Яром, потому что там иные и насмерть убились, сунувшись где никем отроду не было хожено. Ладно еще в летний день. Но когда в Яру туман, чем соваться на него, лучше сразу выбрать добрую веревку и удавиться себе спокойно на перекладине у нас тут под крышей, то есть едино помирать, только так управишься скорее. А кто храбрость свою немереную все ж хочет показать, пусть попробует лезть на Яр, его-то и ждут кромешницы.

Вот уже который раз Амалия поминала этих кромешниц *(masche),* но на все мои вопросы уклонялась от ответов, трудно было сказать — от священного ли ужаса или потому, что по-хорошему она не умела объяснить, кто же эти *masche.* Ведьмы, разумеется. По виду — старые яги. По пришествии ночи они роятся на самых откосистых виноградниках и в проклятых местах и, естественно, в Диком Яру, куролесят над черными кошками, козами, гадюками, и, злобные, как отрава, кромешничают над теми, кого невзлюбили, и губят урожаи, и портят посев.

— Одна перекинулась в кошку и залезла тут в один сосед ский дом и утащила ребенка. Тогда другой сосед, который тоже боялся за своего ребенка, просидел ночь у люльки с топором, и, когда залез кот, он ему топором перерубил лапу. А после он засомневался, и пошел проведать одну старуху, которая жила недалеко, и увидел, что из рукава у ней руки-то не видно, и он спросил у нее, как это вышло, а она сказала — порезалась на прополке, тогда он схватил за рукав, и глядь — там руки вовсе нету. И эта баба была ведьма. Она оборачивалась в кошку, кромешница, и люди из нашей деревни поймали ее и пожгли на костре.

— Да это сказка.

— Ну, сказка не сказка, а мне рассказывала бабуня, и помню, как однажды в ночь дед прибежал мой опрометью в дом, голося: кромешницы, кромешницы! Это он шел из кабака, от дождя зонтом прикрывавшись, и все его по дороге кто-то держал за зонт и не хотел пускать, но бабуня закричала в ответ: молчи, забулдыга, опился, залил глотку, залил себе глаза так, что дороги не можешь найти, так что тебя ветром носит по улице то влево и то вправо, вот ты и поцеплялся за все ветки, за деревья, сколько их на улице было, какие там кромешницы! И

словами, и пинками. Не знаю, как уж тем рассказам о кромешницах верить. Но однажды был в Сан-Мартино священник, который вертел блюдца, потому что он был масон, как все прочие священники. И он с теми кромешницами запросто знался. И вот если принесешь благоподание в его церковь, Христа ради, да побольше, то он тебя заговорит на год от кромешниц. Заговор годится один год. Потом неси опять благоподание.

Что же до Дикого Яра, добавила Амалия, то примерно в двенадцать или в тринадцать лет я туда повадился лазить с ватагой таких же оглашенных, наша банда воевала с бандой сан-мартинских удальцов, и мы их бомбили, залезая со стороны оврага. Если бы только она умела меня словить, когда я туда юркал, то, ясное дело, утаскивала бы домой — хоть добром, хоть недобром, хоть волоком. Но я был чистый угорь и вилял по всему околотку, и никто никогда не знал, куда я в какой раз упрятывался.

Вот с чего, стоило мне подумать о кромке обрыва, я припомнил выражение «Дикий Яр». Как всегда — ничего определенного. Наименование. В середине утра я уже не думал о Яре. Из деревни мне позвонили с почты. Пришел пакет. Я сходил за пакетом. Бандероль из моего собственного бюро. Там могла быть только верстка каталога. По дороге завернул в аптеку. Давление опять подобралось к ста семидесяти. Переволновался, значит, в капелле. Я решил, что день нужно провести самым спокойным образом. Был как раз и повод посидеть: пришла верстка. Однако вышло, что именно от этой верстки я так распсиховался, что давление получило возможность доскакать даже до ста восьмидесяти, и вполне вероятно, доскакало-таки.

Солнце прикрылось облаками, в саду было великолепно. Я улегся поудобнее и начал читать все по порядку. Текст был еще не сверстан, но содержание было безупречно.

На осенний сезон мы выходили с очень неплохим набором высокоценных книг. Молодец Сибилла.

Я как раз дошел до очередного издания произведений Шекспира. Все-таки взгляд задержался на описании: *Mr. William Shakespeares Comedies, Histories, & Tragedies. Published according to the True Originall Copies.* Ох, похоже, у меня сейчас инфаркт будет. Под портретом Барда — издатель и год: *London, Printed by Isaac Iaggard and Ed. Blount. 1623.*

Снова перечитываю измерения (вот как, 34,2 на 22,6 см, полей не пожалели! Какие просторные поля!): доннерветтер, тысяча молний и все святые угодники мира, да это же самая редкая из возможных редкостей, бесценный *in-folio* 1623 года![287]

Всякий букинист и, думаю, всякий коллекционер время от времени грезит о девяностолетней старушке. О такой себе милой старушенции, одной ногой в могиле, безденежной, не на что купить лекарств, приходит договориться о продаже нескольких книжек ее прадеда, которые все равно без пользы валяются в подвале. Заходишь главным образом для порядку. И действительно, там около десятка малоценных книг. Наконец ты берешь в руки плохо переплетенный *in-folio* в пергаментном затасканном переплете, с отскочившими крышками, развязавшейся сшивкой, уголки обгрызены мышами, многочисленные затеки. Тебе бросается в глаза печать в две колонки, готический шрифт. Подсчитываешь строчку за строчкой. По сорок две строки в колонке. Смотришь выходные данные (колофон). Это библия в 42 строки, библия Гутенберга,[288] первая книга, когда-либо отпечатанная в Европе. Последний на свете продажный экземпляр (все прочие экземпляры являются охраняемыми экспонатами самых знаменитых библиотек мира), так вот, последняя из этих продававшихся библий прошла недавно на аукционе за множество миллионов долларов, ее купили вскладчину японские банкиры и тут же заложили в свой самый надежный сейф. Еще одна Гутенбергова библия, не оприходованная в каталогах, попросту не может быть оценена. Просто вот так. Проси за нее сколько хочешь. Проси хоть фантастилион миллиардов.

Ты смотришь на старушечку, понимаешь, что для нее десять тысяч долларов — предел мечтаний, однако тебя начинает мучить совесть, и ты предлагаешь ей сто, даже двести тысяч долларов, на них она сможет роскошествовать всю свою недолгую оставшуюся жизнь. Потом, конечно, дома, над книгой, с дрожащими руками, тебе приходит в голову, что ты понятия не имеешь, как тебе сейчас следует поступить. Чтобы продать ее, необходимо обращаться в самый серьезный аукционный дом, где, разумеется, у тебя откусят немалую долю прибыли. То, что останется, уйдет в налоги. Чтобы с книгой не расставаться, необходимо хранить строжайшую тайну. Господи упаси, если распространится слух. Все существующие грабители станут в очередь у дверей дома. Однако что за радость обладать таким

несусветным сокровищем и не побесить коллег-коллекционеров, чтобы они все треснули от зависти? А оформить на нее страховку — просто нет таких денег на свете. Ну что, что же? Передать ее миланскому горсовету, пусть ее выставляют в Сфорцевом замке, в бронированной витрине, с четырьмя гориллами, охраняющими ее с оружием в руках день и ночь? Сможешь приходить смотреть на свое добро через стекла витрины, в компании оравы безработных, которые по социальной карте бесплатно ходят в музеи и пожелают поглазеть на самое дорогое издание на свете. Ты будешь иметь право толкнуть локтем очередного безработного и сообщить ему, что эта книга, честное слово, принадлежит тебе. Ну и стоила ли эта игра свеч?

Поэтому мечтать лучше не о Гутенберге, а об *in-folio* Шекспира. На несколько нулей меньше, но зато эта книга интересует только коллекционеров, а следовательно, поддается и беспроблемной реализации, и беспроблемному хранению. *In-folio* Шекспира — мечта номер два любого библиофила.

Ну и за сколько его ставит Сибилла? Я рот разинул: за тысячу долларов, как самую неавантажную книжонку. Возможно ли, чтобы Сибилла не догадалась, что за издание у нее в руках? И кто и когда принес его в нашу контору? И почему я об этом ничего не знаю? Уволю, уволю ее немедленно, бормотал я в неистовстве.

Я позвонил и спросил, холодея от бешенства, понимает ли она, что описано под номером 85 в каталоге. Она была, похоже, ошарашена вопросом, ну да, какой-то там семнадцатый век абсолютно неинтересного вида, но, слава богу, его все-таки купили, как раз тогда, когда она отослала мне верстку, пришлось, конечно, сделать им скидку, но не на много, на двадцать долларов, так что теперь поскорее уберем его из нашего каталога, это же не такая важная вещь, которую престижно сохранять в каталоге целый год с пометкою «продано»… Я готов был смолоть в порошок эту Сибиллу, как вдруг она расхохоталась и сказала, чтобы я не кипятился, а то подскочит давление.

Оказывается, розыгрыш. Она вписала Шекспира в каталог отчасти с намерением проверить, читаю ли я на самом деле верстки, а отчасти, чтобы посмотреть, в сохранном ли виде моя «эрудированная память». Хохотала, как бандитка, и была в восторге от собственного остроумия — которое, конечно, входило в сферу профессионального юмора, и вообще есть каталоги, которые сами стали экспонатами, потому что в

них содержатся сведения о невозможных или несуществующих книгах, а ловились на эти «подставы» даже сильные специалисты.

— И солдатские у тебя шутки, — сказал я ей. Слава богу, напряжение спадало. — Погоди, за все заплатишь. Остальные описания в порядке. Незачем отсылать обратно верстку, потому что ничего я там не поправлял.

Я старался успокоиться. Да, не думают вот люди, а в моем состоянии даже от невинной такой шутки хватит тебя неожиданно кондрашка, не помогут никакие доктора.

Я закончил говорить с Сибиллой, как раз когда небо полиловело. Готовилась новая гроза, на этот раз настоящая, живая. При подобном свете невозможно было и думать о походе в капеллу. Ладно, проведу еще часок на чердаке, попросту из любопытства. Пошарю, что там еще отыщется.

Отыскался полновесный ящик без всяких надписей, значит, паковали его дядя с теткой, впихивали без разбору все. Иллюстрированные журналы. Вынес в комнаты, стал перелистывать, как листают в очереди у зубного врача.

Я смотрел картинки. Все больше киножурналы. Фотографии артистов. Конечно, большинство фильмов — итальянские. Уже знакомая шизофреническая идейная раздвоенность, с одной стороны — пропагандистские ленты «Осада Алькасара» и «Летчик Лучано Серра», с другой — ленты с джентльменами в смокингах, капризными дамами в пышных пеньюарах и в роскошных интерьерах, с белыми телефонами у взбитых постелей, в те годы, когда, я думаю, у нормальных людей телефоны были черные и висели в коридоре на стене.

В журналах были кадры зарубежных кинолент. Какое-то слабенькое пламя шевельнулось в душе, когда я увидел чувственные

лица Цары Леандер[289] и Кристины Сёдербаум[290] в «Золотом городе».

Наконец, эти журналы изобиловали снимками Фреда Астера и Джинджер Роджерс,[291] порхавших подобно бабочкам, и Джона Уэйна в «Дилижансе».[292] Я запустил аппарат, который привык уже считать своим радио, лицемерно закрыв глаза на то обстоятельство, что за него трудился граммофон, и выбрал среди пластинок самые, по-моему, подходящие. Господи милостивый! Что я обнаружил! Фред Астер танцевал и целовался с Джинджер Роджерс, и в то же самое время мелодии из репертуара Длсинджер и Фреда играл оркестр Пиппо Барциццы, и эти мелодии запомнил даже я, поскольку они являют собой часть общеитальянского музыкального ликбеза. Настоящий джаз, лишь слегка итальянизированный. Пластинка «Тишина» *(«Serenità»)* на самом деле являла собой переделку *«Mood Indigo»*. Другая пластинка называлась «В стиле»… Понятно, это потому, что по-английски *«In the Mood»*. Пластинка «Печали святого Людовика». Интересно, его следовало понимать как Людовика Девятого? Или св. Луиджи (Алоизиуса) Гонзага? Это оказался «Сент-Луис-блюз». Слов нигде не было, за исключением довольно топорных куплетов о «Печалях святого Людовика». Переделыватели явно пытались закамуфлировать тот факт, что исполняемые ими мелодии поступали из неарийских источников.

В общем, джаз, Джон Уэйн и те комиксы, что в капелле. Мое детство явно проходило под наущения педагогов призывать гибель на англичан: «И да разразит всех британцев небесная кара!» — я готовился обороняться от американских негритосов, бесчестящих Милосскую Венеру, и в то же время упивался стилем, заимствованным именно с того берега океана.

С самого днища коробки выплыли адресованные деду письма и открытки. Я поколебался. Какое я имел право залезать в дедушкины секреты. Но потом я сказал себе, что дед являлся получателем, а вовсе не сочинителем этих текстов, авторы же были мне неизвестны, и по отношению к ним я вовсе не был обязан соблюдать пиетет.

Разворачивая письмо за письмом, я не надеялся найти что-нибудь выдающееся, однако нечто выдающееся нашлось само собою. Отвечая дедушке, друзья, большей частью — доверенные лица, намекали на то, что он писал в свое время к ним. Из этого мне удалось построить довольно четкую реконструкцию его характера. Я стал значительно яснее понимать, что думал мой дед, с какими он людьми поддерживал

дружбу, а каких предпочитал с максимальной осторожностью сторониться.

Однако только увидев ту самую склянку, я убедился в «политической ориентации» деда. Не так это было легко, поскольку рассказ Амалии требовал сугубо аналитического подхода. Так что прекрасно, что из чтения этих писем идеи дедушки проглядывали с большой определенностью. Изобиловали и намеки на прошлое. Наконец, один из друзей, которому дед поведал в 1943 году всю по порядку историю с касторкой, явственно выражал восхищение замечательной дедовой работой.

Но по порядку. Началось с того, что я читал бумаги и письма, прислонившись к окну, перед письменным столом, за которым высились стеллажи. Лишь из этого положения можно было разглядеть на самом верху, на одном из стеллажей, неприметную бутылочку, сантиметров в десять высотой, — из-под какого-то лекарства или от старинных духов, потемнелого стекла.

Я влез на стул. Бутылочка была плотно завинчена и сохраняла еще следы сургучной опечатки. Я глянул на просвет, болтанул — ничего, совершенно пуста. С некоторым трудом откупорил, внутри были присохшие крупицы темного материала. Чуялся слабый запах, сильно неприятный, застарелая гниль.

Я позвал Амалию. Что ей известно о бутылочке? Амалия воздела и глаза и ладони к небесам и закатилась смехом.

— Ох, это же та самая бутылка от касторки!

— Это касторка? Слабительное средство?

— Да еще какое. Мы давали касторку иногда и вам, ребятишкам, ну, конечно, по ложечке, чтобы вам поскорее облегчиться, ну, когда вас крепило. Ложку этого и две ложечки сахару, чтобы отбить гадкий вкус. Только вот господину дедушке вашему дали поболе, всю бутылку ему вкатили да еще три или четыре такие же!

Амалия, пересказывавшая всю эту историю со слов Мазулу, начала с того (и это вызвало мой протест), будто дед продавал газеты. Нет, книги, книги, не газеты, заспорил я. Но Амалия с уверенностью: нет, прежде книг дедушка ваш продавал еще и газеты. Мне пришлось тут поднапрячься, но все же я сумел разобраться — вопрос был терминологический. В тех краях киоскеров и сейчас называют

«журналистами». Так что я сперва подумал, что «журналист» в устах Амалии значит именно «разносчик или продавец журналов и газет». Между тем имелось в виду, что дед действительно в молодости был журналистом, то есть работал в периодической печати. Как я вычитал и из его переписки, дед писал статьи вплоть до 1922 года, не то в газеты, не то в журналы, выпускавшиеся социалистами.

В те времена, повествовала Амалия, в последний год перед «походом на Рим», боевики разгуливали с дубинками и лупили всех, за кем водилась крамола. Тех же, кого они хотели наказать особо показательно, они поили большими дозами касторового масла, чтобы очистить от ошибочных идей. И не по ложечке давали, а по кварте. И вот случилось, что как-то раз боевики ворвались в редакцию газеты, где работал мой дед. Дед был примерно 1880 года рождения, в двадцать втором ему было уже за сорок, а «воспитателями» были какие-то молокососы. Они побили все в редакции, включая и типографские машины, и повыкидывали мебель из окон, и, прежде чем покинуть помещение, оставив за спиной заколоченные крест-накрест двери, они скрутили двух редакторов, избили, а потом залили каждому и рот касторовое масло.

— Не знаю, ведомо ли вам, синьорино Ямбо, что за мученье принимает тот, кому эту штуку насильно дали. Если даже он своими ногами дойдет до дома, уж не спрашивайте, где он проведет первые дни после того. Уж такая стыдоба, что просто рассказать невозможно, синьорино, ни одному созданью божиему негоже подобное учинять.

Можно было понять по советам, полученным в письме от миланского друга, что с того самого случая (и учитывая, что фашисты окончательно победили через несколько месяцев после события) дед решил оставить журналистику и активную жизнь, затворился в своей лавчонке подержанных книг и просидел в тишине двадцать лет, разговаривая и переписываясь о политике только с самыми надежными друзьями.

Но он не забывал человека, который своими руками вливал ему масло в глотку, пока двое его дружбанов удерживали деда на стуле и зажимали нос.

— Это был один здешний, Мерло, господин ваш покойный дедушка знал, где этот Мерло проживает, и за двадцать лет он не

упустил Мерло из виду ни на день.

Точно. И в некоторых письмах информаторы слали сведения о жизни Мерло. Тот сумел дорасти в рядах милиции до звания центуриона, а затем стал снабженцем и себя, надо думать, неплохо снабдил, потому что через некоторое время приобрел в собственное владение немалый домик в деревне и землю в придачу. — Прошу прощения, Амалия, с маслом все ясно, ну а что же было влито в эту-то бутылочку?

— И назвать-то совестно, господин Ямбо…

— Так как я должен разобраться в этой истории, то скажите уж, Амалия, сделайте такое усилие.

Раз уж так, и только для меня на всем свете, Амалия согласилась скрепя сердце выговорить, что же было в ней. Дедушка, проглотив касторку, добрел до дома с немощью в теле, но с великой решимостью в душе. Первые два извержения были столь неудержимы, что он не успевал даже помыслить ни о чем, и слава богу, что не вывалил из себя душу. Но вот уж третий выхлоп, как и четвертый, он совершил в ночной горшок. Горшок наполнился касторовым маслом в смеси с тем, что выходит из человека, когда его слабит. Так деликатно выразилась Амалия. Дедушка опустошил флакон от розовой воды своей жены и, тщательно промыв его, заполнил свежим содержимым из ночного горшка. Затем он завинтил пробку и запечатал стеклянный сосуд крепким сургучом, дабы что было — не выветрилось и сохранило нетронутый букет и как можно лучше настоялось, как настаивается вино.

В городской квартире он берег бутылку как зеницу ока, а когда мы выехали в Солару от бомбежек, вывез с собой бутылку и поставил на виду в кабинете. Было ясно, что Мазулу одинаковых взглядов с дедом, и он знал всю историю, поэтому каждый раз, когда он заходил в кабинет (Амалия подглядывала, подслушивала), он кидал взгляд на бутылку, потом на деда, потом выкидывал вперед руку ладонью вниз, а после этого плавно и мягко поворачивал руку так, чтоб ладонь посмотрела кверху, и говорил угрожающим тоном: *«S'as gira…»* Что означало — «как только повернется», «как только переменится». Дедушка, в особенности в сорок третьем, отвечал: «Повернется, повернется, друг мой Мазулу, видишь, они уже высаживаются на Сицилии».

Наконец наступило 25 июля. Верховный Совет сместил

Муссолини, король уволил его, и два карабинера, посадивши его в «скорую помощь», увезли неизвестно куда. Так фашизму пришел конец. Я снова прочувствовал и пережил то время, читая дедовы газеты. Заголовки как в плакатах — на всю полосу. Конец диктатуре.

Больше всего интересного — в журналах следующего дня. Там с удовлетворением сообщается, что толпы сваливают с пьедесталов статуи дуче и сбивают ликторские пучки с правительственных зданий. Иерархи диктатуры переоделись в штатское платье и исчезли из поля зрения. Те газеты, которые до 24 июля твердили о сплоченности всего, как один, итальянского народа вокруг своего вождя, 30-го числа с ликованием описывают роспуск Палаты Фашиев и Корпораций[293] и выход на волю политических заключенных. Конечно, понятно, что в течение ночи там поменяли главного редактора, но остальной-то кадровый состав оставался! Не то все моментально приспособились, не то они долгие, долгие годы ждали и просто дождаться не могли, когда же им, наконец, позволят выговорить слова истины…

Настал, наконец, и час деда. «Повернулось», — отрывисто сказал он Мазулу, и тот понял все, что требовалось понять. Потолковав с двумя батраками, работавшими у него на поле, со Стивулу и с Джиджо, крепкими малыми, краснорожими от солнца и от «барберы»,[294] чьи громадные бицепсы, в особенности бицепсы Джиджо, славились на всю округу, и если у кого-нибудь грузовик застревал в канаве, Джиджо выталкивал его голыми руками, — он их пустил по ближайшим деревням, в то время как сам дедушка несколько раз посетил телефонную кабину в Соларе, чтобы кое-что уточнить у своих городских друзей.

CORRIERE DELLA SERA

Le dimissioni di Mussolini

Badoglio Capo del Governo

UN PROCLAMA DEL SOVRANO

Il Re assume il comando delle Forze Armate - Badoglio agli Italiani: "Si serrino le file intorno a Sua Maestà vivente immagine della Patria„

L'annunzio alla Nazione

La parola di Vittorio Emanuele

Precisa e chiara consegna

VIVA L'ITALIA

Manifestazioni a Roma

Soldato del Sabotino e del Piave

L'esultanza di Milano

Примечание к рисунку[295]

Наконец тридцатого июля подтвердилось местопребывание Мерло. Его дом, то есть имение, находилось в Бассипаско, неподалеку от Солары, и он туда тихонечко забился, пока улягутся страсти. Он никогда не занимал больших постов и разумно предполагал, что рано или поздно про него вообще забудут.

— Ну, мы пойдем второго августа, — решил дедушка. — Как раз второго августа, двадцать один год назад, он угощал меня касторкой. А

мы теперь навестим его. После ужина, во-первых, потому, что жара отойдет и ехать по холодку приятнее, а во-вторых, потому, что Мерло как раз пусть набьет себе брюхо как следует, а мы уж позаботимся, чтоб все получше переварилось.

Они сели в повозку и на закате солнца тронулись в Бассинаско.

В дверь Мерло они постучали, Мерло к ним вышел обвязанный клетчатой салфеткой, кто вы такие, чего вам нужно, естественно, лицо деда ему ничего не сказало, они его вдавили внутрь, Стивулу и Джидлсо усадили его, заломив за спину руки, а Мазулу сжал ему ноздри пальцами, которые без всякого штопора способны были откупорить винную баклагу.

Дедушка неторопливо пересказал ему сюжет двадцатиоднолетней давности, в то время как Мерло мотал головой, как бы желая сказать, что все это ошибка, да он и политикой сроду не интересовался. Окончив изложение, дедушка припомнил ему, что в свое время, прежде чем начать вливать ему масло в глотку, боевики заставили его, избивая палкой, прокричать с зажатыми ноздрями «алала́!». Дед же человек миролюбивый и, разумеется, палку в ход пускать не хочет, поэтому если Мерло любезно согласится пойти навстречу и произнести «алала́!» без лишних просьб, то удастся избежать стеснительных ситуаций. Мерло, с ярко выраженным носовым эмфазисом, прокричал «алала́!», что, с другой стороны, входило в немногочисленный набор действий, на которые у него хватало способностей.

После этого дед вылил пузырек тому в рот, заставив проглотить и масло, и каловую массу, которая была разведена в касторке, все пахучее, выдержанное в хорошем температурном режиме, розлива тысяча девятьсот двадцать второго года, гарантированное место и происхождение.

Когда они выходили, Мерло на карачках, уткнув лицо в плитки пола, пытался выблевать из себя проглоченное вещество, но нос ему продержали зажатым достаточно длительное время, так что настой успел дойти до самого желудка и попасть куда надо.

Тем же вечером, по возвращении воинов из похода, Амалия увидала моего господина покойного деда в столь лучезарном виде, в каком он, кажется, не бывал никогда. Мерло вроде бы натерпелся такого страху, что даже после восьмого сентября, когда король попросил о перемирии и драпанул куда подальше в Бриндизи, а дуче был

освобожден германцами и фашистюги вернулись к власти, Мерло к Социальной республике Салó[296] погодил приставать, а предпочел сидеть дома и поливать огородик — теперь он, поди, помер уже, поганец, приговаривала Амалия, по мнению которой, захоти даже Мерло добиваться справедливости и жаловаться фашистам, он до того напугался в тогдашний вечер, что не смог бы вспомнить и лиц тех, кто ворвался к нему в дом… кто сочтет, сколькерых он напаивал касторовым маслом…

— И еще, мыслю я, другие тоже держали того Мерло под сильным призором все долгие годы, и, поди, таких бутылочек, как он испил от вашего деда, покойника, ему подносили не одну, поверьте уж, врать не стану, такому, как он, должно было стать неповадно заниматься политикой.

Вот оно, значит, каким надлежало представлять моего дедушку. Все входило в образ — подчеркивание газетных строк, слушание лондонского Би-би-си. Ожидание «когда переменится».

Я обнаружил печатный лист, датированный 27 июля. Ликование по случаю падения диктатуры выражали в едином восторженном коммюнике — Партия Христианской Демократии, Партия Действия, Коммунистическая партия, Социалистическая Итальянская партия пролетарского единства и Либеральная партия. Если я в свое время читал эту листовку, а я, несомненно, должен был ее читать, значит, я сообразил, что все эти партии не могли так чудом за сутки проклюнуться, — следовательно, они существовали и до того, то есть действовали в подполье. Думаю, именно и тот момент я начал постепенно осознавать, что такое демократия.

Дед хранил и всю прессу республики Салó. Одно издание, «Иль пополо ди Алессандрия» (ну и сюрприз! у них печатался, подумать только, Эзра Паунд![297]), публиковало яростные карикатуры на короля, которого фашисты ненавидели не за одно только то, что он велел арестовать Муссолини, но и за то еще, что он просил о перемирии, удрал на юг и заключил союз с ненавистными англо-американцами. Газета изгалялась также и над сыном короля, Умберто, последовавшим за отцом. На карикатурах эти двое изображались всегда на бегу, с вылетающими из-под пяток облачками пыли. Король был крошечным, настоящим лилипутом, а принц, наоборот, — длинною верстой. Паола

говорила, что я всегда держался республиканских взглядов. Оказывается, первый в этом смысле урок я получил именно от фашистов — тех, которые в свое время возвели короля на трон императора Эфиопии. Воистину, неисповедимы…

Я спросил у Амалии, рассказывал ли мне дедушка историю с касторовым маслом.

— А как же! Сразу. На следующий день. Он был так доволен! Усадил рядом вашу милость и рассказал все как есть. И еще показал бутылку.

— А я что?

— А вы, синьорино Ямбо, как сейчас вижу, сильно захлопали в ладоши и вскричали: «Дед, ну ты похлеще, чем гудон».

— Какой гудон?

— Почем я знаю? Кричали про гудона, прямо вот вижу, будто вот передо мной.

Не гудон, конечно, а Гордон. Дедов подвиг я воспринял как геройское деяние Гордона на погибель безжалостного Минга, повелителя страны Монго.

Глава 13
Signorinella, бледная девица

Подвиг деда я воспринял с энтузиазмом истого пожирателя комиксов. Коллекция комиксов в капелле, однако, прерывалась в середине 1943 года и возобновлялась с сорок пятого, когда мне начали их дарить американские солдаты. Может быть, после середины сорок третьего комиксы просто не выходили? Или же после восьмого сентября 1943-го я наблюдал столь романтические реальные события (партизаны, Черные бригады, обыскивавшие дом, появление подпольной антифашистской прессы), что жизнь превзошла по интересности все мои журнальчики? А может, я повзрослел и перерос комиксы? И дальше уже перешел к запойному чтению «Графа Монте-Кристо» и «Трех мушкетеров»?

Должен отметить, однако, что за два месяца Солара не выдала мне ни единого документа, относящегося только ко мне, и единственно ко мне. Все найденное — это читавшиеся мной тексты. Но как читал их я, так читали их, естественно, и другие. Вот и вся археология. Кроме небьющегося стакана и очаровательной повестушки о дедушке (и опять не обо мне), я раскопал не свое детство-отрочество, а всеобщее, поколенческое.

Самым личным из всего продолжали казаться песни. Снова я запустил пластинку. Первая же запись, взятая наобум, относилась все к тому же разряду веселых глупостей на фоне бомбежек:

Тут на прогулке как-то подошел ко мне один
любезный гражданин,
серьезный господин.

В кафе мы сели вдалеке от любопытных глаз,
он сделал свой заказ
и начал свой рассказ:

Люблю я девушку одну, всю в золотых кудрях,
но как сказать ей, ах,
что я по ней исчах?

Моя прабабка вспоминала давние грехи —
ей пели женихи
прекрасные стихи:

«Алые губы,
косы как смоль,
к ним в поцелуе
приникнуть позволь…»

Но как же я ей
пропою этот стих,
когда она
вся в кудрях золотых?

Вторая песня была подушещипательнее. Кто знает, проливала ли от нее слезы мама?

Signorinella, бледная девица,
соседка по шестому этажу…
Мне двадцать лет уже Неаполь снится,
хотя всю жизнь вдали я провожу.

… Мой сын нашел в учебнике латыни
фиалку из Неаполя, pensée…
Что ж по тебе я плачу на чужбине?
Скажи, скажи, perché…[298]

Скажи, скажи мне обо мне самом. По комиксам, найденным в капелле, прослеживается пробуждение моей сексуальности. Хорошо. Но где настоящие чувства? Где первая любовь? Неужели Паола была моей самой первой женщиной?

Странно, что в капелле не обнаруживалось ничего касающегося периода между моими тринадцатью и восемнадцатью. А между тем в те пять лет, до гибели родителей, я ведь нередко наезжал в Солару.

Тут я припомнил — вроде были еще три коробки, но не на этажерках, а рядом с алтарем. Тогда я не придал им значения, охваченный любопытством и восторгом при виде найденных разноцветных коллекций, журнальчиков, картинок. Но, может быть, в тех трех коробках имело смысл покопаться хоть чуть-чуть?

В первой лежали мои детские фотографии. Я ожидал бог весть чего. Нет, ничего… Я только ощутил сильную, вдохновенную растроганность. И хотя в свое время, в клинике, я не смог опознать фото собственных родителей, а лицо деда впоследствии узнал только благодаря фотографии в кабинете, — дальше я пошел разбираться вполне ловко, выстраивая хронологию по одеждам и по лицам, где кто моложе, где кто постарше. И естественно, по длине юбок мамы. Лично я был тем самым дитятей в панамке, который елозил улиткой по камушку. Девочка, вцепившаяся мне в руку, была Адой. Ада и я — ангелочки в белоснежных костюмах, у меня почти фрак, у нее почти венчальное платье, явно первое причастие. Я — второй балилла слева, вытянувшийся по стойке смирно, с ружьецом наизготовку. Я в компании чернокожего американского солдата, улыбающегося шестьюдесятью четырьмя зубами, это, может, первый в моей жизни негр, это освободитель, я поспешил засняться — 25 апреля, Италия свободна.

Но только от одной-единственной картинки меня и вправду прохватило. Переснятая с крошечной фотографии (что сразу видно по крупнозернистости), сценка изображала мальчика, наклонившегося в замешательстве, в то время как совсем маленькая девчоночка, на пуантах, в белых башмаках, обхватывает его за шею и целует в щеку. Так мама или папа поймали в кадр секунду, когда Ада, которой явно обрыдло позировать, вдруг напечатлела мне ни с того ни с сего поцелуй в знак своей сестринской любви.

Я понимал, что это я, но тем не менее воспринял кадр как музейное свидетельство про посторонних и умилился, как чужой, от чисто художественной выразительности картинки. Не более чем умиляются «Анжелюсу»[299] Милле, «Поцелую»[300] Хайеса или Офелии, плывущей у прерафаэлитов среди тесных кувшинок, лилий и асфоделей.[301]

Асфодели ли то были? Кто их знает. Снова-таки слово прежде вещи. Слово и его сила. Слово, а не образ. Слышал я, что из двух полушарий мозга левое заправляет рациональными связями и речью, правое ведает эмоциями и зрительными образами. Может, у меня отключено правое полушарие. Хотя нет, невозможно. С чего бы тогда я изводился, доведываясь неизвестно чего? Доведыванье — страсть. Доведыванье — не то кушанье, которое потребляется охлажденным. В отличие от мести.

Я отставил фотографии, они пробудили во мне только ностальгию по неизвестному, закрыл первую коробку и снял крышку со второй.

Во второй коробке были образки, церковные картинки с изображением блаженного Доменико Савио. Савио был учеником дона Боско. Художники изображали его огнедышащим от набожности, в

затасканных штанах с пузырями на коленях, в молитвенном экстазе. Под образками черный том с алым обрезом, наподобие молитвенника, «Осмотрительный отрок» («*Il giovane provveduto»)* того же дона Боско. Издание 1847 года в плохом состоянии, интересно, от кого оно ко мне перешло, антология назидательных чтений, гимнов и молитв, пропаганда целомудрия — главной добродетели.

Примечание к рисунку[302]

Это была антология религиозной литературы, содержавшая страстные призывы к непорочности с рекомендациями воздерживаться от зазорных зрелищ, соблазнительных знакомств и беспокойных чтений. Из десяти заповедей особо муссировалась шестая — «не прелюбы сотвори» — и достаточно прозрачно намекалось на разнообразные греховодные касания собственного тела, которые всегда неуместны, до такой степени, что с вечера предлагалось укладываться в кровати навзничь, руки скрещивать на груди и тем самым избегать надавливания лоном на перину. Гораздо реже звучали наставления о том, что связь с противоположным полом возбранна, как если бы и сама вероятность такой связи была почти непредставима из-за жестких общественных ограничений. Врагом же номер один, хотя не названным, но постоянно

описываемым (осмотрительно-иносказательно), оказывалась мастурбация. В одной брошюре было написано, что среди всех животных на свете мастурбируют только рыбы. Это о внешнем осеменении! Известно, что некоторые виды рыб сбрасывают сперматозоиды и икру в воду, вслед за этим сама вода заботится о донесении семени в яйца. Ну все-таки, бедные животные, как же их можно порицать за соитие в утлые сосуды? Об обезьянах, неисправимых онанистах, в этих брошюрах — молчок. А также ни слова о гомосексуализме, как будто ласкать самого себя — грех, а ласкать, предположим, семинариста — пожалуйста.

Был там и чрезвычайно залистанный экземпляр «Маленьких мучеников» священника Доменико Пиллы. Это история о том, как молодые прихожане, девушка и юноша, подвергаются кошмарным пыткам от рук масонов-антиклерикалов, служителей Сатаны, которые пробовали приобщить юных героев к радостям греха и отвратить от нашей благоспасительной веры. Но сколь веревочке ни виться… а козни наказуемы. К ваятелю Бруно Керубини, создавшему по заказу масонов статую Святотатства, ночью приходит призрак его товарища по дебошам Вольфганга Кауфмана. После совместной оргии Вольфганг и Бруно в свое время заключили договор: первый, кто скончается, по смерти навестит второго гуляку и расскажет без утайки, каков собою тот свет. Вольфганг — выходец *post mortem* из дымовых паров Тартара, обернутый саваном, выпученные глаза на мефистофелеподобном лице. Его опаленное тело излучает потусторонний блеск. Дав себя разглядеть, призрак уведомляет: «Ад есть, и я в аду!» И предлагает Бруно, ради свидетельства, протянуть правую руку; скульптор протягивает, на руку падает капля ледяного пота. Эта капля прожгла руку насквозь, как если бы на нее попал расплавленный свинец.[303]

Годы выпуска и книги и брошюр, были они или не были указаны, не меняли в сущности ничего. Я мог изучать их в любом возрасте. Трудно определить — шла ли речь о заключительных годах войны или о периоде после возврата в город? Как знать, когда взыграла во мне ярая набожность? В порядке ли реагирования на ужасы войны? В попытке ли противостоять штормам пубертатности? Какие разочарования вбросили меня в гостеприимные объятия Церкви?

Единственные достоверные лохмотья моего «я» нашлись в последней коробке. Поверх всего там лежали несколько выпусков «Радиокурьера» за сорок седьмой и сорок восьмой годы, с подчеркиваниями в программе и с приписками на полях. Почерк был мой, и можно сделать вывод, что эти страницы являлись указанием на то, что отмеченные передачи собирался слушать именно я. Подчеркивания, за вычетом нескольких ночных передач, посвященных поэзии, охватывали по преимуществу камерную музыку и концерты. Речь шла о непродолжительных интермеццо между передачами утренней программы, или послеобеденной, или в поздний вечерний час. Три этюда, один ноктюрн, при везении — целая соната. Передачи для ценителей, в те часы, когда не слушает почти никто. Значит, я подкарауливал любые возможности встречи с музыкой, которою потихоньку опьянялся, придвинув ухо к приглушенному динамику радио, чтобы не беспокоить семью. У дедушки были симфонические пластинки. Хотя как знать — не купил он их позднее, именно чтобы подпитывать зародившийся во мне интерес? А до пластинок я зависел от домашней радиоточки, выведывал, как разведчик, те редкие минуты, в которые музыка ожидалась. Представляю, какое бешенство охватывало меня, когда, наконец, на кухне, в предчувствовании назначенного днями раньше свидания, я обнаруживал, что там полно голосящих и кудахчущих домочадцев, словоохотливых разносчиков, штопающих женщин и что кухарка шумно протискивает через машинку слоеное тесто!

Шопен. Композитор, которого я отслеживал азартней всего. Я перенес коробку в кабинет дедушки, запустил его проигрыватель, зажег панель моего «Телефункена» и распочал свое последнее расследование под сонату Си бемоль минор, сочинение тридцать пятое.

Под «Радиокурьерами» лежала стопа тетрадей, исписанных в старших классах лицея, с сорок седьмого по пятидесятый год. Я убедился, что учитель философии у нас в лицее был воистину грандиозный и все, что я помню из этой науки, было изучено тогда, это понятно по конспектам. Были еще рисуночки, виньетки, наброски, записочки от одноклассников и классные фотографии, где в три-четыре ряда построены ученики с учителями в центре последнего ряда. Лица не

сказали мне ровно ничего, я даже не сразу вычислил себя-то самого, методом исключения, плюс примета — хохолок, наследие пышного чуба Вихраста.

Книзу под стопкой этих школьных тетрадей лежала еще одна, начинавшаяся датой 1948, но в которой лист за листом почерк резко изменялся, так что явно напрашивался вывод, что от записи до записи времени протекало немало. По всей видимости, записи вносились в течение трех последующих лет. Вдобавок ко всему это были стихи.

До того плохие, что, бесспорно, их автором мог быть только я. Юношеские угри. Каждый, думаю, пишет подобные стихи в шестнадцать лет. Обязательная фаза перехода от отрочества к взрослости. Где-то я читал, что поэты делятся на две категории. Хорошие, то есть те, кто сжег свои плохие стихи и уехал продавать оружие в Африку,[304] и плохие, которые издают свою продукцию и продолжают писать стихи до последних дней.

Может быть, дело обстоит и не совсем так… но мои стихи были слабенькие. Не кошмарные, не омерзительные, за которыми проглядывал бы ранний талант ниспровергателя-гения. Нет. Просто жалкие и банальные. Стоило ли возвращаться в Солару, чтоб узнать, что я был пошлый рифмоплет? Хотя нет. Стоит с радостью узнать: я в свои восемнадцать плотно запечатал жертвы абортов в коробку и оставил их в капелле, за замурованной дверью, с тем чтобы отдать всю свою последующую жизнь служению чужим текстам. То есть я оказался в свои восемнадцать лет восхитительно разумен и критически неподкупен.

Но если, почти схоронив, я все же зачем-то сохранил их, значит, какую-то я находил в этих стихах важность, даже отделавшись от юношеских угрей. Какую-то осмысленность. Люди, выгнавшие солитера, иногда сохраняют в спиртовом настое его головку, а другие держат в коробочке камни, вырезанные у них из желчного пузыря.

Сначала шли сплошь наброски, краткие описания красот природы, все, что полагается описывать начинающим поэтам: зимние утра, в которые сквозь иней проглядывает из будущего лукавый провозвестник апрель; колтуны лирических недомолвок по поводу таинственных переливов какого-то августовского вечера; луна, еще луна, переизбыток лун. И только один раз, внезапно, луна получила чего заслуживала:

Чем ты занята, луна, в небе?
— Тяну себе жизнь
неяркую,
представляю собою кучу
породы с мертвыми долинами
и надоевшими вулканами,
потухшими.

Ох господи. Ну слава богу. Хоть раз не повел себя по-идиотски. А может быть, за день до того начитался футуристов, которые хотели *убить лунный свет*.[305] Так. Сразу после этого я написал стихи о Шопене, о его творчестве и печальной жизни. Ну ясно. В возрасте шестнадцати лет не станешь же писать стихотворения о Бахе, который был воплощением душевного равновесия и утратил его в жизни только однажды — когда у него умерла жена и могильщикам, пришедшим за распоряжениями о похоронах, он посоветовал спросить у нее. Шопена, кажется, придумали нарочно, чтобы шестнадцатилетки заливались слезами. Отъезд из Варшавы с лентой Констанции на сердце. Смерть, подкрадывающаяся в заброшенном монастыре в Вальдемозе.[306] Только вырастая, замечаешь, что он вдобавок писал превосходную музыку. Сначала — льешь слезы.

Дальше были еще стихи о памяти. Молоко не обсохло на губах, а я уже трясся над поблекшими знаками неумолимого времени.

Воздвигаю воспоминанья.
Жизнь
доращиваю до миража.
Каждый миг,
любое мгновенье
перелистываю легко,
но рука моя дрогнула.
Память волны,
взморщившей океан,
исчезающей.

Каждое слово с новой строчки, нахватался от поэтов-герметиков. [307]

Немало было стихов о клепсидрах, «протекают минуты истонченною слюнкой…», «и песок заполняет все В пазухах памяти…» и так далее. Был гимн, посвященный Орфею (да-да), в котором я советовал тому:

> Не возвращайся же дважды в царство
> воспоминаний,
> не расточай же скорую свежесть
> первой покражи.

Советовал я кое-что и самому себе. Например: *и не утрачивай ни минуты…* Спасибо за советик. Вот сбился с ритма насос, пульнул лишку крови в артерию — и я утратил не то что *минуту*, утратил память всей своей пережитой жизни. В Африку, в Африку, торговать оружием.

Среди прочей лирической требухи была и любовная лирика. А, так, выходит, и любовь у меня была, значит? Или я просто любил любовь, как случается в такие годы? Нет, вообще-то речь ведется об определенной «ней», хотя маловразумительно:

> Существо, заключенное
> в эту тайну текучую,
> кто тебя отдалил?
> Или ты родилась
> лишь прожить этот стих,
> не узнав ничего?

Трубадурно и как-то неуважительно к женщине. С чего бы это *существу* рождаться лишь для того, *чтоб прожить* мой дурацкий *стих?* Если ее не было на самом деле, значит, я, как султан (странный султан-моногам), воспринимал нежный пол исключительно в качестве мяса для воображаемого гарема. Это вообще-то называется мастурбацией, даже если эякулируешь из авторучки. А если *существо заключенное* имело место в реальном мире? И она в конце концов *не узнала ничего?* Ну, тогда я дундук. Кто же эта *она?*

Я располагал словами, а искал — картину, я вчувствовался в звуки, не скажу «почуял таинственное пламя», потому что царица Лоана меня жутко разочаровала, но некие движения «таинственного» рода я ощущал и даже, мнилось, мог бы угадывать наперед все записанные в тетрадку вирши. *Однажды исчезнешь ты… и может быть, это сон…* Что попало в поэзию, не исчезает. Для того и пишут, чтобы нечто закрепилось навечно. А я все же опасался исчезновения. Значит, поэзия выступала для меня хрупким эрзацем того реального, к чему я — в настоящей жизни — не решался подходить ближе. *Легкомысленно вел строительство На текучем песке мгновений Перед ликом, всего лишь пред ликом. Но не знаю, горевать ли о миге, Когда я вздумал начинать строить.* То есть я строил какой-то мир, безусловно с намерением заселить туда кого-то.

Ну да, ведь были же настолько конкретные описания, что и не пахло вымышленными персонажами:

Прошла, меня не видя, с новой стрижкой.
Вокруг был май. А с нею был студент,
блондин, высокий, старый
и с пластырем на шее.
Он говорил друзьям:
простая сифилома.

В другом стихотворении описан желтый жакет, ни дать ни взять как явление Ангела шестой Трубы.[308] Девушка явно имела место в реальной жизни. И эту сволочь с сифиломой тоже, понятное дело, я не выдумал. И в довершение ряда, вот еще одно, последнее в группе любовных стихотворений:

За несколько дней
до Нового года
я разбирался в любви
впервые в жизни.
В тот вечер с небес
просыпался снег на тихий город.
Я шумел под окном

и надеялся, что меня увидят,
я швырялся снежками,
я надеялся, завоюю
высшие награды Пола.

Сколько протекло сезонов?
Во мне сменились клетки и все ткани,
удастся удержать бессменной память?

Только ты, только ты
в каком-то длинном далеке (но где же?),
только ты еще в этой мышце во мне —
в сердце,
и я чувствую все то же, что тогда,
за несколько дней
до Нового года.

Этому *существу заключенному*, совершенно реальному, я отдал три года своего роста. А потом утратил ее. Не случайно я терзался вопросом: *но где же?* Вероятно, в то же время, когда погибла моя семья и я переселился в Турин, я решил размежеваться с прошлым. О том свидетельствуют два последних стихотворения. Они были вложены в тетрадь, но написаны не от руки, а на машинке. Не думаю, чтобы в лицейские годы я пользовался машинкой. Значит, последние поэтические опыты восходят к раннему университетскому периоду. Странно, что они в тетради. Окружающие дружно уверяют меня, что я совершенно перестал ездить в Солару, когда поступил в университет. Но, возможно, когда умер мой дедушка и когда дядя и тетя распихивали вещи по чердаку, я снова посетил свою капеллу — именно для того, чтобы запереть в ней воспоминания, от которых отмежевывался. И засунул отпечатанные стихи в тетрадь — завещание, прощальный привет. Они подобны заявлению об увольнении в запас или об уходе с работы. Прощаясь со стихотворчеством, я выводил в расход все то, что оставлял позади.

Первое стихотворение такое:

О белые красотки Ренуара,
о дамы на балкончиках Мане,
каштаны и террасы на бульварах,
где нежный профиль промелькнул в окне…

Скажем друг другу правду:
Одетта де Креси
была продажная девка.

Второе стихотворение называется «Партизаны». Единственное документальное свидетельство о периоде с сорок третьего года до окончания войны.

Талино, Джино, Рас, Волчина, Сабля
спустились с гор в ту теплую весну,
когда все пели песни партизанские
и «над полями ветер завывал».
Как мне хотелось бы вернуть обратно
те летние томительные дни,
где пули пели высоко над полем,
в молчании полуденного солнца,
где днями ждали мы
вполголоса рассказанных известий:
Десятая уходит, вроде завтра
появятся бадолианцы.[309]
Наверно, уберут контрольный пост.
Дорогой на Орбеньо не пройдете.
Готовится под раненых подвода?
Я их заметил около молельни.
Сержант Гарраньо занял оборону
на крыше горсовета…
Потом внезапно дьявольская ругань,
и шум, и драка, цокотанье пуль
по стенке дома.
А ночью тишина, хотя стреляли
из Сан-Мартино, видимо, последних

пытались изловить…

Опять увидеть, как большое лето
пропитано уверенностью — кровью,
в те времена, когда
Талино, Джино, Рас — они видали
действительность в лицо.

Но не могу. Я не прошел покамест
через контрольный пост,
через проверку в Диком Яре.
Поэтому я запахну тетрадь
воспоминаний. Сплыли
те ночи светлые, когда в густом лесу,
как в песне, партизану
пришлось упрашивать веселых птичек
любимой дать поспать.[310]

Это стихотворение выглядело совершенным ребусом. Мне удалось расшифровать только следующее. В указанную пору мне выпали переживания, которые воспринимались как героические, по крайней мере покуда героями в них выступали другие, не я сам. Решивши устранить все реликвии детства и отрочества, вступая во взрослый возраст, я соблазнился — захотелось реконструировать ситуации, в которых был взлет, и была уверенность. Но я застопорился на проверке, на контрольном посту (на последнем блокпосту всей войны, провоеванной около дома), и отказался от борьбы… Как так? А по какой-то причине, о которой или не мог, или же не хотел вспоминать. Причина как-то была сопряжена с Диким Яром.

Ну, вот опять возник этот самый Дикий Яр. Что, меня кромешницы перепугали до такой невозможности, что я решил похерить все? Или когда я понял, что окончательно утрачиваю *существо заключенное,* я устроил себе из военных дней в Диком Яру миф о любовном фиаско? А если уж так — то отправил в неведомый миру тайник, в капеллу, все, из чего я состоял до того времени?

Ничего тут мне не оставалось. В смысле, в Соларе. Осталось только

сделать вывод, что, упрятав под замок память детства и сделавшись студентом, я выбрал профессию — старинные книги, — чтобы отдаться прошлому, которое было по определению не мое и не могло никак обольстить меня.

Но кто же было это *существо заключенное*, которое, отдалившись, довело меня до отправки в тайник всей лицейской жизни, всех соларских лет? Была, значит, и у меня *signorinella, бледная девица, соседка по шестому этажу?* И что, весь этот роман сводился только к пошлому куплетику из разряда тех, которые каждый хоть единый раз в жизни да пропоет?

Возможно, информация о романе сохранилась у Джанни. Когда влюбляются, особенно в первый раз, обычно открываются закадычному другу.

Несколько дней назад я удерживал Джанни, чтобы он не рассеивал туманы моих воспоминаний спокойными лучами своей памяти. Но тут уж деваться было некуда. Только прибегнуть к памяти Джанни.

Я позвонил ему вечером, мы проговорили несколько часов. Я начал сыздали, с Шопена, и Джанни подтвердил, что действительно радио было для нас единственным источником серьезной музыки, к которой нам обоим выпало тогда приохотиться. В городе, но мы уже заканчивали лицей, открылось Общество любителей симфонической музыки, где проходили время от времени фортепьянные и скрипичные концерты. Самое большее, на что можно было рассчитывать, — выступление трио. Из нашего класса на концерты ходили четыре человека, ходили в общем почти таясь, потому что прочие оболтусы мечтали только протыриться в бордель, невзирая на несовершеннолетний возраст, а на нас за Шопена и концерты они смотрели так, будто мы полубабы.

Замечательно. Значит, какие-то совместные трепетания у нас с Джанни были. Во имя этого, с богом…

— А не пытался ли я, когда был на третьем курсе лицея, ухаживать за кем-нибудь?

— Так и это ты забыл, выходит дело? Нет худа без добра… Зачем в этом копаться. Столько лет прошло, какая разница теперь. Бог с этим, Ямбо. Думай лучше о своем здоровье.

— А ты не будь свиньей. У меня накопились кое-какие вопросы,

нужно ответить. Мне необходимо узнать именно про то, о чем я спросил.

Он кряхтел и колебался, потом все-таки разверз уста и пошел рассказывать с таким воодушевлением, как будто героем-любовником был он, не я. Дело так почти и обстояло, потому что, сообщил он мне в скобках, до тех пор сам-то он был неуязвим для любовных стрел, а когда влюбился я, он до того опьянялся моими признаниями, будто сам участвовал в этой драме.

— И она действительно была самая хорошенькая в классе. Тебя только самая красивая устраивала. Влюбляться так влюбляться.

— *Кого же может полюбить урод? Конечно, самую красивую из женщин!*[311]

— Что это?

— Да так, само собой выскочило. Рассказывай о ней. Как звали ее?

— Лила. Лила Саба.

Красиво. Красиво звучит. Будто мед во рту.

— Лила. Прекрасно. Как это все у нас там происходило?

— На третьем курсе мы, мальчишки, были именно что мальчишками с прыщами и в вечных штанах до колен. Они же в это время уже становились женщинами, на нас не желали глядеть. У них в поклонниках были студенты из институтов, студенты ждали их на выходе из школы. Ты как увидел эту Лилу, так сразу окосел. Ну, вроде Данте и Беатриче. Кстати, это не полностью шутка. Тогда мы как раз в лицее проходили «Новую жизнь» и «Свежие светлые и сладкие воды», [312] и ты все это читал часами наизусть, потому что стихи говорили именно о тебе. В общем, это был солнечный удар. Несколько дней ты ходил в полуобмороке, с комом в горле, к тарелке не прикасался, родители решили, что ты у них болен. Потом ты стал активно выяснять, как же ее зовут, но не решался спрашивать напрямую, а то ведь поймут и догадаются… На наше счастье, у нее в классе была такая Нинетта Фоппа, похожая на хорька, симпатичная, и ты с ней жил в одном дворе, и вы играли во дворе с этой Нинеттой с самого вашего раннего детства. Так вот, столкнувшись с ней в подъезде, здрасте-здрасте, поговорили о том о сем, а потом ты спросил, что за подружка была с ней несколько дней назад. И так узналось по крайней мере имя.

— А после?

— Говорю же, ты превратился в зомби. А так как в ту эпоху ты был

ужасно религиозный, то двинул прямо к духовнику. Дон Ренато был из тех священников, что ходят в берете, раскатывают на мотоцикле, и все говорили, что он очень широких взглядов. Он разрешал тебе даже читать книги, занесенные в «Индекс».[313] Для того чтоб отрабатывать критический подход. Я бы вот не решился рассказывать про такое дело попу. Но тебе же надо было выговориться. Вроде как в том анекдоте, как один попал на необитаемый остров вместе с самой красивой киноактрисой на свете, ну, у них там все произошло чего надо, казалось бы, он должен быть счастлив, но все-таки ему чего-то не хватает. Наконец он уговаривает ее переодеться мужчиной и нарисовать себе жженой пробкой усы. Потом он подходит, берет ее под локоть и шепчет: «Знал бы ты, Густаво, кого я уломал сегодня…»

— Не опошляй, для меня это важнейшая тема. Что сказал дон Ренато?

— Что мог сказать священник, сколь угодно широких взглядов? Что чувство твое благородно и достойно и даже сообразно природе, но что не следует принижать его, превращая в физическую связь, потому что к таинству брака необходимо подойти сохранив чистоту, а значит, ты обязан хранить этот секрет в глуби сердца.

— А я на это?

— А ты на это, как последняя задница, послушался и сохранил секрет в глуби сердца. Мне представляется, отчасти потому, что ты ужасно боялся к ней подступиться. Но все-таки глуби сердца тебе было немножко мало, и поэтому ты вываливал все это на меня, и мне приходилось с тобой работать в паре.

— Как работать? Если я к ней и не подходил?

— К ней-то ты не подходил, а ко мне стал подходить беспрерывно. Дело в том, что твоя квартира была прямо рядом со школой, повернул за угол — и дома. Девочки, по распоряжению завуча, выходили из школы после мальчиков. И поэтому тебе вообще никогда не светило бы с ней видеться, если только не торчать, как остолоп, в неприкрытом ожидании непосредственно перед лестницей. Почти все остальные шли по домам сначала через сквер, потом по площади Мингетти, потом уже расходились кто куда. Лила жила на площади Мингетти. Ты выходил из школы, понарошку провожал меня через весь сквер и быстро скакал обратно, чтобы не опоздать к появлению девочек, так что Лила постоянно попадалась тебе навстречу со всеми с ее подружками. Ты

просто смотрел, как она идет. Ничего больше. И так каждый божий день.

— И тем и был доволен.

— Да черта с два ты был доволен. Ты вытворял бог знает что. Вступил в актив, чтоб тебя посылали распределять по классам какие-то билеты. Ты входил в ее класс и застревал на лишних полминуты напротив ее парты. У тебя, видишь ли, не находилось сдачи. Ты стал страдать зубной болью, потому что кабинет дантиста находился на площади Мингетти и окна выходили на балкон ее дома. Ты неописуемо маялся зубами, дантист не знал, что делать, и для порядка рассверливал зубы. Тебе рассверлили сотню зубов совершенно напрасно. Но ты зато приходил за полчаса, сидел в приемной и пялился на балкон того дома. Она, конечно, так ни разу и не вышла. Однажды вечером шел снег, мы всей ватагой выбежали из кино, кино было именно на площади Мингетти, так ты организовал целую битву в снежки, вопил как очумелый, народ решил, будто ты жутко пьяный. А ты вопил в надежде, что она услышит крики и высунется на балкон и увидит, как ты ловко сражаешься в снежки. Однако высунулась не она, а старая ведьма, и завопила, что через минуту вызовет полицию. Потом еще одна гениальная идея. Ты целый спектакль создал. «Великое лицейское шоу». Ты рисковал завалить экзамены, поскольку весь год был занят исключительно этим спектаклем: словами, музыкой, декорациями. И наконец твоя пьеса появилась на сцене, грандиозный успех, три вечера подряд, успела посмотреть вся школа, включая родителей. Все валом валили в актовый зал — будто это самая модная постановка на свете. Ну, и Лила приходила два раза. Самый сильный номер был — пародия на учительницу Марини. Эта Марини преподавала естественные науки, сама сухая, тощая, волосы пучком, груди нет, здоровенные черепаховые очки и всегда черный костюм. Ты тоже был сухой и длинный, как Марини, переодеть тебя в нее — это было проще простого. В профиль просто чистая Марини, не отличишь. Только вышел ты на сцену — грохот в зале, почище Карузо. И эта Марини обычно у нас на уроках доставала из сумки пилюлю от кашля и по полчаса катала ее во рту, пилюля выпирала то из-за одной щеки, то из-за другой. Как ты полез в сумочку, как только сунул в рот пилюлю и стал катать ее языком — ну, я тебе говорю, как театр не рухнул, просто не понимаю, аплодисменты, рев, овация больше пяти минут. От твоего языка разом пришли в экстаз

сотни людей. Ты был героем. Но было ясно, что на седьмом небе ты по главной причине: она была в зале, она тебя видела, видела твой успех.

— Ну, как ты думаешь, уж после этого-то я мог решиться?

— А как же заповедь духовника Ренато?

— Кроме как при продаже билетов, мы с нею не говорили?

— Почти никогда. Однажды повезли всю школу в Асти смотреть трагедии Альфьери. Сняли под нашу школу на один вечер весь театр. И нам четверым досталась даже целая ложа. Так ты все шнырял глазами по другим ложам и по партеру, искал, где она. Нашел-таки. Ей досталось откидное и последнем ряду, откуда в принципе ничего не видно. В антракте ты как-то смог приблизиться к ней, ты сказал ей «чао», а потом спросил, нравится ли ей спектакль, она пожаловалась, что из заднего ряда плохо видно, тогда ты ей сказал, что у нас чудная ложа, и место есть, и что пусть она переходит, если хочет. Она перешла и села рядом со всеми, наклонившись вперед, а ты остался на диванчике в глубинке. Сцены оттуда не было видно, но ты два часа подряд смотрел на ее затылок. Почти в оргазме.

— А потом что с нами было?

— А потом она: «Спасибо» и пошла к подружкам. Ты поступил вежливо, она поблагодарила. Я же говорю тебе, они были уже женщинами, вот в чем дело. И на нас им было вообще меньше чем наплевать.

— А как же мое актерство, мое геройство?

— А ты что думаешь, женщины влюблялись в Джерри Льюиса?[314] Похлопают — и идут себе дальше.

До тех пор Джанни рассказывал банальную историю подростковой любви. Однако, парадокс, в развитии эта история превращалась в нечто абсолютно иное и помогала кое-что суперважное понять.

Итак, весь третий курс я прожил в бедствии. Потом наступили каникулы, и бедствие усугубилось, я не знал ни где она, ни что она. По возвращении в город, осенью, возобновились бессловесные ритуалы обожания (и в то же время — но знаю об этом только я, а Джанни не знает — возобновилось сочинительство стихов), это было будто жизнь бок о бок с ней целыми днями и целыми ночами, могу предположить.

Однако в середине четвертого курса Лила Саба ушла из нашей школы. И из города уехала, как я услышал от Нинетты Фоппа. Уехала с

семьей. Какое-то темное дело, Нинетте тоже мало что было известно, темные сплетни. У ее отца случились крупные неприятности. В духе ложного банкротства. Передал дела группе адвокатов и подыскал себе должность в далеком и неведомом зарубежье — переждать, пока не утрясется это дело на родине. Дело не утряслось никогда, и поэтому Лила Саба с ее семьей так никогда и не вернулись.

Никому не полагалось знать, куда они скрылись, кто-то говорил — в Аргентину, кто-то — в Бразилию. Южная Америка! В те времена даже Лугано казалось нам *Ultima Thule*.[315] Джанни просто из кожи лез. Обнаружил, что ее близкая подружка — была одна такая Сандрина — переписывается с Лилой. Но Сандрина секретов не разглашала. Вызнать хоть одно слово было совершенно невозможно. Да и с чего бы ей было рассказывать секретные сведения? Именно нам? Кто мы такие?

Прошло еще полтора года до выпускных экзаменов. Я был по-прежнему вымотанный, измочаленный, несчастный. Я думал только о Лиле Саба, и где она, и что она.

Ну конечно, после экзаменов, сказал Джанни, появилась надежда, что в университете я избавлюсь от всего этого. И точно, я начал ухаживать за новой девушкой, потом еще за одной, а на последнем курсе познакомился с Паолой. Лиле, по логике, следовало бы оставаться прекрасным воспоминанием юности, какие имеются у многих. Но как бы не так! Я продолжал искать ее всю свою взрослую жизнь. И собирался даже поехать в Латинскую Америку и там повстречать ее на улице. Ну где-нибудь между Огненной Землей и Пернамбуко. В час слабости я признавался другу Джанни, что во всех женщинах я продолжал искать лицо Лилы. И что хотел увидеть ее еще хоть бы раз, один только раз, прежде чем умру. Мне было не важно, какой она стала. Испортишь все впечатление, говорил Джанни. Мне все было не важно. Я недополучил по счету.

— Так ты всю жизнь и проискал Лилу Саба. Я говорил и ответ, что это лишь уловка, чтоб путаться со всеми прочими. Не так уж сильно принимал тебя всерьез. Что дело действительно серьезное, я поверил только в нынешнем апреле.

— А что же произошло, скажи пожалуйста, в нынешнем апреле?

— Ямбо, этого уж совсем я не хотел тебе говорить. Но дело в том, что пересказал я… ну, некоторые новости насчет Лилы… тебе прямо за несколько дней до твоей неприятности. И после этого ты заболел. Не

могу сказать, была ли прямая связь, но хотя бы из суеверия давай-ка лучше не повторять эксперимент, не так уж важно все это.

— Нет уж, теперь договаривай все, или подскочит давление. Давай выкладывай.

— Ну, я тут ездил на наши старые места в первые дни апреля. На кладбище пойти. Наш город, с тех пор как нас там нет, не меняется ну ни капельки. Когда я возвращаюсь в наши с тобой места, я молодею. Ну вот, и повстречал на улице Сандрину. Ей тоже уже под шестьдесят, но я ее узнал без всякого труда. Зашли в бар выпить кофе. Вспомнили старые времена. Так, слово за слово, я ее спросил что-то о Лиле. Как, ты ничего не знаешь? — спросила она. А откуда же, черт побери, я могу знать. Как, ты не знаешь, что Лила умерла еще когда мы сдавали выпускные экзамены? Не спрашивай, что да как, я посылала ей письмо за письмом в Бразилию, и вдруг они все возвратились одной пачкой, и ее мама сообщила мне это известие, ты подумай, бедная, бедная, умереть в восемнадцать лет. Вот и все, что я узнал от Сандрины. Для нее это было дело давнее, полузабытое.

Я сорок лет чах по фантазму. Попробовал отвязаться от прошлого в начале университета, и от всего прошлого отвязался, за исключением именно этой единственной части.

Не зная сам, прокружил всю жизнь вокруг далекой могилы. Как поэтично. И в то же время, до чего это невыносимо.

— Но как она выглядела, Лила Саба, — спросил я у Джанни. — Скажи мне, как минимум, на что она была, эта Лила, похожа.

— Ну что тебе сказать, красивая, она и мне-то нравилась, когда я тебе ее нахваливал, ты гордился — в стиле «еще бы, у меня красивая жена». Волосы золотые, почти до пояса, личико ангельское, но немножко чертовское, а когда улыбалась, показывались два резца…

— Есть где-нибудь ее фото? Хотя бы групповой снимок на стене в лицее?

— Ямбо, наш с тобой лицей сгорел в шестидесятые годы, все стены, парты, документы, вообще все. Теперь на его месте новый, уродский.

— Подружки ее, Сандрина, у них спросить.

— Могу. Если хочешь, я попробую, хотя не знаю, как и спрашивать. А вообще искать будет трудно. Сандрина, например, все-

таки миновало полвека, уже не может сказать, в каком та городе жила, какое-то мудреное название, ну, в общем, никак не Рио, можно, конечно, послюнить палец и прочитать все телефонные книги Бразилии, ища семью по фамилии Саба. Найдется приблизительно тысяча. Хотя папаша, когда удирал, думаю, сменил имя. Ну, если даже, допустим, разыщем мы ее родню. Приедем — и что увидим? Родители, я думаю, на том свете, а если даже на этом, то не знаю, не знаю… им уже лет по девяносто. Мы скажем, извините, гуляли и зашли вот вас проведать, нельзя ли посмотреть фото вашей дочери Лилы?

— А что здесь такого?

— Не надо, послушай меня, Ямбо. Покойникам почет, а жизнь своим путем идет. Мы не найдем даже, где она похоронена. Поскольку звали ее не Лилой…

— Как не Лилой?

— Черт. Напрасно я ляпнул об этом. Просто Сандрина и апреле сказала мне еще одну вещь, которую я не знал, а я тогда же преподнес ее тебе, что, мол, смотри, какое забавное совпадение… А тебя-то это стукнуло, будто дубиной. Слишком ты этот факт проинтерпретировал близко к сердцу. Поверь ты мне, так уж близко не следовало. Явно все это — чистая игра случая. Ладно, скажу тебе, что именно я выяснил. «Лила», оказывается, — уменьшительное от «Сибилла».

Профиль на французском журнале, целуемый ребенком. Лик, увиденный у входа в лицей мальчишкой. И все другие лица, между которыми наблюдалась общность: Паола, Ванесса, хорошенькая голландка, другие, другие, вплоть до этой нынешней Сибиллы, этой, живой, этой, которая нацелилась замуж через неделю, и значит, ее я теряю тоже… Эстафета через долгие годы в поисках чего-то, не существовавшего даже и тогда, когда я еще писал свои стихотворения.

Я припомнил:

Один я, прислонясь в тумане
к стволу в аллее…
Я только в сердце и владею
что вспоминаньем
огромным о тебе и бледным,
на холоде летящим где-то

среди деревьев.[316]

Это хорошее. Потому что оно не мое. Воспоминание огромное, но бледное. Между всех драгоценностей Солары нету лика Лилы Саба. Друг Джанни владеет им, будто бы видел вчера. А я, единственный имеющий право? Я — нет.

Глава 14
Гостиница «Три розы»

Что остается делать в деревне? Самое серьезное, что было у меня в юности, оказывается, жило в других местах. В городе (конец сороковых), потом в Бразилии. Эти другие места (наша тогдашняя квартира в городе, мой лицей) до нынешних дней не сохранились. Может, не существует и того далекого места, где Лила проживала в последние годы своей короткой жизни. Последние документы, которыми разрешилась Солара, дали мне возможность только почувствовать облик Лилы, но не показали лицо. Передо мной опять густой, тугой, непроходимый заслон тумана.

Вот что я думал с утра. Мной овладело чемоданное чувство. Зайду-ка я в последний раз на чердак, попрощаюсь с рухлядью. Я был уверен, что искать мне уже нечего. Зашел на чердак. Какое-то нереальное желание попытать счастья. Отыщутся новые улики?

Прошел по уже изученным закоулкам. Игрушки. За стенкой книжные шкафы. А между стеллажами всунута неоприходованная мной коробка. Опять-таки куча романов, классических (Конрад, Золя) и бросовых — «Приключения Алой Примулы», сочинение баронессы Орши (Orczy)…

Был и итальянский детектив довоенных времен «Гостиница „Три розы“» Аугусто Марии Де Анджелиса. Опять я охвачен чувством, будто бы в книге рассказана моя собственная история:

> Дождь падал длинными струями, в бликах от фонарей они представлялись серебряными. Туман, растянутый, дымный, протыкал своими иголками лицо. На тротуарах колыхалась бесконечная процессия зонтиков. Автомобили посередине улицы, где-то карета, переполненные трамваи. В шесть часов вечера темнота была туга, как в первые дни миланского декабря.
>
> Три дамы торопились, прорывали быстрым шагом вереницы прохожих. Все три были одеты в черное по довоенной моде, в тюлевые шляпки с бисером.
>
> Они были так похожи одна на другую, что если бы не

ленты на шляпках — цвета мальвы, фиолетовая, черная лента, — подвязанные бантами под подбородками, могли бы выглядеть галлюцинацией: как может утроиться одна и та же личность? Взошли на Понте Ветеро с улицы Орсо и, поравнявшись с самым краем освещенного тротуара, вошли, почти вскочили, втроем в тень площади Дель Кармине…

Мужчина, шедший за ними и колебавшийся — догонять ли, — когда они пересекли площадь, остановился перед фасадом церкви под сильным дождем…

Досадливо махнул рукой. Смотрел на черную небольшую дверь…

Он прислонил свой зонтик к стене дома, давая каплям стечь, и потирал руки медленными ритмичными движениями, сопровождавшими внутренний монолог…

Он ждал, он не сводил глаз с маленькой двери церкви. Временами какие-то черные тени пересекали площадь и исчезали в темном подъезде. Туман сгущался. Он простоял не меньше получаса. Будто смирился…

Покидая площадь Дель Кармине, он пересек улицу Меркато, за нею Понтаччо, и, добравшись до стеклянной двери, открывавшейся в широкий и освещенный вестибюль, толкнул и вошел. Над стеклами двери читалось огромными буквами: «Гостиница „Три розы“».

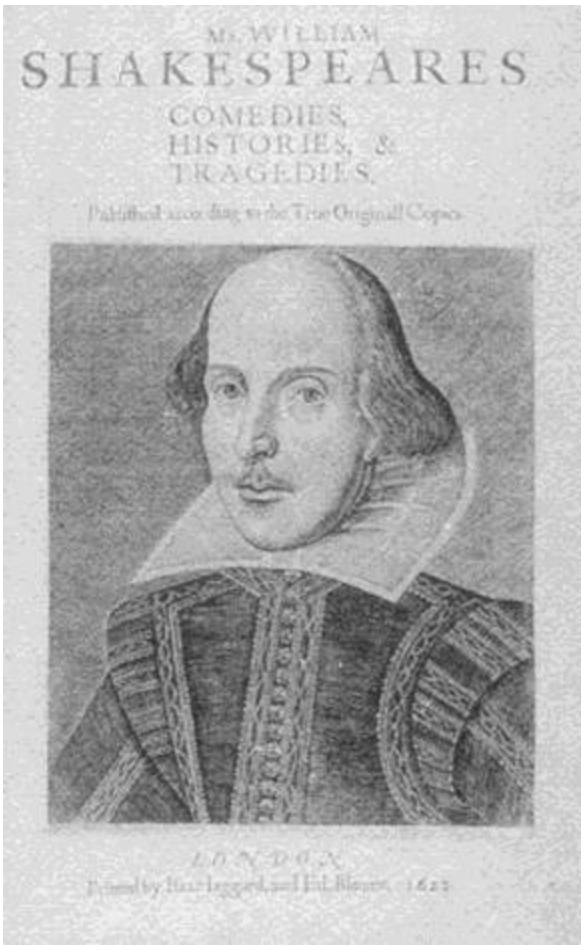
Это был я: в густом тумане я видел трех женщин, Лилу, Паолу и Сибиллу, в непрозрачном воздухе они казались нерасторжимыми, время от времени исчезающими в тенях. Бессмысленно догонять этих женщин в таком тумане, который вдобавок загустевает и плотнеет. Решение, я думаю, в другой плоскости. Дай я пройду по улице Понтаччо и загляну в озаренный светом подъезд гостиницы (не там ли произошло преступление?). Где она, гостиница «Три розы»? Повсюду, если спросить меня. *A rose by any other name.*[317]

На днище коробки, на подложенных мягких старых газетах, укрытые сверху газетами, покоились два облезлых тома большого формата. Один из них — библия с иллюстрациями Доре, до того измочаленная, что ее можно только разобрать на листы и продать как офорты. У другого тома — переплет не старее сотни лет, полукожа,

корешок ветхий и без надписи, форзацы мраморной бумаги, затрепанные. Первое впечатление от страницы — семнадцатый век.

Типографский двухколонный набор сразу бросился в глаза. Я метнулся к фронтиспису. *Mr. William Shakespeares Commedies, Histories, & Tragedies.* Портрет Шекспира. *Printed by Isaac Iaggard…*

Даже для здорового человека такая находка чревата инфарктом. Без сомнения, на этот раз никакая не шутка Сибиллы. Я держу в руках *in-folio* 1623 года полный, с несколькими бледными затеками и с широким полем.



Как попала эта книга деду в руки? Вероятно, в партии старого барахла, приобретенной у идеальной старушки, которая не сильно торговалась, потому что ей надо же было сбыть хлам из погреба какому-нибудь старьевщику.

Дед в книгах старинных, конечно, не понимал ничего, но и невеждою не был. Он, думаю, довольно быстро догадался, что речь идет о ценном издании. Он был доволен, что приобрел себе полного Шекспира. Но в каталоги аукционов не заглядывал, поскольку не имел

их. Поэтому, когда дядя с тетей запихивали все добро под крышу, они отправили туда и *in-folio*, где он лежал четыре десятка лет, в точности как пролежал в другом и неведомом месте предыдущие три столетия.

Сердце лупило как бешеное. Я — ноль внимания.

Итак, я здесь, в кабинете своего деда, ласкаю сокровище, и пальцы мои дрожат. После стольких сгущений серого тумана я вошел наконец в гостиницу «Три розы». Это, конечно, не фотоснимок Лилы, но все же это — обратный билет в Милан. Билет в настоящее время. Эту книгу открывает портрет Шекспира. Найду и портрет Лилы. Бард отведет меня к Смуглой Даме.

С этим *in-folio* я проживаю любовную связь позавлекательней, нежели все замковые тайны Солары. Три месяца скакало давление. Волнение, мысли путаются и скачут, и горячею кровью заливает лицо.

Я до смерти поражен.

Часть третья
ΟΙ ΝΟΣΤΟΙ[318]

Глава 15
Ты наконец возвратился, мой друг туман!

Лечу в туннеле, стены фосфоресцируют. Мчусь к какой-то далекой точке, она гостеприимно-серого цвета. Что, репетиция смерти? Если я правильно помню, те, кто не до конца умирал и потом возвращался к нормальной жизни, рассказывают совершенно противоположное. Что проходили по темным головокружительным путям и потом их вбрасывало в ликование небесного света. В гостиницу «Три розы». Из этого получается: или я не умер, или умиравшие наврали.

Я почти на выходе из туннеля, снаружи дымно. Мягко укладываюсь в пар, нежусь в течении зыбкого подвижного слоя. Вот каков он, туман, если о нем не читать, не слушать, если в нем, истинном и подлинном, пребывать. Вот я и вернулся.

Около меня из-за этой туманной обмазки вещи мира разрыхлены, замылены. Будь хоть очертания домов, я бы увидел, как туман предательски отъедает углы и косяки, слизывает черепицу с крыши. Но очертаний не разглядеть. Все уже сожрано. Даже не скажешь, что *по стенам ошметки тумана висят как обоев куски.* Не могу я понять, шагаю ли я или парю в пространстве: под ногами тоже только туман. Утаптываю его как снег. Пробирает меня туман, лезет в душу и лезет в легкие, я пытаюсь его выдуть изо рта, кувыркаюсь как в пене дельфины, так когда-то я мечтал залезть с ушами в сладкий крем… Окружает меня туман, покрывает, окутывает, мною дышит, обласкивает, щекочет шею, пахнет силой, пахнет снегом, выпивкой и куревом. Так, шагая под портиками старинных городов, ты практически не видишь неба. Низкие

арки над головой. Такое пространство в винных погребах. *Как обмирающий на гребнях волн пловец, Мой дух возносится к мирам необозримым… Покинь земной туман нечистый, ядовитый, Эфиром горних стран очищен и согрет.*[319]

Какие-то фигуры приближаются. Похожи на многоруких гигантов. Излучают мягкое тепло, от тепла туман тает, и там — ореолы слабого размытого света. Я отшатываюсь, чтобы эти тела на меня не налетели, они тем не менее налетают, оказывается — они проницаемы, ну понятное дело — привидения. Точно в поезде едешь, и из тьмы приближаются огни, движутся прямо на тебя, пролетают совсем рядышком, растворяются в новых потемках.

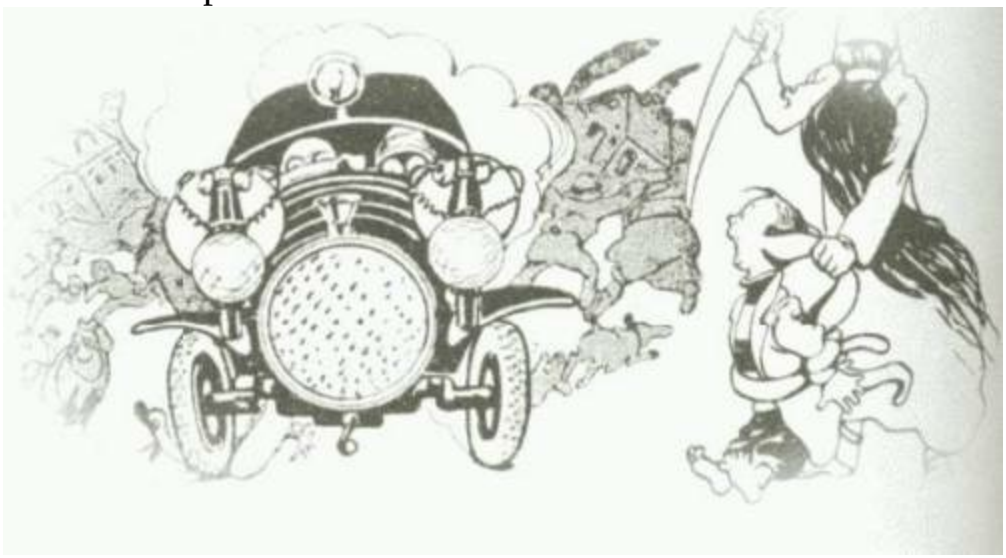
Пританцовывает и скачет передо мной шут в зелено-синем костюме, прижимает какие-то бесформенные подушки к груди, они похожи на человеческие легкие, из распяленного в ухмылке рта рвется огонь. Налетает, ошпаривает меня ярым языком из своего огнемета и улепетывает, оставив еле различимый горячий след, которым на несколько секунд был рассечен этот дымный морок, *fumifugium*.[320]

Катится мне навстречу шар, на котором восседает крупная птица. Это орел, рядом с орлом — свинцовая голова, вместо волос вздыбленные цветные карандаши… Я эту голову знал, я с ней дружил, особенно в дни детских болезней, в горячке, в королевском бульоне, под гнойное бурление желтых родников. И ныне тоже, как в те времена, я в темной спальне: открывается старый скрипучий шкаф, выбегает стайка дядей Гаэтано. У дядей Гаэтано треугольные головы, узкие подбородки и кудрявые волосы, они на висках торчат вроде рожек. У Гаэтано больной и серый кожный покров, чахоточный вид, тусклые глаза и в ряду черных кариесных зубов — золотой клык. Дядя Гаэтано неотличим от карандашного человека. Дяди Гаэтано выбегают сначала попарно, после этого поколонно и отплясывают посреди моей комнаты марионеточный котильон, деревянно дергая локтями, в слаженном геометрическом порядке, взмахивая, как жезлами, большими линейками длиною не менее двух метров. Когда начиналась зима, всякий раз приходил грипп, и выскакивали из шкафа дяди Гаэтано, равно как и при ветрянке, и при кори, это было наваждение в послеобеденные часы, когда температура особенно подскакивает: я больше всего страшился именно этих наваждений. Правда, потом существа все-таки убирались

восвояси — обратно в шкаф, куда же еще, — и я после выздоровления робко-робко приоткрывал дверцы и осматривал шкафное нутро пядь за пядью и не находил щель, в которой эти гриппозные монстры отсиживались от болезни до болезни.

В нормальное, здоровое время пускай и редко, но все же мне попадался дядя Гаэтано на главной улице города, в полдень, по воскресеньям после мессы, улыбался своим золотым зубом, поглаживал меня по щеке, похлопывал, напутствовал, мы расставались. Он был добряк, и я так и не смог уяснить, какого черта он приходил изводить меня, когда меня лихорадило, и я не смел спросить у своих взрослых, что в этом дяде было такого двусмысленного, скользкого, подспудно зловещего? Что такого зловещего было в его жизни и во всем его существе, в дяде Гаэтано?

О чем я спорил с Паолой, когда она выдернула меня с проезжей части, где быстро ехали машины? Я ей сказал, если верно помню, что машинам свойственно наезжать на кур и в последний момент они тормозят и не заводятся наново. Тогда в большом облаке черного дыма двое мужчин в подпоясанных плащах и больших солнечных очках заводят мотор особой ручкой. Тогда я Паоле не сказал, не знал, а сейчас я знаю: эти двое наезжали на меня следом за дядями Гаэтано в горячечных кошмарах.



Вот они лихо вынырнули из тумана. Еле успеваю отскочить. Автомобиль человекоподобно ужасен. Выпрыгивают мужчины в масках и норовят ухватить меня почему-то за уши. Уши у меня стали длинными, очень длинными, совершенно ослиными, астрономической

протяженности, дряблыми и волосатыми, это уши до луны. Смотри ты у меня, не будешь слушаться, вырастет нос как у Пиноккио, вырастут уши как у Мео! Почему этой книги в Соларе я не нашел? Ведь я точно внутри сказки «Ослиные уши Мео».

Память возвратилась ко мне. Даже слишком — с большим перебором — воспоминания крутятся-вертятся, как нетопыри.

Температура снизилась от последней таблетки хинина. Папа сидит у кровати и читает мне главу «Четырех мушкетеров». Их четыре, а не три. Это радиоспектакль-пародия. Вся страна, когда его передавали, приникала к репродукторам. Дело в том, что к этой передаче приурочивался розыгрыш премий. Премии выдавались тем, кто собирал цветные картинки с изображением героев передачи, а картинки продавались вместе с коробками шоколада «Перуджина», и, если покупать много шоколада, можно было собрать целый альбом картинок и выиграть хорошие призы.

Однако только тому, кто мог предъявить самую редкую картинку — Свирепого Саладина, — полагался невообразимый приз, автомобиль «Фиат Балилла». Население Италии пожирало горы шоколада, все дарили «Перуджину» знакомым, любовникам, соседям и начальству, лишь бы только завладеть вожделенным Саладином.

В истории, что мы сейчас расскажем, Вы встретите немало шляп с плюмажем, Дуэлей, поединков, ссор и драк, Красавиц томных, обнаженных шпаг… Эти передачи легли в основу книжного издания, снабженного кучей занимательных иллюстраций. Папа читал мне текст, а я, в полузабытьи, засыпал и продолжал видеть героев — кардинала Ришелье, окруженного стайкой котов, и прекрасную Суламифь в остроносых тапочках.

Почему в Соларе (когда? вчера? тыщу лет назад?) все вещи были

связаны только с дедом, и ничто не напомнило мне о папе? Потому что дед занимался книгами и периодикой. Вот я и читал дедовы книги и периодику. Это были бумаги, бумаги, бумаги… а папа целыми днями пропадал на службе, в политической деятельности не участвовал, вероятно — чтобы не выгнали с работы. Мы жили себе в Соларе, а папа через тысячи трудностей ездил к нам каждое воскресенье, все же остальное время он ходил на работу в городе под бомбежками и проявлялся в полной мере только тогда, когда я сильно заболевал.

Бух бах трах трюх бабах bang crack blam clamp splash crackle crackle crunch grunt pwutt roaaar rumble blomp sbam buizz schranchete slam sprank blomp swoom bum thump clang tomp irac uaaaagh vrooom augh zoom блямц…

Из окна нашей Солары, когда в городе были бомбежки, было видно далекие молнии и слышно бормотание громов. Мы глядели не отрываясь, понимая, что совершенно не исключается — вот сейчас на нашего папу падает здание…

И мы не знали в сущности ничего определенного о папе до самой субботы, до папиного возвращения. Бывало, что бомбили во вторник. Приходилось ждать после вторника четыре дня. Эта война превратила нас в фаталистов, бомбардировки воспринимались как божий гром. Младшее поколение (то есть мы) в ожидании вестей от папы играло себе спокойно и во вторник вечером, и в среду, и в четверг, и в пятницу. Спокойно ли? Не ощущали ли мы ту же тревогу, то же возбуждение пополам с подавленностью, которые чувствует кто угодно на поле, усеянном ранеными и убитыми?

Лишь только сейчас я сознаю, что любил папу, я снова гляжу ему в лицо, читаю следы усталости, следы постоянной заботы. Папа работал всю жизнь, чтобы приобрести машину — ту самую, которая его убила. Папа работал всю жизнь, чтобы не зависеть ни от кого. Чтобы не зависеть в первую очередь от моего деда, беззаботного жуира, не думавшего о деньгах, поскольку деньги у него всегда водились, и имевшего репутацию героя — пострадал за политику, знатно отомстил Мерло!

Помню, как папа сидит у кровати и читает поддельные приключения Д'Артаньяна, мушкетера в этой книге переодели в брюки

гольф. Помню и запах материнской груди, когда я ныряю к родителям под одеяло, уже сильно позднее тех времен, когда я сосал из этой груди молоко. Отложив свою «Филофею», мама напевает мне песенку про Мадонну, от этого мотива — дорога к хроматическому восхождению в прелюдии «Тристана».[321]

Как это так я вдруг — помню? Где я нахожусь? Перехожу от расплывчатых контуров к четким силуэтам. Вижу комнаты, обстановку, вижу торжественную тишину. Вижу великолепное молчание. Не замечаю ничего вовне себя. Все во мне. Пробую шевелить пальцем, рукой, ногой, но у меня как будто бы нет тела. Я погружаюсь в ничто, витаю над безднами, призывающими другие бездны.

Что, мне подсыпали наркотик? Кто? Где я был перед тем, как перестал понимать, где я? Просыпаясь от сна, человек обычно помнит, что он делал перед отходом ко сну, какую книгу закрыл и на какую ее положил тумбочку. Однако порой, особенно в гостиницах или даже в собственной квартире, после долгого отсутствия, чтобы включить лампу, мы шарим рукой не справа от изголовья, а слева и спускаем ногу с кровати не на тот бок. Помню будто вчера: перед засыпанием я слышал голос папы, он читал «Четырех мушкетеров», это было пятьдесят лет назад, но мне не удается припомнить, где я провел эти пятьдесят лет перед тем, как пробудиться в данном месте и данном времени.

Я был в Соларе, в кабинете, с *in-folio* Шекспира? А что случилось после этого, дальше? Явно Амалия подсыпала мне ЛСД в суп. И я поплыл в туман, где мельтешили персонажи, вылезающие из множества складок памяти, из закоулков.

Какой я дурак. Все гораздо проще. В Соларе меня поразил второй инсульт, меня сочли умершим и схоронили, и теперь, в могиле, я проснулся. Похоронен заживо. Как в страшном рассказе. Нет — тогда мне бы полагалось содрогаться и биться, задыхаться в гробу, в полной власти ужаса. А ведь все совершенно не так со мною. Я не ощущаю себя телом. Я торжественно спокоен. Я живу в воспоминаниях, кружащих около меня, и ощущаю радость. Вряд ли такие ощущения свойственны заживо погребенным.

Значит, приходим к выводу, что я умер и что тот свет — именно вот это нудное спокойное пространство, где я несчетное количество раз переживу мою реально прожитую биографию? Если реальная биография была паршивой — тем неприятнее для меня, потому что на том свете мне выпадет ад. А если биография была отличной — значит, пребывать мне в раю? Что за глупости. По такой логике что предуготовано горбатым, слепым, глухонемым? Или, предположим, в реальной жизни все, кого мы любили, мерли как мухи, родители, жена, пятилетний сын, так что же, на том свете нам перелсивать все эти улсасы по новой? Разве ад это не «другие»,[322] разве ад — это смерть, которую мы перетаскиваем за собой на тот свет? Даже самый зловредный из богов не смог бы выдумать подобную штуку. Если только вот оказался бы прав Граньола! Стоп. Граньола… Так звали кого-то из знакомых. Плохо, что воспоминания беспорядочно накладываются друг на дружку. Надо бы их выстроить по порядку, поставить в очередь, в затылок, иначе я опять заблужусь в густом тумане и снова вылезет, танцуя, на меня огнедышащий паяц «Термоген».

А может, я и не умирал. Умершему как испытывать земные страсти? Любовь к родителям? Беспокойство из-за бомбежек? Умирать — это ведь означает высвобождаться из циклов жизни, освобождаться от сердцебиений. Каким бы адским ни оказался ад, я смог бы видеть со звездного расстояния то, чем я был, чем являлся. Ад — не сдирание кожи в горячей смоле. Ад — это зрелище зол, которые ты натворил в жизни. От этого зрелища не освободишься вовек. И ты это знаешь. Но сам ты — чистейший дух. Я же, наоборот, не только все помню, но и переживаю: кошмары, привязанности, радость. Не ощущаю тела, но сохраняю память о своем теле, и мучаюсь, как будто тело все еще при мне. Так люди, у которых ампутировали ногу, продолжают чувствовать фантомную боль.

Начнем сначала. Так. У меня случился повторный инсульт, тяжелее первого. Я перевозбудился сперва от мечтаний о Лиле, а после — от находки *in-folio.* Давление подскочило до невообразимой степени, бац — и теперь я в коме.

Родные и близкие, Паола, дочки (и Гратароло, который себе

простить не может, что выпустил меня из клиники и разрешил уехать, вместо того чтобы держать под наблюдением, по меньшей мере, месяцев шесть) полагают, что я в глубокой коме. Энцефалограмма показывает, что мозг совершенно бездеятелен, и они терзают себя вопросами — отключить ли аппарат или сохранять меня в этом виде бог знает сколько месяцев и лет. Паола держит меня за руку, Карла с Николеттой ставят пластинки, потому что они прочитали в книгах, что в случае комы какая-то музыка, или голос, или вообще какой-то неожиданный стимул могут человека разбудить и возвратить к жизни. И они будут упорно бороться год за годом, кормить меня через трубочку. Человек с минимальным достоинством, если бы мог, сказал бы, что с этим надо кончать немедленно, бедные девочки, для вас, конечно, это будет очень даже тяжело, но все-таки освободитесь. Следует срочно отключать аппарат. Но — ужас! Я не в состоянии донести до них эту мысль!

Так. Но в глубокой коме, как всякому известно, мозговая деятельность полностью отсутствует, а я — я думаю, чувствую и вспоминаю. Да. Хотя как знать. Об отсутствии мозговой деятельности судят те, кто наблюдает снаружи. Бесспорно, энцефалограмма плоская. Плоская — так гласит наука. Но что знает наука о тайнах жизни? Может, мозг на их экранах и выглядит плоским, но что, если я продолжаю думать в это время животом, или пальцами ноги, или причинным местом? Выглядит так, будто у меня отсутствует высшая нервная деятельность. Но я же знаю, что внутренняя жизнь во мне происходит… это же бесспорно.

Я вовсе не говорю, что, невзирая на плоский мозг, где-то и каком-то непонятном месте присутствует и действует душа. Я только говорю, что существующие приборы способ регистрировать мозговую деятельность лишь до определенной степени. А за порогом их чувствительности мышление продолжается, хоть этого до сих пор не знал никто. Проснуться, проинформировать мир об этом! Обязательно дадут Нобеля по неврологии. А пресловутые существующие приборы отправят в металлолом.

Грозно выдвинуться из туманов прошлого, в живом и мощном виде предстать и перед теми, кто любил меня, и перед теми, кто алкал моей гибели. *Смотри, я Эдмон Дантес!* Сколько раз граф Монте-Кристо представал перед теми, кто считал его умершим? И перед давними

своими благодетелями, и перед обожаемой Мерседес, и перед теми, кто был причиной его несчастий. *Смотрите, я вернулся, я Эдмон Дантес!*

Или вылупиться из тишины, бестелесно витать в больничной палате, видеть, как оплакивают мое бездвижное тело. Наблюдать за собственными похоронами и летать, преодолев телесную тяжесть. Две общие мечты. Их соединить. Мечты, мечты. На деле же я в плену обездвиженности…

Вообще же я не Дантес, и мне некому мстить. Если меня и удручает что-либо, то совершенно иное. Плохо, что чувствую я себя хорошо, а высказать это не способен. Я не способен двинуть ни пальцем, ни веком, ни подать знак, хоть азбукой Морзе. Вместо этого я весь — мысль, никакого действия. Никаких ощущений. Пробыл ли я здесь неделю, месяц, год? Не чувствую биения сердца, не чувствую ни голода, ни жажды, нисколько не хочу спать (и даже напуган этой бесконечной бессонницей), не знаю, отправляю ли я нужду (видимо, отводные трубки обеспечивают выброс шлаков). Потею я? Дышу я? Как мне известно, вокруг меня и вне меня нет никакого воздуха. Мучительно думать, как мучаются Паола, Карла и Николетта, но все же нельзя разделять их страдания. Я не должен принимать в себя боль других людей. Я должен пользоваться защитой блаженного эгоизма. Я живу с самим собой и для себя самого. Я снова узнал то, что после первого

инсульта мною было забыто. Ныне, а может быть, навсегда, это — моя жизнь.

Следовательно, остается выжидать. Если меня разбудят, это будет сюрпризом. Но, может, и не разбудят никогда. Приготовлюсь к нескончаемому припоминанию. Впрочем, столь же вероятно, что я протяну недолго и сам по себе угасну. Тем более нужно поскорее воспользоваться положением.

Если бы я вдруг перестал мыслить, что бы тогда случилось? Образовалась бы новая форма потусторонности, близкая вот этой сиюминутной посюсторонности? Или наступили бы темнота и бессознательность навсегда?

Я буду полный дурак, если потрачу имеющееся в распоряжении время на такие проблемы. Кто-то, назовем этого кого-то «Случай», предоставил мне оказию, дал возможность вспомнить, кто я. Попытаемся использовать это. Необходимо в чем-то покаяться? Покаюсь. Но покаяться я смогу, только вспомнив, что я содеял. За определенные мои художества (вина перед Паолой или перед облапошенными вдовами) меня уже, поди, простили. Вдобавок всем давно известно, что ад, даже если он есть, пуст.[323]

До того как оказаться в этом сне, я нашел в Соларе и положил в карман штанов металлическую лягушку, при виде которой у меня выплыло из памяти имя Анджело-Мишки и слова про драже доктора Озимо. Тогда это были только слова. А теперь я все увидел как на картинке.

Доктор Озимо заведовал аптекой на виа Рома. У него была лысая как яйцо голова и голубоватые очки. Всякий раз, как мама берет меня за покупками и заходит в аптеку Озимо, владелец аптеки, даже если она купила только марлевый бинт, откупоривает высокую стеклянную банку, полную белых ароматных шариков, и отсыпает для меня фунтик сливочных драже. Я знаю, что нельзя есть сразу все без остатка, разумнее растянуть на три или четыре дня.

Мне и дела не было (трехлетнему) до того обстоятельства, что у мамы в последнее посещение аптекаря замечался какой-то очень большой живот, но после этого последнего посещения, довольно вскоре, меня отправили погостить к нашему нижнему соседу — господину Пьяцца.[324] Господин Пьяцца жил в огромном зале, похожем более

всего на джунгли и населенном животными: попугаями, лисами, котами, соколами. Мне объяснили, что он берет всех этих животных, но только когда они все равно умрут, и не хоронит их, а делает чучела. И вот меня посадили сидеть у господина Пьяцца, и он стал меня занимать, рассказывая, как какое животное зовут и какие у него повадки, и я провел не могу сказать сколько бесконечных часов в этом очаровательном некрополе, где смерть казалась изящной, египетской, и у нее был запах, который только в этом месте я и повстречал: запах, наверное, реактивов вперемешку с запахами пропылившегося пера и выдубленных шкур. Самый интересный в моей жизни.

Когда за мной пришли, забрали и повели домой, я обнаружил, что за время путешествия в царство мертвых у меня родилась сестричка. Ее принесла в дом повивальная бабка, обнаружившая девочку в капусте. От девочки видно только, в кипени буйных кружев, нечто круглое — это лилового цвета налитой кровью шар с черным отверстием посередине, из которого несется рваный рев. Нет, у нее ничего не болит, объясняют мне, просто все сестрички, когда родятся, так вот кричат, чтобы оповестить, что они довольны, ведь у них теперь есть мама и папа и маленький братик.

Я разбудоражен, мне приходит в голову, что нужно срочно покормить ее сливочными драже Озимо, но мне отвечают, что у новорожденной девочки нет еще зубов и что она способна только сосать молоко из маминой груди. А между чем славно было бы прицелиться этими драже в ее черный рот и проверить, попаду я или нет. За попадание я мог бы выиграть золотую рыбку? Кто знает?

Подбегаю к шкафчику с игрушками, беру жестяную жабу. Даже если она только родилась, не может же она не обрадоваться при виде квакающей лягушки. Оказывается, может. Понятно. Закладываю жабу обратно и ухожу, не зная, что думать. Зачем нужна эта новая сестра? Гораздо приятнее было со старыми чучелами господина Пьяцца.

Жестяная жаба и Анджело-Медведь. Они пришли мне на память так вот в паре, потому что Анджело-Медведь тоже ассоциируется с сестрой, но с уже повзрослевшей, играющей со мной во все игры и охочей до сливочного драже.

«Оставь его, отпусти, Нуччьо, мишке очень больно». Сколько раз я упрашивал двоюродного Нуччьо прекратить издевательства. Но тот, как

старший по возрасту и как учащийся иезуитского интерната, где они ходили по струночке в пелериночках, когда вырывался оттуда, тиранил нас нестерпимо. В конце великого игрушечного побоища он обязательно захватывал в плен Мишку Анджело, привязывал его к кровати и подвергал безжалостной порке.

Мишка Анджело, с которых пор он у меня жил? Появление Мишки теряется в той дали, где, по терминологии Гратароло, мы еще не умели координировать личностные воспоминания. Анджело, плюшевый друг, желтенький, с подвижными руками и ногами, умел сидеть, ходить и воздевать руки к небесам. Он был большой, серьезный, глаза у него были карие и живые. Мы с Адой назначили его председателем всех игрушек, солдатиков, и кукол, и всего, что у нас было.

К старости он истаскался, но приобрел больше достоинства. В нем завелась такая прихрамывающая авторитетность, и со временем он выглядел все величественнее, подобно ветерану многочисленных битв, потерявшему в бурных сражениях ногу или глаз.

На перевернутой табуретке, превращенной в корабль, на этом пиратском судне или жюльверновском плоту с квадратными носом и кормой, Анджело наш Мишка садился у руля, а перед ним выстраивались на палубе солдаты Потешной роты под командованием Капитана Картошки, за счет крупного размера выглядевшие импозантнее, чем их серьезные товарищи — бойцы, выделанные из хрупкого гипса, изувеченные даже похуже Анджело-Мишки, вплоть до ампутации голов и рук. Из их линялых туловищ выпирали каркасные проволочки, и все они походили на Долговязого Джона Сильвера. Корабль отчаливал от Кроватного мыса, переплывал Комнатное море и выходил в Коридорный океан, курсом на архипелаг Дальней Кухни. Мишка Анджело высился над лилипутскими матросами, разница в размерах не вредила игре, а наоборот, выделяла Мишкино гулливерское величие.

Со временем от преданной службы, включавшей в себя изнурительную акробатику, и от пыток нашего кузена Нуччьо Анджело-Мишка лишился последнего глаза, затем — последней руки, затем — обеих ног.[325] По мере нашего взросления из обрубка Мишкиного тела вылезали бессчетные клочья соломы. Наши родители укреплялись во мнении, что ободранный плюшевый торс становится прибежищем насекомых, скажем даже, бактерий и бацилл, и развернули дипломатию

за удаление Мишки из дому, грозясь выкинуть его в мусорный бак, пока мы в школе на уроках.

Мне и сестре было жаль бедного Анджело, некогда относившегося к семейству стопоходящих, а ныне — к семейству ободранных, нежизнеспособных и распадающихся на куски существ. Мы согласились, что Анджело-Мишке надлежит умереть. То есть нет, мы признали другое — что он де-факто уже умер и соответственно следует организовать ему пристойное погребение.

Рано утром, когда папа разжег огонь в топке — от которой питались теплом все батареи у нас в доме, — Мишка отправился в медленный, суровый последний путь. Прощание с телом проходило торжественно. У топки был выстроен весь наличный боесостав под командой Капитана Картошки. Бойцы отдавали павшему салют. Я прошел маршем и пронес перед собой на подушке безжизненное тело. Следом за мной выступали остальные члены семьи, включая приходящую домработницу, все как один охваченные глубокой почтительной скорбью.

Обряд был кончен. Анджело-Мишка был ввергнут собственной моей рукой в пылающий зев Ваала. И поелику Анджело был не чем иным, как простым мешочком соломы, он сгорел в единый момент.

Провозвестие новых бед. Через несколько месяцев нам пришлось распрощаться и с топкой. Она была запроектирована либо под антрацит, либо, когда антрацита не стало, под единственный возможный заменитель антрацита — коксовопылевой гранулят. Но война не прекращалась, и о коксовопылевом грануляте скоро тоже пришлось забыть, так что топку стало нечем заполнять. Батареи в доме остыли, единственным источником тепла оставалась старая кухонная печь, примерно такая же, как та, которая до сих пор стоит на кухне в Соларе. Эта печь принимала что угодно — дрова, бумагу, картон и прессованный виноградный жмых, расфасованный в брикеты, которые теплились хотя слабо, но долго, и через щелки распространялось приятное мерцание огня.

Примечание к рисунку[326]

Кончина Мишки Анджело меня не опечалила и не привела в ностальгический транс. Возможно, горестные мысли и посещали меня в юные годы, когда я — шестнадцатилетний — переосмысливал свое недавнее прошлое. Теперь же — никакого горя. Ведь я живу не в текучем времени. Я блаженствую в застывшем настоящем. Анджело-Мишка со мной, я его вижу, вижу день его похорон, но вижу и дни его величия, я умею перетекать от одного воспоминания к другому и каждое переживаю как *hic et nunc*.[327]

Если это и есть вечность, она прекрасна, зачем я должен был прождать шестьдесят лет, прежде чем заслужить ее?

Ну, теперь мне точно покажут лицо Лилы. Это мне причитается. Однако воспоминания будто приходят сами по себе, по очереди, как хотят. Значит, нужно ждать. Что поделать, других ведь занятий все равно не предвидится.

Я сижу в коридоре около «Телефункена». В эфире комедия. Папа слушает с начала до конца, я у него на коленях, сосу палец. Я ничего не понимаю в происходящем, в семейных драмах, супружеских изменах, провинностях и прощениях, от этих далеких голосов меня клонит в сон. Я перехожу на кровать, напоследок напоминая, чтоб не захлопывали

дверь спальни, чтобы свет из коридора шел ко мне. Уже в самом нежном возрасте я исполнен скептицизма и подозреваю, что подарки на праздник Волхвоцарей приносят не Волхвоцари и не летающая на метле Епифания, а родители. Сестру Аду мне в этом убедить не удалось, и в общем не обязательно лишать малявку иллюзий, но сам я в ночь с пятого на шестое января отчаянно пытаюсь не уснуть и подсмотреть, чем будут там заниматься взрослые. Слышу шорохи. Они расставляют под елкой подарки. Утром следующего дня я разыгрываю изумление и восторг, потому что я лицемер, как все дети, и подыгрываю взрослым из корыстных соображений.

О, мне многое известно. Я дошел своим умом, что дети получаются из мам. Но я не выдаю себя. Мама болтает с подругами на женские темы (такая-то в положении… ммм… в интересном… у другой киста… ммм… яичника). Собеседница на это — шш! тут ребенок ходит рядом! — мама говорит, не обращайте внимания, он еще не дорос такое понимать. Я подслушиваю под дверью и постигаю тайны жизни.

За округлой дверкой маминого комода прячется книга Джованни Моска *«Non è ver che sia la morte»* («Смерти не существует»), это изящное и ироничное воспевание кладбищ: сладко лежать под уютным покровом земли. Я очаровывался гостеприимными страницами, это была моя первая встреча со смертью — еще до зеленых и толстых, как столбы, травинок Валенте. Но как-то утром в пятой главе я наткнулся на следующий сюжет. Мария в минуту слабости побывала в объятиях могильщика. Прошло время, и она почувствовала во чреве какой-то трепет. До тех пор автор держал себя в высшей степени целомудренно. Он лишь намеками давал понять, что там несчастная любовь и что, вероятно, родится на свет дитя. Теперь же он внезапно пустился в натуралистические описания, пронзив мне душу: «В это утро живот ее наполнился шорохами и порханием, будто клетка, полная воробьев… Это ее дитя зашевелилось».

Впервые в жизни я читал столь нестерпимо реалистичное описание беременности. Меня не удивило описываемое положение вещей. Оно лишь подтвердило мои интуитивные догадки. Но я перепугался при мысли, что кто-нибудь меня застукает за чтением этого непозволительного текста, что кто-нибудь поймет: я все понял. Я оказался грешником, нарушил вето. Укладываю снова книгу в комод, заботливо уничтожаю следы вторжения. Я познал тайну и в то же время

ощутил: познание этой тайны — грех.

Это происходило значительно ранее того дня, когда я напечатлел поцелуй на лик дивной девы на обложке журнала «Новелла». История с книгой и комодом возвела меня к тайне рождения, но не к тайне пола. Я был как те туземцы, которые не понимали прямой связи между половым актом и беременностью (девять месяцев — это век, говорит Паола), я тоже долго метался мыслями, прежде чем увязать секс, занятие взрослых, — с появлением детей.

Моих родителей не сильно интересовало, что я переживаю бурные чувства. Вероятно, в их собственном поколении эти чувства приходили попозднее, или, может быть, они попросту забыли некоторые нюансы собственного взросления. Идут родители по улице, ведут за руки меня и Аду, навстречу знакомый, папа ему сообщает, что мы идем на «Золотой город»,[328] встречный многозначительно улыбается, подмигивает на детей и шепчет папе в ухо, что это фильм «щекотливый». На что папа беззаботно: «Ну, придется крепко держать нашего мальца за курточку». И меня, с клокотаньем в груди, ведут лицезреть любовные страсти Кристины Сёдербаум.

В коридоре на втором этаже в Соларе, когда мне встретилось название «Расы и народности земного шара», я мгновенно сопряг это название с мохнатой *vulva*. Лишь теперь мне понятно, какая там была связь. Вижу сцену: мы с друзьями, приблизительно в пятом классе, снимаем с полки в кабинете чьего-то папы какой-то том из многотомника «Расы и народности земного шара» Биазутти. Быстро перелитывая, доходим до разворота с фотографией калмыцких женщин. Они засняты без одежд *(à poil),*[329] и можно разглядеть половой орган, вернее — покрывающую этот орган шерсть. Калмычки — явно женщины, торгующие сами по себе.

Я опять-таки в тумане, который, *как ладан снулый,* стекает по фасадам домов, обмазывает собой тьму, затемнение, комендантский час, город прячется в туман от голубоглазых вражеских бомбардировщиков, прячется и от меня, вперивающегося в туман с земли. Я бреду в тумане будто на картинке букваря, за руку с папой, у него — тот же самый головной убор «Борсалино», что у силуэта на картинке, но пальто не такое элегантное, пальто у папы поношенное и плечи обвисающие, реглан. У меня еще хуже пальтецо: петли на правой полочке, по

которым видно, что его перелицевали из отцовского. В руке у папы не прогулочная трость, а электрический фонарь. Фонарь работает не от батарейки, а от механического движения, по принципу велосипедной фары. То есть надо постоянно жать ладонью рукоятку. Фонарь легонько жужжит и освещает тротуар ровно настолько, чтобы можно было разглядеть ступенечку, угол, поворот, перекресток. Ладонь перестает сжиматься и разжиматься. Свет исчезает. Еще десяток шагов — по инерции, по памяти об увиденном освещенном участке. Полет вслепую. Снова впышка света, такая же недолгая, преходящая. В тумане попадаются другие тени, порою пробормативаются приветствия, извинения, мне кажется правильным, что все слова — шепот, хотя, если задуматься, бомбардировщики смогли бы заметить, допустим, свет, но никак не смогли бы слышать наши слова. В этом тумане мы имели бы право орать вообще во всю глотку. Но никто не орет, все шелестят: тише воды, ниже травы, защити, о туман, сделай невидимыми, оборони наши улицы и наши жилища.

Есть ли смысл в этом полном затемнении? Может, чисто психологический? Когда они действительно собрались бомбить наш город — прилетели при свете дня… Вой сирены разрывает ночь. Мама, плача, будит нас обоих (плачет она не из-за бомбежки, не от страха, а потому, что ей жалко нашего прерванного сна), надевает нам пальтишки прямо на пижамы, и мы спускаемся в убежище. Не в то, которое под нашим домом, — у нас простой погреб с укрепленными балками и наполненными песком мешками, — а в убежище, которое под домом напротив, тот дом построен недавно, в тридцать девятом, в предвидении военного конфликта. Мы не можем попасть туда через двор, между нашим двором и соседним — каменная стена, и приходится бежать по улице, надеясь, что сирены начали гудеть сильно загодя, когда бомбардировщики были еще на далеком подходе.

Под домом напротив бомбоубежище превосходное, там бетонные стены, на которых видны вертикальные выпоты воды, лампы тусклые, но дают тепло. Взрослые сидят на специальных скамейках и беседуют. Дети, и мы тоже, играют в центре зала.

Глухо бахают зенитки. Все уверены, что, даже если бомба попадет в этот дом, бомбоубежище выдержит. Это не соответствовало истине, но с верой было легче терпеть. Деловито проходит ответственный по

зданию. Им является не кто иной, как мой же школьный учитель, господин Мональди, раздосадованный тем, что не успел обрядиться в свой красивый мундир центуриона милиции, с нашивками «боевая фашистская эскадрилья». В те времена участник легендарного «похода на Рим» воспринимался как соратник Наполеона. Лишь после капитуляции Италии (восьмого сентября сорок третьего года) дед высказался по поводу этого «похода», что никакой это был не поход, а орава курокрадов, безоружных, разве что с парой дубинок, и захоти Его Величество, их бы раскидали двумя взводами пехоты на полдороге, но Его Величество сам был чемпион по драпанью, а предательство было у него в крови.

В общем, мой учитель Мональди погуливал среди рядов, успокаивал людей, особенно уделял внимание беременным женщинам, разъяснял, что имеются отдельные преходящие неудобства и мы обязаны их терпеть во имя неминуемой победы. Гудок отбоя. Семьи шумно выкатываются на улицу. Один из посетителей, дотоле никому не известный и зашедший в наш подвал потому, что тревога застала его на улице, чиркает спичкой. Учитель Мональди хватает его за руку и саркастически спрашивает — на войне мы сейчас или где и почему тот не выполняет комендантские распоряжения.

— Если там даже и летает до сих пор бомбардировщик, спичку с него не разглядеть, — отвечает тот и невозмутимо закуривает.

— Так вам и известно!

— Так мне и известно. Я капитан ВВС, летаю на бомбардировщике. А вы бомбили Мальту, могу спросить?

Вот он — герой. Устыженный учитель Мональди, лопаясь от злобы, ретируется под язвительные реплики. Уж как надувался, а вышел полный пшик. Да за ним, знаете ли, синьора, это и раньше примечали. Таким, как он, только бы покомандовать.

Школьный учитель Мональди. Сочинения о героизме. Я сижу вечером, надо мной — папа с мамой, совещаемся. Завтра будет решаться вопрос о моем участии в олимпиаде по литературе — я должен писать сочинение.

— Какая бы ни оказалась тема, — говорит мама, — будешь писать про дуче и про войну. Заготовь хорошие фразы, поэффектнее. Например, верные и неподкупные ревнители Италии и ее государственности, такая фраза всегда хороша, при любой теме.

— А если будет битва за урожай?

— Ну и туда эту фразу можно вставить, надо только придумать как.

— Помни, что наши воины обагряют своею кровью огненные пески Мармарики,[330] — всовывается папа. — И не забудь про нашу государственность нового типа. И про священный долг. Это всегда к месту и производит хорошее впечатление. Даже в случае битвы за урожай.

Они хотят помочь сыну заработать баллы и попасть на олимпиаду. Что тут дурного. Готовишься к геометрии — учи постулат о параллельных прямых, готовишься выглядеть примерным балиллой — учи наизусть все, что должен думать примерный балилла. И неважно, справедливы ли эти фразы. Мои родители ведать не ведали о том, но даже и пятый постулат Эвклида тоже справедлив лишь для плоскостей настолько плоских, что в реальной жизни их не бывает. Наша диктатура как раз являлась подобной плоской плоскостью. Наши мысли соответственно должны были повторять ее форму. Упаси нас господь от закрученных водоворотов, от пересекающихся параллельных или от их безнадежного разбегания.

Рапидом наплывает еще одна сцена. Она происходила, видимо, за несколько лет до первой. Я спрашиваю:

— Что такое революция, мам?

— Революция — это когда рабочие начнут командовать и отрубят головы всем служащим, таким, как наш папа.

Однако сразу после сочинения, дня через два, случился эпизод с Бруно. У Бруно были кошачьи глаза, острые зубы, серая шевелюра с беловатыми проплешинами. Казалось, у него очаговое облысение или парша. На самом деле это были струпья. У неимущих детей было множество струпьев на голове — антисанитария, авитаминоз. Мы с Де Кароли являли собой богатое сословие класса. Так было принято считать. И действительно, наши семьи принадлежали к тому же слою общества, что и учитель. Я — потому что отец мой был служащим и ходил на работу в галстуке, а мама носила шляпку (то есть была не «женщиной», а «дамой»). Де Кароли — потому что у его отца была небольшая лавка сукон. Все остальные принадлежали к низшему социальному слою, изъяснялись, по примеру своих родителей, на диалекте и, следовательно, допускали ошибки в орфографии и

грамматике. Самым низшим из всех низших был Бруно. Он ходил в черной изодранной форме, без подворотничка, а если чудом подворотничок и появлялся, он был отнюдь не белый, а запачканный и дырявый, и, конечно, к форме Бруно никто не думал пришивать под подбородком синий бант, какие были у порядочных детей. При его постоянных струпьях и чтобы не вшивел, Бруно всегда брили наголо — единственное известное в этой семье средство, и его белые шрамы смотрелись как дополнительные знаки неполноценности. Наш учитель был в общем человек незлой, но, как бывший активист, полагал нужым воспитывать нас в боевитом мужском духе с применением здоровых затрещин. Разумеется, это не касалось меня и Де Кароли. Еще чего. Он понимал, что мы немедленно пожалуемся родителям. А наши родители были ему ровня. Учитель жил по соседству со мной — в том же квартале. Он сам предложил забирать меня домой из школы вместе с собственным сыном. А все оттого, что моя мама была двоюродной сестрой невестки завуча, вот учитель на всякий случай и доводил меня каждый день до дому.

Что же касалось мальчика Бруно, ему-то на оплеухи учитель не скупился, поскольку Бруно был достаточно шустр (а значит, имел по поведению неуд) и носил донельзя засаленную форму. Бруно постоянно ставили в угол. Позорили как могли.

И вот случилось, что Бруно не приходил в школу несколько дней, а после этого появился, и учитель уже засучивал рукава, как вдруг Бруно заревел и поведал, рыдая, что у него умер отец. Учитель расчувствовался, потому что и у бывших боевиков есть же сердце. Классово-сознательное соучастие он, естественно, отождествлял с оказанием материальной помощи. Так что он обратился через нас к нашим семьям за пожертвованиями. У наших родителей сердце тоже было, и на следующий день мы притащили в школу кто деньги, кто поношенную одежду, кто батон хлеба или банку варенья. Бруно поимел свою порцию солидарности.

Однако в тот же день, во время строевых занятий на школьной площадке, он вдруг пошел на четвереньках, и весь наш класс моментально подумал, что вот как плохо поступать этаким образом, когда у тебя только-только умер отец. Учитель заорал, что у этого Бруно нет даже самого элементарного чувства благодарности. Он только два дня сирота, и его только что облагодетельствовали

товарищи, и вот он опять со своими преступными наклонностями: понятное дело, ребенок из такой семьи вообще не исправится.

Свидетель этого драматического эпизода, я усомнился. Должен признать, что усомнился я и после своего памятного сочинения, проснувшись за заре и томительно решая: любил ли я на самом деле дуче или же был лицемерным мальчиком, который только прикидывался любящим? Мальчишка Бруно на четвереньках мне вдруг представился воплощением достоинства, а четвереньки — ответом на унижение, которым было для Бруно наше потное и добродетельное великодушие.

Мои мысли и насчет достоинства, и насчет ответа на унижение подтвердились через несколько дней во время фашистского собрания. Собрания обычно проводили по субботам и полагалось приходить в фашистской форме. Наш отряд выстроился во дворе, все в наглаженных парадных формах, у Бруно была парадная форма измочаленная, в точности как и его повседневная, и с криво повязанным голубым галстуком. Нашу ячейку приводили к присяге. Центурион вывел высоким голосом:

— Мы, юные фашисты, во имя бога и Италии, торжественно обещаем исполнять все приказы дуче и отдать все без остатка силы и, если понадобится, всю без остатка кровь делу великой фашистской революции. Обещаете?

И весь строй единым духом выкрикнул: «Обещаю!» Все мы выкрикнули, за исключением Бруно, стоявшего рядом со мной, он прокричал — и я это разобрал явственно: «За вещами!» Это был бунт, Бруно бунтовал, в первый раз в жизни я присутствовал при проявлении бунтарства.

Сам ли он додумался бунтовать или вследствие того, что отец был пьяницей, социалистом, как отец одного из *юных итальянцев, единых во всем мире?* Только теперь я понимаю, что Бруно первый показал мне своим примером, как следовало реагировать на окружавшую нас душную риторику.

Переход от геройских чувств, описанных мной в десять лет, к стакану, описанному в одиннадцать, состоялся через эпизод с Бруно. Я, чуть-чуть скептик, от него — анархиста-революционера — получил в подарок неразбиваемый стакан.

Разумеется, сегодня, в тишине своей комы, я яснее понимаю ход вещей. Это ясность того порядка, который у других людей наступает перед чертой. Мартин Иден узнал все — но как только узнал, он тогда же перестал знать. А ведь я-то еще не перед чертой. Мое положение выигрышнее. Понимаю, знаю и даже помню (наконец-то) то, что знаю. Поразительно, насколько мне везет.

Глава 16
Над полями ветер завывает

Хотел бы я вспомнить Лилу… Какой была Лила? Из полусна, из копоти выпрастываются другие лица, но не она…

Должен же полноценный человек все-таки иметь право сказать: дай-ка вспомню, как я ездил в отпуск в прошлом году! И если след в памяти сохранен — все вспоминается. Лично я подобную вещь выполнить не могу. В моей памяти отдельно содрогается каждое кольцо, перетекают кольчатые члены, как у глиста, но память моя не имеет даже, в противоположность глисту, головы, так что она перетекает одновременно во все стороны, и любая точка может соответствовать начальной или конечной точке бытия. Я должен ждать, пока воспоминания сами собой притекут, следуя собственной логике. Это путь в тумане. На свету солнца есть возможность видеть вещи издалека, есть возможность менять направление, двигаться чему-нибудь навстречу. А в тумане что-то или кто-то надвигается на тебя, ты понятия ни о чем не имеешь, покуда не оказываешься от этого на расстоянии одного или двух шагов или не наскакиваешь вразмах.

Может, это и нормально. Память сразу всего объять не в силах. Воспоминания нанизываются на шампуры. Приблизительно по шесть. Что пишут психологи? Паола говорила о семи гномах. Что никто не в состоянии запомнить всех семерых. Значит, Соня, Ворчун, Молчун, Простак, Док, Весельчак… Седьмого семигнома не помню. А семь царей Рима? Ромул, Нума Помпилий, Туллий Остилий, Сервий Туллий, Тарквиний Приск, Тарквиний Гордый… Кто же седьмой семицарь? Вспомнил, Чихун.

Самое начальное воспоминание — игрушечный барабанщик в белом мундире и в кепи, заводной, заведешь — отбивает «ту-ру-рум». Это действительно первое? Или его поставили на место моего первого опыта постоянно припоминавшие барабанщика родители? Может, еще первее тот день, когда, карабкаясь по лестнице, наш батрак Квирин снял мне со смоковницы лучшую смокву — я не умел еще выговаривать «смоква» и сказал «квоква».

Самое конечное воспоминание: в Соларе с *in-folio* в руках.

Обратили ли Паола с девочками внимание на то, какую книгу я крепко прижимал к груди, заснув так внезапно?

Надо же поскорее перепасовать эту книгу Сибилле! И это срочно! Ведь если я зависну в подобном состоянии на много лет, им не выдержать расходов, придется продавать и мою антикварную фирму, и Солару, и все равно может не хватить, а этого *in-folio* достаточно, чтоб оплатить мое пребывание в больнице хоть тысячу лет, хоть с десятком сиделок, они смогут навещать меня не чаще чем разок в месяц, а в остальное время вести себе нормальную жизнь.

Еще одна фигура, с подхихикиванием и непристойно распялив пальцы, налетает на меня, я пропарываю ее насквозь, она растворяется в дыму.

Наступает очередь барабанщика в кепи. Я запрыгиваю к деду на колени. Чую трубочный табак — я прилег к дедовому жилету щекой. Почему в Соларе я не обнаружил дедушкиной трубки? Выбросили растрепроклятые дядя с теткой? Как ненужность? Зачаженная, просаженная… Долой и эту трубку, и перья, и носовые платки, и карандаши, и, не знаю уж, очки, рваные носки и последнюю пачку табаку, в которой еще половина содержимого цела?

Примечание к рисунку[331]

Прореживается туман. Если я отчетливо помню Бруно на четвереньках, почему отсутствуют в памяти такие события, как рождение Карлы, день защиты диплома, первая встреча с Паолой? Прежде я не помнил совершенно ничего, а теперь у меня в голове прояснилось все, что связано с моим отрочеством-детством. Но я продолжаю не помнить, как зашла Сибилла в первый раз в жизни в мое бюро, чтобы спросить — нет ли работы, и как я кончил сочинять последнее стихотворение. Я не могу вспомнить лица Лилы Саба. Вспомнить бы его! Ценою целого этого сна. Не помню облика Лилы, который я искал везде, все годы моей взрослой жизни. Потому что я не смог вспомнить ни взрослую жизнь, ни те определенные моменты детской жизни, которые, переходя во взрослую жизнь, я принял решение забыть.

Я должен ждать. Быть готовым к длительнейшему проходу по тропинкам моих первых шестнадцати. Наверно, если бы я пережил каждый случай, каждый миг, каждое событие, если бы я просуществовал вот в этом состоянии еще шестнадцать лет… дотянул бы вот так лежа до семидесяти шести… После этого… После этого не знаю, но неужели все эти шестнадцать лет Паола должна сидеть и думать — отключать ей аппарат? не отключать аппарат?

Но точно ли не существует телепатии? Вот если я всей своей силой сосредоточусь на Паоле и начну посылать ей сигналы! Всей силой свежего, просторного подросткового ума! *Сандро, Сандро, это Серый Орел с бутылки Ферне Бранка, это Серый Орел, как меня слышите. Прием…* Серый орел должен отстукать в ответ: *Сандро, я Серый Орел, слышу тебя хорошо.*

В городе скучно. Вчетвером, и все в коротких штанах, мы играем на улице перед домом, где раз в час-другой проезжает автомобиль, автомобили не очень быстро тут ездят. Странно все же, как это нас пускали играть на проезжую часть… И во что мы играли? В шарики. Нищая игра, игра для всех — в том числе и для тех, у кого не было своих игрушек. Шарики были или керамические, коричневые, или стеклянные с разноцветными разводами, были еще молочно-белые, с красными прожилками в середине. Первая игра и шарики — «приямочки», надо попасть с середины проезжей части в зазор между булыжниками на тротуаре, послав шар точным щелчком указательного пальца, шаркая им по большому (однако самый высший шик — тычок

большого поверх указательного). Кое-кто попадает с лету. Другие подгоняют шарик в несколько приемов. Есть еще игра — «Не тронь ладонь»: надо послать второй шарик как можно ближе к первому, но при этом не ближе чем на расстояние одной ладони (мерить полагалось сложенными четырьмя пальцами).

Восхищение вызывали те, кто умел запускать волчок. Не юлу богатых детей из полосатого раскрашенного металла, где нажимают пупочку сверху, она, вдавливаясь в юлу, заводит пружину, с тем чтобы потом юла, крутясь, создавала пеструю расплывающуюся зыбь, — а деревянный волчок, круглобокий, конический, такую пузатую грушу, оканчивающуюся шпилем и опоясанную спиральным нарезом. Грушу надо было обвить бечевкой, заложить шпагат в бороздку, после чего молодецки дернуть за свободный конец, размотать бечевку — и волчок завивался! Запускать его надо было уметь, у меня ничего не выходило, я был развращен дорогостоящей юлой, и окружающие поднимали меня на смех.

Однажды нам не удается расположиться со своими шариками, так как на брусчатке незнакомые господа, в пиджаках и в галстуках, выпалывают тяпками выросшие между булыжниками кустики травы. В их работе не чувствуется задора, движения медленны, вдруг один из них заговаривает с нами, спрашивает что-то про игру в шарики. Он говорит, что, когда он сам был маленьким, их игра была в «кружки», рисовали мелом на брусчатке кружочки, или, если не было мела — прутиком на земле, в просветах между булыжниками, в эти круги клали шарики, а потом одним самым крупным шаром нужно было вышибать все мелкие за пределы круга, и выигрывал тот, кому удавалось вышибить больше шариков. «Передай привет родителям, — говорит он после этого, — от господина Ладзаро. Ладзаро, шляпная мастерская».

Я передал привет.

— Евреи, — говорит мама, — евреев послали на принудительные работы.

Папа возводит глаза к небу и говорит:

— Ну-ну.

Позднее я иду в киоск, где продает свои книжки дедушка. Я спрашиваю деда, отчего евреев послали на принудительные работы. Он отвечает, что если я их опять увижу, чтоб обращался с ними очень почтительно, что они достойны всякого уважения. Однако в этот день, я

уверен, дед мне ничего не объяснил. Я был слишком мал тогда. «Ты молчи и не рассказывай об этом, в особенности учителю».

Дед явно откладывал серьезный разговор на потом. *S'as gira.* «Когда повернется».

Тогда я задался совершенно иным вопросом — как это евреи могут производить шляпы. Шляпы на плакатах и рекламах до того аристократичны, до того элегантны!

Примечание к рисунку[332]

Я тогда слишком мало знал, чтобы сокрушаться из-за евреек. Сильно позже, уже в Соларе, дед показал мне газеты 1938 года с постановлениями о чистоте расы. Но в тридцать восьмом году мне было шесть лет, в шестилетнем возрасте я газет не читал.

Потом как-то раз ни господин Ладзаро, ни другие на прополку сорняков почему-то вдруг не вышли. Тогда я подумал, что им позволили разойтись по домам после совсем небольшого наказания. После войны, однакоже, я слышал, как кто-то сообщил моей матери, что господин Ладзаро погиб в Германии. После войны я вообще получил возможность узнать множество всего. Не только откуда берутся дети (и как они туда попадают на девять месяцев ранее). Но даже и — куда

деваются евреи и как они умирают.

Жизнь моя переменилась после нашего переезда в Солару. В городе я был себе невеселый ребенок, игравший в день по часику, по два с одноклассниками. Все остальное время я разлеживался с книжкой или гонял на велосипеде. Хорошими часами были часы, проводимые в дедовом киоске. Дед точил лясы с клиентами, а я возился и рылся, то и дело дивуясь необыкновенным находкам. Тем усугублялись мои одинокие бдения. Я жил только своими фантазиями.

В Соларе, откуда я самостоятельно ходил в школу по будням и где в остальное время шнырял по полям и по виноградникам, я был свободен. Необследованная территория открывалась широко передо мной. У меня там завелось много друзей. С этими друзьями я проводил все свободное время. Главным нашим занятием было — строить блиндажи.

Снова вижу нашу жизнь при молельне, вижу будто это фильм. Не колыхания кольчатого червя, а художественный монтаж…

Блиндажи не должны были походить на дома (ни крыш, ни стен, ни дверей, ни окон не требовалось). Для строительства блиндажа могли сойти любые ямы, щели, крутомоины, над которыми можно было бы накидать настил из веток и листьев, оставив неширокий лаз, — и простреливать всю долину или по крайней мере какую-нибудь площадку.

Оттуда высовывались наши ружья — то есть палки, — и мы палили очередями. Как в Джарабубе. Из подобного блиндажа нас можно было выморить только блокадой.

Начали мы посещать двор молельни, потому что в дальнем конце за футбольным полем, в складке почвы, за каменной стеной мы нашли для блиндажа чудное место. Оттуда можно было отстреливать всех двадцать двух игроков воскресного матча. Во дворе молельни жизнь протекала достаточно свободно, загоняли нас в церковь только в шесть часов на мессу плюс урок катехизиса и благословение, в остальные часы каждый делал что хотел. Там стояла недоразвитая карусель, несколько качелей и подмостки, на которых имело место мое первое публичное выступление в пьесе «Маленький парижанин». Там я приобрел тот первый актерский навык, который через некоторое время предоставил мне возможность отличиться в присутствии Лилы.

Приходили и старшие мальчики, приходили и юноши, играли в настольный теннис и играли в карты, естественно, не на деньги. Добрейший священник Коньяссо, распорядитель молельни, не принуждал нас к богобоязненности, ему только в общем и было-то надо, чтобы мы оставались под присмотром, а не мотались на велосипедах в город по дороге, которую вечно бомбили, и не околачивались потом возле «Каза Росса», самого популярного в нашей провинции борделя.

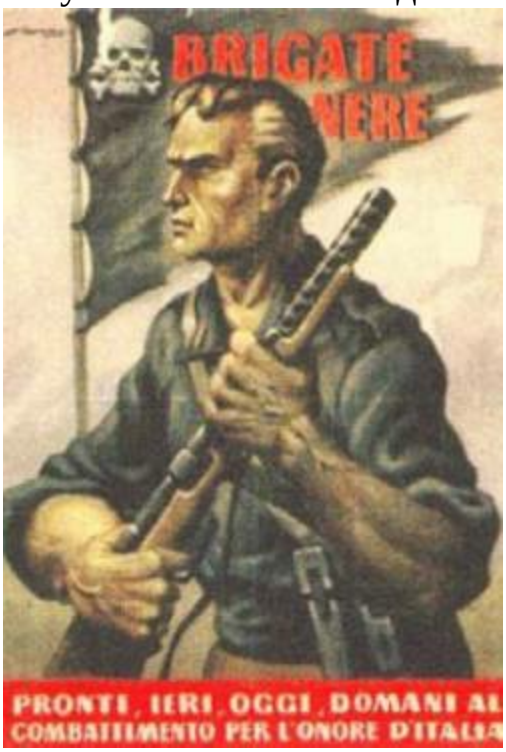
После восьмого сентября, капитуляции Италии, именно в молельне я впервые услышал о партизанах. Имелись в виду парни, которые укрывались от очередного призыва, объявленного Социальной республикой, или от немецких облав, — молодых ведь отлавливали на работы в Германии. Сначала их называли повстанцами. Их звали повстанцами и официальных коммюнике. И лишь через несколько месяцев, когда мы узнали, что десять из них были схвачены и расстреляны, — а один из расстрелянных был из Солары, — и когда по Би-би-си начали передавать для них специальные шифрованные сообщения, мы приучились именовать их партизанами, или, как они предпочитали, патриотами. В деревнях все за них переживали, мальчишки были из местных семей. Когда они показывались, то, невзирая на выдуманные ими прозвища — Дикобраз, Стрела, Синяя Борода, Ферруччо, — окликали их по тем именам, под которыми их давно знали. Среди них было много тех парней, с которыми мы не раз встречались во дворе молельни, куда они приходили играть в подкидного в обтерханных пиджачишках. Теперь у них завелись командирские картузы, патронташи, пулеметы, пояса с подвешенными лимонками, а некоторые щеголяли пистолетами в кобурах. Одетые в красные рубахи, в форменные английские кители, а кое-кто в гвардейские брюки и в гетры, они были неотразимы.

Начиная с сорок четвертого они заявлялись и к нам в Солару, как только Черные бригады убывали в другие городишки. Иногда приходили бадольянцы в голубых шейных платках, о них говорили — «сторонники короля», они, атакуя, кричали «Савойя!». А то появлялись гарибальдийцы[333] в красных платках, распевавшие песни против короля и Бадольо: «Над полями ветер завывает, поплыли над лугом облака, в сапогах разбитых выступаем за свою свободу воевать…»[334] Бадольянцы были вооружены гораздо лучше, было известно, что англичане посылают материальную помощь бадольянцам, а не кому

попало, а всяким прочим не помогают, потому что прочие — коммунисты. У гарибальдийцев имелись автоматы, в точности как и у чернобригадовцев, они их у тех и отбирали при стычках или при налетах на оружейные склады. У бадольянцев же на вооружении были английские «стены» последней модификации.

«Стен» был легче автомата, с пустым прикладом, типа полого проволочного контура, магазин крепился не внизу, а сбоку у ствола. Один партизан мне как-то раз разрешил выстрелить. Вообще они стреляли в основном для тренировки и чтобы покрасоваться перед девушками.

Как-то зашли к нам и фашисты из бригады святого Марка. Они пели: «Сан-Марко! Сан-Марко! — не страшно умирать». Рассказывали, что туда набирали сплошь мальчиков из хороших семей, поддавшихся настроению, и надо отдать им должное — обращаются с населением вежливо и за девушками ухаживают с обхождением.



Примечание к рисунку[335]

Чернобригадовцы, напротив, вербовались или из тюрем, или из колоний для малолеток. Целью их было — запугать всех до потери сознания. Впрочем, времена стояли такие, когда имело смысл беречься любых пришельцев, даже и юношей из «Сан-Марко».

Мама ведет меня с собой на мессу в городок, с нами идет по дороге

дама, живущая на вилле в нескольких километрах от нашего дома, которая проводит всю свою жизнь в ссорах с арендатором, по ее словам — арендатор плутует в отчетах. А поскольку этот арендатор был всем в нашем околотке известен как «красный», дама сделалась фашисткой, по меньшей мере в том самом смысле, в котором «фашисты» означает «противники красных». Мы выходим из церкви, двое офицеров из бригады «Сан-Марко» положили глаз на дамочек: хотя те уже и не первой молодости (думаю, маме около сорока), но имеют вполне товарный вид. Кроме того, армейцам, вестимо, любое дамское общество — просто подарок. Офицеры подходят что-то спросить, ведь они не местные. Дамы отвечают ровно-вежливо (незнакомцы, кстати, недурны собой). Дамы спрашивают, как им служится вдали от родных мест.

— Вернуть этой стране утраченное достоинство, милые госпожи, не так-то просто, немало предателей позорит честь Италии.

На что соседка в ответ:

— Вот-вот, как один тип, о котором мы упоминали как раз только что.

Из двух офицеров один натянуто улыбается:

— Хотелось бы услышать имя и адрес этого господина.

Моя мама бледнеет, краснеет и довольно естественным тоном перебивает приятельницу:

— Да знаете ли, лейтенант, это мы толковали об одном господине из Асти, который приезжал сюда пару лет назад, его потом, по слухам, взяли и отправили в Германию.

— Поделом ему, — улыбается лейтенант. Раскланиванья, прощания. По пути домой мама сквозь зубы выговаривает болтливой соседке, что такие времена стоят, в которые надо сначала подумать, а потом говорить, ни за что ни про что, гляди, — человека к стенке поставят.

Граньола. Он приходил во двор молельни. О нем шептались, что вроде бы он как-то связан с гарибальдийскими отрядами Сопротивления, и вроде даже он там самый главный начальник, добавлял кое-кто, и что Граньола сильно рискует, живя в деревне, а не в партизанском лесу, потому как ничего не стоит, только захоти, — выловить его и на месте ликвидировать.

Граньола играл со мною в паре в «Маленьком парижанине», после

чего проникся ко мне симпатией. Научил меня играть в «тридцать семь». Со взрослыми, как мне казалось, он чувствовал себя скованно. А со мной болтал целыми часами, употребляя на меня весь невостребованный педагогический талант. В свое время он ведь был учителем. Полагаю, начни он высказывать свои идеи в школе — его бы ославили антихристом… Доверял только мне, мальчику-подростку? Кто знает?

Он показывал мне запрещенные листовки. В руки давать — нет, не давал, потому что, если кого с такой бумагой ловили, — сразу ставили к стенке. От Граньолы я узнал о массовом расстреле в Ардеатинском рву в Риме.

— Для того чтобы это не повторилось, — говорил мне Граньола, — наши товарищи уходят на горы, в леса. Немцам скоро капут!

Он рассказывал, что неведомые мне политические партии, издававшие эти листовки, существовали еще до установления фашизма и сумели уцелеть в подполье, многие эмигрировали за границу, где партийные вожди работали простыми каменщиками на стройках, а если их находили ищейки Муссолини — забивали на улице палками.

Граньола что-то преподавал в промышленном училище, ездил туда каждое утро на велосипеде, возвращался после обеда. Потом ему пришлось оставить преподавание, то ли потому что он целиком посвятил себя партизанской деятельности, то ли, по параллельной версии, его отстранили как туберкулезника. Граньола имел совершенно чахоточный вид, пепельное лицо с болезненно-алыми скулами, запавшие щеки и изнуряющий вечный кашель. У Граньолы были испорченные зубы, он хромал и был почти горбат, то есть спина у него была согнутая, лопатки торчали и воротник пиджака далеко отстоял от шеи. Любая одежда топорщилась на нем как холст. В театре ему предлагали роли злодеев или колченогих стражей заколдованного замка.

L'ITALIA LIBERA
ORGANO DEL PARTITO D'AZIONE
LA LOTTA CONTRO IL NAZISMO UNICA POSSIBILITA' DI RINASCITA
I volontari della libertà
Il posto dell'Italia nella guerra di liberazione

Avanti!
Sulla fossa dei 500 fucilati di Roma la Nazione raccoglie un monito di lotta!
Esecrazione

Примечание к рисунку[336]

Примечание к рисунку[337]

О Граньоле было известно, что это кладезь знания, и не раз его приглашали преподавать в университет, а он — говорили у нас — не соглашался, чтобы не бросать своих учеников.

— Чушь, — объяснил мне впоследствии Граньола. — Ямбо, меня пускали работать только в среднюю школу, да и то внештатником, потому что из-за этой вонючей войны я даже не защитил диплом. В двадцать лет меня отправили перешибать хребет Греции, там мне размозжили ногу, ничего страшного, хромота в общем незаметна, то есть почти, однако в болотах ко мне прицепилась паскудная хвороба, и с тех самых пор я харкаю кровью. Попадись мне в руки это лысое чучело, я его бы не убил, потому что я слабак. Мне слабо людей убивать. Но надавал бы ему таких пинков в задницу, чтоб он помнил всю свою оставшуюся жизнь, подлый ублюдок, обманщик и иуда.

Потом я спросил, что он делает в молельне, если каждому известно, что он полный атеист. Он ответил: это единственное место, где можно поговорить с людьми. И что он не атеист, а анархист. Я в те годы не имел еще понятия, что такое анархист. Граньола объяснил: это люди, стремящиеся к свободе и чтобы не было хозяев, королей, государства и попов. — И в особенности государства чтобы не было, а то вон коммунисты устроили в России такое государство, где начальство

указывает, когда и кому по нужде ходить.

Он рассказал про Гаэтано Бреши, казнившего короля Умберто за расправу с рабочими в Милане. Вообще этот Бреши уехал в Америку и мог бы там жить спокойно, но тянули жребий, и ему выпал этот жребий, и ему купили билет в один конец, и он поехал в Италию и казнил короля. Потом его самого убили в тюрьме, а сказали, будто повесился от угрызений. Но у анархистов не может быть угрызений после поступков, совершенных во имя народа. Граньола рассказывал, что анархисты бывают и очень мирными, и эти мирные анархисты постоянно переезжают из страны в страну, потому что за ними гоняются все полиции на свете, а они знай себе поют: *Addio Lugano bella, Cacciati senza colpa Gli anarchici van via (Ты прощай, Лугано bella, Нас безвинно изгоняют, Анархистам опять далёко, далёко дорога легла.)*

Затем он опять пошел ругать коммунистов за то, что те воевали против анархистов в Каталонии. Я спросил, отчего он, если он против коммунистов, водится с гарибальдийцами. Ведь гарибальдийцы коммунисты? Он отвечал, что, во-первых, не все гарибальдийцы коммунисты, а многие из них социалисты и даже анархисты и, во-вторых, главным врагом в настоящий момент является нацифашизм, поэтому сейчас не время копаться во всяких тонкостях.

— Сначала — соединенными силами победим, а счеты между собой мы сведем позднее.

Еще Граньола добавил, что он приходит в молельню, потому что это хорошее место. Попы вообще — сорное семя, но среди попов, как и среди гарибальдийцев, есть исключения.

— В особенности в наши времена, когда мальчишек бог знает куда может занести, до прошлого года вам всем втемяшивали в головы, что главное в жизни — книга и ружье. В молельне вас хотя бы не бросают на произвол судьбы и вдобавок внушают, что надо быть порядочными, хотя, конечно, немножко слишком сильно пристают с допытываньями об онанизме, но поскольку вы все равно делаете ровно то, что вам хочется, не беда — ну ладно, покаетесь, как положено, на исповеди. Вот я и прихожу помогать дону Коньяссо управляться с оравой мальчишек. А во время мессы пережидаю себе тихонечко в заднем ряду. Тем более что Иисуса Христа я, должен сказать, уважаю, хотя господа бога — абсолютно нет.

Как-то в воскресный день, когда в два часа пополудни в молельне

было пусто, хоть шаром кати, я рассказал Граньоле о своей коллекции марок, а он сказал, что когда-то тоже собирал, но после возвращения с фронта у него совершенно отбилась охота, и он выбросил марки, осталось самое большее двадцать штук, и он очень охотно мне их подарит.

Я пошел к нему домой и получил потрясающие марки, и в частности — две выпущенные на островах Фиджи, которыми я с вожделением любовался в каталоге Ивера и Телье.

— А у тебя есть собственный Ивер и Телье? — переспросил он восхищенно.

— Да, только он старый.

— Так ведь старый — самый лучший…

Марки островов. Вот почему я с таким трепетанием сердца застыл над ними, обнаружив их в Соларе. Получив в дар от Граньолы, я торжественно внес их в дом, дабы разместить на отдельном листе. Это было зимой. Папа приехал из города накануне, но после обеда уже отбыл в город опять, и снова было неизвестно, до какого дня он уехал и вообще приедет ли.

Я был в кухне главного корпуса. Только ее и топили той зимой. Только на нее хватало дров. Свет был тусклый. Не потому чтобы в Соларе сильно соблюдали комендантские постановления (кому бы понадобилось бомбить наш хутор?), а потому что лампочку загораживал специальный экран, увешанный низками бисера, совершенно идеальными для подарков фиджианским папуасам.

Я сидел за столом и возился с коллекцией, мама что-то подшивала, а сестра копошилась в углу. Радио передавало «миланскую» версию радиоспектакля «Семейство Росси», пропагандистскую постановку: члены семьи за столом разговаривают о политике, убежденно провозглашая, что союзники — это наши враги, партизаны —

никчемные парни, укрывающиеся от призыва, и что Север защищает честь Италии бок о бок с немецкими товарищами по оружию. Это передавали по четным дням, а по нечетным в тот же эфир шла «римская» версия этого спектакля, семейство Росси обитало уже не в Милане, а в Риме, в тот момент оккупированном союзниками, и беседовало за трапезой на тему «до чего было лучше, когда было хуже», завидуя соотечественникам-северянам, до сих пор свободным и имеющим возможность защищать честь страны под знаменами Оси. Мать скептически поматывала головой с таким видом, что у нас не оставалось сомнений — ничему этому она не верит. Однако передача была сделана интересно. И вообще не было никакого выбора: или слушать что передают, или выключать радио.

Ближе к вечеру, однако (и тут подтягивался в кухню даже дед, который весь день стоически мерз в своем кабинете с грелкой на полу под ступнями), часто удавалось настроиться на Би-би-си из Лондона.

Начиналось бряцанием литавр — зачин Пятой симфонии Бетховена, — а потом звучало чарующее «Добрый вечер» полковника Стивенса, с выговором как у Лорела и Харди.[338] Голос его был для нас привычен, пожалуй, не меньше, чем тембр Марио Аппелиуса в официальных фашистских передачах, с обязательной завершающей фразой: «И да разразит всех британцев небесный гром». Стивенс не требовал, чтобы небесный гром разразил итальянцев, наоборот, он призывал итальянцев радоваться вместе с ним всем военным неприятностям Оси, будто бы желая сказать:

— Ну вот, видите, во что вас втравил, бедолаг, этот ваш дуче?

В передачах Стивенса звучали отнюдь не только новости с фронта. Он описывал нашу жизнь, он описывал, как порядочные люди по ночам ловят Би-би-си из Лондона, преодолевая страх, что на них донесут, а может быть, даже и посадят в тюрьму. Он рассказывал нам о нас же, и мы ему безоговорочно верили именно поэтому. Он говорил, что так же, как мы, поступают и прочие — и соседи, и аптекарь, и даже (если верить этому Стивенсу) капитан карабинеров, который на самом деле все знает и понимает.

Если Стивенс до такой степени достоверно ухитрялся описать нас самих, ему можно было доверять и в других вопросах. Все, в том числе и мы, дети, понимали, что у Стивенса тоже пропаганда, но эта некрикливая пропаганда без героической риторики и без призывов

отдать свою жизнь была гораздо привлекательнее. По сравнению с тоном Стивенса все те слова, которыми нас потчевали ежедневно во времена фашизма, начинали казаться невыносимо высокопарными.

Не знаю почему, но этот господин, который был и остался для нас только голосом по радио, — в моем воображении походил на Мандрейка. Воплощение элегантности, фрак, аккуратно подстриженные усики и чуть-чуть больше седины, чем в волосах знаменитого мага, способного переколдовать любой пистолет в банан.

Когда отговаривал свое полковник Стивене, в эфир выходили таинственные, как марка страны Монсеррат, шифровки для партизанских отрядов: *Сообщение для Франки. Счастливчик несчастлив. Дождь уже не идет. Борода моя седа. Джакомоне приветствует Магомета. Орел парит, и солнце опять сияет.*

И вот я сижу и не могу наглядеться на мои драгоценные Фиджи, как вдруг — среди ясного неба — примерно в полодиннадцатого вечера в небе слышится громкий гул, гаснет свет, мы подскакиваем к окнам поглядеть, как будет пролетать Пипетто. Мы слышали его каждую ночь приблизительно в одно и то же время, по крайней мере принято было так считать. Принято было считать его не то английским разведчиком, не то американским транспортным самолетом, посылаемым для доставки почты, продовольствия и оружия партизанам в горах, а те скрывались в непосредственной близости от нашего дома, на самых ближних отрогах Ланг.

Ночь беззвездная, безлунная, в долинах не видно огней, над головой пролетает Пипетто. Никто не видел его, никто не знал, на что он похож, был только звук — только это жужжание посреди ночи.

Пипетто пролетел, и вечер катится к концу, как прочие вечера, и радио передает последние песни. В такую ночь, вероятно, бомбят Милан, а люди, для которых Пипетто прилетал, ползут и задыхаются по отвесному обрыву, спасаясь от своры поисковых овчарок. Но радио развратным голосом саксофона перед случкой выводит *На Капо Кабана, вблизи океана, там женщины невозбранно… царят… парят…* Так прямо и вижу изнеженную певицу (а может, я действительно видел ее фото в журнале «Новелла»?). Она плавно нисходит по белой лестнице, по ступенькам, красавцы из кордебалета в белых смокингах приподымают цилиндры и обожательно склоняются к ковру. Из Капо Кабана (именно так, а вовсе не из Копакабаны) обольстительница шлет

мне шифрованный сигнал, экзотичнее даже почтовой марки островов Фиджи.

Вечер кончается, с ним и передачи под разнообразные гимны славы и марши побед. Но выключать сразу не следует. Мама знает, что не надо выключать. После того как составилось полное впечатление, будто радиопередачи стихали до следующего утра, раздается грустный и сердечный голос и призывно поет:

Tornerai
da me
perché in cielo sta scritto che
tornerai.
Tornerai,
tu lo sai
ch'io son forte cosí, perché
credo in te.

Буду ждать,
и ты вернись.
Знаем мы с тобой —
мне судилось
верно ждать,
а тебе лишь надо знать:
я умею ожидать,
как никто другой.

Я потом, помнится, прослушал ту же самую песню с пластинки в Соларе, но она была ординарным любовным романсом и звучала примерно так: — *А тебе лишь надо знать: Я умею обнимать, Друг мой дорогой*. Следовательно, то, что я слышал по вечерам, было военной переделкой, рассчитанной на то, чтобы отзываться особой надеждой в солдатских сердцах. Это было особым обещанием каждому, что его дождутся, так думали и те, кто, может быть, именно в эту минуту замерзал в лютой степи или стоял перед расстрельной ротой. Кто пускал в эфир эту пластинку темными вечерами? Ностальгирующий сотрудник радио? Перед тем как замкнуть рубку на ключ и уйти домой? Или кто-то

из начальства отдавал такой приказ? Это нам было неизвестно. Но именно этот обволакивающий теплый голос прощался с нами перед отходом ко сну.

Почти одиннадцать часов, время закрывать мой альбом с марками. Время идти спать. Мама уже накалила в печи кирпич. Кирпич завернут в ветошь и положат в кровать под простыню. На него так приятно ставить ноги. И вдобавок меньше зудят на пальцах волдыри. Эти волдыри на пальцах рук и ног — повально у всех мальчишек (голодание, авитаминоз, гормональные бури).

Собака воет в долине в сторожке пастуха.

С Граньолой мы обсуждали все на свете. Я рассказывал ему о прочитанном, он реагировал удивительно живо.

— Жюль Верн, — провозглашал он, — гораздо лучше этого Сальгари, потому что у Жюля Верна все научно. Гораздо проще вообразить, как Сайрус Смит изготавливает нитроглицерин, нежели как этот дурацкий Сандокан разрывает себе до крови ногтями грудь лишь потому, что ему приглянулась пятнадцатилетняя дуреха.

— Тебе не нравится Сандокан? — спросил я.

— По-моему, он немножечко фашист.

Я сказал ему, что читаю «Сердце» Де Амичиса, а он на это начал уговаривать меня выкинуть «Сердце» в помойку, потому что Де Амичис фашист.

— Ну подумай только сам, — горячился он. — Все должны быть против бедного Франти, который из такой разнесчастной семьи; все против него, и все выслуживаются перед этим фашистюгой учителем. Кто там самый положительный? Гарроне, бессовестный подлиза? Маленький ломбардец-разведчик, который должен погибнуть, потому что сукин сын королевский офицер посылает ребенка поглядеть, не наступают ли враги? Сардинский барабанщик, который тоже несовершеннолетний и которого гонят в самое пекло боя, а когда бедолаге отрывает ногу, то полковник-поганец рухает ему на грудь с распростертыми объятиями и трижды целует в сердце? Покалеченных, кстати, надо поскорее тащить в лазарет, а не целовать в сердце. Это положено знать любому идиоту, даже полковнику королевской пьемонтской армии. Кто там еще? Отец Коретти, который предлагает сыну пожать его руку, еще теплую от рукопожатия короля-душегуба? К

стенке всех, к стенке! Такие субчики, как этот твой Де Амичис, они и проторили дорогу фашизму.

Он рассказал мне, что за люди были Сократ и Джордано Бруно. И Михаил Бакунин, по поводу которого я никак не мог сам уяснить, кем он был и что утверждал. Он рассказывал мне про Кампанеллу, Сарпи, Галилея, как их держали в тюрьме и пытали священники за то, что те проводили в жизнь принципы науки, и как некоторым пришлось даже перерезать себе горло, как Ардиго,[339] потому что хозяева и Ватикан их затравили.

Поскольку в «Новейшем Мельци» я прочел в статье про какого-то Гегеля: «Выдающ. нем. фил. пантеистической школы», я захотел справиться у Граньолы.

— Гегель не был пантеистом, а твой Мельци остолоп. Пантеистом, если уж на то пошло, можно называть Джордано Бруно. Пантеист утверждает, что бог во всем, даже в том мушином кале, который вон налип на окна. Тоже радость, понимаешь, существовать во всем. Это вроде как и не существовать. И вдобавок имей в виду — по мнению Гегеля, не господь бог, а государство должно было быть везде и во всем. Так что Гегель был фашист.

— Да он же жил сто лет назад!

— И что из этого? И Жанна д'Арк была фашисткой чистой воды. Фашисты существовали всегда. Начиная с времен… Начиная с времен господа бога. Вот возьми господа бога. Фашист тоже.

— Но ты же атеист и говоришь, будто бога нет?

— Кто это говорит? Отец Коньяссо, который ничего ни в чем не понимает? Я утверждаю, будто бог есть. К сожалению. И, к сожалению, этот бог — фашист.

— А почему фашист?

— Слушай, ты еще маловат для богословской лекции. Давай поговорим о том, что ты определенно уловишь. Перечисли мне десять заповедей, тех, что в молельне тебе вколачивают в голову.

Я перечислил. — Вот, — сказал Граньола, — а теперь разберемся. Из этих десяти заповедей четыре, повторяю, только четыре предписывают что-то хорошее. Да и тут, если разобраться, можно повозражать… Все же с этими четырьмя мы в принципе готовы согласиться: не убий, не укради, не лжесвидетельствуй и не желай жены ближнего. В последнем случае заповедь правильная, для джентльменов.

Нельзя наставлять рога друзьям. Да и свою семью разрушать нельзя. Я согласен. Анархисты в будущем отменят семью, но всему свое время. Невозможно всего добиться сразу. Допустим. Эти четыре правильные заповеди — это только диктуемый здравым смыслом минимум. Да и то… не обманывать… так ведь все на свете обманывают. Пускай даже и в благих целях… Допустим. Я согласен насчет убийства. Убивать действительно не следует никого и никогда, совершенно никого, ни при каких обстоятельствах…

— Даже когда король пошлет на войну?

— Именно когда король пошлет на войну. Священники тебе скажут, что если посылает король, то ты не только можешь, но и должен убивать. Ответственность же не на тебе, а на короле. Тем они оправдывают войну, в то время как войне, конечно, нет оправдания, в особенности если на войну тебя шлет лысое жирное чучело. В заповедях не указывается, что на войне убивать можно.

— А дальше?

— Другие заповеди? Я Господь Бог твой… Это не заповедь, а то бы их было одиннадцать. Это так, для затравки. Но с подковыркой, ежели вдуматься. Моисею вдруг явился… бог весть кто, его и не видно было даже, а только слышно. После чего Моисей пошел к народу и заявил: вы обязаны слушаться, эти заповеди от бога. На основании чего он это решил? На основании высказывания «Я есмь Господь Бог твой». А если это вовсе не бог говорил? Представь, я тебя задержу на улице и скажу, что я переодетый карабинер, с тебя штраф десять лир, по этой улице проход запрещается. Если ты достаточно умен, мне ответишь: а кто докажет, что ты действительно карабинер? А может, ты сам по себе мастак стрелять по десятке с прохожих? Покажи удостоверение. Бог не показывал. Все начиналось с лжесвидетельства.

— То есть не бог дал заповеди Моисею?

— Нет, я как раз думаю, что он их дал. Но бог при этом использовал некорректную аргументацию. И он использует некорректную аргументацию всегда. Ты должен-де верить в библию, потому что она вдохновляется богом. Но кто доказывает, что библия вдохновляется богом? Сама библия. Понятно, где фокус? Продолжим. Первая заповедь гласит: да не будет у тебя иного бога, кроме меня. Значит, господь препятствует людям думать, ну там не знаю, об Аллахе, о Будде или, может быть, о Венере, хотя, честно сказать, иметь в

качестве бога такую дусю я лично был бы вовсе не против. Господь препятствует людям верить и в философию, и в науку, и не велит людям думать, что человек произошел от обезьяны. Нет, да не будет никого, кроме него. И до свидания. Что же касается прочих заповедей, все прочие заповеди абсолютно фашистские. Они придуманы, чтобы заставить нас с тобой принимать общество таким, какое оно есть. Помни день субботний, чтобы святить его… Что ты на эту тему скажешь? Подумай…

— На эту тему… Ходить на мессу по воскресеньям, что же дурного?

— Да это тебе так толкует дон Коньяссо, который, как все попы, в библии не смыслит ни уха ни рыла. Приди в себя! В том примитивнейшем племени, которое таскал за собой Моисей, «чти день субботний» значило — соблюдай всевозможные ритуалы, а ритуалы были нужны, чтобы дурить народ. От человеческих жертвоприношений до шабаша лысого мерзавца на площади Венеции! Почитай отца твоего и матерь твою… Молчи, ты можешь не пояснять, что хорошее дело — нормально относиться к родителям. Да, хорошее. Для детсадовцев. Для тех, кем нужно руководить. А на самом деле «почитай отца и мать» означает — поддакивай старшим по званию, не противодействуй порядку, не пробуй переменить жизнь. Понятно? Не годится отрубать королю голову. Даже такому бездарному королю, как этот шибздик Савойя, который предал солдат и сгубил цвет офицерства. Теперь понятно, почему не укради и не убий не такие уж милые рекомендации? Эти правила запрещают сопротивляться диктатурам. Запрещают трогать собственность. Но погоди, давай разберем дальше! Давай разберем три следующие заповеди. Что такое «не прелюбы сотвори»? Твой Коньяссо и его компания всячески убеждают, что предосудительно самого себя теребить между ног. О! Такое великое дело, скрижали завета, растрачиваются на такую ерунду, как рукоблудие? Кстати, что прикажете делать вместо этого? Вот мне что делать, если я таков как есть, родился некрасивым да еще и охромел, и настоящей женщины в жизни в руках не держал? Мне самое ничтожное облегчение запрещается, по-вашему?

Слушая Граньолу, я не все ловил: откуда выходят дети, мне уже объяснили, но что приводит к появлению в этом месте детей, я все еще не слишком хорошо себе представлял. Относительно рукоблудия меня

активно просвещали товарищи, но сам я задавать вопросы робел. Перед Граньолой, однако, мне не хотелось ударять лицом в грязь. Так что я слушал насупленно, бессловесно.

— Сказал бы этот господь бог, ну, положим: можете чикаться, но только пускай от вашего чиканья рождаются дети. Такие слова были бы обусловлены реальной причиной, в то время мир был серьезно недонаселен. Ладно бы так. Но посмотри на заповеди. С одной стороны, не желать супруги ближнего своего, а с другой — не рукоблудить. Да куда же деваться? Когда и с кем можно чикаться? Что за дикие запреты? Законы хороши тогда, когда они подходят для всего мира. Римляне не были господом богом, но уж если они издавали законы, эти законы до нынешнего дня применимы. А ваш господь выдумал такие десять заповедей, которые о чем угодно говорят, кроме действительно важных вопросов. Ты ответишь, что «не прелюбы сотвори» означает — не разрешено чикаться, если люди не женаты. А кто докажет, что смысл именно такой? Кто знает, что имели в виду евреи под этим словом «прелюбы»? У них масса самых разных категорических запретов, скажем — ни свинину не ешь, ни даже говядину, ежели только не от специального мясника, и, как мне рассказывали тут недавно, даже креветок евреям пробовать не разрешается! Запрет на запрете! Ведь что подпадает у наших фашистов под запреты? Да что угодно. Быть холостяком запрещено, вводят налог на холостяцтво. Красный флаг поднимать запрещено. И так далее… Последняя из заповедей — не пожелай чужого добра. Что они хотели этим сказать? Мало им известной заповеди «не укради»? Какая разница, желаешь ли ты велосипед твоего богатого одноклассника? Ты ведь не воруешь этот велосипед? Отец Коньяссо говорит, что эта заповедь воспрещает завидовать. Конечно, зависть очень плохая вещь. Но бывает зависть черная и зависть белая. Одна история, если ты, призавидовав его велосипеду, начинаешь хотеть, чтоб он налетел на кочку и переломал себе руки-ноги. Иное дело, ежели тебе нравится его велосипед и ты ищешь приработок, работаешь по вечерам, чтобы себе купить такой же. Белая зависть — приводной ремень всего мира. Есть еще зависть-справедливость: невозможно смириться с тем, что у одного есть абсолютно все, в то время как другие голодают и дохнут. Во имя этой высокой социалистической зависти мы готовы бороться за новый мир, в котором богатства будут распределены справедливо. Ваша последняя

заповедь противопоставлена новому миру. Она гласит: не желай больше, чем тебе дано, уважай собственность. В мире кому-то от рождения достаются две хлебные нивы, а другому от рождения выпадает махать заступом за малую плату. Тот, который с заступом, не должен сметь желать хозяйскую ниву. В противном случае государству конец, произойдет революция… Последняя заповедь контрреволюционна! Так что попомни, дорогой. Не убий, не укради, ясное дело. Но в смысле желания чужого добра! Чувствуй себя в этом отношении свободно! Можешь желать того, чего тебя какие-то чужие дяди лишили! Взойдет светило справедливости. Именно поэтому наши друзья уходят в горы. Они готовятся покончить с лысым гадом, которого привели к верховной власти помещики и фрицы, в точности как и Гитлера. Гитлер завоевывает мир, чтобы Крупп мог продавать побольше пушек и Железных Берт. Хотя что можешь ты понимать, парень, в этих разговорах. Тебя же вырастили, требуя ежедневно повторять «Обещаю верно служить великому дуче».

— Да нет, я понимаю, хотя, может быть, не все, но понимаю.

— Дай бог, конечно.

Тою ночью мне привиделся во сне дуче.

…В другой раз мы гуляли на природе. Я подумал — Граньола мне прочтет ботаническую лекцию, как во время других прогулок. Вместо этого Граньола то и дело мне показывал на мертвые предметы. Высохший коровий назем под копошением мух. Лоза, задушенная пероноспорой. Златогузки шествуют поколонным строем, чтобы обгрызть все листья и иссушить дерево. Картофель, пораженный фитофторой, — его можно только выбросить. Остов какого-то издохшего животного в канаве, настолько разложившийся, что практически невозможно распознать — куница это или заяц. Курил он при том одну «Милит» за другой, приговаривая — идеально для чахоточных, дезинфицирует легкие.

— Нашим миром, парень, правит Зло. Зло с большой буквы. Не только Зло, убивающее ближнего за два гроша, не только Зло, воплощенное в эсэсовцах. Зло в абсолютном смысле. По милости которого у меня в легких болезнь и гниль, на поле гниют урожаи на корню и град побивает виноградник у крестьянина, у которого ничего, кроме виноградника, за душой нет. Ты задумывался, для чего в мире присутствует Зло и в особенности смерть? Почему для людей так желанна жизнь, а между тем и бедных, и богатых, всех людей косит смерть, некоторых в раннем детстве? Слышал ты о гибели Вселенной? Я читал: вся наша Вселенная, целиком, со звездами, с Солнцем и с Млечным Путем, похожа на электрическую батарейку. Сияет, светится, но на все это расходует энергию и постепенно, поминутно иссякает. Когда все истратится, она закончится. Зло всех зол состоит в факте, что и Вселенная приговорена к смерти. Так что: хорош ли мир, в котором правит бал смерть? Может, лучше было бы иметь мир без смерти?

— Было бы лучше, — философствовал я…

— Конечно. Есть теория, что мир получился вообще по ошибке, то есть наш мир — болезнь Вселенной, которая и до того имела определенные проблемы, и вдруг в ней вдобавок ко всему выскочила,

как прыщ, наша Солнечная система вместе со всеми нами. При этом Солнцу, Млечному Пути и звездам неведомо, что предстоит умереть, поэтому они не волнуются. Но из той же болезни мира возникли и мы с тобой. К великому прискорбию, мы умники и понимаем: дело кончится смертью. Мы жертвы смерти, и вдобавок мы это знаем. Вот радость-то, поразмысли.

— Но ведь это атеисты говорят, что мир никем не создан. А ты сказал, что не атеист.

— Атеистом я не являюсь, поскольку не способен поверить, что все, что я вижу вокруг себя, все сущее, деревья и плоды, Солнечная система и наше мышление, — получились по простой случайности. Слишком уж интересно все получилось. Наверно, кем-то все это было задумано. Господом, не иначе.

— Ну и?..

— Ну и как, объясни мне, соотнести господа и Зло?

— Я подумаю.

— Ишь ты. Подумает. Как будто до тебя уже не думали множество веков самые умные на свете люди, из всех кто жил и вообще думал…

— Ну, и до чего додумались?

— До фиги с маслом. Решили, что Зло было занесено и мир восставшими ангелами. То есть как? Бог все полагал, всем располагал, но не обратил внимания, что у него тем временем восстали ангелы? Зачем же он их запрограммировал на восстание? Не будут же на фабрике проектировать такие покрышки для грузовиков, чтобы они лопнули на втором километре? Добро бы был растяпа. Так ведь нет. Сотворив ангелов, бог загордился. Глядите, вот это класс, и даже ангелов лепить умею… Потом дождался, пока они восстали, ну прямо весь извертелся в нетерпении, когда же они наконец полезут на рожон. Тогда и вринул их всех в ад. Ну и ехидна этот твой боженька.

Другие философы предложили альтернативу. Зло не бытует помимо бога, Зло только в боге, присуще ему как болезнь, и бог проводит вечность в вечных попытках отделаться от Зла. Бедняга. Если дело, конечно, обстоит так… Хотя вот мне, например, известно, что у меня чахотка. Так я не стану производить на свет детей, плодить убогих: чахотка наследуется. Зачем же бог, который знает, что нездоров, производит на свет мир, в котором, крути не крути, будет царствовать Зло? Что за поганство? Это у кого-нибудь из нас может случайно

получиться чадо из-за простого недосмотра, от неисправного гондона, а у бога-то все должно быть схвачено, так что он мир создает по полному своему хотению.

— А если он просто не уследил, бог? Не уследил и обделался…

— Думаешь, ты пошутил? Так вот знай, что именно к тому сводились теории некоторых мудрецов. Что господь не уследил за миром, вроде как не уследил за мочеиспусканием. И в результате недержания божией мочи… вследствие, вероятно, аденомы простаты…

— Что такое простата?

— Бог с ней. Будем считать, что я привел какой-то другой пример. В общем, мир из-под него вытек, он же ведь бедный больной бог, зараженный Злом, и это его в какой-то степени извиняет. Теперь мы по уши в дерьме, но богу в общем не слаще нас. Раз так, ты видишь — трещат по швам все замечательные байки, которые тебе втюхивали в молельне. Что бог есть благо, что он есть совершеннейший и сотворивый небо и землю. Он сотворил небо и землю, кто спорит. Но именно потому, что крайне несовершенен. Сработал звезды, которые, того гляди, потухнут.

— И все-таки! Допустим, бог создал мир, в котором всем нам предназначено умереть, но он это сделал, чтобы мы проходили испытание. Если мы его выдержим, потом нас поместят в рай, и уж тогда мы будем наслаждаться нескончаемым счастьем.

— Или наслаждаться нескончаемым адом.

— Если поддавался искушениям дьявола.

— Ты говоришь как богословы, как все эти крючкотворы, дошлецы. Они то же самое толкуют. Зло в мире есть, однако господь бог преподнес нам самый расчудесный подарок, а именно свободную волю. Мы можем свободно выбирать между тем, что повелевает господь, и тем, что нашептывает дьявол, и если мы в конце концов отправляемся в ад, то вовсе не потому, что нас создали как рабов, а потому что нас родили свободными людьми, а мы неправильно использовали свободу и виноваты сами во всем.

— Конечно.

— Что конечно? Да с чего ты вообще взял, будто свобода — такая ценность? То есть не путай. Наши товарищи в горах сражаются за свободу, свободу от других людей, хотевших превратить нас в машины. Свобода — да, это ценность, свобода человека от человека. Ты не

имеешь права повелевать мне думать так, как желательно тебе. И наши товарищи свободно решали, идти ли им на холмы или прятаться в долу. Но вот насчет свободы, которую дает бог… Что это за свобода? Свобода попадать или в рай, или в ад, без промежуточных вариантов! Ты от рождения обязан играть эту карточную партию. А проиграешь — расплачиваться будешь целую вечную вечность. А если я вообще не желаю играть в карты? Лысый черт, в котором при множестве мерзостей хоть крупицы какие-то были, запретил к черту карточные игры. В игорных домах людей подло соблазняют, там они теряют все, что заработали. Говори не говори, что они свободно шли в игорный дом. Лучше, чтобы не было таких соблазнов… А господь, в отличие от Муссолини, создает людей вполне свободными и очень слабыми, чтоб они были свободны бедокурить. Это, по-твоему, подарок? Если я тебя сейчас сброшу вниз с обрыва и скажу: не беспокойся, у тебя имеется полная свобода уцепиться за какой-нибудь бурьян на склоне и спасти себе жизнь, а если все же свободно предпочитаешь, ты волен превратиться и рубленый бифштекс по рецепту, как едят в городе Альба… Ты в ответ: зачем ты сбросил меня? А я: проверить, добродетелен ли ты. Точно как Боженька. Тебе-то было вовсе не интересно проверять свою добродетель. Тебе хватало счастья — просто не падать в обрыв.

— Мне трудно следить… Какой из этого вывод?

— Вывод простой, хотя его еще не выводили. Вывод, что господь зол. На чем основывают священники утверждение, будто бог добр? На том, что он нас создал. Но именно это — зло. У бога зло — не болезнь. Он сам есть зло. Может, бог и не был таким с самого начала… миллиарды лет назад. Он мог превратиться в зло со временем, как дети иногда дуреют в летний зной от скуки, не знают, чем им себя занять, и к вечеру начинают обрывать крылышки мухам. А исходя из предположения, что господь зол, проблема зла становится решаемой.

— Все злы? И Иисус?

— Нет-нет! Иисус единственное доказательство, что мы, род людской, умеем бывать и добрыми. Скажу уж откровенно, я не уверен, что Иисус был сыном бога. Как у такого зловредного родителя вышел настолько путевый сын, я объяснить не могу. К тому же я не убежден, что Иисус существовал. Возможно, мы его выдумали сами. Но именно это и чудо. Как нам пришла в голову такая отличная идея. Может,

существовал? Был самым лучшим из нас, людей? Из великодушия всем внушал, будто он божий сын, чтобы уверить, что господь добр? Но посмотри, в Евангелии сказано, что и Христос в конце концов убедился, как зол господь. Он так боялся, он из Гефсиманского сада его просил: пронеси мимо меня эту чашу! Фигушки, господь ему — ноль внимания. Когда его распинали, Иисус кричал: Отец, почему ты меня оставил? А тот отвернулся в другую сторону. Но Иисус показал, что может сделать человек, чтобы исправить Господню злобу.

Если бог зол, попробуем быть добрыми хотя бы мы, прощать друг друга, не сотворять зла, заботиться о больных и не мстить за обиды. Поможем друг другу, учитывая, что бог нам не помогает. Это ведь грандиозная идея? Насчет Иисуса? Правда же? До чего, поди, обозлился бог. Это его главный враг был — Иисус. Куда там дьяволу. Иисус главный друг таких бедолаг, как мы.

— Уж не еретик ли ты вроде тех, кого жгли…

— Я единственный, кто сумел угадать истину. Чтоб меня не сожгли, я ее никому не рассказываю. Только тебе. Поклянись, что не станешь никому говорить.

— Клянусь. — И я перекрестил сомкнутые губы.

Я заметил у Граньолы под рубашкой кожаную ладанку.

— Что там у тебя, Граньола?

— Скальпель.

— Ты учился на медицинском?

— Я учился на философском. Скальпель мне подарил военврач моего полка в Греции. Перед тем как ему умереть. Он сказал: «Мне уже не пригодится. Пузо мне раскроило не этим, а гранатой. Вместо скальпеля сейчас бы хорошую иголку и нитку… Хотя такую прореху не зашьешь. Держи мой скальпель. Будешь меня поминать». Вот я и ношу его с собою всегда в мешочке.

— Зачем?

— Затем что я слабак. Я такое делаю и такое знаю, что если эсэсовцы или чернобригадовцы до меня доберутся, начнутся пытки. Под пыткой я могу заговорить. Я боюсь боли. Подведу товарищей. Поэтому, когда меня будут брать, я перережу себе глотку этим вот скальпелем. Это не больно. Секунда. Шурхх… и готово. Как я всем сразу вставлю! Фашистам — потому что не скажу ничего; священникам — потому что укокошу себя, а это грех; и богу — потому что умру, когда сам решил, а

вовсе не тогда, когда решает он. Всем вставлю!

От рассуждений Граньолы мне было муторно, не потому, что я считал их неверными, а именно потому, что они казались мне верными. Не посоветоваться ли с дедом? Но кто мог знать, как дед отнесется к этому? Может, они с Граньолой не поняли бы друг друга, хоть оба были антифашисты? Дед сумел свести свои счеты с Мерло и с дуче, и при этом действовал победительно-весело. Дед сумел спрятать четверых парней в капелле, одурачить Черные бригады, вокруг пальца обвести врагов. Дед мой носа не казал в церковь, но это не означает — был атеистом. Был бы атеистом, не строил бы вертепы к каждому Рождеству. Если дед и верил в бога, то в веселого, расположенного посмеяться вместе с дедом над Мерло, который выблевывал кишки и душу, — дед избавил бога от нужды откомандировывать Мерло в ад, потому что после такого маслица его, сто процентов, дальше чистилища не отправят. Мерло, точно, теперь заработал себе возможность, так сказать, смыл грех. Граньола же существовал в кислом и яростном мире, управлявшемся зловредным богом, и улыбка у него появлялась, как я видел, только когда он рассуждал о Сократе и Иисусе. Оба, кстати, они умерли насильственной смертью, так что улыбаться, по-моему, там было нечего.

И все же Граньола был не злой. Он любил всех. Претензии у него были только к богу. Кстати, думаю, нелегко было с этими претензиями жить. Все равно что кидаться камнями в носорога. Тот вообще не замечает, кто и что там в него кидает, а ты лопаешься от злобы, багровеешь, и рано или поздно тебе угрожает инсульт.

Когда мы с товарищами развязали Большую Игру?[340] В мире, где наши взрослые то и дело стреляли друг в друга, детям тоже хотелось пострелять. Мы выработали решение двинуться войной на парней из Сан-Мартино, деревушки на горе, на обрыве над Диким Яром.

Дикий Яр был еще страшней, чем описывала Амалия. Вскарабкаться туда нечего было мечтать. Почва сыпалась на каждом шагу. Это на тех местах, где не было колючек. И даже где они были. Купы желтой акации, кусты ежевики росли здесь и там, то и дело мерещилась тропинка, ты воодушевлялся — а это обманная плешь, под зеленью не земля, а пустота, наступи — загремишь метров на двадцать или двадцать пять. Если даже долетишь живым и неполоманным до низу, шипы тебе глаза выколют, в куски порвут. И вдобавок во рву, если

верить слухам, кишмя кишели гадюки.

Парни из Сан-Мартино боялись Дикого Яра как огня. В частности из-за кромешниц. Люди, державшие напоказ блаженного Антонина, эту могильную мумию, от одного вида которой сворачивалось молоко у кормящих матерей, — не могли не верить в кромешниц. Понятно, что эти парни были идеальными неприятелями для нас, мы думали — они все фашисты. Это по большому счету не соответствовало действительности. Но двое парней из деревушки ушли в Черные бригады, у них оставались младшие братья в Сан-Мартино, и эти младшие братья были главарями тамошней шайки. В общем — в Соларе принято было думать, что обитателям Сан-Мартино ни в коем случае нельзя доверять.

Фашисты или не фашисты, лютыми они были как собаки. И это неудивительно, если жить в таком проклятущем месте, надо же чем-то себя занимать. В школу они ходили к нам в Солару. Мы их сторонились, будто цыган. Нам всем давали из дому завтраки — хлеб с вареньем. Им же спасибо если давали по червивому яблоку. В общем, у них была потребность каким-то образом утверждать себя. Они швыряли в нас камни, выбрав мишенью ворота молельни. Они заслуживали хорошей трепки. Мы решили идти походом на Сан-Мартино и атаковать врагов, пока они играют в мяч на площади перед церковью.

В Сан-Мартино вела прямая дорога без единого поворота, так что с площади перед церковью можно было издали разглядеть, если кто-нибудь приближался. Врасплох их было нипочем не застать. Дуранте, сельский паренек, головастый и чернявый наподобие абиссинца, высказал мысль, что врасплох их можно застать, если зайти из Дикого Яра.

Для подъема по Дикому Яру требовались специальные тренировки. Мы потратили на них все лето. В первый день нам удалось залезть на десять метров. Требовалось запоминать каждый шаг, каждый поворот. Спускаться, ступая в собственные следы. На будущий день — тот же путь плюс еще десять метров. Из Сан-Мартино тренирующихся не видно. Времени в распоряжении сколько хочешь. Отработать до автоматизма. В итоге перемещаться по склону уже не как люди, а как животные, например ящерицы или ужи.

Двое вывихнули лодыжки, один чуть не разбился насмерть и ободрал кожу с ладоней, тормозя голыми руками. Но в конце концов мы

— одни на свете — научились залезать на Дикий Яр. Мы рискнули дойти до верха, лезли час и с пыхтением и одышкой добрались-таки до макушки и вынырнули из терновника прямо в центре Сан-Мартино, под сложенной из камня стенкой, отделявшей здания от пропасти. Против окончания нашего маршрута, ровно в той точке, стенка прорезалась брешью — еле-еле протиснешься. А от бреши уходила узкая улочка: дверь священникова дома, еще две-три чьи-то двери и в конце проулка выход прямо на открытую площадь перед церковью.

Мы влетели на площадь как раз в тот час, когда тамошняя шайка в полном составе играла в жмурки. Удачнее не придумаешь. Один вообще с завязанными глазами, все прочие прыгают вокруг. Мы выметали боезапас. Одному угодили в середку лба, другие понеслись хорониться в церковь, к тамошнему священнику. Мы пришли к выводу, что с них хватит. Назад по улице, в расщелину, вниз по Яру. Священник еле успел увидеть наши головы, ныряющие в кусты на отвесном склоне, и проводил нас угрозами. Дуранте в ответ возгласил: «Выкуси!» — и смачно хряснул кулаком по полусогнутому локтю.

С тех пор сан-мартинская шайка поумнела. До них дошло, что мы умеем закарабкиваться с Яра. Теперь они там ставили часовых. Мы, разумеется, все равно подбирались прямо под загородку. Почти под загородку. Последние два-три метра были открытыми, заросшими какой-то шипастой дрянью, цеплявшейся за ноги на ходу, и часовой успевал поднять крик. В конце улицы у них был склад сухих лепешек из грязи. Они швырялись в нас с высоты еще до того, как мы начинали штурм.

Жаль было — потратили кучу сил, чтобы научиться атаковать с Яра, и все напрасно. Тогда Дуранте сказал:

— Научимся подниматься в тумане.

Поскольку подошла осень, в наших окрестностях туманов было сколько душе угодно. В туманные дни Солара полностью исчезала из виду, исчезал и дедов дом на холме, и единственное, что еле-еле виднелось, — колокольня Сан-Мартино. Если влезть на колокольню, создавалось полное впечатление, будто летишь на дирижабле поверх кучевых облаков. В эти и подобные дни можно было запросто подойти под самый брустверь. Туман доходил до упора, до стены. Не могли же сан-мартинцы простаивать на стене целые дни, вперивaясь. А особенно в темные часы ночи.

В те же дни, когда туман разыгрывался по-настоящему, он переползал через бруствер и заваливал всю церковную площадь.

Лезть по Дикому Яру в туман — это было совсем не то же, что лезть при ясном солнце. Все до наимельчайших мелочей надо было заучить, помнить, какой камень где. И где надо ступать особенно осторожно, потому что там начинаются густые волчцы. Пять шагов направо (пять, не шесть) — будет оползень. Дойдешь до ребристого валуна, слева от него начинается тропинка-обманка, пойдешь по пей — слетишь в провал. И так далее.

Так что для начала разучивался отрезок пути при свете, а потом тот же отрезок неделями отрабатывался вслепую, за шагом шаг. Я попробовал нарисовать план пути, как рисуют в приключенческих романах, но почти никто из моих друзей не умел читать карту. Что с них взять. Я впечатал карту прямо в мозг. Мог дойти наверх с завязанными глазами. В сущности, добираться ли наверх в туман, добираться ли с завязанными глазами — это было совершенно одинаково.

Когда все усвоили дорогу, мы потренировались еще несколько дней после захода солнца, чтобы убедиться — споро ли мы поднимаемся к заветной площади и поднимемся ли в дневное время, когда враги еще не разойдутся по домам.

После многих репетиций мы назначили первую атаку. Как туда добирались — не помню, факт, что мы добрались. Сан-мартинцы торчали на площади, которую еще не успел завалить туман. В таком месте, как Сан-Мартино, или торчи на площади, или укладывайся спать, наевшись сухарей с молоком.

Мы выскочили на площадь, накидали им грязевыми лепешками, сколько они заслуживали, сумели разогнать всех по домам и ловко убрались восвояси. Спускаться было хуже, чем идти наверх, потому что, оскальзываясь при подъеме, ты можешь ухватиться за куст, а заскользив при спуске — катишься и катишься и в лучшем случае останавливаешься перемазанный кровью и в порванных штанах. Спускаться было тяжело, но мы успешно спустились к себе в Солару, победившие и удовлетворенные.

После этого боя мы не раз повторяли свои бесшабашные набеги, сан-мартинцы с наступлением темноты часовых убирали, опасаясь больше всего на свете потусторонних *«masche»* — кромешниц. А мы, мальчики из молельни, никакого страха перед кромешницами не

испытывали, зная, что начни лишь читать авемарию — и кромешница замрет и вообще закаменеет навсегда.

Прошло несколько месяцев. Нам порядком надоело. Подниматься на Дикий Яр сделалось малоинтересно.

У меня в семье никто знать не знал об этих походах, в противном случае не миновать бы мне неописуемой выволочки. В те вечера, когда набеги были ночными, я сообщал семье, что у меня репетиция. Что мы готовим постановку комедии в кружке при молельне. Среди мальчишек же наши подвиги были известны и знамениты, и мы хорохорились, поскольку нам, и только нам, во всей округе было под силу совершать восхождения на эту дикую гору.

Однажды в воскресенье после обеда в Солару въехали два грузовика, в кузовах — немцы, обыскали, перерыли все и вся, опять влезли в кузовы и духом — по дороге, ведущей на Сан-Мартино.

С самого утра лежал густой туман. А дневное марево гаже ночного, потому что день не ночь, всякому нужно куда-то идти, добираться. Не слышно было даже звона колоколов, серая дымка как будто глушила вместе с видимостью еще и звуки. Даже продрогшие воробьи на дереве чирикали буквально как через вату. В тот день были похороны, однако похоронная карета не сумела отыскать дорогу на кладбище, могильщик спускался сказать, что сегодня он никого захоранивать не будет, потому что, неровен час, обдернется и сам вместе с гробом провалится в могилу.

Двое наших потрусили следом за немцами, разобраться, какого рожна им занадобилось, и увидели, что немцы с большим трудом доехали до начала подъема в гору, с зажженными фарами, которые светили самое большее на метр. Потом остановились и заглушили движки. Было понятно, что на гору Сан-Мартино въехать сейчас невозможно, особенно на полуторках. Ведь ни по правую, ни по левую руку — ни зги не видно, а там поворот на повороте. Пешком они тоже не пошли. По всему видно, что сильно незнакомые им места. Но им уже, видимо, кто-то объяснил, что на Сан-Мартино ведет только эта единственная дорога и ни подняться, ни спуститься никаким другим путем нет возможности. Поэтому они перегородили дорогу барьерами и заняли позиции — зажженные фары, взведенные курки. Им явно требовался кто-то, кого ожидали оттуда, с горы. Один из них по полевому телефону вызывал подкрепление. Кто-то слышал, как он

голосит по-немецки *«volsunde, volsunde»*. Граньола тут же объяснил, что они, по-видимому, вызывают поисковиков с ищейками — *Wolfshunde* (это по-немецки «волкодав»).

Немцы стояли под горой и ждали, а около четырех часов, все через тот же густой туман, кто-то скатился вниз на велосипеде. Это был приходский священник церкви Сан-Мартино, знавший дорогу, как свои собственные карманы, и тормозивший педалями. Фрицы не начали стрелять в него, потому что, как узналось впоследствии, они поджидали не священников, а казаков. Священник пояснил им, больше руками, чем словами, что кто-то сильно заболел в пастушеском доме около Солары и нужно соборовать его (у кюре была привязана к раме бутылка масла). Германцы пропустили его. Священник докатил до молельни и уединился с нашим Коньяссо.

Коньяссо в политику не впутывался, но все же досконально ведал, кто, кого и когда, и с первого слова сан-мартинского священника понял, что надо посвятить в срочное дело Граньолу с его товарищами.

Те срочно явились, и было устроено заседание вокруг стола для игры в подкидного. Я всунулся последним, меня не заметили, и я весь сжался, чтобы меня не нашли и не выгнали. И я услышал рассказ сан-мартинского священника.

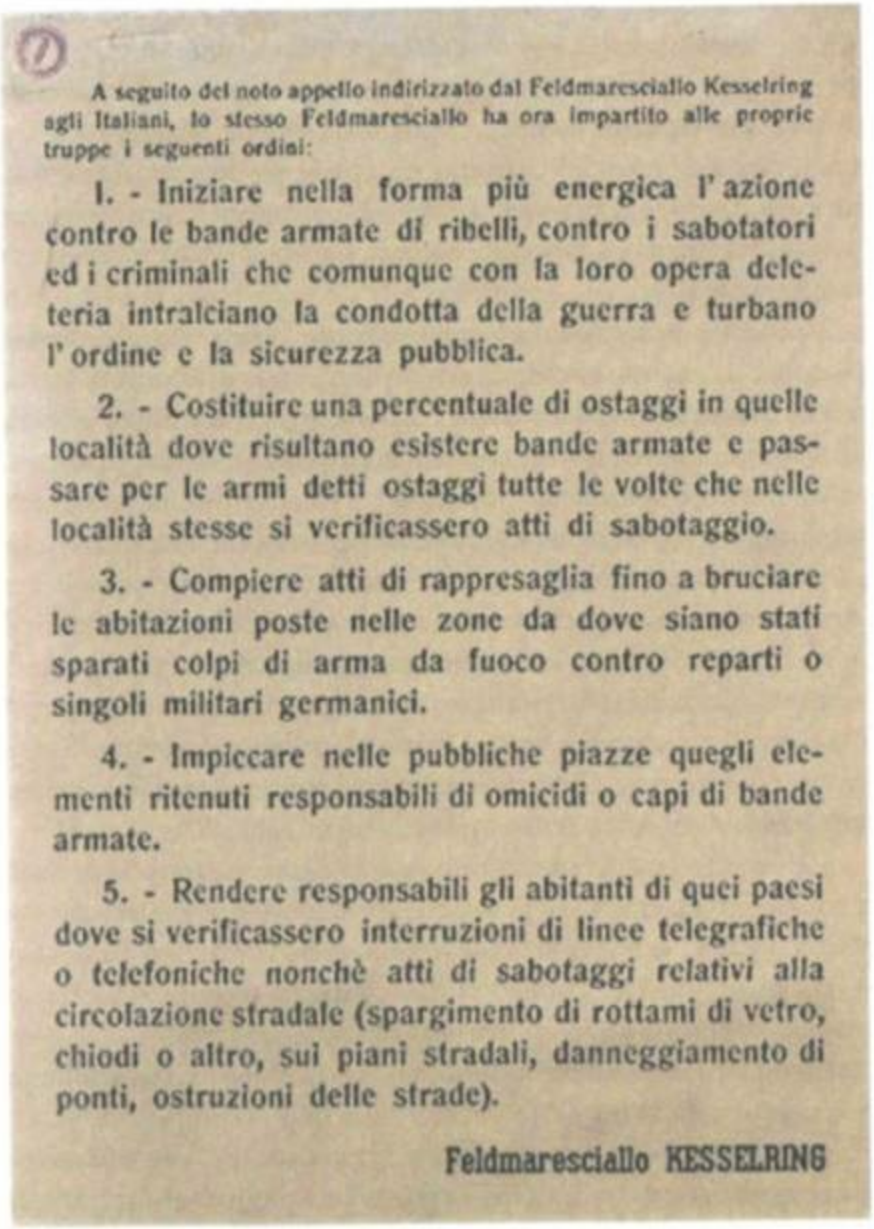
В немецких войсках были казачьи отряды. Многие наши не слышали о том, но Граньола, выяснилось, слышал. Их всех сперва захватывали в плен на русском фронте, и, так как казаки имели основания не любить Сталина, многие из них давали себя перевербовать (за деньги, или в силу ненависти к советской власти, или чтобы выйти из концлагеря, или в надежде наконец покинуть советский рай). Они вступали в вооруженные силы Рейха добровольцами. Потом их посылали на восточный фронт, скажем — в Карнию, где они изумляли всех грубостью и жестокостями. Одна «Туркестанская» дивизия воевала в окрестностях Павии. У нас в Италии этих солдат звали «монголами». Некоторое число красноармейцев, думаю, никаких не казаков, а просто русских, бежавших из плена, влилось у нас в Пьемонте в партизанские отряды.

Война, что всем уже было очевидно, подходила к концу, и те восемь казаков, о которых толковал нам в тот памятный день священник, вдруг обнаружили у себя совесть и определенные моральные принципы. Перевидав множество спаленных деревень и

перевешанного гражданского населения… и не только; увидав и как расстреливают их же собственных однополчан, если те отказывались казнить стариков и детей, казаки решили, что в рядах СС они оставаться больше не намерены.

— Вдобавок, — вставил Граньола, — в случае, если немцы проиграют эту войну, а они уже ее почитай проиграли, американцы с англичанами, арестуй они этих голубчиков на службе у немцев, как решат вопрос? Они их выдадут Советскому Союзу. Союзники же, понимаешь. И будет им полный капут. Конечно, казакам желательно устроить так, чтобы союзники отправили их куда угодно, лишь бы подальше от этого фашиста Сталина.

Так вот, продолжал священник, эти восемь парней слышали про партизан, воюющих единым фронтом с англичанами и американцами, и взяли курс на эти отряды. Они знают, что партизаны бывают разные, и решили пробираться не к гарибальдийцам, а к бадольянцам. Сбежав из армии, они отправились в сторону Солары, потому что им кто-то говорил, что бадольянцы здесь недалеко. Пройдя бог знает сколько километров по бездорожью, передвигаясь по ночам, казаки наконец дошли; однако эсэсовцы двинулись по их следу, и удивительно, что казаков не взяли сразу по дороге. Подумать только, побирались у крестьян, хоронились днями в домах и не встретили ни одного доносчика! По-немецки они что-то понимают. Итальянский же язык только один из них немного знает.



A seguito del noto appello indirizzato dal Feldmaresciallo Kesselring agli Italiani, lo stesso Feldmaresciallo ha ora impartito alle proprie truppe i seguenti ordini:

1. - Iniziare nella forma più energica l'azione contro le bande armate di ribelli, contro i sabotatori ed i criminali che comunque con la loro opera deleteria intralciano la condotta della guerra e turbano l'ordine e la sicurezza pubblica.

2. - Costituire una percentuale di ostaggi in quelle località dove risultano esistere bande armate e passare per le armi detti ostaggi tutte le volte che nelle località stesse si verificassero atti di sabotaggio.

3. - Compiere atti di rappresaglia fino a bruciare le abitazioni poste nelle zone da dove siano stati sparati colpi di arma da fuoco contro reparti o singoli militari germanici.

4. - Impiccare nelle pubbliche piazze quegli elementi ritenuti responsabili di omicidi o capi di bande armate.

5. - Rendere responsabili gli abitanti di quei paesi dove si verificassero interruzioni di linee telegrafiche o telefoniche nonchè atti di sabotaggi relativi alla circolazione stradale (spargimento di rottami di vetro, chiodi o altro, sui piani stradali, danneggiamento di ponti, ostruzioni delle strade).

Feldmaresciallo KESSELRING

Примечание к рисунку[341]

Уходя от СС, они забрались в Сан-Мартино, откуда рассчитывали выйти к партизанам, а если нет — то дорого продать свою жизнь. В Сан-Мартино им был нужен какой-то Талино, который, по их сведениям, был знаком еще с кем-то там, а тот с бадольянцами. Талино принял их, но укрыть у себя не мог, с ним рядом жила семья фашистов, в крошечном бурге шила в мешке не спрячешь. Так что Талино отвел парней к священнику. Священник пустил их в квартиру не по убеждениям и не по доброте, а от страха. Священнику нечем было их даже и кормить. Он трясся, понимая, что немцы вот-вот подымутся и

начнут искать в каждом доме, не минуя и священников дом.

— Ребята, понимаете, — бормотал священник. — Вы читали манифест Кессельринга. Если их найдут у нас, деревню сожгут. Если парни будут отстреливаться, жителей потом расстреляют как заложников.

Да, мы читали манифест, да и без манифеста было известно, что СС выполняют что обещали и бургов они уже пожгли не один.

— Ну и?.. — это Граньола.

— Ну и, учитывая туман, который господь ниспосылает днесь ради нашего спасения, учитывая, что немцы не знают этих мест, кто-нибудь из вашей Солары пусть заберет этих восьмерых молодцов и отведет их к бадольянцам.

— А почему кто-нибудь из нашей Солары?

— *In primis*, если уж хотите знать, что если связаться с нашими сан-мартинскими, неприятностей не оберешься. Растреплют языками. В нынешние времена чем меньше треплют языками, тем лучше. *In secundis*, потому что немцы патрулируют дорогу и по ней сегодня не пройти. Остается путь по Дикому Яру.

Услышав эти слова от священника, все решили, что он рехнулся, какой может быть Яр, да еще и в такой туман, пусть займется этими парнями их друг Талино, в общем, общество зашумело в таком примерно роде. Но проклятущий поп, сообщив мимоходом, что Талино исполняется восемьдесят и что он не спускается из Сан-Мартино даже по самым погожим дням, добавил (полагаю, мстя за все те неприятности, которые доставила ему наша ребячья шайка):

— Единственные, кто умеет подниматься по Яру в самый непроглядный туман, это ваши пострелята. Научились они, чтоб делать пакости. Пусть же теперь эти пакости послужат на пользу. Спустите казаков вниз по обрыву, их сведет кто-нибудь из ваших орлов.

— Черт, — сказал священнику Граньола. — Допустим даже, что мы спустим их, — и что? В понедельник их отыщут не у вас, а у нас, и дома пожгут не в вашем бурге, а в нашем?

В группе были Стивулу и Джиджо, те самые мужики, которые ходили вместе с дедом и Мазулу угощать Мерло дедовой касторкой, и как-то зналось, что они тоже были связаны с теми, из Сопротивления.

— Ничего, — сказал Стивулу, из двоих он был бойчее. — Бадольянцы сейчас в Орбеньо, в те края не добраться ни эсэсовцам, ни

Черным бригадам, слишком туда лезть высоко, и оттуда пулеметами простреливается вся долина, а пулеметы у них от англичан. Стреляют — чистое удовольствие. От нас до Орбеньо, если поведет Джиджо, а он знает местность, на грузовике кума Берчелли, а кум как раз поставил на машину противотуманные фары, доедем за пару часов. Ну, скажем, за три. Да, по темноте за три. Сейчас пять. Джиджо будет в Орбеньо примерно в восемь. Передаст все бадольянцам. Те спустятся вниз и будут ждать на повороте от нашего тракта к Виньолетте. Грузовик кума вернется сюда примерно в десять. По темноте — ну, считай, в одиннадцать. Будет ждать в лесу у подножия Дикого Яра. Около часовенки с Мадонной. Кто-то после одиннадцати залезет на гору, заберет тех из дома священника, спустит их, посадим в грузовик и еще до наступления утра передадим их бадольянцам.

— Вся эта гонка ради каких-то мамелюков, калмыков, что, будем дырявить свою шкуру и спасать ихнюю? Они до позавчера в СС служили! — произнес кто-то рыжий, по-моему, звали его Мильявакка.

— Парень, они уже там не служат, — отозвался Граньола. — К тому же восемь отборных, прекрасно обученных солдат в отряде совсем не помеха.

— В отряде бадольянцев, — не отставал Мильявакка.

— Что бадольянцы, что гарибальдийцы, и те и другие воюют за свободу. Сказано же, считаться будем потом, когда придет время. Давайте спасать казаков.

— Давайте. Они ведь граждане СССР, а это родина победившего социализма, — прорезался некий Мартиненго, который, видать, не сильно вник в нюансы происходящего. С другой стороны, куда ему. В то время трудно было что-нибудь понимать. Кругом сплошные перебежчики. Один из пашей Солары, Джино, сначала состоял в Черных бригадах и был среди самых заядлых, потом переметнулся к партизанам и стал наезжать к своей девушке в Солару, имея на шее красный платок. Но так как он был преизрядный балбес и приперся к девушке, когда вовсе не следовало, Черные бригады его поймали и расстреляли на утренней заре на окраине города Асти.

— В общем, за дело, пошли, — сказал Граньола.

— Есть одна закавыка, — сказал Мильявакка. — Вот и преподобный говорит, что по этой стенке лазать насобачились только ребята. А парнишку в эту тухлую историю не хотелось бы впутывать.

По любым причинам, да еще и потому — неровен час разболтает.

— Нет, — сказал Стивулу. — Вот тут трется господский Ямбо, вы не видели, поди, а он тут трется с самого начала, и, значит, дело ему известно. Господин его дед, коли узнает, что я сказал, не жить мне… Но по правде говоря, Ямбо по Яру гуляет как по собственной квартире, мальчуган он разумный, болтать не будет, я могу за него поручиться. Его дедушка и родители, по идее, с нами заодно. От них бед не жди.

Тут меня прошиб холодный пот, я залепетал, что меня заждались дома к ужину.

Граньола отвел меня в сторонку, и я услышал много всего хорошего. Что во имя свободы и во имя спасения восьми человек. Что в моем возрасте можно уже начинать быть героем. Что в конечном итоге я по Яру ходил туда-сюда массу раз и этот не отличается от прочих. Только вот с восемью казаками на буксире нужно будет двигаться немного аккуратнее. Пусть же немцы караулят внизу на дорожке, как последние разбалдуи. Им про Яр, поди, даже и не говорили. Что со мною пойдет он сам, хотя и болен, но существует такое слово — надо, против которого не поспоришь. Что мы пойдем не в одиннадцать часов, а в полночь, когда в моем доме все лягут и я свободно выберусь. А утром выйду к родителям из своей спальни как ни в чем не бывало. В общем, гипнотизировал меня всеми средствами.

В конце концов я поддался. Я думал про себя, что про такое геройство когда-нибудь я всем смогу рассказать. Настоящее партизанство. Почище Гордона в Арборской гати. Посерьезнее Тремал-Найка в Черных Джунглях. Отважнее Тома Сойера в пещере. Поведу через чащи, где завяз бы даже «Патруль слоновой кости». В общем — вот наступает мгновенье славы, за Родину, за настоящую Родину, не за подмененную! Без патронташа и без «стена», без маскарада, я геройствую голыми руками. Точно Дик Фульмине. В общем, все мои чтения кружили и пели в голове. А если и выпадет мне умереть, то наконец я увижу травинки, толстые, будто столбы.

«Мальчуган разумный», я обсудил ряд технических деталей с Граньолой. Тот говорил, что надо устроить связку из всех казаков, то есть нужна длиннейшая веревка, и будем сходить как альпинисты. Я возразил, что это нельзя, потому что на спуске, если хоть один соскользнет, он утянет за собой всех, поэтому веревок нужно иметь десять. Каждый будет соединен с предыдущим и с последующим. Но

если уж одному из нас не повезет и он начнет соскальзывать, веревку придется отпускать, пускай лучше один, чем все десять.

— А ты соображаешь, — сказал на это Граньола.

Я возбужденно спросил, будет ли он вооружен, на что он:

— Нет. Во-первых, потому что я неспособен убить и комара. Затем еще, потому что если, не дай господь, приведется стрелять, то для стрельбы у нас будут казаки. И в-последних, если, даже говорить не хочется, меня схватят, то пускай уж лучше я буду при этом без оружия. Попасться с оружием — прямая дорога на виселицу.

Мы пошли к священнику и проинформировали его, что согласны и что пусть он к часу ночи готовит своих казаков па выход.

Приблизительно в семь я явился домой ужинать. Встреча была назначена у мадоннинои часовни ровно в полночь. Чтоб дойти до часовни, требовалось сорок пять минут бодрого ходу.

— Есть часы у тебя? — спросил Граньола.

— Часов нет, но с одиннадцати, как улягутся, я сяду в столовой и начну следить за временем по ходикам.

За ужином голова горела, после ужина я делал вид, будто слушаю радио и смотрю марки. Напряжение усугублялось тем, что папа в этот вечер оставался дома. Из-за тумана он не рискнул возвращаться в город и отложил выезд на утро. Однако в спальню он ушел довольно скоро после ужина, а с ним и мама. Занимались ли еще мои родители любовью? Им было за сорок. Этот вопрос возник у меня только сейчас. Сексуальная жизнь матери и отца, полагаю, пребывает для всех заповедной. Первичная сцена — бредни Фрейда. Так и будут родители показываться детям! Еще чего! Но вдруг припомнилась обрывистая полуфраза мамы, с подругами, где-то в самом начале войны, то есть ей незадолго до того исполнилось сорок (и с сильно наигранным оптимизмом она заявляла: «Подумаешь. Жизнь начинается после сорока»). Так вот, фраза: «О, мой Дуилио в былое время своего не упускал…» Это когда? До рождения Ады? А после этого они не совокуплялись? «Кто знает, чем утешается Дуилио в городе один, с секретаршей», — пошучивала мама в доме деда. Но, похоже, она и впрямь шутила. Интересно, бедный папа, под беспрестанными бомбежками, сиживал там с кем-нибудь рука в руке?

В одиннадцать, дом весь погрузился в молчание, я сидел в столовой, в темноте. Время от времени чиркал спичкой, чтобы

разглядеть ходики. В четверть двенадцатого встал и отправился в туман, в гору, к мадонниной часовне.

Главное чувство — страх. Тогда? Или ныне? Роятся образы. Может быть, рядышком со мной кружат кромешницы? Может, они взаправду поджидают в ближнем лесочке, который я не могу разглядеть через туман? Обольстительные (какие там беззубые старухи! они в платьях с шлейфами!) и страшные — у них пулеметы, они стреляют, распыляют меня в симфонии алых брызг. То, что я видел, не имело ни основания, ни смысла, ни взаимосвязанности…

Граньола заругался, что я опаздываю. Тут я заметил, что он дрожит. А я уже не дрожал. Теперь я был совершенно в своей стихии.

Я-то знал дорогу вдоль и поперек, а вот Граньола каждый шаг стонал, что, ой, падает, и я его подбадривал. Я был командующим. Знал, как пройти по дороге через джунгли, даже если по соседству туги Суйод-хана. Вытанцовывал ногами сложный ритм, как будто партитуру разыгрывал. Полагаю, именно таким образом играет пианист — руками, разумеется, не ногами. Я шел уверенно. Граньола, тащившийся за мной, все спотыкался. Кашлял. Приходилось оборачиваться, брать за руку. Туман был плотен и густ, но в полуметре друг друга видно. Натягивалась веревка, из непроницаемого водного пара выникал Граньола. Туман разреживался, Граньола вырисовывался разом, будто Лазарь, ухитрившийся размотать свои погребальные бинты.

Подъем длился час или больше, но к назначенному сроку мы успевали. Я только предупредил Граньолу, чтоб он обходил с осторожностью ребристый валун. Если после него шагнуть не прямо, а с уклоном налево и если под ногами начинала поскрипывать галька — ты на обрыве.

Мы добрались до верху, протиснулись в щель, наверху в Сан-Мартино тоже не было видно ни зги. Вперед, ты за мною, прошептал я Граньоле, тут будет проулок. Двадцать шагов. Дверь священникова дома — вот тут.

Постучали как было условлено. Три стука, пауза, еще три. На

пороге священник, багрово-серо-бледный, как чертополох, который вырастает в летний зной по обочинам проселков. Восемь казаков были все как один вооружены, словно налетчики, и напуганы, словно дети. Граньола стал говорить с тем из них, кто знал по-итальянски. Говорил тот, кстати, довольно правильно, хоть и с диким акцентом, но Граньола, в традиционной манере обращения к иностранцам, не спрягал глаголы, а использовал неопределенную форму.

— Ты идти перед друзьями. Ты идти за мной и за бамбино. Ты говорить друзьям, как я говорить. Они делать, как я делать. Ты понял?

— Понятно, понятно. Мы готовы. Можно идти.

Священник, неведомо каким чудом не обмаравшись, открыл входную дверь и выпустил нас на улицу. Но именно в эту минуту издалека, от места, где наш проулок втекал в центральную площадь, послышались немецкий говор и потявкивание.

— Ядрен господь, — сказал Граньола, священник не отреагировал. — Фрицы уж тут. Они с собаками. Собакам на туман плевать, по нюху идут. Что мы теперь, к дьяволу в хвост, будем делать?

Главный казак сказал:

— Я знаю, как там у них. Один патруль с собакой, четыре патруля без собаки. Пойдем. Может быть, встретим тех, у которых собаки нет.

— *Rien ne va plus,*[342] ставки сделаны, — ответствовал на это культурный Граньола. — Тогда идем медленно. Стреляете только по моему приказу. А вы принесите полотенца, любые тряпки и любые веревки. — Потом он пояснил мне: — Проходим улицу и слушаем на углу. Если там нет никого, проскочим в расщелину — и ходу. Если там ждут с собаками, мы пропали. Тогда, конечно, стрелять и по фрицам, и по псам, но кто знает, сколько там фрицев. Если псов при фрицах нет, пропустим их, налетим сзади, свяжем и заткнем тряпками рты, чтобы не кричали.

— И оставим там лежать?

— Вот еще. Одурел ты. Придется брать с собою в Яр. Оставлять опасно.

Он наскоро повторил все это казаку, тот пересказал своим.

Кюре вынес нам полотенца и шнуры для подпоясыванья священнических риз. — А теперь идите, идите поскорее, с благословения Божия.

Мы добрались до угла. Слева раздавались голоса немцев. Ни лая,

ни повизгиванья.

Мы ждали, притаясь. Две тени неторопливо приближались, слышался разговор, похоже — чертыхание, потому что дороги им было не разглядеть.

— Их только двое, — дал понять остальным Граньола знаками. — Дадим пройти, а потом — на них.

Два немца, которых послали прочесывать местечко с нашего боку, тогда как прочие с собаками шныряли по площади, двигались на ощупь, натыкаясь на дома, с винтовками наперевес, и даже проглядели угол, за которым мы стояли, и прошлепали мимо. Казаки абсолютно бесшумно повисли им сзади на плечи, это они умели: доля минуты, и немцы с кляпами во ртах уже лежали носами в землю, а казаки довязывали им руки за спиной.

— Сделано, — подытожил Граньола. — Теперь бери, Ямбо, бери их винтовки и побеги скинь эти винтовки с того бруствера вниз, в провал, а вы идите и тащите этих фрицев за нами, идите осторожно следом за мной.

Я трясся, но выполнил. Теперь уже командовал Граньола. Сквозь дырку мы прошли без приключений. Граньола раздал всем веревки. Однако тут возник вопрос, как же быть дальше. У всех, кроме первого и последнего, в обеих руках полагалось быть по концу веревки. Как можно одновременно держать веревки и волочь двух связанных немцев? До первых кустов мы добрались, в кустах Граньола стал наново организовывать всю нашу связку. Те двое, которым выпало конвоировать немцев, привязали свои веревки к ремням пленных, правой рукой держали фрицев за шивороты, а в левых держали концы веревок для связки с товарищами. Как только мы снова выступили в путь, один немец повалился и дернул вниз конвоира, цепочка разорвалась. Казаки дружно процедили сквозь зубы шипящие звукосочетания, которые, вероятно, у них на родине являли собою дьявольские ругательства.

Поднявшись после падения, немец тут же начал улепетывать, двое казаков погнались за ним и чуть не упустили — никто не знал, куда можно ступать, а куда опасно, по счастью, беглый немец сам споткнулся и рухнул лицом в песок. Каска скатилась. Начальник казаков дал нам понять, что каску следует подобрать и надеть обратно, не то собакам дадут нюхнуть каску и те отыщут нас всех по следу.

Лишь в эту минуту мы глянули на второго немца: он был без каски.

— Так, в бога и в душу всем, — прохрипел Граньола. — Каска осталась в переулке, собаки возьмут его след как пить дать!

Как пить дать. Точно: сошли только несколько метров, и сверху улсе стали явственно слышаться голоса и лай собак.

— Они в переулке. Они нашли каску, собаки понюхали и показывают, куда мы прошли. Спокойствие. Не терять спокойствия. Во-первых, пока они еще найдут дыру. Во-вторых, пока они еще спустятся. Собаки по этой горе не умеют. Они — не Ямбо. Ямбо, веди нас скорее с горы. Давай-ка, живо.

— Я живо. Но мне очень страшно.

— Тебе совсем не страшно. Это только нервишки. Вдохни поглубже и давай, давай, действуй.

Я был готов обмараться хуже священника, но сознавал: все зависит от меня. Стиснув зубы, я подумал, что, несомненно, предпочел бы быть Жирафоной или обезьяной Йойо, а не Романо-легионером; коровой Кларабеллой, а не Микки-Маусом в доме с призраками; господином Пампурио в роскошной квартире, а не Флэшем Гордоном в Арборской гати. Однако карта легла иначе. И я рванул что было духу с горы по Дикому Яру, проговаривая едва ли не вслух каждый очередной шаг.

Пленники мешали, тормозили и задерживали. С тряпками во рту, они, сопя, то и дело останавливались перевести дух. Ушло не менее пятнадцати минут, чтоб подобраться к ребристому валуну. Я точно знал, что мы у камня, и я нащупал его руками еще до того, как наступить. Теперь полагалось, разворачиваясь, спрыгивать с камня налево, потому что направо, очень близко рядом, за узкой полосой гальки, была открытая пропасть. Голоса с верхотуры доходили все более четко. Мы не знали, потому ли это, что немцы принялись орать во всю глотку, науськивая собак, или потому, что они уже прошли через дырку и начинают спускаться.

Наши пленники услышали немецкий крик, принялись биться, упираться, притворно падали, пытались укатиться неведомо куда, перекатываясь с боку на бок, — совершенно обнаглели. Они рассчитывали, что мы не станем по ним стрелять, чтобы себя не выдать. Они рассчитывали, что, куда бы они ни закатились, псы их отыщут. Терять им было нечего, а те, кому терять нечего, — хуже всех опасны.

Послышались автоматные очереди. Не умея сойти, немцы начали

стрелять. Хорошо, что Дикий Яр уходил отвесно вниз почти по полной вертикали. Немцы не знали, каким путем пошли мы. Они стреляли куда попало. Они не знали, что Яр имеет уклон чуть ли не сто восемьдесят градусов. Палили перед собою. Мы слышали, как пули свистели прямо над головой.

— Ну ходу, ходу, — понукал Граньола. — Здесь мы не простреливаемся.

Вероятно, первые немцы начали все-таки спускаться, догадавшись, что пулей убегающих не достать. Псы вели их. Стреляли теперь они книзу. Определенно в нашу сторону. Пули ложились в кусты на склоне. Надо сказать, довольно-таки от нас близко.

— Не беспокоимся, — сказал на это казак. — Я знаю *Reichweite* ихних *Maschinen.*

— Дальность полета пуль? — спросил Граньола.

— Дальность. Если они ближе к нам не подойдут, пули нас не заденут. Но нам надо поспешить.

— Граньола, — произнес тогда я громко, не удерживая слез, больше всего мечтая попасть снова к маме. — Я вполне могу быстрее, ну а вы-то, вы-то? Вы не можете тащить с собой этих двоих. Какой толк, что я поскачу вперед как коза, если вы из-за них не держите скорость. Давайте оставим их тут, а не то, честное слово, я сейчас побегу вперед со всех ног — и делайте что хотите!

— Если мы их оставим тут, они в два счета развяжутся и позовут товарищей, — пробурчал Граньола.

— Я их убью прикладом. Не шумно, — прошептал казак. При мысли, что этих бедняг хотят убить, я оледенел.

Снова вступил Граньола и рыкнул в ответ: — А что за толк от этого, сучья плешь. Оставим их лежать, собаки нанюхают, и фрицы поймут, куда мы пошли. — Он был так взвинчен, что перестал ставить глаголы в инфинитив. — Разве что сбросить в тот обрыв, в обратную сторону с горы, не в нашу, пускай собаки вынюхивают, сколько хотят, тот склон, выиграем десять минут, может, и больше. Ямбо, там вправо, ты говорил, в нескольких шагах от ребристого валуна, край откоса? Давайте тащите их туда. Ты говорил, что кто двинется по этой тропинке, может, как нечего делать, слететь с горы в овраг? Ну, этого нам и надо. Пусть валятся со своими собаками. И покуда немцы разбираются с этим бардаком, мы будем уже в долине. Кто падает, тот

обязательно разбивается насмерть, я из твоих слов понял?

— Нет, я… из моих слов… насчет обязательно я не уверен. Переломается, это точно. Ну, если голову стукнет о камень, то вряд ли выживет…

— Ты, чертов сын, сначала говоришь одно, а потом другое. Вот сбросим, а они живехонькие докатятся до низу обрыва, развяжутся, всполошат округу и воплями упредят своих, чтоб остальные не упали!

— Значит, бросать их надо мертвыми, — подытожил казак, который знал, как устроены вещи в этом пакостном мире.

Я стоял рядом с Граньолой и мог видеть его лицо. При бледности, какая была всегда, мне сказали бы, не поверил, что еще можно вдвое побледнеть. Глаза были закачены к небесам, как в экстазе. Профырчали, фр-фр, какие-то пули, пролетая на уровне голов, один из немцев ткнул что есть силы локтем в бок охранника, оба рухнули наземь, и казак взвыл от боли, потому что пленный немец двинул его головой по зубам, по всей видимости, фриц шел на любое, чтобы если не освободиться, то хотя бы нашуметь. Тут Граньола принял новое решение. Он сказал:

— Мы или они. Ямбо, если идти направо, через сколько шагов будет этот самый обрыв?

— Через десять. Десять моих. Твоих, думаю, восемь. Тронешь землю ногой. Это будет начало откоса. По откосу до кромки еще ровно четыре шага. Твоих для верности — не больше трех шагов.

— Делаем вот что, — произнес Граньола, повернувшись к старшине казаков. — Я иду вперед, двое ваших вслед за мной волочат фрицев. Пусть их держат крепко сзади за плечи. Остальные стоят и ждут нас.

— Что ты хочешь? — переспросил я его, стуча зубами.

— Заткнись, молчи. Тут война. Ты тоже жди. Это приказ. Понял?

Они ушли в правую сторону от валуна, в дымные пары. В *fumifugium*. Ждать пришлось несколько минут. Скатывались камни, и послышался глухой шум. Граньола с казаками возвратились из тумана уже без немцев.

— Можно идти. — Это Граньола. — Теперь по-быстрому. Он на ходу сжал мне руку в локте. Он сильно трясся.

Я посмотрел на него. На нем был надет свитер с высоким воротом. Поверх свитера на груди видно было ладанку, ножны для скальпеля. Он вытаскивал, значит, эту ладанку из-под свитера.

— Что ты сделал? — спросил я в слезах.

— Ты не думай про это. Это было правильно. Собаки унюхают кровь и стащат с обрыва прочих. Наше спасение. Иди, иди же скорее.

Видя мои глаза: — Они или мы. Двое или десять. Это война. Иди, иди же.

Через полчаса, подгоняемые остервенелым лаем собак за спиной, но с другого склона горы, убегая от этого лая, мы достигли наконец долины. Вот и дорога. Невдалеке грузовик Джиджо ждал нас в лесочке. Граньола махнул казакам: полезайте в кузов. — Еду с ними, сам их передам бадольянцам, — сказал он. Мне в глаза он не смотрел. Было видно, что торопится услать меня скорее. — Ты иди к себе домой. Был молодцом. Заслужил медаль. Об остальном не думай. Выполнил долг. Никакой вины. Вина не на тебе, а на мне ляжет.

Я вернулся мокрый, в поту, хотя и с холода, в полном изнурении. В своей комнате я уж готов был провести остаток ночи без сна, однако вышло еще хуже, я отключался на минуту-другую, дяди Гаэтано тут же выскакивали из нутра шкафа и танцевали с перерезанным горлом. Подскочила температура. Я должен исповедаться, должен, должен, должен, твердил я себе в забытьи.

Но главный ужас обнаружился, когда наступило утро. Поднявшись вовремя, чтоб попрощаться с отцом, я вел себя странно, и мама не могла никак понять, отчего я такой. Так, слово за слово, мы дотянули примерно до середины утра, и тут явился Джиджо и вызвал деда и Мазулу. Когда он прощался с ними через некоторое время, я ему махнул, он по пути свернул в виноградник и в разговоре сразу мне все выложил.

Граньола довез казаков до бадольянцев, затем на той же машине с Джиджо поехал обратно в Солару. Бадольянцы сказали, что ночами опасно перемещаться без оружия. Они прослышали, что под Солару подтягиваются чернобригадовцы, в подкрепление немцам, поэтому главное — осторожность. И выдали Граньоле карабин.

От развилки на Виньолетту, в два конца, туда и обратно, поездка заняла три часа. Они вернули машину на подворье кума Берчелли. И двинулись пешком в Солару. Вроде дело было сделано. Ни звука не было слышно. Они себе топали по дороге. Туман был сильный, но начинало светлеть, светало. Оба приходили в себя после ночных

подвигов, говорили не таясь, громко, хлопали друг друга по плечу. Хлопали и не заметили, что во рву засада. Так и вышло, что чернобригадовцы взяли их тепленькими на ближнем подходе — в двух километрах от бурга. Тепленькими и с ружьями. Что ни пой… и что было петь. Их швырнули в машину, назад, между сиденьями, чернобригадовцев было пятеро, двое сели вперед, другие двое сели внутрь прямо к ним, еще один высматривал дорогу с подножки.

Их даже не связывали, двое чернобригадовцев с автоматами на коленях сидели над ними, а они были там вповалку как два мешка.

Как вдруг до Джиджо дошел какой-то странный звук, будто порвали холст, и в лицо ему брызнула липкая влага. Видно, фашисты тоже услышали хрип, засветили фонарь — и все увидели Граньолу с перерезанным горлом и со скальпелем в руках. Фашисты принялись метаться и богохульствовать, машину остановили и с помощью того же Джиджо вытащили Граньолу на обочину. Граньола был мертвый, или почти мертвый, повсюду кровь. Подошли те трое — один с подножки, двое из кабины. И все ругались друг с другом. Что надо было доставить живым. Что его разговорили бы в комиссариате. Что их теперь сдадут в арест за то, что не связали задержанного при транспортировке.

Пока они ругались над трупом Граньолы, они, наверно, упустили из виду Джиджо. Тогда он сказал себе — сейчас или никогда. Он прыгнул вбок, через ров, где, ему помнилось, водоямина под кочкой. Те выпустили вслед очередь, но он уже скатывался кубарем в канаву, а оттуда в ближайший лес, в глушь. В тумане легче было бы отыскать иглу на сеннике. Фашистам не было расчету поднимать большой хай, лучше им было поздорову свалить подальше тело Граньолы и двигать в свой комиссариат, создавши видимость, будто бы ночью никого не задерживали, тогда никто с них ничего и не спросит.

Так что утром, когда машина Черных бригад отбыла в расположение немцев, Джиджо с ребятами отправился на место событий, они пошарили по канавам и рвам и быстро нашли Граньолу. Соларский священник не согласился отпевать покойника в церкви, как анархиста и самоубийцу. Но дон Коньяссо сказал, что отпоет в молельне, потому что господу виднее, как с кем поступать. Виднее, чем его священникам.

Граньола был мертв. Он спас казаков, отправил домой меня, потом умер. Я превосходно понимал, как это было. Он мне неоднократно

рассказывал это — превентивно. Он был слабак и боялся, что, если его возьмут и станут пытать, он выдаст, подставит под удар товарищей. За них и умер. Вот эдак. Шурхх… Как резал пленных немцев. Немедленно — возмездие. Сильный номер слабака. Расплатился за единственное насилие. И избавился от угрызения, которое не имел сил терпеть. Вдобавок всем вставил — фашистам, немцам и господу — одновременно. Так просто. Шурхх.

А я был жив. И не мог себе простить этого.

И тут поплыли воспоминания, будто раздернулся туман. Лежу и вижу: партизаны с победой входят в Солару. 25 апреля слышим, что освободили Милан. Люди высыпали на улицы. Партизаны стреляют в воздух. Партизаны въезжают в город, облепивши крылья драных полуторок. Через несколько дней, я вижу, по аллее конских каштанов на велосипеде катит к нам в Солару незнакомый военный в оливково-зеленой униформе. Отрекомендовывается: бразилец. Он с веселым видом приехал посетить нас, как экзотическую местность. Как, бразильцы тоже воюют в армиях союзников? Нам это было до тех пор не известно. Странная война. *Drôle de guerre*.[343]

Проходит какая-то неделя, вступает первое подразделение американцев. Все они негры. Натягивают палатки посередине двора молельни. Мы сразу становимся друзьями. Главный мой друг — капрал, католик, у него в кармане мундира уложен образок Святого Сердца.[344] Он дал мне газеты с комиксами про Лила Абнера и Дика Трейси. Он дал мне несколько жвачек. Я жевал эти жвачки бесконечно, вынимая перед сном изо рта и храня в стакане, как старушки вставную челюсть. Капрал дал мне понять, что хотел бы попробовать спагетти. Я в восторге, приглашаю его домой, Мария собирается сготовить аньолотти и соус из мяса зайца. Но только мы заходим в дом, мой капрал замечает, что в саду — другой черный, этот другой — в звании майора. Капрал ретируется в смущении.

Американцы искали хороших квартир для своего комсостава, обратились и к моему деду, и семья предоставила американскому командованию хорошую комнату в левом флигеле, ту самую комнату, которую впоследствии Паола переоборудовала нам под спальню.

Майор Мадди, полноватый, с улыбкой как у Луи Армстронга, кое-как приспособился беседовать с дедом. Он знает несколько фраз по-

французски, на том единственном языке, который полагалось знать у нас в качестве иностранного. Он обменивается французскими любезностями с моей мамой и с другими дамами, посетительницами, приходящими на чай глянуть на освободителя. Ходит даже та фашистка, что ненавидела арендатора. Все у столика в садике, на столе лучший сервиз, рядом — далии. Майор Мадди говорит «мерси боку» и «уи, мдам, муа осси эм ле шампань».[345] Он ведет себя с заторможенной вежливостью чернокожего, наконец-то принятого в доме белых, и вдобавок в состоятельном доме. Дамы перешептываются: видите, он галантен, а нам-то их изображали как пьяных хамов.

Поступает сообщение о капитуляции Германии. Гитлера нет в живых. Война оканчивается. В Соларе празднуют на всех улицах, обнимаются, пляшут под аккордеон. Дед принимает решение — немедленно переезжать в город, невзирая на то что лето только начинается. Но мы за эти годы накушались деревни досыта, даже через край.

Я отхожу от собственной трагедии. В толпе счастливых сограждан несу по улицам не видимые никому образы двух зарезанных, скидываемых в тумане в жуткую пропасть немецких военнопленных и образ Граньолы, девственника и мученика, расставшегося с жизнью во имя страха, во имя дружбы и во имя принципов.

Я так и не нашел в себе смелости сходить к дону Коньяссо исповедаться… В чем, кстати? Что ли в том, чего я не совершал и даже не видел, а только угадывал? Не имеючи за что просить прощения, и не будешь прощен. Достаточно, чтобы чувствовать себя проклятым — бессрочно.

Глава 17
Осмотрительный отрок

«До чего я убиваюсь и грущу, что случайно, боже, грех я допущу» — учили меня этому у дона Коньяссо, или это я мурлыкал, переселяясь в городскую квартиру?

В городе теперь улицы ярко освещены, люди гуляют вечером, люди пьют пиво и шатаются по набережной, есть кафе-мороженые и открылось несколько летних кинотеатров. Мне одиноко. Соларская компания осталась в Соларе. Джанни еще не вернулся в город — мы увидимся только в сентябре. Остаются прогулки с родителями. Я слегка стесняюсь: за руку держаться я уже перерос, а один ходить не дорос. В Соларе такого вопроса не стояло. Свобода.

Мы активно посещаем кино. Обнаруживается — от войны можно излечиваться чечеткой, и Джеймс Кэгни[346] в «Янки дудл денди» открывает мне глаза на существование Бродвея…

Чечетка была и в старых фильмах Фреда Астера, но у Джеймса Кэгни она злее, освободительнее: жизнеутверждающий топот. У Астера — дивертисмент, у Кэгни — агитация, причем патриотическая. Агитацию, проводимую посредством танца, я встречаю впервые. Вместо гранаты — лаковые туфли, в зубах цветок. Прелесть подмостков как модели жизни: так и судьба неотвратима, *the show must go on.*[347] Я приобретаю новое видение мира благодаря мюзиклам, просмотренным запоздало.

«Касабланка». Виктор Ласло поет «Марсельезу»… Значит, в собственной трагедии я подрядился на правильную роль… Рик Блейн стреляет в майора Штрассера… Был прав Граньола, такова война.

Отчего Рик расстался с Илзе Лунд? Значит, любить нельзя? Сэм — это в моем случае майор Мадди. Но кто же Угарт? Может, Граньола, закомплексованный и хворый слабак, попавшийся палачам из Черных бригад? Нет, такая саркастическая ухмылка могла быть только у капитана Рено. Однако в финале фильма он уходит от зрителя вглубь, в туман, вместе с Риком, и держит курс на бригаду Сопротивления, в Браззавиль.

Граньола не отправится в туман со мной, воевать в пустыню. С Граньолой я прожил не начало, а финал замечательной дружбы. Эмигрировать из моих воспоминаний можно только при наличии, как в «Касабланке», заветной визы. У меня этой визы нету.

В газетных киосках множество новостей, газеты с новыми названиями и журналы с манящими обложками, на обложках дамочки в декольте или в таких облегающих блузках, что явно виден рельеф сосков. Роскошные груди — на всех киноплакатах. Весь мир вокруг меня круглится, и все напоминает мне бюст. Когда не напоминает гриб. Хиросиму.

Первые фотографии лагерей. Это еще не штабеля трупов, которые покажут нам впоследствии. Это фото первых освобожденных. Впалые глаза, скелетная грудь с ребрами-горбами, гипертрофированные локтевые суставы, как шарниры между мослов — плечевой и лучевой костью. О войне до оных пор я имел опосредованное представление,

только цифры: десять самолетов сбиты в бою, сколько-то убитых и сколько-то пленных, оповещения о расстрелах партизан за городом. Но за исключением той ночи в Яру, я ни разу не видал своими глазами поруганное человеческое тело. И даже тою ночью, вообще-то, не видал, потому что в последний раз, когда я видел пленных немцев, они были живые. Мертвыми они являлись мне только в болезненных кошмарах. На фотографиях лагерников я искал глазами господина Ладзаро, того, который рассказывал про игры в шарики. Но даже если и был этот Ладзаро на фотографии, он вряд ли был узнаваем… *Arbeit macht frei.*[348]

В кино хохочем от ужимок Бада Эбботта и Лу Костелло,[349] Бинг Кросби и Боб Хоуп появляются с интригующей Дороти Ламур,[350] вечно завернутой в саронг, — троица путешествует не то в Занзибар, не то в Тимбукту, и всем представляется уже в 1944 году, что жизнь прекрасна.[351]

Corriere Lombardo

E' ESPLOSA LA BOMBA ATOMICA

Il mondo è sbigottito
Che cosa accadrà?

Sblocco dei tessili e delle calzature

Il Comando alleato ordina di riprendere i lanci

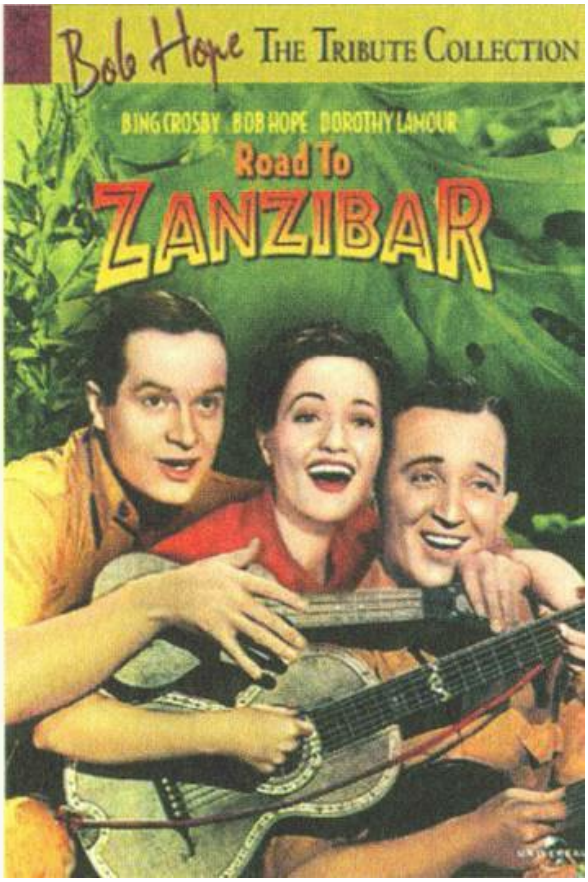
"Il sole è battuto"

Gli esseri viventi polverizzati a Hiroshima

Una voce clandestina esorta all'insurrezione

Londra dice:

Tagliato in due dal mare



Примечание к рисунку[352]

Перед обедом меня командируют на велосипеде к одному спекулянту, который откладывает для меня и для сестры Ады по белой булке. Это первый пшеничный хлеб, который мы видим после желтых,

жестких и непропеченных буханок из непросеянной муки, которые мы грызли в военные годы, находя в них что угодно, от веревок до тараканов. Эти поездки — символ первого приближения к благосостоянию, символ восстановления нормальной жизни. Я, конечно, подъезжаю ко всем газетным киоскам. Муссолини повесили на Лорето, Кларетта Петаччи болтается вверх ногами, и чья-то милосердная рука заколола ей юбку в паху английской булавкой. Вечера памяти павших партизан. Я не ведал, что вешали и расстреливали в таких масштабах. Поступают первые статистические данные по военным потерям. Пятьдесят пять миллионов, говорят нам. Что смерть Граньолы по сравнению с этой гекатомбой. Бог, похоже, действительно зол? Материалы Нюрнбергского процесса. Всех повесить, за исключением Геринга, который успел отравиться цианистым калием, полученным от жены с последним поцелуем. Преступление в Вилларбассе[353] знаменует возврат к бытовому насилию, теперь можно снова убивать людей ради простой наживы. Потом убийц арестовывают. И всех расстреливают на заре. Значит, расстрелы продолжаются. Расстрелы на пользу мирной жизни? Приводят в исполнение приговор Леонарде Чанчулли, она в войну варила мыло из своих жертв. Рина Форт молотком убила жену и малолетних детей своего любовника. В газете описано, как от вида белоснежной ее груди любовник в свое время лишился разума и сна. Любовник — мужчина с пещеристыми зубами, наподобие дяди Гаэтано. В первых фильмах, которые я смотрел в кино, показывали Италию тех уличных «синьорин», которые поджидали американцев *возле казармы, где большой забор… Я одна по улицам иду через равнодушную толпу,* — вот оно, оказывается, что значило. Смотря как понимать.

По понедельникам, в базарный день, в полдень к нам обычно жалует далекий двоюродный дядя Поссио. Не мог мимо проехать, оправдывается он, как не зайти проведать родню. Всем совершенно ясно, что он мечтает о приглашении на обед, потому что питаться в поездке ему не на что. Я так и не понял, кем работает дядя. Понял только, что он ищет другую работу.

Дядя Поссио сидит у нас, осторожно выхлебывает бульон с вермишелью, стараясь не упустить ни капли, лицо загорелое, изможденное, жидкие волосы аккуратно зачесаны, локти пиджака лоснятся.

— Понимаешь, Дуилио, — говорит он всякий раз, — я не ищу особенной работы. Ну просто чтобы была зарплата, пусть даже и маленькая. Мне ведь и крох-то хватит. Если каждый день по крохе, то в получку тридцать крох. — И он возводит ладони к небу, будто на Мосту Вздохов,[354] и воспроизводит жестами, как кроха опускается с небес, манна приникает к ладони, и как он счастлив от ниспосылаемой благостыни.

— И сегодня у меня почти уже было получилось. Я ходил на прием к Карлони, в сельскохозяйственную управу. Этот все может. Когда захочет. У меня была к нему записка, ведь же известно, в наше время без рекомендательной записки ты никто. А сначала на вокзале я купил газету. Ты же знаешь, для меня политика — темный лес, я купил что лежало, даже не читал газету в поезде, потому что вагон был битком и я еле держался. А она была в кармане. Пригодится, даже если не читать, завернуть чего-нибудь. Захожу к Карлони, он со мной так хорошо поговорил, берет письмо, вдруг смотрю — косится поверх письма. И говорит мне прямо не читая даже: свободных мест нет и не ожидается. Лишь только у дверей я заметил, что газета в кармане у меня — «Унита».[355] Знаешь же, Дуилио, я к правительству полностью лоялен, я просто взял газету, которая лежала ближе, а тот-то, глядь, у меня «Унита» в кармане, ну и свободных мест нет. Свернул бы я ее названием в середину, и все пошло бы прекрасно. Но если кто-то невезучим уродился… Судьба такая, как ты думаешь, Дуилио?

В городе открывается танцплощадка. И каждый вечер на ней царит наш двоюродный Нуччьо, вырвавшийся от иезуитов. Теперь он совсем повзрослел (сказать по чести, мне он казался порядочно взрослым и когда сек Мишку). На него напечатали даже в газете карикатуру, и родители лопаются от гордости: Нуччьо извивается сразу во все стороны (как дядя Гаэтано, но не так судорожно) в танце, охватившем всю страну, как эпидемия, — в безумном буги-вуги. Я маловат пока для этих танцев, я маловат даже и для танцплощадки, так что дрыгание этих щелкунчиков на паркете я воспринимаю как кощунство — после Граньолы и его перерезанного горла.

Мы вернулись, когда лето только началось. Мне скучно. На велосипеде в два часа дня, когда город отдыхает, я выписываю круг за кругом. Одурманиваю себя пространством, чтоб выдерживать духоту и скуку. Дело даже не в духоте, а в тоске, разъедающей меня изнутри.

Мною владеет единственная настоящая страсть лихорадочного, одинокого отрочества.

Я выписываю круги ежеденно, с двух часов до пяти. Трех часов хватает, чтоб объехать небольшой город много раз, переменяя маршруты. Через центр и через набережную, после чего проезжаешь всю окружную, потом подаешься на шоссе, уходящее к югу, и едешь по нему до кладбища, выворачиваешь к вокзалу, потом срезаешь по улице влево, снова оказываешься в центре, катишь себе по переулкам, прямым, порожним, выезжаешь на гулкую рыночную площадь, она была спланирована с чрезмерным размахом, портики ее периметра всегда прогреты независимо от наклона солнца, в два часа дня она пустыннее Сахары. На площади ни души, ни тени, я дико волен на своем велосипеде, никто меня не увидит, никто издалека не помашет. Даже если вдалеке проходит знакомый, он кажется почти неразличимым, и я ему тоже: силуэт в ореоле солнца. Я кружу по этой площади, как стервятник, не высмотревший себе никакую падаль.

Однако цель у меня есть. Но я нарочно кружу и не подбираюсь к ней ближе. В вокзальном киоске я приметил издание, скорее всего, не новое, если судить по цене (цена довоенная) «Атлантиды»[356] Пьера Бенуа. Там очень завлекательная обложка: огромный зал и множество каменных гостей. Значит, внутри, вероятно, интересная история. Книга стоит недорого, но у меня ровно столько и есть, ни гроша сверх этого. Ладно, я опять поеду к вокзалу. Слезу, примощу велосипед, зайду в вокзал, снова предамся созерцанию обложки — еще раз на пятнадцать минут. Книга выставлена в витрине, нельзя ни открыть, ни пролистать ее и невозможно угадать, что же она даст мне. Когда я приезжаю в четвертый раз, у киоскера уже нервы на пределе. Ничего, пускай пялится на меня, будто хочет пробуравить взглядом. Все равно ему смотреть не на что, на вокзале ни одной живой собаки, никто не уезжает, никто не приезжает, никто никого не ждет.

В городе только безлюдье и солнце. Город — велотрек для моих полустертых покрышек. Старый том в вокзальном киоске — единственный залог спасения, через вымысел, в некое менее безнадежное пространство.

Приблизительно в пять часов бесконечному прельщению, любовной тенцоне между мною и книгой, книгой и мною, между моею страстью и сопротивлением пожираемого пространства — этой

любовной скачке на выгорелом просторе, этому жгущему душу концентрическому полету наступает конец: решено! Я выкладываю полностью свой капитал, приобретаю «Атлантиду», еду домой и кидаюсь на диван — будет чтение.

Антинея, роковая женщина, появляется в дивном египетском клафте (каков он, египетский клафт? это нечто величественное и соблазнительное, прикрывающее и открывающее), стекающем вниз по ее густым и волнистым прядям, иссиня-черным, и края позолоченного покрывала обласкивают узкие бедра Антинеи.

На ней была черная тюлевая туника с золотыми отблесками, и эта туника была несказанно легка, несказанно широка и удерживалась кушаком из белейшего муслина. Эта туника была расшита ирисами и черными жемчугами. Под туникой изгибалось ее тонкое тело, на лице сияли длинные черные глаза, а улыбка была такая, каких не бывает у женщин Востока. Трудно было разглядеть под пышными дьявольскими складками ее фигуру, однако туника, откровенно приотпахнувшись на боку (боже, опять эта юбка с разрезом!), обнажила на миг и нежную грудь, и нагие руки, и таинственные тени, проницаемые под покрывалами. Полузрелая девственница, соблазнительница. За такую не жалко и жизнь отдать.

Я поспешно захлопываю книгу, потому что в семь часов в квартиру входит с работы папа, но ему кажется, что я пытался скрыть от него именно тот факт, что лежу и читаю. Мои родители склонны думать, что я читаю чересчур много и что чрезмерное чтение портит глаза. Погулял бы, покатался на велосипеде.

Солнца я не выношу. Хотя удивительно, что в Соларе я превосходно выносил его. Они видят, что я часто тру глаза и морщу нос. «Зачем? Как будто ты плохо видишь? Но ведь зрение у тебя нормальное?» — пилят они меня. Я весь в ожидании осени. Осенью будут туманы. Почему я их так люблю, если в тумане Дикого Яра разыгралась самая жуткая драма моей жизни? Люблю потому, что и в ту ночь как раз туман спас меня. Спас от всего. Предоставил мне супералиби. Ведь туман же был. Я не мог ничего видеть. Я не видел.

Первые туманы возвращают мне родной город. Сонные пустоты и пространства, которые чересчур широки, — затушевываются. В сером молоке при освещении фонарей прощупываются столбы, углы, дома. Так жить укромнее. Будто при затемнении в войну. Мой родной город

строился, задумывался, планировался многими поколениями, привыкшими обитать между волком и собакой и придерживаться рукою стен. Только в тумане этот город обретает красоту и уютность.

То ли в том, то ли в следующем году поступает в продажу первый комикс для взрослых, «Гранд-отель». Первая же увиденная мной страница фоторомана захватывает меня, засасывает и завораживает.

Но ничто не сравнится с находкой, которая мне попалась в дедовом киоске. Открываю французский журнал, и на развороте — то, что обожгло диким стыдом. Выдергиваю страницу, засовываю ее под рубашку, бегом домой.

Я дома, я ничком на кровати, вытаскиваю и разворачиваю свой лист, вжимаясь лобком в матрас — в точности как запрещают поступать учебники благонравия. На листе, не так чтоб очень крупно, но четко напечатан фотоснимок Джозефин Бейкер с обнаженной грудью. Я гляжу в подведенные глаза, чтобы не смотреть на грудь. Однако взгляд сползает книзу неотвратимо. Думаю, для меня это первая голая грудь. Ибо я отказывался воспринимать как таковую дряблые мешочки калмычек в энциклопедии.

Волна меда продвигается по жилам, в гортани — едкий вкус. Виски сдавлены, а в паху происходит что-то обморочное. Я встаю с постели,

перепуганный и весь влажный. Что за жуткая болезнь приключилась, не понимаю. Что за сладостный проливень, растворение в первобытном, перво-жизненном бульоне.

Думаю, это было мое первое семяизвержение. Для мальчика моего воспитания — еще более запретное дело, нежели перерезание горла немцу. Снова я согрешил. Ночью в Диком Яру стал немым сосвидетелем тайны смерти, а теперь я самовольно проник в недозволенные тайны жизни.

И вот я в исповедальне. Огнедышащий капуцин обрабатывает меня на тему о благодатности целомудрия.

Он не сообщает ничего такого, что не содержалось бы в найденных мною на чердаке учебниках, но может быть, после его речей меня снова тянет перечитать «Осмотрительного отрока» дона Боско:

> Даже в вашем нежном возрасте нечистый, уловляя ваши души, раскидывает хитроумные сети… Полезнейшее дело — беречься искушений и пребывать вдали несообразия, неуместных разговоров, многолюдных зрелищ, в которых нет ни малейшей пользы… Старайтесь быть постоянно заняты. Если не знаете, чем заняться, украшайте алтари и делайте красивые изображения и картинки… Если же искушение длится, осените себя крестным знамением, поцелуйте благословенный предмет со словами: «Святой Луиджи, поспешествуй, чтоб я не согрешил против моего бога». Называю вам этого святого, потому что он предназначен Святою Церковью как попечитель юношества…
>
> Прежде всего избегайте лиц противоположного пола… Поймите: я хочу сказать, что юношам не подобает водить близкое знакомство с девицами… Очи суть окна души, через которые грех находит дорогу к нашему сердцу. Так не останавливайте взор на тех предметах, которые, хотя бы даже в малом, противны целомудрию. Святой Луиджи Гонзага не желал даже, чтоб видны были стопы его, когда он отходил ко сну или вставал от сна. Он не глядел в лицо даже собственной матери… Два года он прослужил пажом королевы Испании и ни разу не обратил взгляд на лицо королевы.

Подражать святому Луиджи не так уж просто. По чести сказать, цена спасения от соблазнов представляется завышенной, учитывая, что молодой аскет *хлестал себя до крови, подкладывал под простыни острые щепки, дабы терзать свое тело и во сне тоже, под одеждой своей таил конские шпоры — в замещение власяницы; и преследовал неудобство и стоя, и сидя, и шагая*. Исповедник предлагает мне, вместо Луиджи, в качестве образца блаженного Доменико Савио. У блаженного Доменико брюки от коленопреклонений затерты спереди, но при прочих равных у него епитимья полегче, чем у святого Луиджи, он предлагает все ж любоваться женской красотой, правда — красотой святой и непорочной: вглядываться в нежное лицо богоматери.

Я предамся поклонению пред сублимированной прелестью. Буду петь в хоре мальчиков в абсиде церкви, а на воскресных выездах — в каком-нибудь достопримечательном храме:

Dell'aurora Tu sorgi più bella
cot Tuoi raggi a far lieta la terra
e tra gli astri che il cielo rinserra
non c'é stella piùbella di Te.
Bella Tu sei qual sole,
bianca più della luna,
e le stelle più belle
non son belle al par di Te.
Gli occhi Tuoi son più belli del mare,
la Tua fronte ha il colore del giglio,
le Tue gote, baciate dal Figlio,
son due rose e le labbra sono fior.

Ты сиятельней утреннего света,
вся тобой озаряется планета,
Ты во всем подлунном мире воспета,
нету девы совершенней тебя.
Ты, чем солнце даже, светишь сильнее,
Ты светлее, чем луна, и белее,
среди звезд мне ни одна не милее,
и Тебя превозношу я, любя.

Взор синей, чем океана пучина,
а очелье белоснежнее крина,
а ланиты с поцелуями Сына,
как две розы, а уста — как цветы.

Может, я изготавливаюсь, хотя и сам пока того не знаю, ко встрече с Лилой, с лилеей, недаром лилея и крин — одно.[357] Она, должно быть, в той же степени недоступна, обворожительна в своем эмпирее, красота ее *gratia sui*,[358] лишена телесности, способна покорять ум, но не волновать чресла, — взор этой девы устремляется вдаль, на иного господина, а не вперивается вызывающе в мои глаза, не то что лукавые зрачки Джозефин Бейкер.

Мой долг состоит в том, чтоб искупить медитацией, молитвой и покаянием собственные грехи и прегрешения окружающих, предаться защите веры в такую пору, когда первые послевоенные газеты и первые плакаты на стенах твердят о «красной угрозе», о казаках, которые прискачут поить коней из купелей в храме Святого Петра. Я потерянно пытаюсь решить загадку: каким образом казаки, недруги Сталина, те самые, которые даже состояли в немецкой армии, сделались вдруг посланцами нашей смерти и, возможно, желают ныне убивать анархистов, таких, как Граньола? Сюжет, по-моему, довольно схож с корявым негром, который лапал Милосскую Венеру. Даже и рисовальщик, не исключаю, тот же самый: перековался и творит свою привычную наглядную агитацию — но только в духе нового крестового похода.

Выезд для духовных упражнений в монастырь в деревенской местности. В трапезной пованивает гнилью. Гуляем по внутреннему двору с библиотекарем. Библиотекарь рекомендует мне читать Папини. По вечерам собираемся в хоре церкви, в свете единственной большой свечи, вместе декламируем «Упражнение в благой смерти».

Духовный председатель читает отрывки о смерти из «Осмотрительного отрока»: не можем знать, где нас застигнет смерть, в постели, на работе ли, на улице или в ином месте, и что станет ее причиной: разрыв ли сосуда, катар ли, давление ли крови, лихорадка, язва, землетрясение или молния, все может отобрать нашу жизнь, и

может случиться, что иные из нас не проживут и года с этой минуты, а может, месяца, да что там! недели не проживут, и дня, и даже часа, преставятся сразу по окончании упражнения. Настанет миг, помутнеет сознание, и явится боль в глазах, сухость на языке, скрежет зубовный, стеснение в груди, лед в крови, и истощение плоти, и прободение сердца. Расставшись с душой, наше смертное тело, облеченное в рубище, будет оставлено разлагаться в могиле, покуда черви и крысы не отгрызут все мясо с костей и не останутся одни оголенные кости от всего того, чем мы были. С небольшою кучкой смрадного праха.

Следует молитва. Долгое перечисление предсмертных содроганий умирающего, окостенения суставов, дрожи и разлития бледной краски вплоть до формирования *facies hippocratica*[359] и до агонийного хрипа. При описании каждого из четырнадцати этапов кончины (ныне я могу припомнить только пять-шесть) перечисляются: ощущения, положение тела, степень тяжести соответствующего состояния. Все отрывки завершаются одним и тем же рефреном: милосердуй, Иисусе, ниспошли прощение.

> Когда неподвижность в ногах известит меня, что путь мой в этом мире близок к завершению, милосердуй, Иисусе, ниспошли прощение.
>
> Когда дрожь и онемение в руках не позволят больше сжимать тебя, о благое Распятие, и когда вопреки пожеланию уроню тебя на одр печали моей, милосердуй, Иисусе, ниспошли прощение.
>
> Когда глаза мои затуманятся и, помутившись от жути неминуемой смерти, устремят на тебя свой взор, слабеющий и потухающий, милосердуй, Иисусе, ниспошли прощение.
>
> Когда мои сизые олиловелые щеки пробудят в окружающих сострадание и страх, и волосы, волглые от смертного пота, встанут дыбом над черепом, и возвестится неминуемая кончина, милосердуй, Иисусе, ниспошли прощение.
>
> Когда мой ум, взбудораженный мучительными мнимостями, погрузится в смертную тоску, милосердуй, Иисусе, ниспошли прощение.
>
> Когда я лишусь употребления всех чувств, и целый мир

уйдет от меня, и буду стенать в томлении агонии и тревоги гибельной, милосердуй, Иисусе, ниспошли прощение.

Петь в темноте эти гимны, размышляя о собственной смерти. Именно это и требовалось. Чтоб перестать думать о чужой смерти. Проделывая это «Упражнение», я не мучаюсь. Это успокоительно — знать, что все люди смертны. Изготовка к существованию для смерти настраивала меня на волну судьбы — моей, но вообще-то говоря, и всеобщей. Джанни в мае рассказал анекдот, как доктор советует смертельно больному пациенту зарываться в песок. — *А что, помогает, доктор? — Ну, помогает, не помогает… Важно, что формируется привычка находиться под землей.*

Вот и у меня формируется.

Как-то вечером духовный председатель выходит к предалтарной балюстраде, освещение (он, мы, целая капелла) — одна только свеча, которая образует за ним золотой нимб, при том что лицо затенено. Он рассказывает. Ночью в монастыре, где воспитывают девиц, умирает одна из них, благочестивая, превосходная.[360] На следующее утро, уложив на катафалк в нефе церкви, ее отпевают. Вдруг труп вздымается, разверзты глаза, перстом в священнослужителя: «Падре! Не молитесь обо мне! Этой ночью я зачала нечистый, неблагой помысел, один-единственный, и теперь проклята, обречена я!»

Публику сотряс озноб, рыданье пробежало по рядам церковных скамей, похоже было — затмевается свеча. Духовный председатель отпускает, однако никто не уходит. Собирается длинная очередь перед будкой исповедника. Все обеспокоены — все намерены отойти ко сну ни в коем случае не раньше, нежели выложат исповеднику все, до наимельчайшего зернышка греха.

В нефе мрачно, но безопасно. Эти стены — защита. Укрываясь от злобы дня, провожу свои дни во власти ледяного жара, который окрашивает гибелью даже рождественские песенки. Уютный вертеп, дедушка строил такие в моем детстве, — это выдача Дитяти на поругание жестокому миру:

Усни, не плачь, Иисусе драгоценный,
Спаситель, Сын небесного Отца…
Провидишь Ты свой подвиг беспременный,

Не подымаешь в ужасе лица.
Зачем соломинки так колют больно,
Как тернии смертельного венца?
Закрой же очи и усни привольно,
Ты дремлешь, не предчувствуя конца.
Усни, не плачь, Иисусе драгоценный,
Спаситель, сын небесного Отца.[361]

В воскресенье папа, любитель футбола, несколько разочарованный таким сыном, которому только и охота что тупить глаза над книгами-бумагами, приводит меня на стадион. Команды играют не первоклассные, трибуны почти пусты, кое-где цветовыми пятнами выделяются немногочисленные болельщики, остальное же — раскаленные от солнца скамьи. По свистку арбитра игра останавливается, капитан идет спорить, остальные игроки без дела слоняются по полю. Беспорядочно перемешались на зелени поля футболки двух цветов. В матче перерыв. Похоже на замедленную съемку. Похоже на обрыв пленки во время сеанса в приходском кинозале, когда вдруг ровный звук превращается в мяуканье, герои двигаются с непостижимой осторожностью и, отчаянно дернув руками, замирают на неподвижной фотограмме, растекаются по экрану, будто плавленый воск.

В этот миг меня посетило озарение.

Сейчас я прочитываю это грустное открытие так: в мире не существует цели, мир — это просто ленивое недоразумение. Но в тот момент я сумел внутренне выразить мысль исключительно словосочетанием: «Бога нет».

Вышли после матча. Я во власти угрызений. Побежал исповедоваться. Огнедышащий капуцин, тот же, что в прошлый раз, снисходительно и благостно переспросил: с какой стати нелепые мысли? — и помянул красу природы, свидетельствующую о созидательном и распорядительном промысле, а затем припомнил и *consensus gentium:*[362]

— Сыне, в Бога веровали лучшие — Данте, Мандзони, Сальванески, Фантаппиé. Ну а ты что же?[363]

Апелляция к прецедентам меня угомонила. Я решил, что все дело в

неважнецкой игре футболистов. Паола говорит, что я никогда в жизни не ходил на футбол, самое большее — смотрел по телевизору финалы чемпионатов мира. Видимо, у меня в памяти застряло: пойдешь на матч — и погубишь душу.

Но были и другие способы губить душу. Одноклассники начали шепотком рассказывать разное. Подсовывать на просмотр журналы и книги, утащенные у отцов. Говорить о таинственном «красном доме» Каза Росса, в который в нашем возрасте еще не пускают, и рваться на комедии, в которых показывают полуодетых женщин. Мне показали фото Изы Барцицца, выступающей в кабаре, со звездочками на грудях. Я не мог не смотреть — подняли бы на смех. Так что смотрел, и, как известно… перед всем можно устоять, окромя соблазнов. Воровски пробрался в кинотеатр на первый послеобеденный сеанс, надеясь никого не встретить. В фильме «Сиротки», с Тото и Карло Кампанини, Иза Барцицца вместе с другими воспитанницами в монастыре, презревши запреты настоятельницы, решает помыться под душем в голом виде. Зрителям показывают не голых девушек, а силуэты за занавесками в душевой. Девушки совершают омовение в ритме балета. Снова придется идти к исповеднику. За занавесками видится нечто, приводящее на память недавно дочитанную в Соларе книгу, от которой я пришел в смятение и ужас, — «Человек, который смеется» Виктора Гюго.

Книга осталась в Соларе, но я уверен, в дедовой лавке отыщется экземпляр. И точно. Пока дед разговаривает с посетителем, я усаживаюсь на пол у подножия стеллажа и лихорадочно отлистываю полкниги — где же та запретная страница? Вот она. Гуинплен,

изуродованный компрачикосами, предназначавшими его для показа в балаганах, отринутый обществом, неожиданно обнаруживает, что он — лорд Кленчарли, наследник громадного состояния и пэр Англии. Еще не вполне понимая смысл перемен, он позволяет себя одеть в великолепный костюм и привести во дворец, похожий на лес, где среди множества чудес, ему открывшихся (он один в этой сиятельной пустыне), средь анфилад и пышных зал обнаруживается такая роскошь, что голова идет кругом не только у него, но и у читателя. В одном из чертогов на постели, неподалеку от ванны, приготовленной для девственных омовений, лежит обнаженная женщина.

Не то чтобы полностью, коварно добавляет Гюго. Собственно говоря, она не была совершенно нагой. На самом деле она была одета. Однако в рубашку до того неосязаемую, что взгляду чудится — влажную. И дальше несколько страниц с описанием женской наготы, более того — наготы, явленной глазам Человека, который смеется, любившего до тех пор только лишь свою слепую невесту. Женщина представилась ему Венерой на лоне пенных вод, она незаметно меняла позу, как легкое облако меняет свои очертания в лазури, и линии ее тела принимали по-новому очаровательную волнистость… Дальше Гюго добавляет: *Нагая женщина — это женщина во всеоружии.*

Вдруг эта женщина, Джозиана, побочная сестра королевы Анны, пробуждается, узнает Гуинплена, и начинается сумасшедшая битва за захват его любви, чему несчастный совершенно не способен сопротивляться, а она доводит его до пароксизма страсти, однако не отдается. Она вместо того изливает на Гуинплена эротические фантазии более волнующие, чем даже ее обнаженность, и предстает в этих грезах девственницей и блудницей, жаждущей не только познать тератологические восторги, воплощенные в уродливом Гуинплене, но и бросить вызов свету и двору: эта перспектива окончательно опьяняет ее. Венера предвкушает двойной оргазм, от собственно обладания и от выставления напоказ своего Вулкана.

И когда Гуинплен уже готов пасть в ее объятия, приходит сообщение от королевы, которая извещает сестру, что Человек, который смеется, законно признан лордом Ферменом Кленчарли и должен сделаться ее мужем. Джозиана комментирует письмо: «Хорошо», — встает, указывает на дверь, переходит со страстного «ты» на отчужденное «вы» и говорит тому, с кем только что страстно желала

соединиться:

— Выйдите отсюда. Раз вы мой муж, уходите… Вы не имеете права оставаться здесь. Это место моего любовника.

Неслыханное растление — не Гуинплена, а Ямбо. Я не только сподобился получить от Джозианы больше, нежели мне сулила Иза Барцицца за своей прозрачной занавеской, но и впитал всей своей душой ее бесстыдство:

— Раз вы мой муж, уходите. Это место моего любовника.

Возможно ли, чтобы грех был до такой степени эротически заразителен?

Существуют ли женщины, подобные леди Джозиане и Изе Барцицца? Приведется ли мне повстречать таких? Полоснет ли меня по сердцу — шурхх — в наказание за все эти фантазии?

Примечание к рисунку[364]

Примечание к рисунку[365]

Да, существуют. По меньшей мере в кино. На предвечерием сеансе, тайно, я проникаюсь дрожью от каждого кадра ленты «Кровь и песок». Тайрон Пауэр так прижимается щекой к груди Риты Хейворт, что я убеждаюсь: женщины вооружены, даже когда они не раздеты. Когда они только бесстыдны.

Получить образование, зацикленное на ужасах греха, — и немедленно грехопасть. Я пришел к выводу, что именно запретность так воспламеняла воображение. И поэтому я решил, что, дабы спастись от соблазна, следует прервать гипноз этого образования под знаком целомудрия. Целомудрие и соблазн оба дьяволовы уловки, они взаимно усиливают друг друга. Эта догадка, на грани ереси, поразила меня как бич.

Замыкаюсь в себе. Слушаю музыку, провожу часы у радио после обеда или рано по утрам. Иногда симфонический концерт бывает вечером. Домашним любы другие передачи.

— Сколько можно занудства, — возмущается Ада, неуязвимая для муз. Как-то раз воскресным утром мы встречаем на улице дядю Гаэтано. Он совсем старый. Он без того золотого зуба. Вероятно, продал зуб во время войны. Спрашивает о моих занятиях. Папа говорит ему, что у меня период страстного увлечения музыкой.

— Ах, музыка, — счастливо подхватывает дядя Гаэтано. — Как я

хорошо понимаю тебя, Ямбо. Я в восторге от музыки. От любой, представляешь? Какую бы ни играли, лишь бы только была музыка. — Он на секунду задумывается и добавляет: — Кроме классической, разумеется. Тогда я, ясное дело, выключаю приемник.

Я уникальная натура, обреченная жить среди филистеров. Ухожу в себя, в свое гордое, гордое одиночество.

В антологии десятого класса встречаю стихи современных поэтов и обнаруживаю, что можно освещаться неизмеримостью и встречаться с болью жизни[366] и что луч солнца способен время от времени пронзать человека.[367] У деда в ларьке лежит томик французских символистов. Я тоже вхожу в эту башню из слоновой кости. Я брожу в лесах символов, теряюсь в их чащах, смущенный, умиленный,[368] и постоянно помню, что *о музыке на первом месте*,[369] пишу молчанье и ночь, выражаю невыразимое, запечатлеваю головокружительные мгновения.[370]

Но чтобы свободно погружаться в эту лирику, нужно освободиться от некоторых запретов. Меняю духовника, перехожу к тому, о котором хорошо отзывался Джанни («священник широких взглядов»). Дон Ренато видел фильм «Идти своим путем»[371] с Бингом Кросби, где католические священники-американцы ходили в протестантских сюртуках и пели под фортепьяно Too-ra-loo-ra-loo-ral, Too-ra-loo-ra-li обожающим их юным девам.

Дон Ренато, конечно, не может переоблачиться в сюртук, но все же он принадлежит к новаторской генерации кюре в беретах, которые ездят на мотоциклах. На пианино не умеет, но у него есть коллекция джаза. Он разбирается в литературе. Я говорю ему, что мне рекомендовали Папини. Он отвечает, что у Папини самое интересное — не то, что он

писал после обращения в веру, а то, что он писал до. Мой духовник — священник широких взглядов. Дал мне почитать «Конченого человека», [372] видимо думая, что искушения духа отвлекут мои мысли от искушений плоти.

Это оказалась исповедь героя, не знавшего детства, с младенчества влачившего существование старой озабоченной и сварливой жабы. Это не про меня. Я провел свое детство в Соларе, само название значит «солнечная», *nomen omen.*[373] Она была солнечной, пока солнце не закатилось. После дьявольской ночи оно перестало всходить. Угрюмая жаба, о которой я читаю, спасается многими чтениями, приникая к томам *с зелеными и затрепанными до ниток корешками, с широкими просторными залистанными и порыжелыми страницами, часто надорванными и замазанными чернилами.* Точно как я, и не только на чердаке в Соларе. Точно как я во всей последующей жизни. Из книг не вышел. Я это знаю сейчас, в протяжном бодрствовании сна, но осознал я это в миг, который ныне припоминаю.

Автор того тома был «конченым» прямо от рождения. Он не только читал, но и писал. Я бы тоже мог писать, добавлять своих страшилищ к тем, что уже кишмя кишат в придонном слое океанов, перебирая лапами. Автор того тома губил глаза, записывая наваждения илистыми чернилами, окуная перо в осадочную слизь в пузырьке, будто бы в кофейную гущу. Он губил их с самого детства, читая при огарке, и губил их в молодости в полумраке библиотек. Покраснелые веки. Видит только через толстенные линзы. Постоянный ужас — ослепнуть. Что же, не слепота его настигнет, так паралич: нервы напряжены, везде больно, нога немеет, непроизвольно дергаются пальцы, голова гудит. Когда он пишет, стекла очков почти накладываются на лист.

Я прекрасно вижу и гоняю на велосипеде, я на жабу не похож, у меня уже проклевывается знаменитая подкупающая улыбка. Только что толку? Я не жалуюсь, что окружающие мне не улыбаются, ибо сам не нахожу поводов им улыбаться.

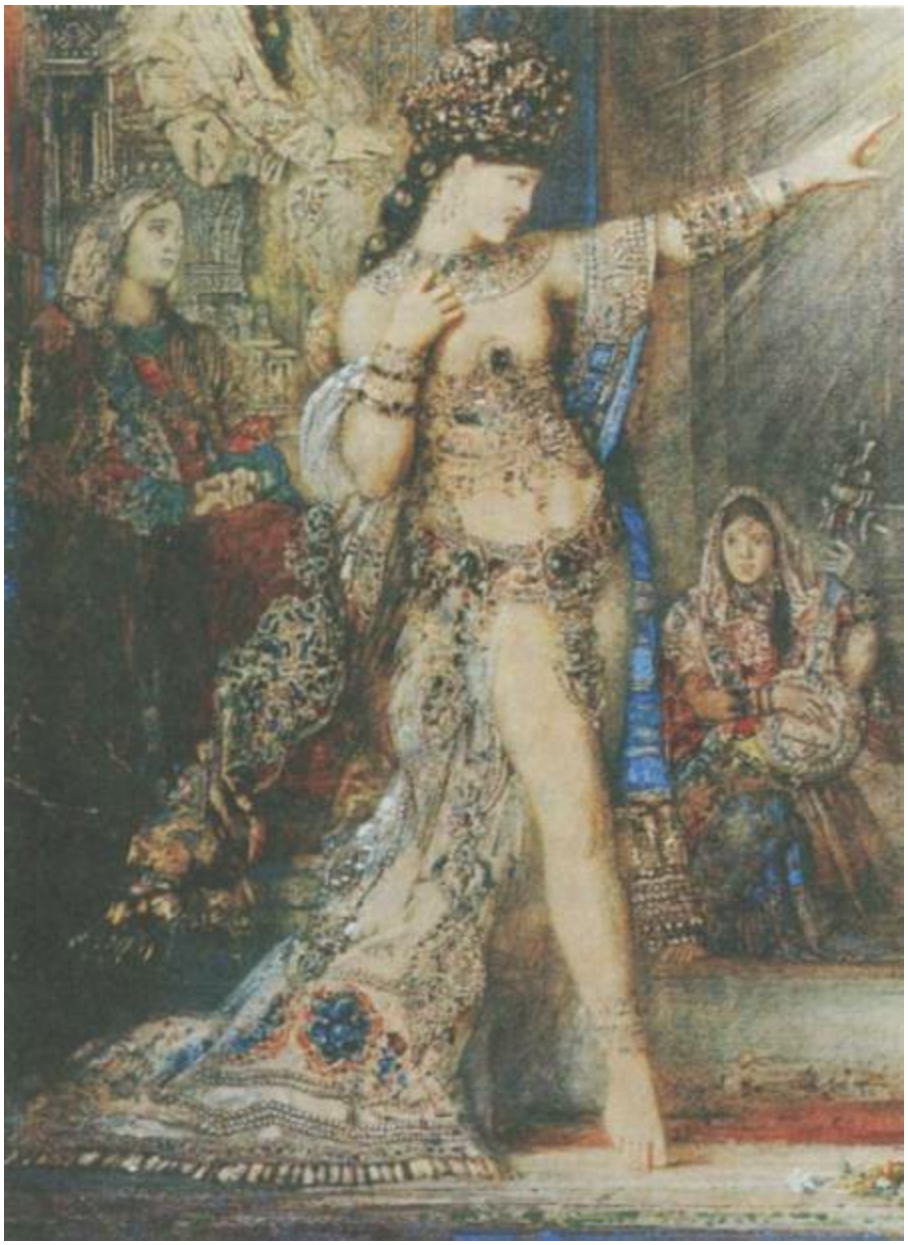
Я не как тот конченый человек. Но хотел бы им стать. Книжное помешательство обещает возможность спрятаться от мира куда-то кроме монастыря. Построить свой мир. Но это не путь к обращению в веру. Напротив, может быть, это путь от обращения. Я отыскиваю альтернативную веру. Очаровываюсь декадентами. *Собратья-ирисы, о красоте скорбя, В толпе нагих цветов я возжелал, себя И чахну…*[374] *Я*

— Рим, империя на рубеже паденья, Что, видя варваров громадных у ворот, Небрежный акростих рассеянно плетет.[375] *Сердцам, что к созиданью склонны, Слагая вечный мадригал, Гербарий, лоции, канцоны Я кропотливо сберегал.*[376]

Могу все еще мечтать о вечной женственности, однако ей отныне надлежит быть искусственной, болезненно-бледной. Читаю и воспламеняюсь, но только рассудком:

> Умирающая, чьих одежд он касался, жгла его, как самая пылкая из женщин. Ни объятия баядерки с берегов Ганга, ни поцелуи одалиски из стамбульской бани, ни ласкания обнаженной вакханки не разволновали бы его до мозга костей так, как касание, простое прикосновение к этой хрупкой лихорадочной руке, влажность которой чувствовалась через перчатку.[377]

Я не должен бежать и исповедоваться дону Ренато. Это ведь литература. А на литературу я имею полное право. Даже если в ней нагие тела, распутницы и порочные андрогины. Они удалены от реальной жизни, значит, они не опасны. Слова — не плоть.



Примечание к рисунку[378]

Примерно в конце последнего класса гимназии мне попадает в руки «Наоборот» Гюисманса. Герой, дез Эссент, потомок мощных и суровых рейтаров (усы как ятаганы), живет среди портретов предков, по которым можно проследить медленное вырождение семьи, результат многих родственных браков. У его предков кровь грустна, разжижена бледной лимфой. Их лица женственны, анемичны и нервны. Дез Эссент наследует их атавистические недуги. Его пасмурное детство проходит под знаком золотухи и вечных простуд. Его мать, долговязая, молчаливая, блеклая, живет затворницей в темной комнате одного из

фамильных замков, при свете тусклого абажура, обороняясь от шума и от света. Родители умирают, когда ему исполняется семнадцать. Оставленный на произвол судьбы юноша читает книги, а в дождливые дни блуждает по полям. *Особенно любил он сходить по диким зарослям, в яр и шагать к Житиньи, деревушке у подножия холмов.* Ах, в Дикий Яр! Дез Эссент растягивается на лугу под сенью высоких стогов сена, слушает глухой шум водяных мельниц. Взбирается по склонам, отутюженным ветрами, и перед ним открывается необозримый простор. Оттуда он может наблюдать всю долину Сены, убегающей далеко, насколько в состоянии достичь взор, сливаясь с голубизною небес. Высоко на горизонте соборы и башня в Провене подрагивают на солнце в золотисто-воздушной пыли.

Он читает и мечтает, до ночи опьяняясь одиночеством. Взрослеет, разочаровывается в светских удовольствиях, убеждается в злобности и мелочности литераторов. Он мечтает об изысканной Фиваиде, уютной пустыньке, о теплом прочном ковчеге. Так он строит для себя индивидуальный скит, совсем искусственный, где в водянистой полутьме витражей и аквариумов, отгораживающих его от лицезрения тупой природы, он преображает музыку во вкус и вкус в музыку, упивается ломаной латынью периода упадка Римской империи, ласкает бескровными пальцами ткани и минералы, распоряжается инкрустировать панцирь черепахи сапфирами и западной бирюзой, гиацинтами Компостелы, аквамаринами и индонезийскими рубинами, уваровитом лиловато-красного цвета, искрящимся сухим блеском, каким внутри бочек светится слюда винного камня.

Из всех глав я больше всего люблю ту, в которой дез Эссент решается впервые выехать из дому, чтобы посетить Англию. Как раз стоят туманные погоды и подкрепляют его желание. Небосвод расстилается перед его глазами, как серая наволочка. Чтобы соответствовать месту, куда он едет, он выбирает носки тускло-желтого цвета, мышиного оттенка костюм в клетку цвета асфальта и с крапинками цвета куницы, надевает котелок, берет саквояж, баул, портплед, шляпную картонку, трость и зонт и отбывает на поезд.

Прибывает в Париж на пересадку уже обессиленный, садится в фиакр и ездит по улицам дождливого города, дабы скоротать время до поезда в Англию. Газовые фонари подмигивают ему в тумане желтыми

ореолами, все вокруг напоминает Лондон — дождливый, огромный, железный, от которого несет дымящимся чугуном и сажей, с нескончаемыми доками, кранами, лебедками, ящиками. Потом он входит в винный погреб, скорее, в паб, все посетители — англичане, по стенам — полки с пузатыми бочками, украшенными королевскими гербами, на столиках — галеты «Палмерс», соленые сухарики, сэндвичи с мясом и горчицей, и мысленно вкушает экзотические вина — *Old Port, Magnificent Old Regina, Cockburn's Very Fine…* Вокруг одни англичане: бледные и нелепые пасторы, рожи торговцев требухой, заросшие бородами шеи, как у человекообразных обезьян, пакляные волосы. Он млеет под звуки иностранного говора в этом кажущемся Лондоне, слушая рев плывущих по Темзе (где-то у моста за Тюильри) буксиров.

Он выходит, небо стало совсем низким и наполовину скрыло дома. Он смотрит на утонувшие во мраке и разгуле стихий арки улицы Риволи, и ему кажется, что он находится в темном туннеле под Темзой. Он заходит в другую таверну, где над стойкой возвышаются огромные пивные насосы, и рассматривает других островитян — англичанок с лошадиным оскалом зубов, длиннейшими ладонями и стопами, поглощающих горячее мясо, сваренное в грибном соусе и под коркой, — такой пирог. Он заказывает суп из бычьих хвостов, копченую треску, ростбиф, две пинты эля, заедает стилтоном[379] и запивает стаканом бренди.

Ожидая счета, следит, как дверь таверны открывается и входят люди, пахнущие мокрым псом и каменным углем. Дез Эссент думает: зачем пересекать Ла-Манш? Он ведь уже побывал в Лондоне, впитал его запахи, насмотрелся на местные нравы и насытился английской жизнью. Распорядившись отвезти себя снова на вокзал, он возвращается домой с саквояжем, баулом, портпледом и зонтиком — в привычное убежище, *ощущал физическую и душевную усталость человека, приехавшего домой после долгого и опасного путешествия*.[380]

Таково и мне: даже в дни яркой весны блуждаю во внутриутробном тумане. Однако только болезнь или отверженность могли бы полностью оправдать мой отказ от жизни. Необходимо доказать самому себе, что этот побег доблестен и благ.

И вот я нашел у себя недуг. Я слышал: заболевания сердца проявляются в синюшности губ, надо сказать, что именно в эти годы у моей матери диагностировали сердечную недостаточность. Не такую уж

выраженную, но наша семья хлопочет и волнуется — даже немножко чрезмерно.

Утром подхожу к зеркалу, вижу, что у меня губы синие. Выхожу на улицу, бегу что есть сил. Так и есть, одышка и аномальные пульсации в груди. Значит, я теперь сердечно-больной. Приговоренный к смерти, точно Граньола.

Я ухожу в сердечную болезнь как в запой. Слежу, как прогрессирует заболевание, губы темнеют, щеки западают, первый цвет юношеской прыщеватости воспламеняет мне лицо алыми пятнами. Я уйду молодым, как святой Луиджи Гонзага и как Доменико Савио. Однако, по гордыне духа, я подспудно переиначиваю «Упражнение в благой смерти», подменяю власяницу поэзией.

Я живу в слепящих сумерках: *Придет тот день, когда В сердце застынет влага, Жилы оледеия, Перо в руке у меня Скрипнет, прорвется бумага, И я умру тогда*.[381]

Я уходил от жизни не оттого, что жизнь дурна, а оттого, что она при всем безумии банальна и устало воспроизводит один и тот же ритуал — смерть. Затем, смиряющийся мирянин, словоохотливый мистик, я начал думать, что лучший из уходов — это на неизведанный остров, который порой брезжит еще, пусть только издалека, между Тенерифе и Пальмовыми:[382]

> Этот берег блаженный корабли, скользя, огибают,
> над цветами невиданными пальмы с высоты благосклонны,
> и густой и могучий лес благоухает
> сладким потом камеди и соками кардамона…
> Предвещает себя запахом, как блудница,
> неизведанный остров… Но кормчего повеленьем
> корабль путь прямит, остров должен из виду скрыться
> и окраситься в голубой цвет отдаленья.[383]

Устремясь к недосягаемому, я окончательно распрощался со своим смирительным периодом. Жизнь осмотрительного отрока сулила мне в качестве награды *ту, что сиятельней утреннего света, ту, что светлее, чем луна, и белее.* Однако один-единственный неблагой помысел мог отобрать ее у меня. Неизведанный же остров всегда

останется, как раз за счет недостижимости, гарантированно моим.

Я готовлю себя для встречи с Лилой.

Глава 18
Ты, чем солнце даже, светишь сильнее

И Лила тоже появилась из книги. Переходя из гимназии в лицей, на пороге своих шестнадцати, я нашел у дедушки «Сирано де Бержерака» Ростана. Почему он потом не обнаружился в Соларе ни на чердаке, ни в капелле, трудно сказать. Может, я его зачитал до дыр и книгу пришлось выбросить? Я и сейчас помню почти дословно каждую строку.

Сюжет общеизвестен. Вот почему «Сирано» я помнил и после инсульта. Душещипательная мелодрама, которая идет во многих провинциальных театрах. А я тогда помнил исключительно то, что известно всем. Связь же этих строчек лично со мной мне открылась только сегодня. Оказывается, именно в «Сирано» — ключ к моему взрослению и история первых любовных переживаний.

Сирано, блистательный бретер, уродлив. Его проклятие — несуразный нос:

Да. Он крупней, чем красноречье ваше,
А я бы о таком, заметьте,
О выдающемся предмете
Острот набрал бы целые тома,
Меняя жесты и тона…
Развязный тон, каким острят друзья:
Вам из стакана пить нельзя —

Побьет ваш нос посуду вашу!
Позвольте подарить вам чашу?
Или почтительно-умильный:
Вы этой башнею фамильной
Давно владеете?
Наивный: С дальних мест
Вы этот монумент везли для дам столичных?
Любезный: Сударь любит птичек?
Он приготовил им вместительный насест![384]

Сирано влюблен в свою кузину Роксану, прециозницу дивной красоты *(Кого же может полюбить урод? Конечно, самую красивую из женщин!).* Она, возможно, и восхищается его храбростью, но он никогда не посмел бы ей признаться, стыдясь своего уродства. Лишь один раз, когда она вызывает его на разговор, в нем вспыхивает надежда — может быть, невозможное возможно? Нет. Жестокое разочарование: Она признается ему, что влюбилась в красивого Кристиана, новоиспеченного кадета из Гаскони, и просит кузена взять его под опеку.

Сирано идет на крайнюю жертву: решает любить Роксану, говоря к ней устами Кристиана. Он подсказывает Кристиану, красивому, дерзкому, но неученому, нежные любовные признания. Пишет за него жаркие письма. Ночью подменяет его под балконом возлюбленной, чтобы нашептать знаменитую просьбу о поцелуе: однако затем не он, а Кристиан поднимается за наградой на балкон. Поднимитесь же сорвать сей цвет вожделения, обонять сей аромат души, слышать шелест пчелы, длить бесконечное мгновение… «Иди обладай, животное», — подталкивает Сирано к балкону соперника, и, пока те целуются, он плачет в тени, наслаждаясь своей бедной победой, зная, что в Кристиане ее пылающие губы целуют те слова, которые выговаривал он, Сирано.

Сирано и Кристиан идут на войну, Роксана, влюбленная еще сильнее, приезжает к ним в армию, исполненная восторга от писем, которые Сирано от имени Кристиана посылает ей ежедневно. Она признается кузену, что влюблена не в наружность Кристиана, а в его душу и изумительное красноречие. Она любила бы за это, даже будь он уродлив. Сирано понимает: это означает, что любят его. Он уже готов открыть тайну, но тут как раз Кристиан, сраженный вражеским ядром, погибает. Роксана терзается над трупом несчастного, и Сирано сознает, что никогда уже не сможет ничего объяснить.

Проходит пятнадцать лет. Роксана удалилась в монастырь, она оплакивает возлюбленного и каждый день перечитывает его последнее письмо, залитое кровью. Сирано, преданный друг и кузен, приходит проведывать ее по субботам. В одну из суббот он приходит смертельно раненный (политическими врагами или завистливыми литераторами), старается скрыть это от Роксаны, под шляпой у него окровавленные бинты. Роксана впервые ему показывает последнее письмо Кристиана, Сирано читает его, но уже наступили сумерки, и Роксана удивлена: как

удается Сирано расшифровывать полинялые слова? Все волшебно проясняется. Она любила в Кристиане — умного и остроумного Сирано. Пятнадцать лет он хранил тайну, играя роль балагура-товарища! Нет, отрицает Сирано, нет, нет, любовь моя нежная, я не любил тебя!

Герой шатается, прибегают верные друзья, упрекают, зачем он покинул постель, сообщают Роксане, что Сирано умирает. Тот, прислонившись к стволу, разыгрывает последнюю дуэль — против воображаемых врагов. Он падает, и единственный предмет, который он пытается удержать, чтобы с ним, незапятнанным, проследовать на небеса, — это белый плюмаж *(mon panache!),* чем и кончается мелодрама, Роксана склоняется Сирано на грудь и целует в лоб.

Вот поцелуй, едва упомянутый в ремарке, ни один персонаж не говорит о нем, бесчувственный режиссер имел бы основания даже забыть о нем в постановке, но для меня, шестнадцатилетнего, это был полный апогей спектакля, и я не только видел, как гибко клонится стан Роксаны, но даже почти что впивал в себя, подобно Сирано, впервые в жизни близко-близко от своего лица ее ароматное дыхание. Этот *in articulo mortis*[385] поцелуй вознаграждал Сирано за все недополученное, за то, что так трогает зрителей в театре. О, он прекрасен, поцелуй, потому что при этом поцелуе Сирано испускает дух, Роксана отнята у него еще раз, и именно тут-то я, отождествляющий себя с персонажем, охмелевал. Счастливый, я уходил из жизни, не дотронувшись до любимой, оставляя ее в небесном состоянии неосквернённой мечты.

Имя Роксаны в моем сердце. Осталось придать ей лицо. Это лицо Лилы Саба.

Точно по рассказу друга Джанни: я увидел — она спускалась по ступеням лицея на площадь, — и Лила стала моею навсегда.

Папини писал об угрозе слепоты, прогрессирующей близорукости: «Я все вижу в расплывчатости, будто в легком, легком тумане, всеохватывающем и застойном. Издали, по вечерам, люди становятся неразличаемы: я принимаю мужчин в плащах за женщин. Небольшой ровный огонь кажется мне алой полосой. Спускающаяся по реке баржа кажется мне черным пятном, сопровождающим течение. Лица — светлые пятна. Окна — темные пятна. Деревья — черные, компактные пятна, отделяющиеся от теневой массы. Только три или четыре звезды,

самых крупных, сияют для меня на небе». То же самое происходит и со мной, в моем бдительном сне. С тех пор как я возвратил себе услуги памяти (несколько секунд тому? тысячу веков тому?), я знаю все — наружность родителей, Граньолы, доктора Озимо, учителя Мональди и Бруно, различаю всех явственно, помню их запахи и тембры их голосов. Все вижу очень отчетливо около себя. За исключением лица Лилы Саба. Как на тех фото, где лицо дробят квадратиками, когда в кадр попадают несовершеннолетние или, например, ни в чем не повинная жена какого-нибудь злодея. Вот фигуру вижу — легонькую фигуру Лилы в черной школьной форме. Вижу мягкую походку, я крадусь за нею сзади как соглядатай, вижу сзади колыхание волос, но в лицо заглянуть не получается.

Что-то не срабатывает. Как будто боюсь не выдержать всей этой светлоты.

Вот я пишу стихи в ее честь, *Существо, заключенное в эту тайну текучую,* и терзаюсь не столько от памяти своей первой любви, сколько от неспособности вспомнить ее улыбку с теми двумя резцами, — проклятый Джанни, он-то без проблем знает и помнит, какая она была, Лила.

Спокойствие. По порядку. И пускай память идет своей дорогой. Мне пока что достаточно. Будь у меня дыхание, оно становилось бы ровнее, потому что чувствую — уже не очень далеко идти. Лила в двух шагах.

Я вхожу в женский класс, мне поручено распределить билеты. Мордочка хорька — это Нинетта Фоппа. Вижу расплывчатый профиль Сандрины. А это Лила, вот я перед Лилой, хочу сказать что-нибудь забавное, ищу сдачу и не нахожу, нарочно копаюсь, чтобы продлить молитвенное стояние перед этой иконой, изображение расползается, как на экране сломанного телевизора.

Чувствую в сердце бесконечную гордость, кончилось наше представление, и я только что «понарошку» засадил в рот пилюлю госпожи Марини. Театр грохочет, меня охватывает чувство неограниченной власти. На следующий день я попробовал описать это другу Джанни.

— Это такой, — говорил я, — эффект усиления, чудо, творимое рупором: приложил минимальную энергию, а получил дефлаграцию. Я

сумел произвести неизмеримую силу от малой искры. Я уверен — в будущем, даже если я стану великим тенором и зал будет реветь от восхищения или если стану полководцем и поведу армию в бой под музыку «Марсельезы», никогда мне уже не испытать такого опьянения, как вчера вечером.

И вот сейчас такое опьянение опять. Я там, язык опять упирается в щеку, и зал рыдает. Я приблизительно понимаю, где сидит Лила, перед спектаклем я видел ее в щелку занавеса. Но я не поворачиваю головы в ее сторону, этим бы все загубилось. Госпожа Марини, со своей пилюлей во рту, должна оставаться к залу в профиль. Я самозабвенно выпучиваю щеку языком и квохчу какую-то ерунду (подлинная госпожа Марини была достаточно бессвязна), я весь сосредоточен на Лиле, которую не вижу, но знаю, что Лила видит меня. Этот апофеоз я проживаю как соитие, сравнительно с коим первая *ejaculatio praecox* над Джозефин Бейкер — несущественна, будто чих.

Видимо, после этого опыта я и послал к дьяволу дона Ренато с его увещеваниями. Какой толк хранить тайну в глуби сердца, если не дозволено упиваться ею? Когда влюблен, мечтаешь, чтобы она знала о тебе все. *Bonum est diffusivum sui.*[386] Открою-ка я ей все о себе.

Требовалось поравняться с ней не на выходе из школы, а у дверей ее дома, чтобы она была одна, без подружек. По четвергам у нее на последнем уроке была гимнастика, и домой она шла в четыре. Много дней я сочинял приличествующий зачин. Надо начать с остроумной фразы наподобие: «Не пугайтесь, я не грабитель», она улыбнется, и я скажу, что со мною происходит странная вещь, что я такого не чувствовал никогда и, может быть, она сумеет помочь мне…

«Что же это с ним? — задумается она. — Мы ведь почти незнакомы. Вероятно, ему нравится какая-то из моих подруг, однако он не находит в себе смелость…»

А потом, аналогично Роксане, она все поймет. Нет, нет, любовь любимая моя, я никогда тебя не любил. Вот-вот, это замечательный прием. Я скажу ей, что никогда не любил ее и что хочу попросить прощения за то, что уделил ей недостаточно внимания. Она расшифрует иронию (разве она не прециозница?) и, может быть, склонится надо мной и скажет, ну не знаю что, «дурачок», но с незнакомой дотоле нежностью. Покраснев, она дотронется пальцами до моей щеки. Короче,

начало будет шедевром остроумия и утонченности; она не устоит, думал я, ибо, любя ее, не допускал, чтобы у нее могли быть иные, отличные от моих, вкусы. Обманываясь, как все влюбленные, я думал, что души у нас одинаковые, и полагал, что она будет поступать в точности, как поступил бы я. Тысячи лет существует сие заблуждение. Иначе не было бы литературы.

Наметив день и час, создав все условия для счастливого использования Оказии, без десяти четыре я выдвинулся на позицию перед подъездом ее дома. Без пяти четыре я подумал, что перед подъездом ходит очень уж много людей и что лучше подождать в подъезде, у первого марша лестницы.

Через несколько веков, протекших в промежутке между без пяти четырьмя и пятью минутами пятого, я услышал, как она входит в подъезд. Она пела. Она пела песню о долине, я и сейчас в состоянии воспроизвести мотив, но слова — не могу. В те годы песни были очень идиотскими, не то что песни моего детства. Это был период глупых песен глупого послевоенного времени. В моде были «Эулалия Торричелли из Форли», «Пожарники Виджу», «Ах яблоки, ах яблоки», «Гасконские кадеты», самое большее — сопливые признания в любви вроде «Лети, небесная попевка» или «Дремать в твоих объятиях, дремать». Я их ненавидел. Двоюродный Нуччьо хотя бы выплясывал американские ритмы. Предположение, что Лиле могут нравиться такие вот ужасные песни, на миг меня заморозило (Лиле следовало быть безупречной, как Роксана), но не знаю, так ли уж я сильно отвлекся на это в описываемой ситуации. Мне было не до того, я весь напрягся перед ее появлением и за те десять секунд пережил тревогу, которая, казалось, не кончится никогда.

Я шагнул вперед, когда она подошла к первой ступени. Если бы мне об этом рассказал другой человек, я бы перебил и вставил свое: к подобной-де истории нужны арочные своды, создают атмосферу, усиливают напряжение. Однако в тот момент мне было достаточно для куража даже той незатейливой песенки, которая прозвучала перед этим. Сердце билось с неистовством — тут уж действительно впору было предположить, что я серьезно хвораю. Нет, не хвораю, наоборот, лопаюсь от дикарской энергии и понимаю, что наступает мой час.

Она ступила навстречу мне и замерла в замешательстве.

Я задал вопрос: «Здесь проживает семейство Ванцетти?»

Она ответила: «Нет».

Тогда я сказал: «Спасибо, прошу прощения, ошибка в адресе».

И удалился.

Ванцетти (кто они такие вообще?) пришли мне в голову от невыносимой паники. Вечер я провел, стараясь убедить себя, что встреча прошла наилучшим образом. Что я проявил поразительное хитроумие. Что если бы она насмеялась над моими признаниями и сказала бы в ответ: да как тебе могло прийти такое в голову, спасибо, конечно, но, извини, есть другой человек, — что пришлось бы делать после? Вычеркнуть ее из своей жизни? Озлобиться от унижения и решить, что она круглая дура? Прилепиться к ней как банный лист на много месяцев, алкая второй Оказии, превращаясь в посмешище лицея? Избирая же, наоборот, тактику молчания, я сохранил все то, чем обладал до того, и совершенно ничего не потерял.

Вообще-то, без всякого сомнения, этот другой человек был. Он иногда ждал ее около школы. Студент университета, высокий, белокурый. Его звали Ванни (не могу уж сказать, имя это было или фамилия), и как-то раз у него был наклеен пластырь на шее, и он, смеясь, бесшабашно говорил друзьям: простая сифилома! А в другой раз появился на мотороллере.

Это был один из первых мотороллеров «Веспа». Они водились, говорил мой папа, только у золотой молодежи. В моих глазах — обладать «Веспой» было то же, что ходить в кафешантан и смотреть на голых танцорок. Греховодство. Кое-кто из лицеистов оседлывал «Веспу» по выходе из школы или приезжал на «Веспе» на пятачок, где бесконечными вечерами полагалось точить лясы у немногочисленных скамеек, перед чахлым фонтаном, пересказывая, как кто-то кому-то что-то говорил о домах терпимости и программе Ванды Озирис. И те, кто что-то когда-то говорил, и те, кто ныне это пересказывал, обретали во всеобщих глазах полупристойную харизматичность.

«Весна», по моим понятиям, — это было «уж вообще». Даже не мечта, поскольку совершенно невозможно было себе представить реальное обладание подобным предметом. Нет, не мечта, а скорее, солнечно-туманная картина чего-то нереального: мчишься с девушкой, а она, примостившись за тобой по-амазонски, обнимает руками сзади. «Веспа» была не предметом желания, а олицетворением неудовлетворенного желания.

…Я приближался с площади Мингетти к лицею, рассчитывая ее встретить, идущую с подругами. Но подруги шли без нее. Я почти бежал, боясь, что какое-нибудь мистическое божество выхватило ее у меня. И действительно, случилось гибельное, но нисколько не мистическое, а если даже и мистическое, то не божественное, а дьявольское. Лила стояла у лестницы лицея, кого-то ждала. На площадь вкатилась «Веспа», на «Веспе» сидел Ванни, на ту же «Веспу» села Лила, обняла его, как положено, под мышками сзади и сцепила руки у него на груди, «Веспа» уехала.

Это было тогда, когда юбкам, укороченным почти выше колена, юбкам военных лет, равно как и колокольчикам до середины ноги, обвивавшим бедра невест Рипа Кирби в первых американских послевоенных комиксах, приходил конец и их место занимали широкие юбки длиной до икр. Они смотрелись отнюдь не целомудреннее прежних, вовсе напротив — их грациозность была двусмысленна, элегантная воздушность так многое обещала, тем более когда их подолы развевались на ветру, когда их обладательницы летели, обхватив из-за спины своих мускулистых кентавров.

Эта юбка была вся — стыдливо-манящее реяние на ветру, обольщение посредством необъятной и всеобъемлющей хоругви. «Веспа» удалялась, царственная, как флагман, оставляющий за кормой певчий кильватер пены, вихренье дельфинов, пучин.

Она уезжала вдаль в то утро на «Веспе», и «Веспа» упрочивалась как символ страдания и никому не нужной самоотдачи.

Тем не менее опять и опять вижу реянье юбки, орифламму[387] ее волос и фигуру, разумеется — сзади.

Джанни говорит, что, когда нас водили в театр, весь спектакль Альфьери я просидел, устремив глаза на ее затылок. Однако я не слышал ничего от Джанни (видимо, он просто не успел рассказать) про другой поход в театр, на заезжую провинциальную труппу, на ростановского «Сирано». Я впервые получил возможность посмотреть эту пьесу на сцене и организовал целое мероприятие, впятером с одноклассииками мы купили билеты на галерку. Предвкушалось наслаждение, а также гордая перспектива — буду подавать реплики еще до того, как их выговорят артисты.

Мы явились задолго до начала. Места были во втором ряду. Прямо перед поднятием занавеса перед нами в первом ряду заняла места стайка девушек. Это оказались Нинетта Фоппа, Сандрина, еще две какие-то и Лила.

Место Лилы было прямо перед Джанни, Джанни сидел рядом со мной, так что я опять получил возможность вглядываться в ее затылок, но если перегнуться и вытянуть вперед шею, то был виден и профиль (тогда он был виден, а вот сейчас лицо Лилы загорожено дрожащими квадратиками). Быстрые приветы, как, и вы тоже тут, вот совпадение. По мнению Джанни, мы были слишком юными для наших девиц, а что я играл на сцене с пилюлей за щекой и был не хуже Джерри Льюиса, не столь уж было важно, над такими посмеиваются, в таких не влюбляются.

Но мне все равно было замечательно. Впивать текст «Сирано» реплику за репликой, когда впереди сидит Лила, головокружение нарастало. Я уже не понимал, какова собой Роксана, выступавшая на сцене, потому что спиной ко мне, наискосок, у меня имелась Роксана своя. Мне казалось, я понимал, когда она была растрогана (кого не трогает Сирано, написанный, чтоб размягчать даже каменные сердца?),

и я самонадеянно решал, что она растрогивается не вместе со мной, а обо мне и для меня. Я не мог вожделеть большего: я, Сирано и она. Прочие были толпой и безымянны.

Покуда Роксана, наклонясь, целовала чело Сирано, я был совершенно един с Лилой. В ту минуту, даже, допустим, не зная, она не могла не любить меня. Кроме того, Сирано прождал годы и годы и годы, пока она наконец осознала… Так что мог подождать и я. В ту минуту я побывал в нескольких шагах от эмпирея.

Любить затылок. Любить, желтый жакет. Желтый жакет, в котором она появилась однажды в школе, золотясь на апрельском солнце, жакет, вошедший в мои стихи. С тех пор я не мог видеть ни одной женщины в желтом жакете без волнения и без приступа нестерпимой ностальгии.

Вот сейчас я наконец понял, что мне там втолковывал Джанни. Я искал в течение всей жизни, во всех бывших у меня женщинах, лицо Лилы. Целую жизнь я предвосхищал возможность сыграть финальную сцену «Сирано». И, быть может, довело меня до рокового поражения именно открытие, что эта сцена отнята у меня навсегда.

Теперь я понимаю: именно Лила посулила мне, шестнадцатилетнему, надежду позабыть ночь в Диком Яру и открыться для новой любви. Мои скудные стихи были предуготованы вытеснить «Упражнения в благой смерти». С Лилою рядом, не говорю — моей, но передо мной, я повзрослел бы, прорастая, образно говоря, сквозь лицейские годы, и постепенно заключил бы мир с собственным детством. Однако Лила вдруг неожиданно пропала. До самого университета я неуверенно протоптался в лимбе, после чего — утратив и прочее, что составляло собою детство, а именно деда и родителей, — отказался от какой бы то ни было попытки позитивной переинтерпретации. Я просто вытеснил детство. Повел отсчет с нулевой точки. Упрятался в филологию, утешительную, ободряющую. Написал диплом по «Сну Полифила», не по истории Сопротивления. Затем произошла встреча с Паолой. Но если верить Джанни, мне не было суждено изжить первичную нереализованность. Я вытеснил все, да не все: не вытеснил лицо Лилы. И продолжал искать этот лик в толпе, но шел не вспять, куда положено идти за минувшим, а вперед, совершая поиск, увы, как мне теперь сообщили, — тщетный.

Преимущество теперешнего сна, с причудливыми лабиринтными

отводами, по которым я, хотя и представляю себе взаимоположение эпох, могу свободно перемещаться во времени, презревая его однонаправленность, — преимущество в том, что теперь я могу перечувствовать все опять, ибо теперь уже не непреложны для меня законы «вперед» и «назад», точки расположены на едином круге, охватившем несколько геологических пластов, и в этом круге, а точнее сказать, в этой спирали Лила постоянно и по-новому рядом со мной в каждый миг моего балета очарованной пчелы, страшащейся прильнуть к желтой пыльце — к желтизне ее жакета. Лила всегда со мной, равно как и Мишка Анджело, и как доктор Озимо, и как чучельщик Пьяцца, Ада, папа, и мама, и дедушка, я вернул себе ароматы и запахи тех лет, все вернул, включая — гармонично и милосердно — даже ночь в Диком Яру, и включая даже Граньолу.

Я такой эгоист? Паола и девочки дожидаются за дверью, благодаря им я целых сорок лет позволял себе блуждать в разысканиях Лилы, головою в облаках, а ногами все-таки на твердой почве. Они вывели меня из замкнутого мира, и, сколько я ни глушил себя инкунабулами и пергаментами, я ведь породил и новую жизнь! Вот они убиваются, а я провозглашаю себя блаженным. Хотя, если разобраться, так ли я виноват. Выбраться же все равно не светит. Так хотя бы получу удовольствие в своем подвешенном состоянии. До того подвешенном, что даже закрадывается подозрение, что между нынешним моментом и тем, в который я проснулся тут, где нахожусь, хотя и перечувствовал чуть ли не двадцать лет последовательно, миг за мигом, на самом деле пролетело только две или три секунды — так вот достаточно, бывает, смежить глаза, и вмиг во сне прокручивается длинная замысловатая история.

Может, я и правда в коме, но читаю не воспоминания, а сновидения? Знаю, иногда во сне мерещится, будто вспоминаешь, а проснувшись, приходится признавать с сожалением, что воспоминания были не твои… Ну вот, в частности, мне нередко снилось, будто я наконец возвратился в какой-то старый дом, где давно не был, но где мне побывать весьма и весьма желательно, и давно пора, и где оставлено много-много вещей. Это некое подобие секретной квартиры, где я жил и которую обставил по собственному вкусу. Во сне я

превосходно опознавал каждый предмет мебели, каждую комнату, разве что иногда сердился, потому что знал, что непременно в коридоре между дверями гостиной и ванной должна быть еще одна дверь, за дверью еще одна комната… но двери нет как нет. Замуровали. В процессе пробуждения я чувствовал вожделение и тоску по этому укромному убежищу, но, пробудившись, соображал, что воспоминание принадлежало сну, а дома этого я помнить не мог, потому что такого дома, по крайней мере в моей собственной личной жизни, отроду не бывало. Поэтому часто я думал, что во сне мы, случается, завладеваем воспоминаниями кого-то.

Однако мне никогда не выпадало видеть во сне, будто я вижу сон, вроде как происходит в этот раз. Что и доказывает, что этот раз — не сон. Кроме того, во снах воспоминания размыты и расплывчаты, а ныне я помню страницу за страницей, иллюстрацию за иллюстрацией — без единого изъятия, — которые пролистал в эти последние два месяца в Соларе. Я помню то, что случилось и имело место реально.

Но кто докажет, что то, что я вспомнил в ходе нынешнего сна, случилось и реально? И что оно имело место? А может, папа с мамой на самом деле были другими? И доктор Озимо на свете не существовал никогда? А также и Анджело-Мишка? А что, если я никогда не переживал ту туманную ночь на склоне Яра? О, хуже, — если мне привиделось во сне, будто я пробуждаюсь в больнице, позабывший, кто я и что я? Если мне приснилась Паола-жена, две дочери и трое внуков? А на самом деле памяти я не терял, просто я некто другой — бог меня разберет, кто я, — по зловредности судьбы загремевший сюда (в кому, а может быть, в лимб), остальной же антураж — расплывчатые тени, помаргивающие в тумане огоньки. Иначе с какой бы стати всему, что я расценивал как припомненное до сей минуты, быть настолько связанным с темой тумана? Это, видимо, просто знак: жизнь есть сон. [388] Жизнь есть сон — цитата. И если все прочие цитаты, и те, которыми я забрасывал доктора, Паолу и Сибиллу, не что иное, как порождение того же самого настырного сна? Что, если не существовало на свете ни Кардуччи, ни Элиота, ни Пасколи, ни Гюисманса, ни всего остального, относимого мной к энциклопедической эрудиции? Если Токио вовсе не столица Японии, Наполеон не только не умирал на Святой Елене, но даже и никогда и не рождался? И если сущее существует помимо меня? Параллельный мир, в котором поди разбери,

что на самом деле происходит и что раньше происходило… Может, в этом мире мне подобные — вкупе со мной — все мы обладаем зеленой чешуйчатою кожей и четырьмя членистыми усиками над единственным глазом?

Нет стопроцентной гарантии, что дело так не обстоит. Но если бы я измыслил целую вселенную изнутри своего мозга, вселенную, в которой имеют место не только Паола с Сибиллой, но и написана «Божественная комедия» и изобретена атомная бомба, я бы задействовал такую емкость смыслопорождения, которая превосходит возможности индивида — если и дальше считать, конечно, что я индивид, а не колония сообщающихся между собой интеллектов.

А если все не так и Некто показывает мне фильм непосредственно у меня в голове? Может, я только лишь отдельный мозг в питательном растворе, в бульоне, в стеклянной банке, подобный собачьим гениталиям, заформалиненный, и некий Манипулятор вводит стимулы с целью — заставить меня верить, будто у меня и тело настоящее было, и разные другие существа вели свою жизнь от меня неподалеку? А на самом деле имеются только Манипулятор и мозг. Но если мы только заспиртованные мозги, способны ли мы осознавать, что мы заспиртованные мозги, или наш удел — думать, будто мы являем собой нечто инакое?

Если я мозг в банке раствора, мне остается только дожидаться новых стимулов. Идеальнейший наблюдатель, я проживаю этот нескончаемый кинопросмотр и верю, будто фильм рассказывает про меня… Нет, нет. То, что я сейчас вижу, — не что иное, как фильм номер десять тысяч девятьсот девяносто девять, а предыдущие десять тысяч с лишком фильмов я уже просмотрел во снах, в одном я отождествился с Цезарем, и перешел Рубикон, и принял в мучениях, как бык на бойне, двадцать три ножевые раны. В другом сне я был синьор Пьяцца, я бальзамировал куниц. В третьем сне я был Анджело-Мишкой и не в силах был понять, отчего меня кинули в огонь после стольких лет вернейшей службы. А в каком-то еще другом сне мне могло бы выпасть оказаться Сибиллой и терзаться неведением — припомнит ли Ямбо когда-нибудь нашу любовную историю. В данный момент я являю собой временное «я». Завтра, может быть, стану динозавром, у которого начинает кое-где побаливать от холода, надвигается оледенение, холод

приведет к полному вымиранию нас. Послезавтра мне выпадет на долю побыть абрикосом, воробьем, гиеной, былинкой.

Я решаю не сдаваться. Я решаю выяснить, кто я. Что есть полностью бесспорного в моем статусе? Вот что в точности: воспоминания, выплывавшие на начальной стадии этого моего периода, который я считаю пребыванием в коме, — были смутными, были туманными, и между ними имелись зияния, как в недоделанной мозаике. Гадательность, прерывистость, крошенина… в частности, я до сих пор не в состоянии воссоздать лицо Лилы. А воспоминания недавней Солары и недавнего перед Соларой Милана после апрельского пробуждения в больнице — вполне отчетливы, простроены в логическом порядке и поддаются топографическому и хронологическому ранжированию. Я повстречался с Ванессой на площади Каироли, перед тем как приобрел собачьи гениталии на Кордузио. Конечно, может и сон быть срежиссирован таким образом, что одни воспоминания четки, а другие мутны, но явная разноплановость двух этих разновидностей подводит меня как бы то ни было — к решению. Чтобы все-таки выжить (очень смешная формулировка для такого, как я, который, не исключается, что умер), я принимаю принципиальное решение, что Гратароло, Паола, Сибилла, мое бюро, Солара со всем, что в ней есть, с Амалией и с историей про дедушкину касторку, — суть факты истинные. На подобных принципиальных допущениях строится жизнь у всех и всегда. Не исключается, что всех и всегда дурит и морочит некий пакостный гений… но для того чтобы жить и чтоб действовать, люди принимают за основополагающий принцип, что все наблюдаемое ими — реально. Если давать себе волю и сомневаться, существует ли жизнь вне сознания, — действованию крышка. Остается жить мыслями. А так как мыслями руководит-таки пакостный гений, мы либо свалимся с лестницы, либо попросту помрем с голодухи.

Именно в Соларе (которая, соответственно моему допущению, реально существует) я читал свои старые стихи, посвященные *Существу, заключенному в эту тайну текучую,* и именно в Соларе я услышал от Джанни по телефону, что существо существовало и именовалось Лила Саба. О Лиле Саба говорил и мой сон. Следовательно, Анджело-Мишка может быть и полной фикцией, но

Лила Саба — реальный факт. С другой стороны, если бы она не была реальным фактом и являла собой только порождение сна, почему бы сну не предоставить мне среди прочего и лицо Лилы? Когда нам снятся покойники, они обычно вежливы и услужливы, даже советуют, на какие цифры в лотерее ставить, чтобы выиграть, и с чего бы Лила отказывала мне? Если я не в силах вспомнить ее полностью, это означает, что где-то вне пределов сна имеется довольно строгий контрольный пост и почему-то мне не удается пройти сквозь контроль и просочиться в собственный сон.

Разумеется, ни одна из моих путаных выкладок не выдерживает критики. Что я не могу пройти через контрольный пост — возможно, что и само это непрохождение как раз мне приснилось. А возможно, Манипулятор не захотел (столь коварен? или столь сострадателен?) зарядить в меня изображение Лилы. Не желает показывать ее лицо… Но и это не очень существенная помеха. Во сне люди часто видят знакомцев или знаменитостей без лиц, тем не менее моментально понимают, что это именно тот-то.

Ни одна моя гипотеза не выдерживает логической проверки. Однако именно тот факт, что я проверяю свои мысли логикой, доказывает, что я не сплю. Мысли во снах нелогичны. Спящие на нелогичность не жалуются.

Словом, я принимаю за данность, что имеется определенный порядок вещей. Интересно, кому *придет в голову* прийти в мою голову и со мной поспорить.

Если б я увидел лицо Лилы, я уверился бы, что она существовала на свете. Да не к кому обратиться за помощью. Я совершенно одинок. Я не могу обратиться ни к кому из тех, кто вовне меня, ибо и господь, и Манипулятор, если кто-то из двух существует, несомненно, обретаются снаружи сна: а сообщение со всем, что снаружи сна, у меня оборвано. Может, обратиться в частный сектор? К частному божеству? У него силенок, конечно, не так много, однако подобное небольшое божество уж точно будет мне благодарно за то, что я вдыхаю в него живую жизнь.

К какому же небольшому божеству? К кому же обращаться, как не к царице Лоане? Я знаю, царица Лоана тоже почерпнута из пресловутой *бумажной памяти*.[389] Однако я имею в виду не ту, не царицу Лоану из реального комикса, а мою собственную царицу Лоану, переработанную

моим воображением — значительно более эфирную и бестелесную. Царицу — хранительницу таинственного пламени воскресения, способную оживить «каменных гостей» из любого, самого отдаленного былого.

Я обезумел? Обезумел. О, какое разумное допущение. Не в коме я, а в летаргической аутичности, и навоображал себе, будто я в коме, и навоображал, что все мною виденное во сне нереально, и даже вообразил, будто я имею право реализовывать нереальное. Хотя… разве способен безумец выработать разумную гипотезу? К тому же сумасшествие определяется как несоблюдение «чужой» нормы. А здесь нет «чужих», единственная мера всему — я сам, единственная реальность — Олимп моей памяти. Так что я заключен, как в темницу, в собственную угрюмую оболочку, в свирепую зацикленность на себе. А следовательно, если именно таково мое состояние, какая тогда может быть разница между мамой, Мишкой Анджело и царицей Лоаной? Я живу в довольно расхристанной онтологии. Обладаю верховными полномочиями создавать себе собственных богов и собственных Матерей.

И поэтому я произнес молитву:

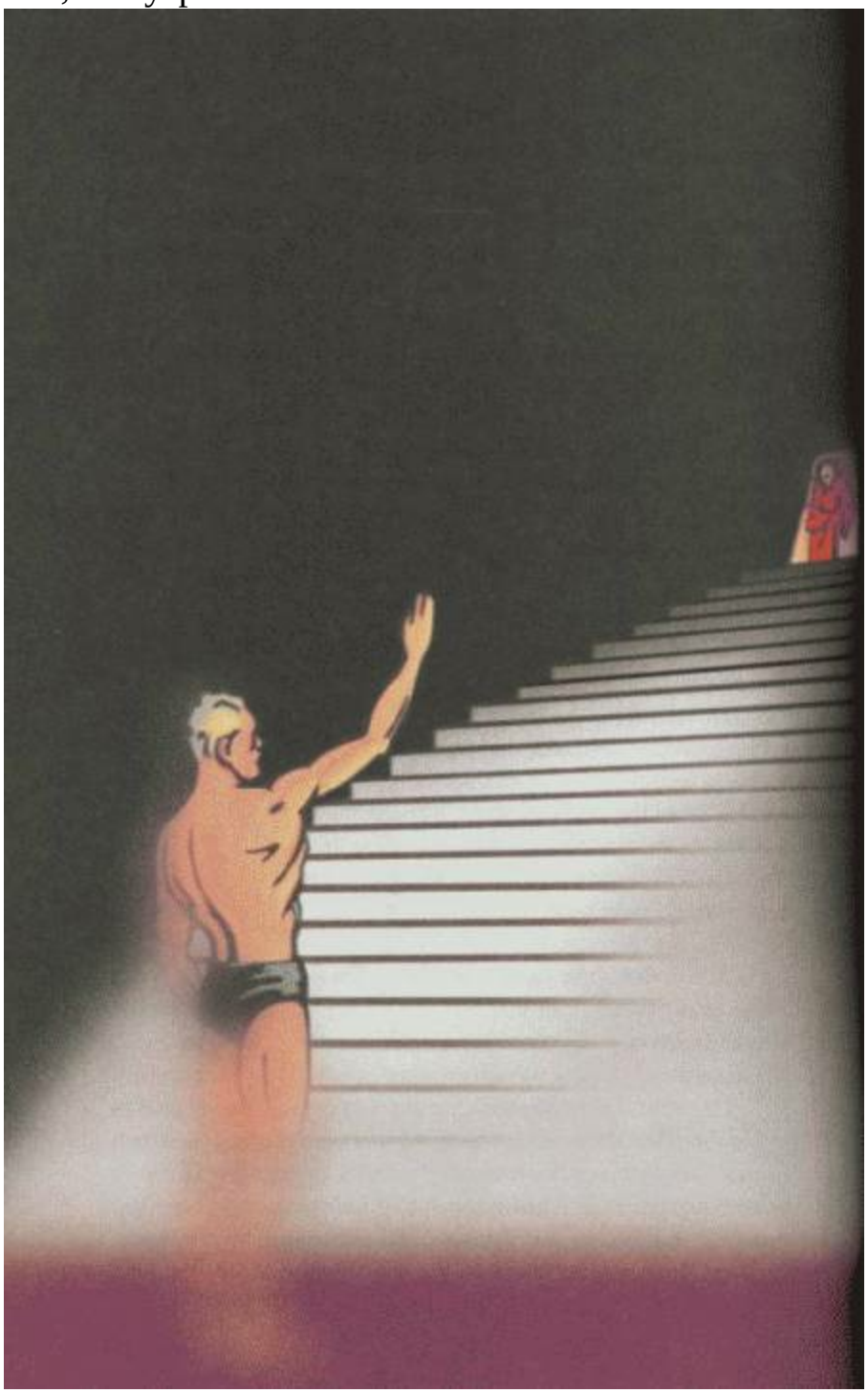
— Добросердечная царица Лоана, во имя твоей безнадежной любви, не прошу пробудить от каменной дремы тех, кого ты принесла в жертву тысячи лет назад… Только ее лицо! Оживи ее лицо! Я взываю к тебе из бренного лимба принудительного сна, где узрел я то, что узрел, прошу тебя, вознеси меня выше, к мнимости здоровья…

Не таков ли механизм чуда, когда люди, едва выразив веру в сверхъестественное, излечиваются? Так вот, я страстно пожелал, чтобы Лоана спасла меня. Я весь напружился в надежде. Не будь я уже и без того в коме, схлопотать бы мне инсульт!

И вот действительно, свят Господь, воззрел я подобно апостолу, и вот я узрел центр Алефа,[390] однако там не просиявал беспредельный мир, а оказался разлистан целый каталог моих разнокалиберных воспоминаний.[391] *Так топит снег лучами синева; Так легкий ветер, листья взвив гурьбою, Рассеивал Сибиллины слова.*[392]

То есть я, да, узрел центр, но такой яркий, что после него потом все

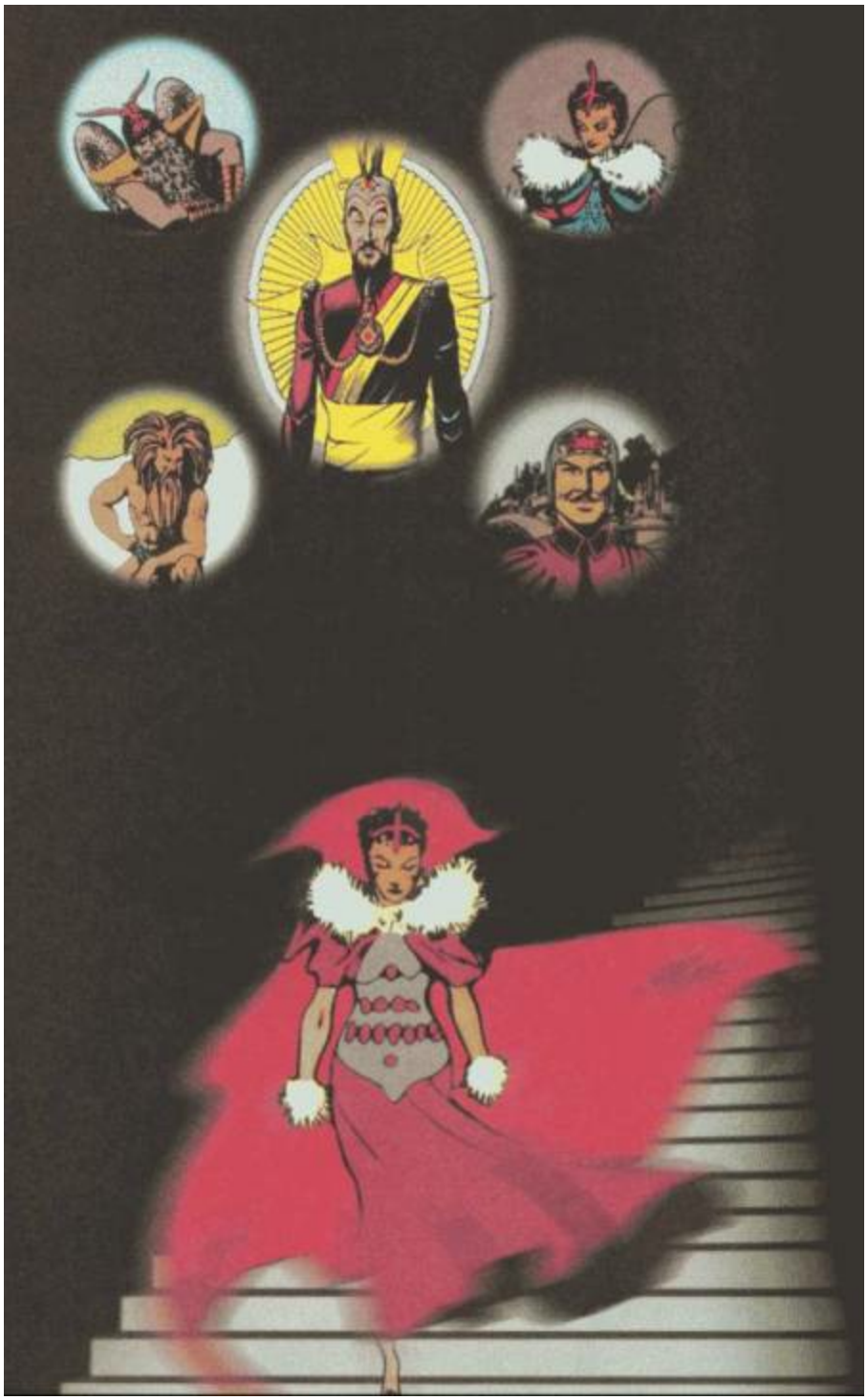
стало казаться туманной дремой. Бывает, что во снах снится, будто что-то снится. Мне же, если даже я сплю, приснилось, будто я пробудился и воспомнил то, что узрел.



Вот я узрел, будто стою внизу лестницы на площади перед лицеем, лестница уходит наверх, белая, к неоклассическим колоннам, обрамляющим вход. И вознесен я был в духе и слышал позади себя

громкий голос, как бы трубный, который говорил:[393] *то, что видишь, напиши в книгу, потому что все равно никто эту книгу читать не станет, ибо тебе только снится, будто ты эту самую книгу пишешь!*

И вот, престол стоял на вершине лестницы, и на престоле был Сидящий, с лицом золотым, с улыбкой монгольской и свирепой,[394] с головой, венчанной огнями и смарагдом, и все подымали чаши в его честь, Минга Беспощадного, правителя Монго.



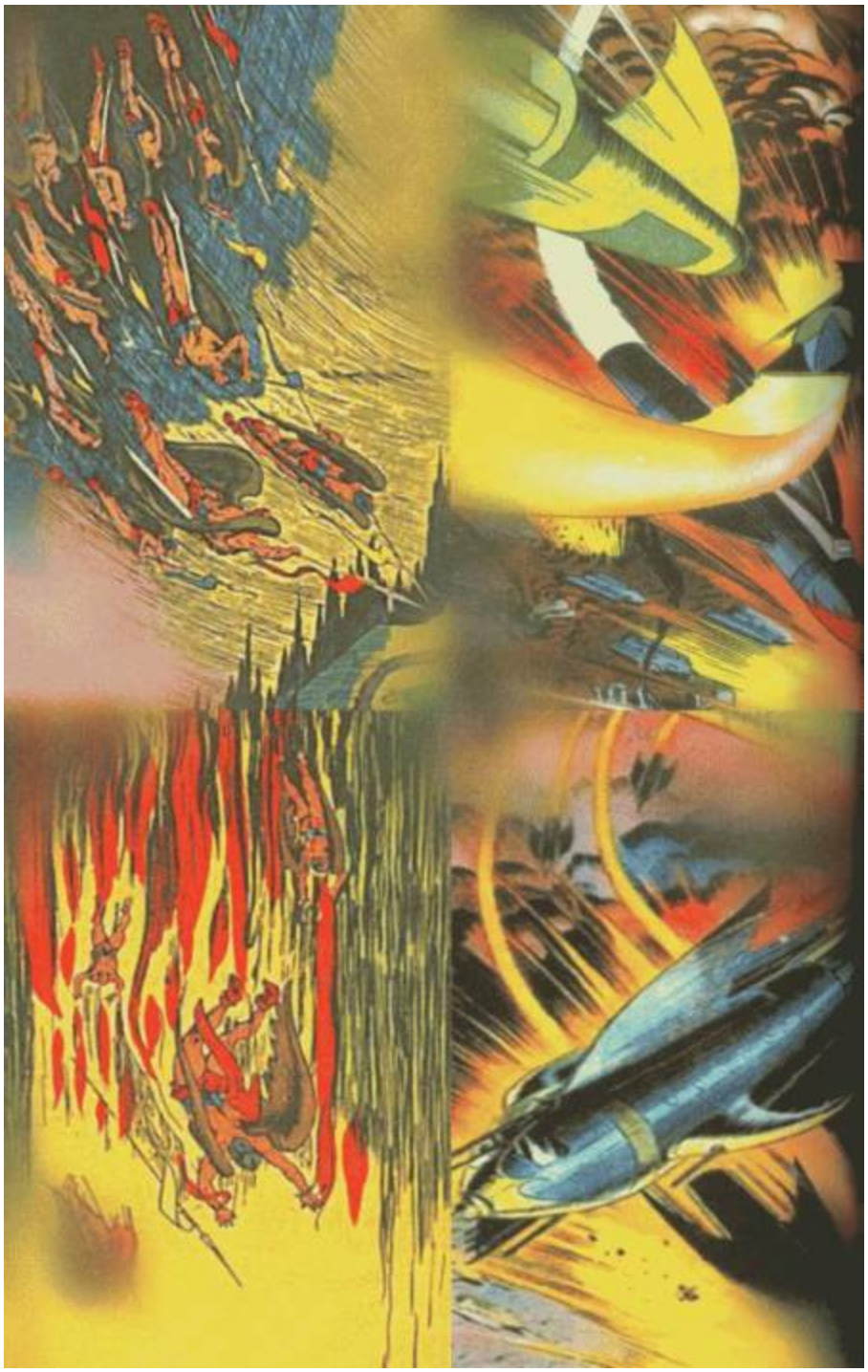
И посреди престола и вокруг престола четыре животных: Тун с ликом льва, Вультан с крылами сокола, Барэн, князь Арбории, и Ураца, царица заклинателей. И Ураца спускалась по ступеням, в одеянии пламенном, и казалась великой блудницей, облеченной в порфир и багряницу, украшенной золотом, драгоценными камнями и жемчугом,

упоенной кровью людей, пришедших с Земли, и видя ее, дивился удивлением великим.

И Минг, сидящий на престоле, сказал, что желает судить людей, пришедших с Земли, и, непристойно хихикая при виде Дейл Арден, приказал, чтоб отдали ее на поедание Зверю, выходящему из моря.

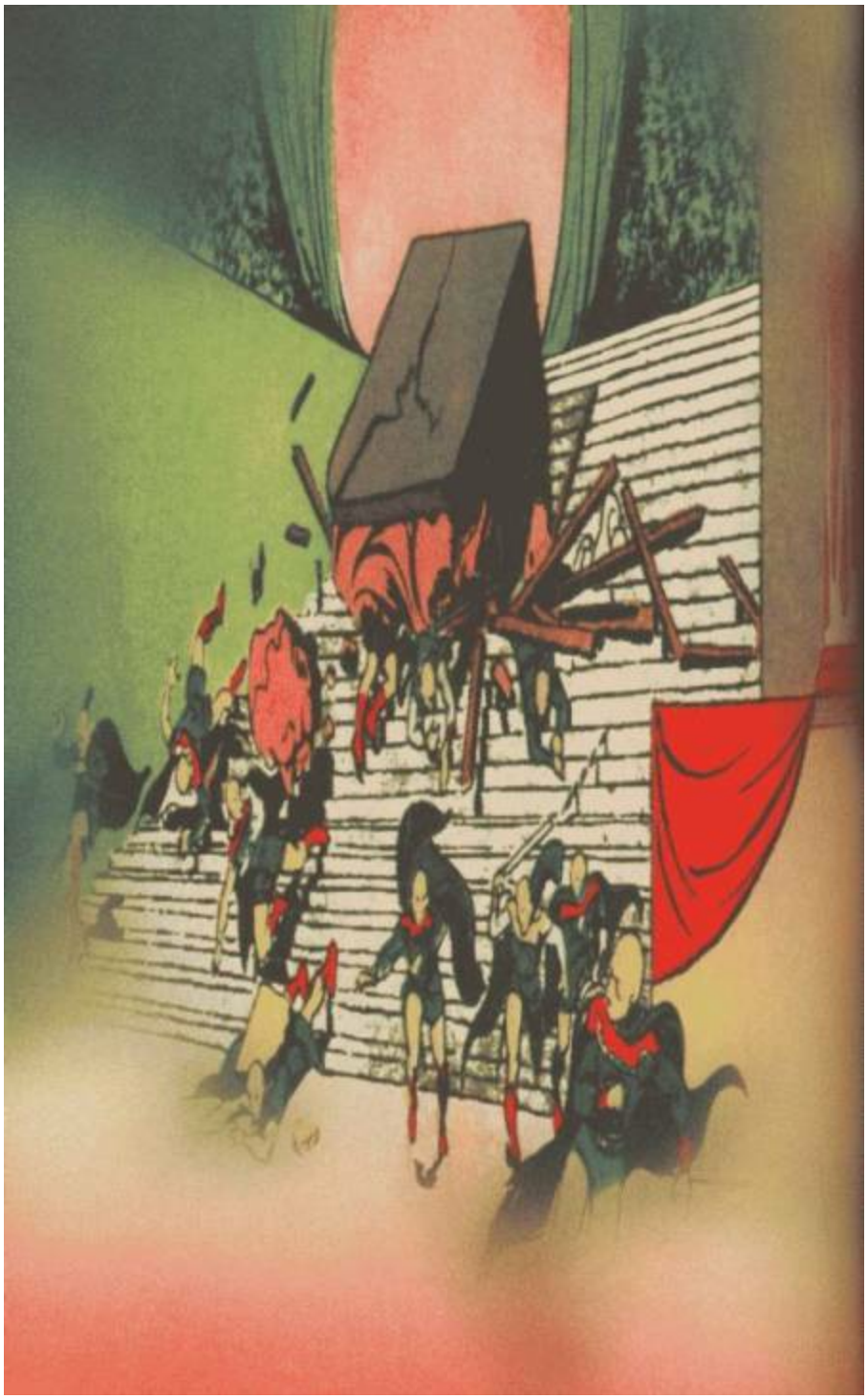
И у Зверя был ужасный рог на лбу, и разверзтая пасть, и острые зубы, и когти как у хищной птицы, и хвост как тысяча скорпионов, и Дейл в слезах призывала спасти ее.

И на помощь Дейл стали взбираться по лестнице рыцари подводного мира Корелии, на остроносых двуногих, каждое с длинным хвостом морского змея… И заклинатели, преданные Гордону, на колеснице из золота и коралла, запряженной зелеными грифонами о длинных и чешуйчатых шеях… И копейщики Фрии на снежных птицах с искривленными клювами, похожими на золотые рога изобилия, и наконец после всех, в белом экипаже, бок о бок с Царицей Снегов, выезжал Флэш Гордон и кричал Мингу, что начинается великое ристалище Монго и что тому предстоит расплата за все преступления.

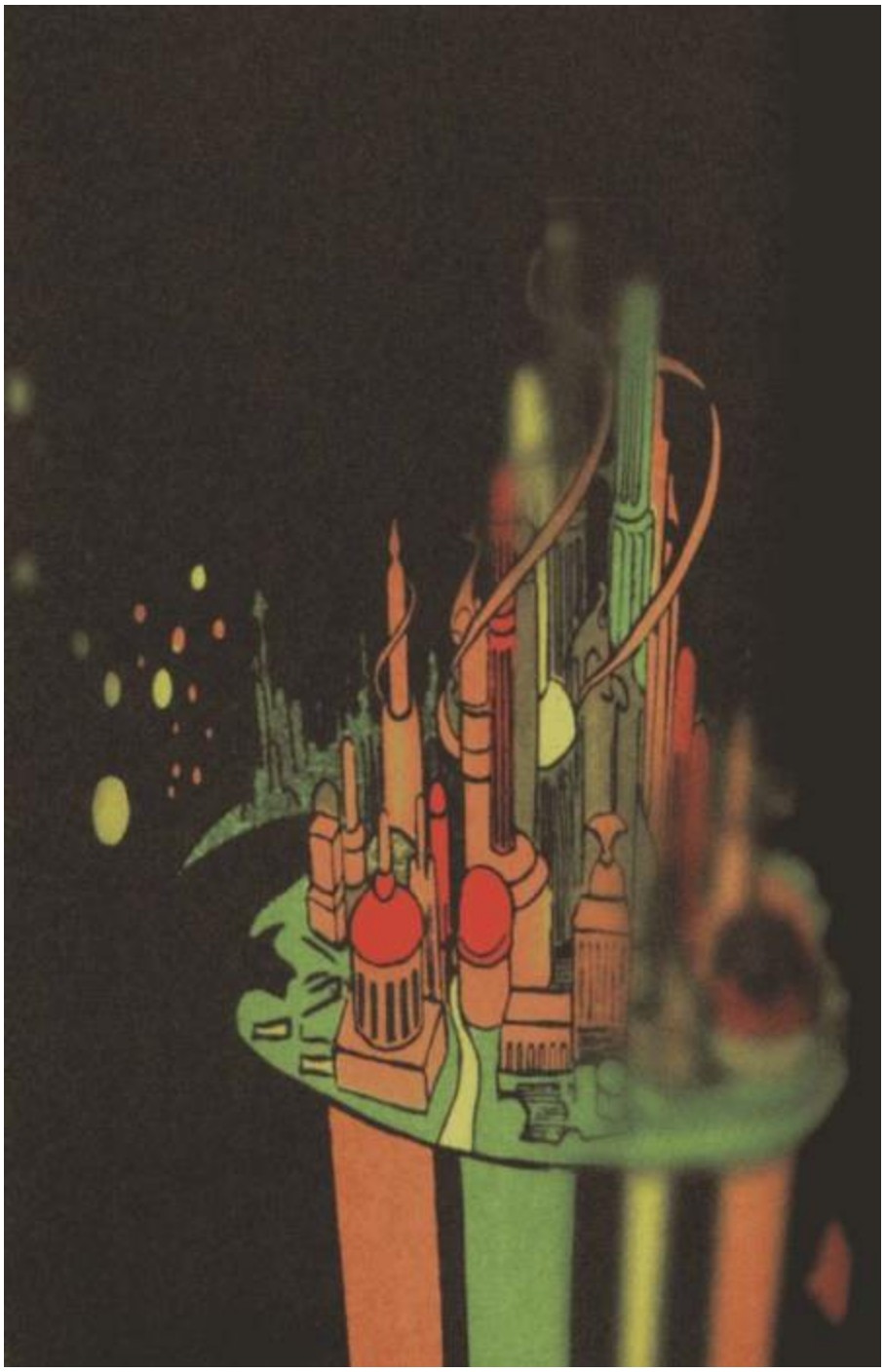


И по знаку Беспощадного Минга, правителя Монго, роем ниспали с неба против Гордона люди-соколы, затуманив облака, будто туча саранчи, а люди-львы с сетями и крючочными трезубцами заполнили собой площадь напротив лестницы и стремились захватить Ванни и других студентов, составлявших собой другой рой, рой на мотороллерах, и исход этой борьбы представлялся мне неясным.

Не имея ясности, Минг подал новый знак, и его небесные ракеты поднялись высоко к солнцу и прицелились на землю, когда, по знаку Гордона, другие небесные ракеты доктора Царро (Царькова) взлетели в воздух, и в небесах произошла величественная битва при сипении смертельных ракет и в языках огня, и звезды с тверди, казалось, низвергались на землю, а ракеты проникали в небо, размягчались и скручивались в трубки, как скручивается свиток Книги, и настал день Большой Игры Кима, и, завернувшись в другие многоцветные пламена, низвергались на землю и взрывались небесные ракеты Минга, поражая на той площади людей-львов. И люди-соколы падали наземь, охваченные пламенами.

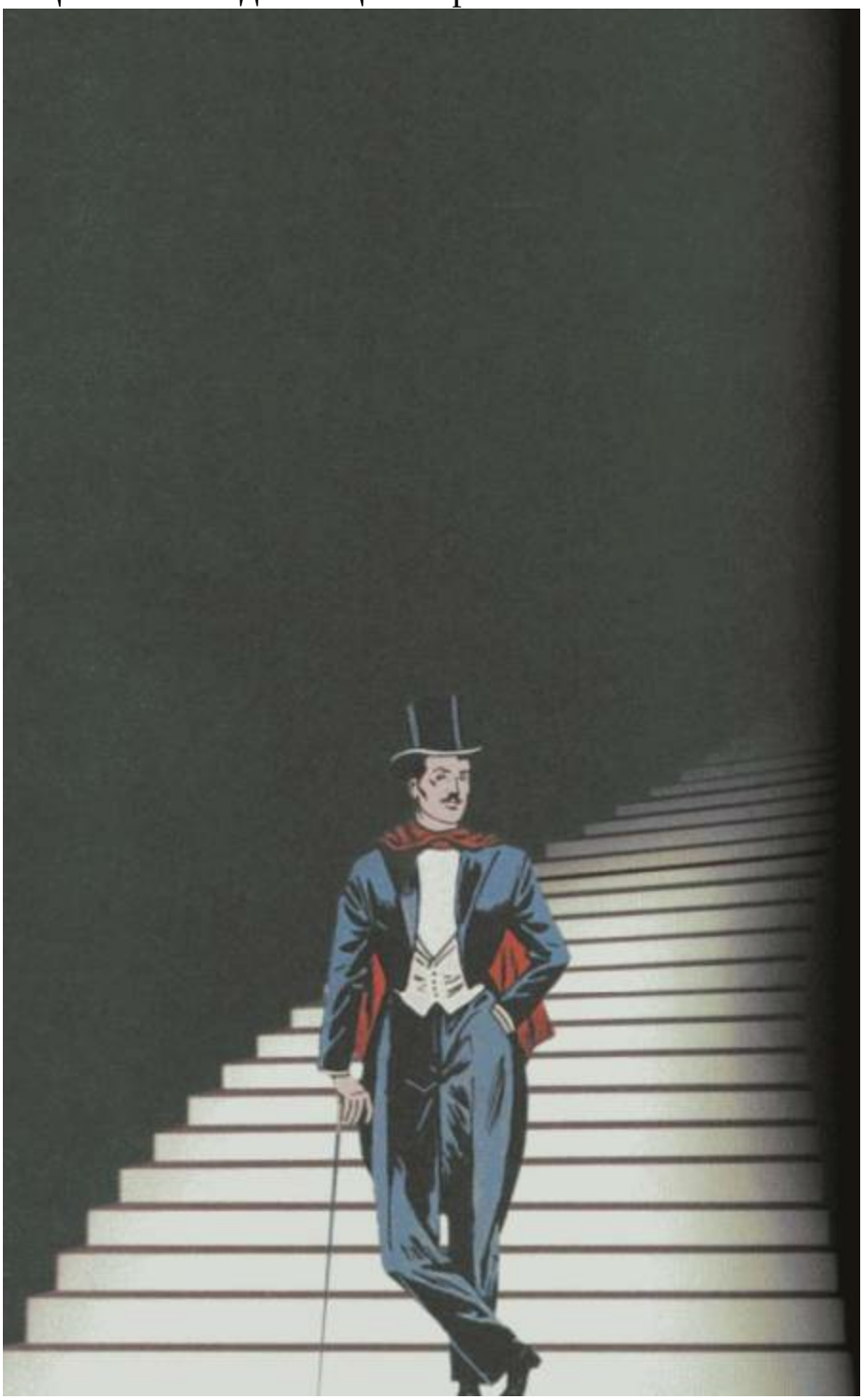


И Минг, беспощадный правитель Монго, испускал вопль разъяренной твари, и его трон опрокидывался и катился по лестнице лицея, сбивая с ног боязливых придворных.



И после гибели тирана пропали Звери, прибывшие отовсюду, бездна разверзлась под ногами Урацы, которая низвергалась в водоворот серы и снова восходила кверху по лестнице лицея и над лицеем, в Град из хрусталя и драгоценных камней, озаряемый лучами всех цветов радуги, и его высота была в двенадцать тысяч стадиев, и его стены подобны стеклу чистейшему и были высотой в сто сорок четыре локтя.

В некий миг, после пламени и водяного пара, туман рассеялся, и взору с великой четкостью представилась та же лестница, свободная от всех чудовищ и белая под солнцем апреля.



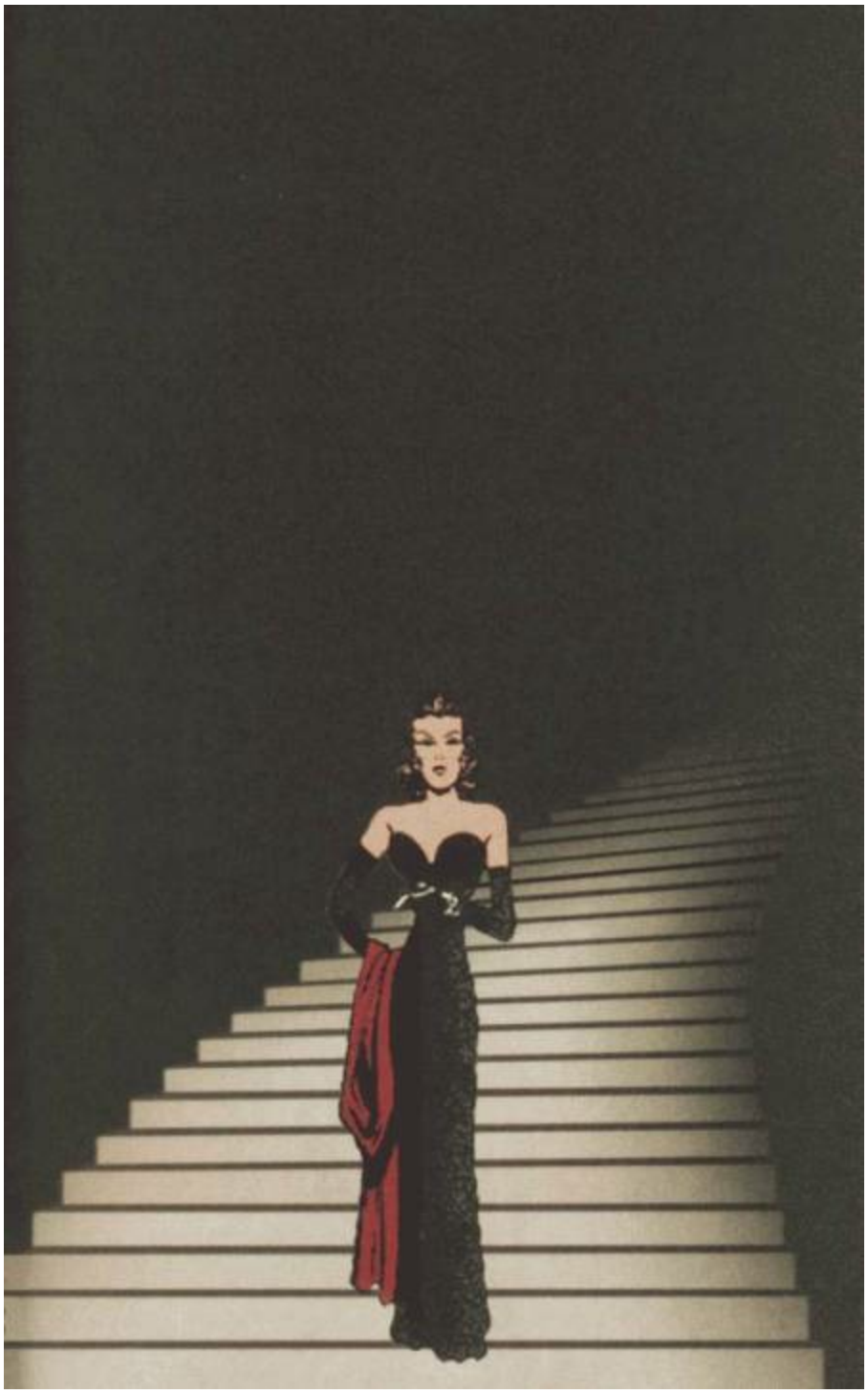
Я что, вернулся к действительности? Вострубили разом семь труб, а именно: трубачи из оркестра «Четра» под руководством Пиппо

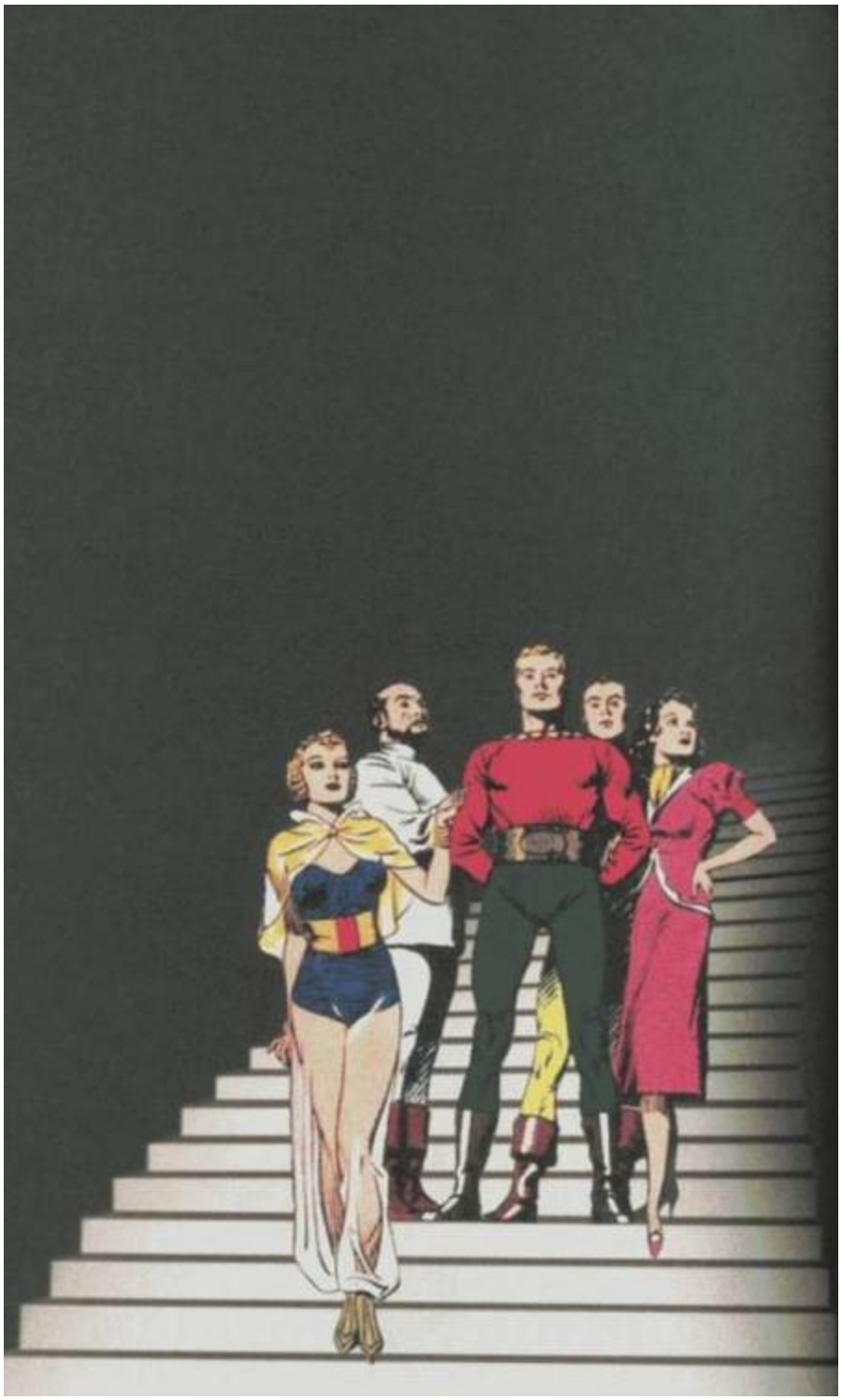
Барциццы, трубачи из оркестра «Мелодика» под руководством Чинико Анджелини и трубачи оркестра «Ритмо-симфоника» под руководством Альберто Семприни. Двери лицея широко распахнулись, их непристойно распялил мольеровский доктор[395] с таблеткой от головной боли «Фиат» и торжественно ударил жезлом для провозвещения Архонтов.[396]

И вот Архонты шествуют сверху вниз по сторонам лестницы. Мужчины выходят раньше, располагаются будто сонмище ангелов для схождения со всех семи небес, в пиджаках в полоску и белых брюках, — похожи на ухажеров Дианы Палмер.

После этого у подножья лестницы появился Мандрейк-Маг, непринужденно поигрывая тростью. Он взбежал, раскланиваясь и приподнимая цилиндр, и при каждом его шаге соответствующая ступень лестницы освещалась. Мандрейк пропел: *Построю лестницу я прямо в рай, За ступенью еще ступень, Я туда доберусь, доберусь, так и знай, По ступенечке каждый день!*

Мандрейк взвихрил свою тросточку в небо и провозгласил появление Леди-Дракон, затянутой в черные шелка.[397] На каждой ступени преклоняли колени и махали своими соломенными шляпами в знак обожания многочисленные студенты, а она выпевала развратным голосом саксофона перед случкой: *Sentimental, Эта ночь была как греза, Осенью дышала даль, Увядала роза.*





За нею спустились наконец-то возвратившиеяя на нашу планету Гордон, Дейл Арден и доктор Царро, и в свою очередь они пропели: Синее *небо улыбнулось мне, Синее небо, куда я ни гляжу, Синие птицы ласково поют, Синие птицы, куда бы я ни шел.*

За ними спикировал Джордж Формби с укулеле и лошадиной улыбкой, наяривая: *Как на лету! Повсюду странно мне и так легко! И я пою! И я пою, куда бы я ни шел! Когда иду, Как на лету, Как на лету…*

Кубарем катятся семь гномов, скандируя имена семи царей Рима и запамятовав последнего, вприпрыжку скачут Микки-Маус с Минни в компании Хораса Хорсколлара и коровы Кларабеллы, отягощенной диадемами из собственного клада, под мелодию «Однако Пиппо знать не знал». Сошли строем Пиппо, Пертика и Палла,[398] Чип, и Курица, и Альвар, почти что корсар, с Алонсо-Алонсо по прозвищу Алонсо, ранее судимым за похищение жирафы,[399] и тут же, под ручку, Дик Фульмине, Дзамбо, Баррейра, Белая маска и Флаттавион,[400] они спели балладу «Шел по лесу партизан», за ними маршем продефилировали все мальчики из «Сердца» Де Амичиса во главе с Деросси, с маленьким ломбардцем-разведчиком, с сардинским барабанщиком и с отцом Коретти, чья ладонь еще была тепла от рукопожатия короля-душегуба. Маршируя, они пели: *Прощай, Лугано bella, Нас безвинно изгоняют, Анархистам опять далёко, далёко дорога легла,* а Франти в последнем ряду, плетясь за остальными, имел покаянный вид и лепетал: *Усни, не плачь, Иисусе драгоценный.*

Сделался фейерверк. Залитое солнцем небо — россыпь золотых звезд. По ступеням сияющей лестницы сверзились Термогеновый человек,[401] и пятнадцать дядей Гаэтано, и ощетиненный карандашами человек-реклама Пресбитеро,[402] руки-ноги их дрыгались в осатанелой чечетке: *Я янки дудл денди,* из томов «Библиотеки для юношества» выбежали взрослые и дети — Джильола из Коллефьорито, племя Лесовых зайцев, синьорина из Сольмано, Джанна Превенти, Карлетто из Керноэля, Рампикино, Эдит, наследница Ферлака, Сюзетта Моненти, Микеле из Вальдарты, Мелькиорре Фьяммати, Генрих из Вальневе, Валия и Тамариск, летучим отрядом командовала летучая Мэри Поппинс, и у всех были военные фуражки мальчишек с улицы Пала[403] и длинные носы, как у Пиноккио. Отстукивали ритм костылями кот с лисой и пританцовывали конвоировавшие их жандармы.[404]

Затем, по легкому манию психопомпа, появился Сандокан. Он был одет в тунику из индийского шелка, перепоясанную синим кушаком, — на кушаке драгоценные камни. Его тюрбан был увенчан алмазом величиной с орех. За поясом пара арабских кинжалов замечательной работы, в руке палаш в испещренных рубинами ножнах. Он пел приятным баритоном: *В прекрасном Сингапуре, Под звездами в лазури,*

Взошла наша любовь, за ним крались его ручные тигры, ятаганы в зубах, алкая крови и подвывая: *Момпрачем, одолевший Англию, О, тобой гордится корсар, Покоривший Александрию, Мальту, Суду и Гибралтар…*

Затем показался Сирано де Бержерак, с обнаженной шпагой, к вашим услугам, он пел немножко в нос, жестикулируя к зрителям: *Знакомьтесь, моя кузина, Она оригиналка, Совсем не образина И вовсе не нахалка. Танцует буги-вуги, Отнюдь не склонна к нытью И учит на досуге Английский язык for you.*

За ним, извиваясь, Джозефин Бейкер, на этот раз обнаженная, как калмычки в «Расах и народностях земного шара», в юбочке из бананов: *До чего я убиваюсь и грущу, Что случайно, боже, грех я допущу.*

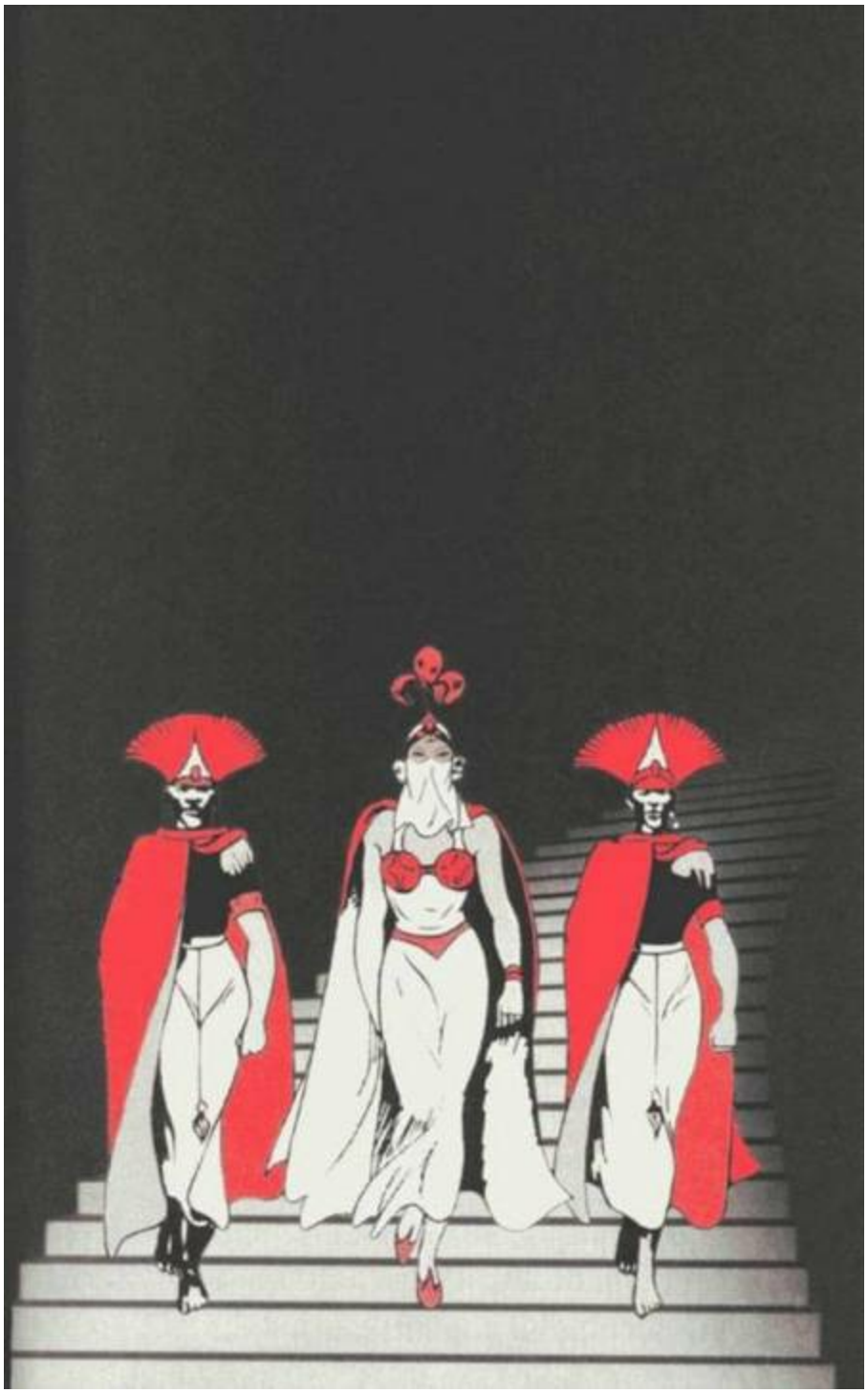
И вот спускается Диана Палмер с песней: *Больше нет, больше нет такой любви,* Янес де Гомера выводит иберийские рулады: *O Maria la O, Поцелуй меня, O Maria la O, Я люблю тебя., Перед нежным взглядом Я не устою,* близится и лилльский палач с миледи Винтер, она всхлипывает: *И золото волос, и нежный сочный рот,* но тот срезает ей голову единым движеньем, шурхх — и восхитительная головка Миледи с выжженной лилией на лбу,[405] подпрыгивая, скачет вниз до самого основания лестницы, почти к моим ногам, и тут Четыре Мушкетера затягивают фальцетами: *Предпочитает ужинать в шесть, В восемь ей поздно, так хочет есть, Всех ее пакостей не перечесть, Шельма эта Миледи!* Сходит вниз Эдмон Дантес с куплетиком: *О, вы попали к богачу! Я уплачу, я уплачу!* — за ним подсеменивает аббат Фариа в мешковинном саване, показывая на Дантеса пальцем и распевая: *Вот этот, вот этот, да, в точности вот этот,* а следом за ним вприскачку Джим, доктор Ливси, лорд Трелони, капитан Смоллетт и Долговязый Джон Сильвер (причем последний переодет Одноногогим Питером и на каждой ступеньке пристукивает раз настоящей ногой и два-три-четыре деревянной), они требуют от аббата Фариа вернуть сокровища капитана Флинта. Бен Ган[406] с улыбкой свирепого Триггера Хокса[407] цедит сквозь свои песьи клыки *«cheese!»*. Под бряцанье тевтонских подков сходит геноссе Рихард, каблуки выбивают: *New York, New York, что за город, подруга! Там с севера Бронкс и Бэттери с юга!* Человек, который смеется, обхватив леди Джозиану, нагую, какой может быть только женщина во всеоружии, по десять притопов подметками на каждой ступеньке: *Вот и ритм, Вот и музыка, И красотка, Кто чего бы еще*

желал?

Вверх по лестнице, ведущей вниз, протягивается (сценический эффект поставлен доктором Царро-Царьковым) сияющий длинный рельс, и по нему наверх от самого низа взмывает Филофея, добирается до верхней площадки, проникает в вестибюль лицея — и, подобно рою из веселого улья, показывается и спешит по лестнице вниз вся компания, состоящая из деда, мамы, папы, ведущего маленькую Аду, доктора Озимо, господина Пьяццы, двоих священников (дона Коньяссо и настоятеля Сан-Мартинской церкви) вкупе с Граньолой, шея которого обмотана бинтами, подпирающими затылок, так что он походит на Эрика фон Штрогейма[408] и даже плечи у него почти выправлены. Вся компания поет:

Музыкальная семейка, поживи не очумей-ка,
Ночью поздней, утром рано хочет слушать Трио Лескано,
Мать желает Боккаччини, сын — оркестр Анджелини,
Бабка слушает в кровати джаз Альберто Рабальяти.
Дочь по имени Мария заперлась на антресоль
И с маэстро Петралия выпевает ноту соль.
Папа хочет отличиться, будто Пиппо он Барцицца,
Ритмы сильно переврал, да ведь Пиппо знать не знал.

Над ними планирует Мео, огромные уши развеваются в воздухе по высокой ослиной моде, в беспорядочную стайку врываются мальчишки из команды при молельне, все они переодеты в форму «Патруля слоновой кости», прицеливаются в Мео, ружья делают *«crack-crack»*, они выталкивают вперед Фэнга, это гибкая черная пантера, с экзотическим песнопением весь караван идет в Тиграи.



Поохотившись для порядку *(crack-crack)* на каких-то гуляющих неподалеку носорогов, все подбрасывают оружие и головные уборы, салютуя ей — царице Лоане.

Она выходит в целомудренном бюстгальтере и в юбке, почти открывающей пупок, с лицом, укутанным белым покрывалом, покачивает бедрами между двух мавров, наряженных императорами

инков.

Ко мне подходит девушка из «Безумств Зигфилда»,[409] улыбается, делает мне ободряющий жест, показывает на проем лицейской двери, откуда появляется дон Боско.

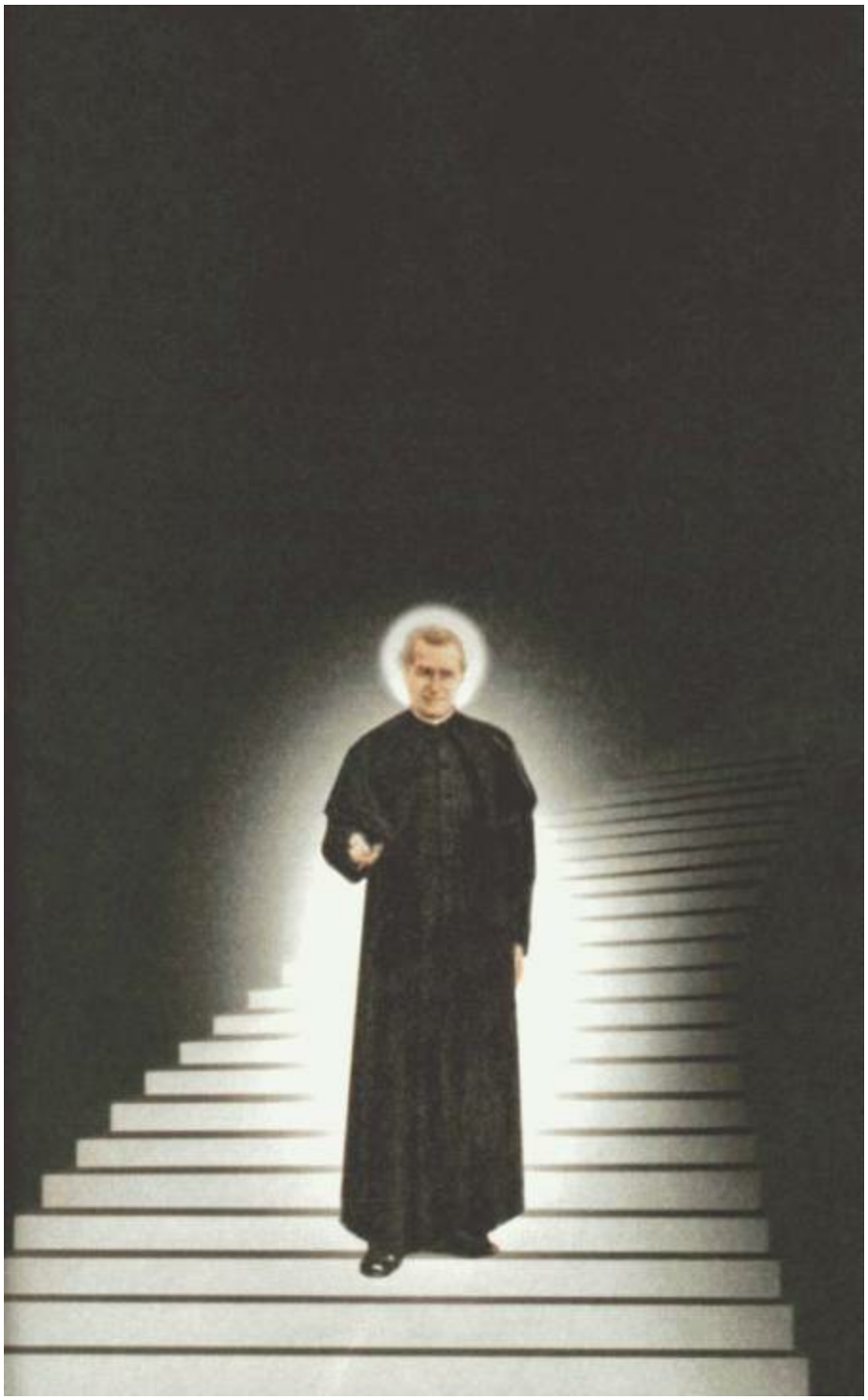
За ним мой духовный наставник отец Ренато, в протестантском сюртуке, поет за его спиной (будучи мистиком, но также и священником широких взглядов): *Возле казармы, где большой забор, Две наших тени una facta sunt… Давай, покуда не умрем, Infra laternam stabimus, Olim Lili Marleen, Olim Lili Marleen.* Святой же, с лицом всерадостным, в засаленной рясе и в громоздких сальских сандалиях, [410] при каждом чечеточном соскоке с уровня на уровень держит на вытянутой руке перед собой и над собой (так держит Мандрейк цилиндр) книгу «Осмотрительный отрок» и, слышится мне, поет: *omnia munda mundis,*[411] и вот, невеста готова, и ей было дано одеться в сияющий незапятнанный виссон, она подобна жемчугу драгоценному, я пришел сказать тебе то, чему суждено произойти…

Итак, позволение одержано… Двое клириков расходятся по дальним краям самой нижней ступени и милостивым жестом позволяют отвести притворы дверей. Выходят девочки из женского класса, в прозрачных окутывающих покрывалах, фигуры их танца воспроизводят непорочную розу, они поворачиваются в профиль и вздымают к небесам руки, и на просвет становятся видны их девственные груди. Наступил час. Она покажется в апофеозе этого сиятельного апокалипсиса. Она покажется, Лила.

Какой она будет? В содрогании предвкушаю.

Будет это девица семнадцати лет,[412] восхитительная, как роза, распахнувшая всю свою свежесть первым заревам росистого утра, в долгополой лазурной сорочке, охваченной от талии до колен серебристою сеткой, так что синева ткани не сможет соперничать с просинью ее радужных глаз, с этими томными зарницами, а рассыпавшиеся белокурые локоны, мягкие и блестящие, будут украшены одним венком из цветов? Будет ли это создание на пороге восемнадцатой весны, с кожей до такой степени тонкой, что через белизну будет просматриваться розоватый нюанс, около глаз — чуть заметный отлив аквамарина, и на лбу и у висков — мелкие голубенькие жилки, и рядом с тонкими светлыми прядями, водопадом ласкающими щеку, ее голубые нежнейшие глаза покажутся парящими во влажной и

сверкающей среде, а улыбка ее будет детской, но когда она пожелает сменить нрав на серьезный, тонкая пульсирующая складка обозначится по краям ее губ? Будет она семнадцатилетней, стройной и изящной, и с талией такою тонкой, какая может быть обхвачена пальцами одной руки, с кожею бархатной, как свежераспустившийся цветок, с шевелюрой, укутывающей ее в живописном беспорядке подобно золотому дождю, поверх белоснежного корсажа, охватывающего грудь? Дерзкий лоб будет господствовать над ее лицом, имеющим совершенство овала, ее кожа будет матово-лучезарной, ее бархатная свежесть, мнится, будет заимствована от лепестков камелии, едва прогретых лучами утреннего светила, а черные искрометные зрачки едва дозволят увидеть у самых век, окутанных длиннейшими ресницами, сизоватую сквозистость глазного яблока.



Нет. Ее туника будет смело раздвоена на боках, обнажены рамена, и осененные тенью тайны станут угадываться под покровами. Медлительно отстегнет что-то под густой гривой волос, и внезапно долгие, обвивающие, будто саван, шелка низойдут, и мой взгляд обежит все без утайки ее тело, укутанное только облегающим белым исподним,

а поверх талии — поясом с двухголовой золотой змейкой, руки она скрестит на груди, я обезумею от ее андрогинных форм, сойду с ума по этой плоти, белой, точно сердцевина стеблей бамбука, по этим губам жертвы, по этой голубой ленте, обнимающей подбородок, это ангел из требника, переодетый богоматерью (святотатство извращенного иллюстратора): на плоской груди фигуры проклюнутся женские сосцы, небольшие, но явственные, они всхолмятся, разделенные, остренькие; линия, обозначив талию, чуть скруглится по направлению к бедрам, чтобы затем протянуться и сойти на нет, очертив чересчур долгие ноги Евы Луки Лейденского. Зеленые неискренние глаза, большеротая тревожащая улыбка, рыжеватые с отливом старого золота тяжелые волосы. Эта голова противоречит невинному абрису ее тела. И эта жаркая химера, плод непревзойденных потуг искусства и похотливости, это завораживающее чудовище откроется во всем своем тайном роскошестве. Ляпис-лазуревые ромбы перетекут в арабески, вьющиеся по куполу, где по перламутровым инкрустациям поскачут радужные блики, отраженные от призм. Она будет обнаженной, как герцогиня Джозиана. В порыве танца покрывала разойдутся и ниспадут узорочья. Она будет одета только в драгоценности, в сияющие минералы. Корсаж сожмет ее талию — он будет не шире кушака; и как великолепная застежка, под шейным кольцом адамантовый аграф разметает во все стороны сноп лучей из ложбинки между грудей. Ниже, на бедрах, пояс, обволокший верхнюю часть ляжек, по которому бьется, не зная покоя, огромная подвеска, изливающая карбункуло-смарагдовый водопад. В просвете между корсажем и поясом вскруглится живот с пупком, подобным ониксовой, молочных тонов, подкрашенной розоватым колером печати. От сияния лучей, рассеивающихся от ее гордой головы, воспалятся все грани ее камней. Драгоценности, ожив, озарят ее тело гаревыми контурами, огненные жала изъязвят шею, колени, локти — жала, рдяные, что угли, лиловые что газовое пламя, голубые, будто вспыхнувший спирт, белые, как свет далеких звезд. Она запросит отхлестать ее, подберет руками власяницу аббатисы, семихвосткой из шелковых бечевок в ознаменование семи смертных грехов, на каждой бечевке семь узлов в ознаменование семи способов творения греха каждого, розами покажутся капли крови, что выступят от бичевания на ее теле, она будет стройной, как церковные свечи, взор ее — мечами пронзающий взор, я стану умолять, чтобы дала мне взойти на костер,

как монаху, стану умолять, чтобы, бледнее зимнего рассвета, белее воска, со сложенными на гладкой груди молитвенными руками, она бы восстала, выпрямившись, в белой сорочке, залитой кровью сердец, проливших кровь во имя Ея…

Нет, нет! Какой же дурной литературой я обольстился. Нет, я уже не подросток в чесотке раннего полового зуда. Мне нужно ту самую, простую, какую я любил в свое время, — лицо и желтый жакет. Ту, милую, что не выходит из головы, — а не роскошную, от которой теряют голову. Я приму и слабую, и больную, какой она была в свой последний месяц в Бразилии, и я повторю ей: *ты прекраснейшая из созданий света*, я не променяю твои грустные глаза и твою бледность на великолепие всех ангелов неба! Хочу видеть, как она парит над водяной струею, одинокая и неподвижная, со взглядом, устремленным на море, существо заключенное, колдовски превратившееся в странную, в неповторимую морскую птицу с длинными и топкими ногами,[413] напоминающими ноги аиста. Не беспокоя ее своим вожделением, я останусь от нее на расстоянии, как от далекой принцессы…

Не знаю, таинственное ли пламя царицы Лоаны гложет изнутри мои олубеневшие лобные доли, таинственный ли эликсир промывает закопченные страницы бумажной памяти, на которых такое множество поврежденных и нечитаемых мест, в том числе те, что мне совершенно необходимо прочитать. Или это я сам напруживаю нервы усилием на грани нестерпимости… Если бы я мог сотрястись в моем нынешнем состоянии, я бы сотрясся. Внутри такая болтанка, какая бывает на море в шторма. И в то же время вроде предвосхищения оргазма. Пещеристые тела мозга наполняет живая кровь, что-то готовится во мне лопнуть — или же распуститься.

В точности как в тот день в подъезде, готовлюсь наконец-таки увидеть Лилу, она сойдет еще целомудреннее, еще соблазнительней, в черном школьном переднике, светя, *чем солнце даже*, сильнее, и *светлее, чем лупа, и белее*, гибкая, не ведающая, что она есть средоточие и истинный пуп земли. Я увижу ее славное личико, прямой нос, губы, из-под которых при улыбке чуть выглядывают верхние резцы, как у кролика, она мой ангорский кролик, мой кот Мату, мурлычущий, легонько отряхивая мягкую шерсть, моя голубка, горностай, моя

белочка. Она опустится на землю, как утренняя изморозь, и, увидев меня, сделает легкий знак рукой не то чтобы пригласить, но все же — чтобы удержать, чтоб воспрепятствовать моему повторному от нее бегству.

Наконец я узнаю, как играется бесконечно сцена развязки моего «Сирано», узнаю, кого же я искал всю на этой земле жизнь, от Паолы до Сибиллы. И воссоединюсь. И пребуду с покоем.

Только ни в коем случае не спрашивать: «Здесь проживает семейство Ванцетти?» Улучу наконец свою Оказию.

Однако *fumifugium* цвета мыши клубится на вершине лестницы, загораживая двери.

Чувствую наплыв холода, поднимаю глаза.

Отчего это солнце почернело?

---

notes

Примечания

1

Мучительный месяц — название восходит к началу поэмы «Бесплодная земля» (1922) Томаса Стернза Элиота (1888–1965): «April is the cruellest month, breeding Lilacs out of the dead land, mixing Memory and desire, stirring Dull roots with spring rain». На русском языке имеется немало знаменитых переводов: «Апрель, *беспощадный* месяц, выводит Сирень из мертвой земли, мешает Воспоминанья и страсть, тревожит Сонные корни весенним дождем» (пер. с англ. А. Сергеева), «Апрель, *жесточайший* месяц, гонит Фиалки из мертвой земли, тянет Память к желанью, женит Дряблые корни с весенним дождем» (пер. С. Степанова); *«Жестокий* месяц апрель возрождает Подснежник из мертвой земли, смешивает Желанья и память, бередит Сонные корни весенним дождем» (пер. Я. Пробштейна); «*Жестокий* месяц апрель, выгоняющий Фиалки из мертвой земли, перемешивающий Память с желаньем, сочетающий Блеклые корни с весенним дождем» (пер. Регины).

2

Бывал ли я дотоле в Брюгге мертвом? — «Мертвый Брюгге» (Brugesla-morte, 1892) — название символистского романа бельгийца Жоржа Роденбаха (1855–1898), религиозного мистика. Следуют две цитаты оттуда же.

3

Мы мчимся прямо <… > Меня зовут Артур Гордон Пим. — Цитируются сперва заключительная, а потом первая фраза из «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» (1838) Эдгара Аллана По (1809–1849), пер. с англ. Г. Злобина.

4

Я жевал туман. — Из лирического цикла «Ноктюрн. Комментарий к сумеркам» (Notturno. Commentario delle tenebre, 1916) Габриеле Д'Аннунцио (1863–1938), итальянского поэта, писателя, драматурга, героя Первой мировой войны, идейного основоположника итальянского фашизма.

5

Проникает туман, будто кошка… — Первые строки поэмы «Туман» (Fog, 1916) американского поэта Карла Сандбурга (1878–1967).

6

Мегрэ ныряет в такой плотный туман… — Жорж Сименон (1903–1989), «Порт туманов» (1932), глава 1, пер. с франц. А. Шаталова.

7

Полоса белых паров поднялась над горизонтом… — Э. А. По, «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима», пер. с англ. Г. Злобина.

8

Жениховские машины — излюбленное выражение сюрреалистов начала XX в., в особенности Марселя Дюшана (1887–1968), автора произведения «Невеста, раздетая женихами донага, хотя…» (1915–1923). Книга Мишеля Карружа «Холостые машины» («Les machines celibataires», 1954) была посвящена притягательно-разрушительному облику механических устройств; машина стала главным героем рассказа Франца Кафки (1883–1924) «В исправительной колонии» (1914), который цитируется здесь же. В философских сочинениях на французском языке этот термин употребляется для определения бесплодной мужской любви, направленной на объект-женщину, но по сути эгоцентричной.

9

Странно бродить в тумане! — Из одноименного стихотворения 1905 г. Германа Гессе (1877–1962): Странно бродить в тумане! Деревья не видят друг друга, Одинок каждый куст и камень, Не выйти из этого круга! (пер. с нем. Р. Филипповой).

10

Земля пропахла грибами <…> И горестно за стволами… — Джованни Пасколи (1855–1912), из первого стихотворения цикла «Поцелуй мертвеца» («Bacio del morto»), из поэтической книги «Тамариски» (Myricae, 1891–1903).

11

…Священники, слепо мрежась… — Дж. Пасколи, из второго стихотворения цикла «Осенний дневник» («Diario autunnale») из поэтической книги Песни Кастельвеккьо (Canti di Castelvecchio, 1912).

12

Небо из пепла. — Первая строка стихотворения «Поле» («Сатро», 1920) Федерико Гарсиа Лорки (1898–1936).

13

Туман в верховьях Темзы… — Чарльз Диккенс (1812–1870), «Холодный дом» (1853), пер. с англ. М. Клягиной-Кондратьевой.

14

Прохожие с мостов Собачьего Острова… — Отсылка к поэме Т. С. Элиота «Бесплодная земля».

15

…ужели смерть столь многих истребила… — цитата из «Божественной комедии» Данте Алигьери (1265–1321) («Ад», III, 55, пер. с итал. М. Лозинского), использованная Элиотом в поэме «Бесплодная земля».

16

Вокзальная вонь и вокзальная полумгла. — Из произведения Наталии Гинзбург (1916–1991) «Мелкие добродетели» («Le piccole virtu», 1962). Наталия Гинзбург — известная итальянская писательница, автор знаменитых романов «Семейный лексикон», «Милый Микеле», «Валентин».

17

Ей чудилось, будто из-за вересковых зарослей… — Гюстав Флобер (1821–1880), «Госпожа Бовари» (1857), пер. с франц. Н. Любимова.

18

Как будто я плыву в смеси воды с анисовой настойкой… — Цитата из песни шансонье Паоло Конте: «Sembra d'essere in un bicchiere di acqua e anice».

19

Posco reposco flagito… — все три латинских глагола означают «требовать», «вытребывать обратно», «призывать к ответу». Doceo, celo, posco, reposco, flagito входят в ряд исключений, глаголов с двойным винительным. Подобные ряды зазубриваются школьниками как «гнать, терпеть, вертеть, зависеть…» Вопрос — «управляют ли они инфинитивом будущего времени», показывает путаницу в памяти героя, ибо инфинитивом будущего времени управляют глаголы spero, promitto, juro (присказка школьников: Spero, promitto, juro reggono l'infinito futuro).

20

Cujus regio ejus religio… чья земля, того и вера. — В 1555 г. Генрих II Французский в союзе с немецкими протестантскими князьями (Мориц Саксонский и др.) отвоевал у католического короля Карла V Испанского часть Лотарингии с городами Мец, Тур и Верден.

Был заключен Аугсбургский мир и провозглашен принцип «чья власть, того и вера» — «cujus regio ejus religio», согласно которому подданные должны были следовать вере своего правительства; князья и вольные города, которые придерживались протестантского учения, представленного на Аугсбургском сейме 1530 г., ограждались от притеснений. Та же формула применяется в научно-популярных контекстах и к другим историческим ситуациям.

21

…когда протестанты с католиками ссорились в Праге? — 23 мая 1618 г. имела место пражская дефенестрация — были лишены власти наместники испанских императоров (Габсбургов), наместников выбросили из окна ратуши богемские дворяне-протестанты, захватившие власть. Это был один из толчков к началу Тридцатилетней войны.

22

… весна царит вокруг, пропитан ею воздух и земля. — Джакомо Леопарди (1798–1837), «Одинокий воробей» («Il Passero solitario», 1831), в русской традиции «Одинокий дрозд», пер. с итал. А. Махова.

23

Я доктор Гратароло — Явный след алхимических чтений Эко в период подготовки Маятника Фуко. Доктор Иероним Гратароло (1516–1568) — медик, автор алхимического сочинения «Verae Alchemiae Artisque…» (Об истинной алхимии, искусствах и металлах, 1561).

24

Зовите меня Измаил. — Первая фраза романа Германа Мелвилла (1819–1891) «Моби Дик» (1851), пер. с англ. И. Бернштейн.

25

Туман по дикому склону Карабкается и каплет. — Джозуэ Кардуччи (1835–1907), стихотворение «Сан-Мартино» («San Martino») из сборника «Новые рифмы» («Rime Nuove», 1887).

26

Amnesia retrograda — забвение предшествовавших событий *(лат.)*.

27

А я не приму жену за шляпу? — Имеется в виду книга британского нейропсихолога Оливера Сакса (род. в 1933) «Человек, который принял жену за шляпу» (1985).

28

Джамбаттиста Бодони (1740–1813) — типограф, родился в Пьемонте. Дед Эко, пьемонтец, был типографом по профессии. «Бодони» — название часто используемого в Италии шрифта.

29

… во Францию два гренадера из русского плена брели. — Генрих Гейне (1797–1856), «Два гренадера» (1821), пер. с нем. В. Левика.

30

Звездный путь («Star Treck», 1966) — американский научно-фантастический телевизионный сериал по сценарию Джина Родденбери, породивший один из крупнейших научно-фантастических феноменов XX века: кроме сериала, был создан ряд полнометражных и мультипликационных фильмов; существует множество сообществ поклонников «Звездного пути», по мотивам проводятся ролевые игры и т. д.

31

Мистер Хайд. — Ссылка на сюжет повести Роберта Льюиса Стивенсона (1850–1894) «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда» (1886), где главный герой, доктор Джекилл, существует в двух ипостасях: «светлой» (собственно Джекилла) и «темной» (мистера Хайда).

32

Как эта женственная кожа в смуглых отливах На матовый муар похожа для глаз пытливых. — Шарль Бодлер (1821–1867), сборник «Цветы зла» (1857), стихотворение «Танец змеи», пер. с франц. П. Антокольского.

33

Сэм Уэллер — слуга мистера Пиквика из романа Чарльза Диккенса «Посмертные записки Пиквикского клуба» (1836).

34

Hierbabuena (мята, *исп.)* ассоциируется в первую очередь со стихами Федерико Гарсиа Лорки, здесь спрятана цитата из «Схематического ноктюрна»: «Мята, змея, полуночь» (пер. с исп. А. Гелескула). Повторяется у Лорки в «Урожае смерти»: «E1 sabor de la menta; *y la hierbabuena, a las cinco de la tarde».* Вторая часть цитаты, «*a las cinco de la tarde* («В пятом часу пополудни», пер. с исп. М. Зенкевича) — прямая отсылка к другому произведению Лорки, «Плач по Игнасьо Санчесу Мехиасу» (1935).

35

Центр речи Брока — зона мозга (задняя часть нижней лобной извилины), функции которой открыл французский нейрохирург и антрополог Пьер Поль Брока (1824–1880).

36

Обеспамятевший из Колленьо — человек, реально живший в начале XX в., не имевший понятия, какова его истинная фамилия — Брунери или Канелла. На него претендовали две жены. См. документальную повесть Леонардо Шаши (1921–1989) «Обеспамятевший из Колленьо» («Lo smemorato di Collegno», 1981).

37

Mamma ce n'èuna sola… — Банальности, общие места: мать всегда мать и т. д.

38

Может быть, да, может быть, нет («Forse che si, forse che no», 1910) — пьеса Габриеле Д'Аннунцио.

39

Предел величины удовольствия есть устранение всякого страдания. — Эпикур (341–270 до н. э.), «Письмо к Менекею», пер. с древнегреч. С. Соболевского.

40

Осмотрительный отрок спит навзничь, скрестивши руки на груди, дабы во сне не совершить блудодеяния. — Цитата из сочинения «Осмотрительный отрок» («Il giovane provveduto», 1847) священника и наставника юношества дона Боско (1815–1888), канонизированного католической церковью; «Осмотрительный отрок» — название главы 17.

41

Вчера, сегодня, завтра — знаменитый, награжденный Оскаром фильм Витторио Де Сики 1963 г. по трем новеллам крупнейших итальянских писателей (Де Филиппо, Моравиа, Дзаваттини) с вошедшим во все энциклопедии стриптизом Софи Лорен перед Марчелло Мастрояни.

42

Мэн де Биран, Мари-Франсуа (1766–1824) — французский мыслитель и философ-метафизик. Автор знаменитой эпитафии самому себе: «Мой мозг *сделался* для меня убежищем, где я испытал удовольствия, заставившие меня забыть о моих привязанностях» — с этой фразой, думается, прямо связана тема романа Эко. Мэн де Биран также автор «Записки о влиянии привычек на способность к мышлению» (1805).

43

Проклятие фараона. — Имеется в виду роковая цепь несчастий, болезней и смертей, якобы вызванных вирусом, вырвавшимся из древнеегипетских захоронений: скоропостижная кончина первооткрывателя — лорда Карнавона — и вслед за ним смерть в течение шести лет двенадцати человек, присутствовавших в 1923 г. при вскрытии гробницы Тутанхамона.

44

«Досье „Ипкресс“» — фильм (1965) по одноименному роману (1962) Лена Дейтона (род. в 1929) о разведчиках времен холодной войны.

45

Нередко запах свеж, как плоть грудных детей. — Первая строка сонета Шарля Бодлера «Соответствия» из сборника «Цветы зла», пер. с франц. В. Микушевича, с изменениями.

46

…*Рокко и его братьев.* — Имеется в виду фильм Лукино Висконти «Рокко и его братья» (1960). В центре сюжета — семья южан, приехавших на работу в северный, холодный, беспощадный Милан. Герой — воплощение мачистской южноитальянской психологии — убивает свою возлюбленную из ревности на крыше Миланского собора.

47

И тут я увидел маятник… — Первые слова романа У. Эко «Маятник Фуко».

48

…превыше пирамид и крепче меди! — Отсылка к оде Квинта Горация Флакка (65-8 гг. до н. э.) «Памятник».

49

Здесь будет создана Италия. — Имеется в виду фраза Джузеппе Гарибальди (1807–1882), обращенная к его помощнику Нино Биксио (1821–1873) во время битвы под Калатафими в мае 1860 г.: «Биксио, здесь будет создана Италия — или мы здесь умрем».

50

Мы создали Италию. — Слова Д'Адзелио (1798–1866) на заседании государственного парламента 20 ноября 1861 г.: «Мы создали Италию, осталось создать итальянцев».

51

Анджело Далль Ока Бьянка (1858–1942) — художник-пейзажист.

52

Лорд Джордж Брайнан Бруммель (1778–1810) — знаменитый английский щеголь, считается, что именно от него пошло понятие «денди».

53

Бенджамин Дизраэли, лорд Биконсфильд (1804–1881) — британский государственный деятель времен королевы Виктории.

54

Ремиджио Дзена (1850–1917) — католический писатель.

55

Фаттори — предположительно Джованни Фаттори (1825–1905), художник.

56

Джанфранческо Страпарола из Караваджо (конец XV в. — 557) — автор собрания новелл «Приятные ночи» (1550–1553), структурированного по подобию «Декамерона».

57

Жанна-Антуанетта Пуассон (1721–1764), маркиза Помпадур — фаворитка Людовика XV.

58

Дзено Козини — главный герой романа Итало Свево (1861–1928) «Самопознание Дзено» (1923).

59

Пальма Старший (ок. 1480–1528) — живописец.

60

Чичеруаккьо Анджело Брунетти (1800–1849) — политик, революционер.

61

Жюстина — героиня одноименного романа (1791) маркиза де Сада (1740–1814).

62

Мария Тереза Горетти (1890–1902) — девочка, провозглашенная католической святой за то, что она, подвергшись насилию, до последнего защищала свою непорочность и предпочла смерть ее утрате. Не добившись от Марии согласия, насильник убил ее ножом. Женский эквивалент святого Алоизиуса (Луиджи) Гонзага или блаженного Доменико Савио, выведенных в главе 17 в качестве идеалов юношеской чистоты.

63

…Фаида эта, жившая средь блуда… — Данте, «Божественная комедия», «Ад», XVIII, 130–133: «Себя ногтями грязными скребет Косматая и гнусная паскуда, И то присядет, то опять вскокнет Фаида эта, жившая средь блуда», пер. с итал. М. Лозинского.

64

Сент-Оноре — улица и район в Париже. Еще так называется и сорт пирожных; возможно, ассоциация с прустовским печеньем мадлен, которое для Марселя, главного героя «В поисках утраченного времени Марселя Пруста» (1871–1922), становится «ключом» к эмоциональной памяти.

65

Байта, Экбатана, Персеполь, Суза, Арбела — города Персидской империи, завоеванные Александром Македонским.

66

Смирна, *Хиос*, *Колофон*, *Пилос*, *Аргос*, *Итака*, *Афины* — города Греции, споривши за право именоваться родиной Гомера.

67

А черный, белый Е, И красный, У зеленый… — Артюр Рембо (1854–1891), «Гласные» (1871), пер. с франц. М. Кудинова.

68

Мне было двадцать лет. Никому не позволю утверждать, что это лучший возраст. — Цитата из эссе Поля Низана (1905–1940) «Аден, Аравия» («Aden, Arabie», 1931).

69

Проснувшись однажды утром после беспокойного сна… — Начало «Превращения» (1912) Франца Кафки, пер. с нем. С. Апта.

70

Тото — гениальный артист кино и театра (Антонио Де Куртис Гальярди Гриффо, герцог Комнин Византийский, 1898–1967).

71

Печальная, долгая память… — Винченцо Кардарелли (1887–1959), стихотворение «Прошлое» («Il passato», 1958).

72

Похоже, что есть непроизвольная память членов… — Отсылка к роману М. Пруста «В поисках утраченного времени» («По направлению к Свану», 1, пер. с франц. Н. Любимова): «Память — память боков, колен, плеч — показывала ему комнату за комнатой, где ему приходилось спать, а в это время незримые стены, вертясь в темноте, передвигались в зависимости от того, какую форму имела воображаемая комната. И прежде чем сознание, остановившееся в нерешительности на пороге форм и времен, сопоставив обстоятельства, узнавало обиталище, тело припоминало, какая в том или ином помещении кровать, где двери, куда выходят окна, есть ли коридор, а заодно припоминало те мысли, с которыми я и заснул и проснулся. Так, мой онемевший бок, пытаясь ориентироваться, воображал, что он вытянулся у стены в широкой кровати под балдахином, и тогда я говорил: «Ах, вот оно что! Я не дождался, когда мама придет со мной проститься, и уснул»; я был в деревне у дедушки, умершего много лет тому назад; мое тело, тот бок, что я отлежал, — верные хранители минувшего, которое моему сознанию не забыть вовек, — приводили мне на память свет сделанного из богемского стекла, в виде урны, ночника, подвешенного к потолку на цепочках, и камин из сиенского мрамора, стоявший в моей комбрейской спальне, в доме у дедушки и бабушки, где я жил в далеком прошлом, которое я теперь принимал за настоящее, хотя пока еще не представлял его себе отчетливо, — оно вырисовывалось яснее, когда я просыпался уже окончательно».

73

Ничто так не пробуждает воспоминания, как запахи и огни. — Луи-Фердинанд Селин (1894–1961), «Путешествие на край ночи» (1932).

74

Солнце, сияющий изъян… («Soleil, soleil, faute éclatante…») — Первая строка стихотворения Поля Валери (1871–1945) из сборника «Чары» («Charmes», 1922).

75

Как шелест листьев тутовника. — Г. Д'Аннунцио, «Вечер во Фьезоле» («La sera fiesolana») из сборника «Алкиона» («Alcyone», 1904): «Как шелест листьев тутовника В руке садовника».

76

«Третий человек» — фильм (1949) сэра Кэрола Рида (1906–1976) по сценарию Грэма Грина, в главных ролях Йозеф Коттен, Орсон Уэллс, Алида Валли и Тревор Ховард. Действие происходит в Вене послевоенного периода, Холли Мартине разыскивает своего старого друга Гарри Лайма. Лайм оправдывает совершенные во время войны подлости: «В тридцатилетие правления Борджиа Италия стояла на крови, ужасах, убийствах и кровопролитии. Но ею были произведены Микеланджело, Леонардо и культура Возрождения. Швейцария пять веков стояла на братской любвеобильности, миролюбии и демократии, и что же ею произведено? — Кукушечные часы.»

77

Pobrecito — бедолага *(исп.).*

78

…эти я еще не читал, иначе не держал бы у себя, вы же не сохраняете пустые консервные банки, правда? — Почти дословная цитата из одной давней колонки Эко в журнале «Эспрессо» («Оправдание публичной библиотеки», 1994). Та же тема повторена и в книге Эко «О литературе» (2004): «Все те, кто считает библиотеку местом не только для прочитанных книг, но в первую очередь — для тех, которые надлежит прочитать» («Борхес и мои опасения при заимствованиях»).

79

А те пятьдесят тысяч, которые я прочел, я уже передал в больницы и тюрьмы. — См.: «Маятник Фуко», гл. 39: «Один экземпляр, как правило, передается в дар больнице или исправительному заведению, и понятно, с каким скрипом после этого там идет как лечение, так и перевоспитание».

80

Le brouillard indolent de l'automne est é'pars… — То же самое стихотворение Жоржа Роденбаха уже цитировалось в главе 1: «Где меж дворцов туман как ладан снулый».

81

Unreal City, Under the brown fog of a winter dawn, A crowd flowed over London Bridge, so many, — Had not thought death had undone so many. — «Город-Фантом: В буром тумане зимнего утра По Лондонскому мосту текли нескончаемые вереницы — Никогда не думал, что смерть унесла уже стольких» (Отсылка к Данте: «Ужели смерть столь многих истребила»). Т. С. Элиот, «Бесплодная земля», пер. с англ. А. Сергеева. См. прим. к главе 1.

82

Spätherbstnebel, kalte Träume, Überfloren Berg und Tal, Sturm entblältert schon die Bäume, Und sie schaun gespenstig kahl. — Осенний туман и холодные мечты лежат над горами и долинами; ветер сорвал листья с деревьев, они остались нагими и бестелесными *(нем.).* Начало стихотворения Генриха Гейне (1797–1856) из цикла «Новая весна», вошедшего в сборник «Новые стихи» (1831).

83

Pero el doctor no sabia que hoy es siempre todavia. — Мудрец не ведал в гордыне: сегодня — всегда доныне» *(исп.).* Антонио Мачадо (1875–1939), 38-я притча из цикла Притчи и песни (Proverbios y Cantares), вошедшего в сборник «Новые песни» («Nuevas Canciones», 1917–1930), пер. с. исп. В. Андреева.

84

И эфемерное солнце на повороте, шаром мимоз сквозь белый туман. — Витторио Серени (1913–1983), «Туман» («Nebbia», 1941).

85

Ты говорил, что родился в краю туманов. — Ср.: «Баудолино», глава 1: «Я шел фраскетским лесом везде туманище выткни глаз носа не разглядеть хоть встреть видение хоть наваждение так я встретил Святого Баудолина». Глава 3: «А вот в моих краях, когда гуляешь по лесам в тумане, ты будто все еще в животе у матери, ничего не боишься и совершенно свободен».

86

Туман своею желтой шерстью трется о стекло, Дым своей желтой мордой тычется в стекло, Вылизывает язычком все закоулки сумерек, Выстаивает у канав, куда из водостоков натекло. — Т. С. Элиот, «Любовная песнь» Дж. Альфреда Пруфрока (1915), пер. с англ. А. Сергеева.

87

Постойнская пещера — рупнейшая карстовая пещера в Словении, длиной 20 километров, знаменитая сталактитами и сталагмитами.

88

Все это в твой последний лицейский год. — Классический лицей в Италии — это два последних года обязательной десятилетки плюс три года подготовки к университету. Поступают в лицей в четырнадцать лет, оканчивают лицей в девятнадцать.

89

Человек, который смеется (1869) — роман Виктора Гюго (1802–1885). Ирония заключается в том, что герой романа смеется не по своей воле — у него изуродовано лицо.

90

В Риччоне, может, и пили… — В начале XX в. Риччоне, курортный город, «жемчужина Адриатики» между Римини и Пезаро, был отстроен по приказу Бенито Муссолини в качестве «города-открытки».

91

Комбре — вымышленное место, где прошло детство героя-рассказчика саги Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Герой мысленно переносится в Комбре, попробовав печенье «мадлен» (этот эпизод цитируется в главе I романа и откомментирован там же) — он вспоминает тетушку Леонию, готовившую печенье по тому же рецепту.

92

Где у меня стоит Исповедь Августина? — «Постепенно поднимаясь к тому, кто создал меня, прихожу к равнинам и обширным дворцам памяти, где находятся сокровищницы, куда свезены бесчисленные образы всего, что было воспринято… и наконец, то, что мне нужно, проясняется и выходит из своих скрытых убежищ». Блаженный Августин (354–430), «Исповедь», кн. 10, гл. 8, пер. с лат. М. Сергеенко.

Блаженный Августин возводит память к Богу, которому ведомы все вещи. Богом задано осознание существования. У Ямбо отсечено это изначальное знание о вещах — он обречен на жизнь без осознания прецедентов: дрова не хранят памяти о времени, когда они были стволом. Песня не помнит себя целиком и застревает на одной ноте.

93

За Томом Сойером. — В главе XXXI «Приключений Тома Сойера» (1876) Марка Твена (1835–1910) друзья ищут Тома и Бекки, потерявшихся в пещере.

94

…разбилась команда Турина… — 3 мая 1949 года, после товарищеского матча в Лиссабоне, команда футбольного клуба Турин возвращалась чартерным рейсом домой, и самолет, попав в полосу тумана, врезался в церковь на горе на восточной окраине города. В похоронах участвовало около 500 000 человек.

95

Hypnerotomachia Poliphili — «Любовное борение во сне Полифила» *(лат.).* Сочинение доминиканского монаха Франческо Колонна (Francesco Colonna, ок. 1433–1527). Первое издание вышло без имени автора, но оно образуется первыми буквами всех по очереди глав — *POLIAM FRATER FRANCISCVS COLVMNA PERAMAVIT* («Полию любил брат Франциск Колонна»). В этой книге ищут разные «тайные коды», это одна из самых знаменитых антикварных книг в мире; отпечатана в типографии знаменитого мастера, гуманиста Альда Мануция Старшего (1450–1515) в 1499 г.

96

Специфический привкус, горький миндаль. — Стандартная реплика сыщика из детектива.

97

Лишь бы мне поставить ногу в стремя!.. — Иоганн Вольфганг Гете (1749–1832), стихотворение «На волю» (1814), пер. с нем. Б. Заходера.

98

Шел летний дождь, и по дороге Я шел с зонтом… — Из песни «Зонтик» (1952) французского шансонье Жоржа Брассанса (1921–1981), пер. с франц. Б. Рысева.

99

Давно уже я привык укладываться рано. — М. Пруст, первая фраза романа «По направлению к Свану», пер. с франц. Н. Любимова.

100

…и почему-то у меня длиннющие уши… — Имеется в виду комикс про осла Мео. Подробнее о нем см. в главе 15.

101

Альдо Моро (1916–1978) — итальянский политик и государственный деятель, 16 марта 1978 г. был похищен «Красными бригадами». Моро, будучи главой правительства и председателем христианско-демократической партии, содействовал осуществлению исторического компромисса, предложенного Энрико Берлингуэром после военного переворота в Чили — то есть совместной работе коммунистов, социалистов и католиков (он именовал это «параллельной конвергенцией») для вывода Италии из политического, социального и экономического кризиса. После похищения Альдо Моро «Красными бригадами» правительство не пошло на переговоры с террористами и оставило Моро без помощи, розыски велись с крупными (намеренными?) просчетами, вследствие чего Моро был убит 9 мая того же года.

102

Самолет свалился в Устике на Сельскохозяйственный банк? — 27 июня 1980 г. пассажирский самолет, выполнявший рейс Болонья-Палермо, упал в море в районе острова Устика. На борту был 81 человек, все погибли. До сих пор не известны виновники катастрофы, однако установлено, что самолет был сбит ракетой. 12 декабря 1969 г., во время горячей осени, то есть периода забастовок и повышенной политической активности как правых, так и левых сил, был совершен террористический акт в помещении Сельскохозяйственного банка на площади Фонтана в Милане, погибло 16 человек и 88 было ранено. Полиция арестовала анархиста Пьетро Вальпреду, другой подозреваемый в соучастии анархист Джузеппе Пинелли во время допроса выпал (выбросился? был выброшен?) из окна полицейского комиссариата. За это левыми террористами был «казнен» в 1972 г. полицейский комиссар Милана Луиджи Калабрези. Вся история увенчалась арестом и тюремным заключением якобы причастного к этим преступлениям писателя Адриано Софри через четверть века после преступлений — в девяностые годы.

103

…сериалы о семейных дрязгах из жизни техасцев. — Имеются в виду американские телевизионные сериалы «Даллас» и «Династия».

104

Джон Уэйн (настоящее имя Марион Роберт Моррисон, 1907–1976) — американский киноактер, особенно прославившийся исполнением ролей ковбоев в голливудских вестернах.

105

«Calva sans dire». — Фонетическая и графическая игра слов: французское «Ça va sans dire» означает само собой; Ямбо говорит: Кальвадос, само собой.

106

«Что за подлецы мужчины» — фильм (1932), в котором главную роль сыграл Витторио Де Сика, в будущем известный итальянский кинорежиссер.

107

Морис Декобра (1885–1973) — автор бульварных романов, в послевоенный период имевший мировой успех. Действие его романа «Мадонна спальных вагонов» («La Madonna des Sleepings», 1927) разворачивается в Восточном экспрессе.

108

Bonjour monsieur Yambo… pardon, monsieur Bodoni. — Здравствуйте, месье Ямбо… простите, месье Бодони *(франц.).*

109

Oui… ohui, houi. Entrez. — Да… Да-да, входите *(франц.)*.

110

Ты укрываешься, отроковица… — Винченцо Кардарелли, «Отроковица» («Adolescente», 1958).

111

Venetiis mense Septembri — Венеция, месяц сентябрь *(лат.). Iamblichus de mysteriis Aegyptiorum*

112

Iamblichus de mysteriis Aegyptiorum — Ямвлих о египетских тайнах *(лат.).*

113

Абрахам Ортелиус (1527–1598) — фламандский картограф, которого прозвали Птолемеем XVI века, автор знаменитого атласа «Театр круга земного» («Theatrum orbis terrarum», 1570).

114

tout passe — всё проходит *(франц.)*.

115

«Корабль дураков» («Stultifera navis», 1494) — сатирическая поэма немецкого писателя Себастиана Бранта (1458–1521); в начале XVI в. была очень популярна, вышло несколько изданий на разных европейских языках. Упоминаемые далее издания иллюстрированы гравюрами, которые приписываются молодому Альбрехту Дюреру.

116

Варфоломей Глэнвильский (Bartholomaeus Anglicus) — английский францисканец XIII в., составил (ок. 1260 г.) сочинение «О свойствах вещей» («De proprietatibus rerum»), которое было напечатано в Страсбурге в 1488 г. и в Нюрнберге в 1492 г.

117

grande savante — всезнающая *(франц.).*

118

Чета любовников в часы живой беседы, Всезнающий мудрец в дни строгого труда… — Первые строки сонета «Кошки» из сборника Шарля Бодлера «Цветы зла», пер. с франц. Эллиса.

119

Et mon Bureau? — заключительная строка стихотворения Артюра Рембо «Ответ Нины» («Les reparties de Nina»): «О, ты придешь, любовь моя, придешь со мной соединиться, я весь горю, я жду тебя… Она: — Не дописав страницу?»

120

Например, Евгения Гранде. — Отсылка к роману Оноре де Бальзака (1799–1850) «Евгения Гранде» (1834). Героиня, влюбленная в своего кузена, много лет дожидается его возвращения из Ост-Индии, вспоминая о нескольких днях, проведенных вместе.

121

Un’allumeuse — от французского «зажигательница» — о женщинах, любящих воспламенять сердца, ничего не давая взамен.

122

Учитель Унрат — персонаж романа Генриха Манна «Учитель Унрат», пожилой педагог, который влюбляется в певичку из кабаре; она становится его женой, но всячески над ним издевается — в частности, заставляет кричать петухом перед гостями за ужином. Этот сюжет больше известен благодаря фильму Иозефа фон Стернберга «Голубой ангел» (1930) с Марлен Дитрих в главной роли. Тот же мотив обыгран в романе Эко «Маятник Фуко», глава 50: влюбленный в Лоренцу Пеллегрини герой, Бельбо, кричит «кукареку» на светской вечеринке.

123

Когда идешь ты, струясь власами, Походкой царской Я провожаю тебя глазами — голов окруженье. — Снова из Винченцо Кардарелли, «Отроковица».

124

Ледяная сфинга. — Аллюзия на роман Жюля Верна (1828–1905) «Ледяной сфинкс» (1897), написанный в виде продолжения «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара Аллана По.

125

Кому случится, кому сулится Твоя невинность, ключ родниковый? Рыбарь досужий, добудет жемчуг Простой удильщик. — Винченцо Кардарелли, «Отроковица».

126

bouquiner — рыться в старых книгах *(франц.)*, *browsing* — просматривать, перебирать *(англ.)*, входит в компьютерный лексикон (отсюда слово «браузер»).

127

Ярмарка Св. Амвросия — популярный блошиный рынок, который работает 6–9 декабря каждого года в Милане у церкви покровителя города Св. Амвросия в честь престольного праздника — продают ширпотреб и старый хлам, серьезного антиквариата там не бывает.

128

«Риторики к Гереннию» — популярное школьное чтение в Средние века. «Риторику к Гереннию» приписывали Цицерону.

129

…*в альдинском курсиве*… — Шрифт курсив (италик) был изобретен в эпоху итальянского Возрождения в 1499 г. (идея — воспроизведение почерка Петрарки) мастером Франческо Гриффо для издателя Альда Мануция.

130

«Нюрнбергская хроника» (1493) — одна из лучших первопечатных книг.

131

Вернер Ролевинк (1425–1502) — немецкий писатель. Его всемирная история «Fasciculus temporum» считается одной из красивейших иллюстрированных книг XV в.

132

«Великое искусство света и тени» («Ars Magna Lucis et Umbrae») — книга отца Афанасия Кирхера (1602–1680), немецкого иезуита, автора сорока трудов. Использована Умберто Эко для «Маятника Фуко».

133

«Так поступают все женщины» («Così fan tutti») — название оперы Моцарта. Così fan tutti — игра слов (Так поступают все на свете).

134

«Флатландия» (1884) Эдвина А. Эббота (1838–1926) — объяснение геометрии и физики любознательным не-математикам, сатира на викторианское английское общество с его классовыми предрассудками и образец классики научно-фантастического жанра, пер. с англ. Ю. Данилова.

135

Как, если тает облачная мгла… — Данте, «Божественная комедия», «Ад», XXXI, 34–37, пер. с итал. М. Лозинского.

136

Туман везде. Туман в верховьях Темзы… — Ч. Диккенс, «Холодный дом» (1853), пер. с англ. М. Клягиной-Кондратьевой.

137

Let us go in; the fog is rising. — Войдем же. Туман поднимается *(англ.)*. Предсмертные слова американской поэтессы Эмили Дикинсон (1830–1886).

138

…Немо и серо утро… — Дж. Пасколи, из первого стихотворения цикла «Поцелуй мертвеца» поэтической книги «Тамариски». Цитировалось в главе 1.

139

Взвыл туман, заворотил листы… — Из раннего стихотворения Дж. Пасколи «Таинственные голоса» («Voci misteriose», ок. 1873).

140

Луиджи Пиранделло (1867–1936) — драматург и романист, лауреат Нобелевской премии по литературе 1934 г.; цитата из пьесы «Идиот» («L'imbecille», 1912).

141

Альберто Савинио — псевдоним Андреа Де Кирико (1891–1952), итальянского писателя и брата знаменитого художника Джорджо Де Кирико. Цитата из книги «Вслушиваюсь в твое сердце, город» («Ascolto il tuo cuore, citta», 1944).

142

Распахнуты в пустоту двери… — Витторио Серени (1913–1983), «Туман» («Nebbia», 1937).

143

Туман болотный, Подъятый мощным солнцем… — Уильям Шекспир (1564–1616), «Король Лир», пер. с англ. Т. Щепкиной-Куперник.

144

Через бреши ржавых рыжих бастионов… — Дино Кампана (1885–1932), из произведения «Один день неврастеника» (Il piùlungo giorno) из сборника «Орфические песни» («Canti orfici», 1915).

145

Голые окна спальни, расположенной во втором этаже… — Гюстав Флобер, «Госпожа Бовари», ч. II, гл. 5, пер. с франц. Н. Любимова.

146

В туманной сырости дома, сливаясь, тонут… — Шарль Бодлер, «Предрассветные сумерки» из сборника «Цветы зла», пер. с франц. В. Левика, с изменениями.

147

Зевгма — стилистическая конструкция, длинный период с однородными придаточными, где сказуемое стоит только в начале, а далее подразумевается.

148

Эмфитевзис — долгосрочная аренда земли с правом передачи по наследству и возведения построек.

149

«Работать утомительно» («Lavorare stanca», первая ред. 1936, оконч. ред. 1943) — название первого стихотворного сборника Чезаре Павезе (1908–1950).

150

Пассионария — так называли героиню гражданской войны в Испании Долорес Ибаррури (1895–1989).

151

У меня нейдет из головы, что наш мир — создание сумрачного божества… — Эмиль Мишель Чоран (1911–1995), «Злой демиург» (1969), пер. с франц. Н. Мавлевич.

152

…во время флорентийского наводнения… — Имеется в виду наводнение во Флоренции в 1966 г., когда вода залила Национальную библиотеку. Добровольцы из всех городов Италии, названные впоследствии «Ангелы грязи», вычерпывали песок, тину и ил. Ведра передавали из рук в руки по цепочке.

153

Roma non fa'la stupida stasera — «Рим, ты гляди, не подведи сегодня». Песенка знаменитого кинокомпозитора Армандо Тровайоли (род. в 1917) из мюзикла «Ругантино» (1962).

154

Vola colomba bianca vola — песенка Биксио Керубини и Карлетто Кончины «Лети, голубка белая, лети» (1952), получившая первый приз на первом фестивале в Сан-Ремо (1952) в исполнении Клаудио Виллы.

155

Lo sai che ipapaveri. — Ты знаешь, стебли маков ведь длинные, длинные, длинные… Первая строка песенки Марио Панцери и Витторио Маскерони «Маки и гусыни» («Papaveri e papere», 1951). Получила второй приз на том же первом фестивале в Сан-Ремо в исполнении Ниллы Пицци.

156

Sola me ne vo per la città… — Я одна по улицам иду. Песня Джанкарло Тестони и Эроса Шорилли «В поисках тебя» («In cerca di te», 1936). После войны прославилась в радиоисполнении Неллы Коломбо.

157

Casta diva — ария из оперы Винченцо Беллини «Норма» (1831). Прославлена исполнением Марии Каллас.

158

Que sera sera, whatever will be will be — «Что будет, то будет» *(франц., англ.).* Песня (1956) Джея Ливингстона и Рэя Иванса в исполнении Дорис Дей.

159

Sono una donna non sono una santa — «Я женщина, а не святая». Песня (1971) Эроса Шорилли и Альберто Теста. Исполняла Розанна Фрателло.

160

Ив Танги (1900–1955) — французский художник-сюрреалист.

161

Одноногого Пита из комиксов Умберто Эко любит поминать в различных контекстах. Герой романа «Маятник Фуко» Казобон размышляет о нем в зале механизмов парижского музея в главе 112.

162

Rosebud — бутон розы *(англ.).* Отсылка к фильму Орсона Уэллса (1915–1985) «Гражданин Кейн» (1941). Газетный магнат, миллионер Чарльз Фостер Кейн перед смертью произносит странное слово: *Rosebud.* Фильм выстроен как серия попыток разгадать эту загадку.

163

А Пруст умел вспоминать про три. — Реминисценция из Пруста, думается, пришла к Эко через Ортегу-и-Гасета (1883–1955): «У Пруста есть поразительные страницы, на них говорится о трех деревьях, что растут на склоне, за ними, помнится, было что-то очень важное, да забылось что, выветрилось из памяти. Автор напрасно силится вспомнить и воссоединить уцелевший обрывок пейзажа с тем, что уже не существует: только трем деревьям удалось пережить крушение памяти. Таким образом, романические темы для Пруста всего лишь предлог, и как через spiracula, отверстия в улье, через них вырывается наружу растревоженный рой воспоминаний. Не случайно он дал своему произведению общий заголовок „A la recherche du temps perdu“» («Время, расстояние и форма в искусстве Пруста», пер. с исп. В. Резник).

У Пруста: «Мы начали спускаться по дороге в Юдемениль; неожиданно на меня нахлынуло глубокое счастье, — таким счастливым я не часто бывал после отъезда из Комбре, — оно напоминало то, что я переживал, например, глядя на мартенвильские колокольни. Но теперь счастье было неполное. Я заметил невдалеке от ухабистой дороги, по которой мы ехали, три дерева, когда-то, должно быть, стоявшие в начале тенистой аллеи, — складывавшийся из них рисунок я уже где-то видел; я не мог вспомнить, из какого края были точно выхвачены деревья, но чувствовал, что край этот мне знаком; таким образом, мое сознание застряло между давно прошедшим годом и вот этой минутой, окрестности Бальбека дрогнули, и я задал себе вопрос: уж не греза ли вся наша сегодняшняя прогулка, не переносился ли я в Бальбек только воображением, не является ли маркиза де Вильпаризи героиней романа и не возвращают ли нас к действительности только вот эти три старых дерева, как возвращаешься к действительности, оторвавшись от книги, описывающей совсем иные места так ярко, что в конце концов нам кажется, будто мы действительно там поселились?

Я смотрел на них, я видел их ясно, но мой разум сознавал, что за ними скрывается нечто ему не подвластное, что они вроде находящихся от нас слишком далеко предметов: как ни стараемся мы до них

дотянуться, а все же в лучшем случае нам удается на мгновенье коснуться их оболочки. Мы делаем передышку только для того, чтобы размахнуться и еще дальше вытянуть руку. Но для того, чтобы мой разум мог собраться с силами, взять разбег, мне надо было остаться один на один с самим собой. Мне хотелось свернуть с дороги, как на прогулках по направлению к Германту, когда я обособлялся от родных. Мне даже казалось, что я должен свернуть. Я знал это особое наслаждение, которое, правда, требует работы мысли, но по сравнению с которым приятность безделья, склоняющая вас лишить себя наслаждения, представляется нестоящей» (М. Пруст, «Под сенью девушек в цвету», пер. с франц. Н. Любимова).

164

Засеикому тоже было далеко до Пруста. — Эко явно цитирует по Оливеру Саксу. См. у Сакса: «Такая теория родилась во время Второй мировой войны в России совместными усилиями А. Р. Лурии (и его отца, Р. А. Лурии), Леонтьева, Анохина, Бернштейна и других. Свою новую науку они назвали нейропсихологией. Развитие этой чрезвычайно плодотворной области было делом всей жизни А. Р. Лурии; принимая во внимание ее революционную природу, можно только сожалеть, что она проникала на Запад слишком медленно. Лурия изложил свой подход двумя разными способами — научно-систематически, в основополагающей работе „Высшие корковые функции человека“, и литературно-биографически, „патографически“, в книге „Потерянный и возвращенный мир“. Эти две книги — практически образец совершенства в своей области, и все же автор не коснулся в них целого направления неврологии: в первой описываются функции, связанные с деятельностью только левого полушария мозга; у героя второй, Засецкого, также наблюдаются обширные поражения мозговой ткани левого полушария, а правое остается незатронутым. В некотором смысле всю историю неврологии и нейропсихологии можно рассматривать как историю исследования лишь одной половины мозга». Также см. у того же Оливера Сакса: «Лурия писал о Засецком, что тот полностью разучился играть в игры, но сохранил способность живого — эмоционального — воображения. Засецкий и П. жили, конечно, в мирах-антиподах, однако самое печальное различие между ними в том, что, по словам Лурии, Засецкий „боролся за возвращение утраченных способностей с неукротимым упорством обреченного“, тогда как П. ни за что не боролся: он не понимал, что именно утратил, и вообще не осознавал утраты.

Засецкий для Эко — символ борьбы, безоглядной готовности сразиться с болезнью и победить ее.

165

…он себе обустроил новую бумажную память. — Неоднократно высказанная идея Эко о трех типах памяти, последняя из которых растительная или бумажная. Впервые прозвучала в устном докладе в Милане 23 ноября 1991 г.: «У нас имеется три типа памяти. Первая — „органическая“, то есть запечатленная в плоти и крови и управляемая мозгом. Вторая — „минеральная“, причем у человечества есть две разновидности „минеральной“ памяти: тысячи лет назад эта память воплощалась в глиняных табличках и обелисках, — на них люди вырезали текст. Впрочем, к тому же типу памяти относится и электронная память современных компьютеров, запечатленная в силиконе. Есть и третий тип памяти, „растительная“, представленная древними папирусами, которые тоже прекрасно известны в этой стране, а впоследствии книгами, напечатанными на бумаге» (пересказано на с. 15–17 издания: Eco U. La memoria vegetale e altri scritti di bibliofllia. Milano: Ed. Rovello, 2006).

166

Сезам, откройся, я хочу отсюда выйти. — Афоризм Станислава Ежи Леца (1906–1966). Эко цитирует Леца и в «Маятнике Фуко», и в книге эссе «О литературе» (2002).

167

…В крови, пыланьем мажущей щеки, Смеется космос… — Из стихотворения «Отроковица» Винченцо Кардарелли, многократно процитированного в главе 3.

168

Вонзил ему нож глубоко в сердце и повернул его дважды. — Концовка «Процесса» (1918) Ф. Кафки, пер. с нем. Р. Райт-Ковалевой.

169

Когда мы доехали до Римского вокзала… — Д'Аннунцио, «Триумф смерти» («Il trionfo della morte», 1894).

170

Рыбка рыбка камбала… — Из померанской сказки «Рыбак и его жена», включенной в сборник братьев Гримм; отсюда почерпнут сюжет сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке».

171

Что мне теперь до твоих прудов и тенистой лесной сени? — Из повести «Сильвия» (1854) Жерара де Нерваля (1805–1855), пер. с франц. Э. Линецкой. Для Эко это одна из величайших когда-либо написанных книг. В сборнике его лекций «Шесть прогулок в литературных лесах» (1994) Сильвии уделяется большое место: «Хотя я знаю „Сильвию“ во всех ее анатомических подробностях, — возможно, потому, что я знаю ее так хорошо, — всякий раз, снимая ее с полки, я заново влюбляюсь в нее, словно читаю впервые».

172

Бумажная память. — Как мы помним по объяснению к предыдущей главе, «бумажная» (или «растительная») память — это базовый термин в обиходе Эко, третий тип выделяемой им памяти наряду с органической и минеральной.

173

…к той истинной Соларе, которая лепилась на довольно крутом горном склоне. — Описание поместья перекликается с описанием родных мест героя «Маятника Фуко» Якопо Бельбо (в частности с пейзажем и с архитектурой дома из главы 55). В «Маятнике» герой переживает схожий опыт военных лет. Как и Ямбо, Якопо часто называет родные места «Комбре», вспоминая Пруста.

174

Эти желтые персики, которые растут только между лозами… — Из финальной, 120-й главы «Маятника Фуко».

175

Silly season — мертвый сезон, нет новостей. Он читал, покойно сидя над собственной парною вонью. — Джеймс Джойс (1882–1941), «Улисс» (1922).

176

Борромини. — Имеется в виду улиткообразная круговая лестница, построенная архитектором эпохи барокко Франческо Борромини (1599–1667) в римском Палаццо Барберини.

177

Люди состоятельные тужат… — Имеется в виду Марсель Пруст: страдая тяжелой астмой, он вынужден был в зрелые годы большую часть жизни проводить в комнате, обитой пробковыми панелями, — там и создавался многотомный роман «В поисках утраченного времени».

178

Redi in interiorem hominem… — «In interiorem hominem redi: ibihabitat Deus» («Ищи внутреннего человека: там живет Господь», *лат.).* Блаженный Августин, «Об учителе» (389). Слова лишь побуждают душу к внутреннему обучению, к всматриванию в эти от природы заложенные в ней, но далеко не всегда осознаваемые знания вещей. «О всем, постижимом для нас, — писал Августин, — мы спрашиваем не у того говорящего, который внешним образом произносит звуки, а у самой внутренне присущей нашему уму истины, словами, пожалуй, побуждаемые к тому, чтобы спросить. Тот, у кого мы спрашиваем и кто нас учит, есть обитающий во внутреннем человеке Христос, т. е. неизменная сила Божия и вечная Премудрость». Августин исходит из Евангелия, см.: «Послание к Римлянам» 7:20–25: «Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих».

179

Ларусс — основанное Пьером-Атанасом Ларуссом в 1851 г. в Париже издательство, специализирующееся на словарях, справочниках и энциклопедиях; часто под словом «Ларусс» понимается энциклопедический словарь.

180

В долине все волшебно изменилось… — Дж. Пасколи, «В тумане» («Nella Nebbia»), из ранних стихов («Primi Poemetti», 1897).

181

Imagerie d'Epinal — Эпинальские эстампы *(франц.).* Выпускаются в музее-типографии «Эпиналь», которая основана в городке Эпинале в 1796 г. Жаном-Шарлем Пеллерином, в первое время — для оттиска ксилографии на исторические темы и последующего их раскрашивания вручную. С 1860-х типография перешла на литографический метод.

182

Куклы Ленчи — мягкие, с нарисованными лицами, в дамских платьях, со сложными прическами, выпускались в Турине Энрико и Еленой Скавини в 1920-е и 1930-е гг.

183

…*серия «История костюмов»*… — «Zur Geschichte der Kostüme», Мюнхен, издательство Вгаип und Schneider, 1890-е –1910-е гг.

184

«Ужин шуток» («La cena delle beffe», 1909) — пьеса итальянского драматурга Сема Бенелли (1877–1949). Эко имеет в виду декорации знаменитого фильма 1941 г., с Амедео Наццари, снятого режиссером Алессандро Блазетти.

185

…толи же это самое, что экстрасистолы. — Эко отсылает читателя к «обольстительным экстрасистолам» из восьмой главы «Маятника Фуко», которые ощущает Бельбо, влюбившись в Цецилию.

186

Надар — французский фотограф, настоящее имя — Гаспар-Феликс Турнашон (1820–1910), снимавший Дюма, Сару Бернар и многих других знаменитостей XIX в.

187

Кампанини Карбони — знаменитый латинско-итальянский словарь, составленный на рубеже XIX–XX вв. Джузеппе Кампанини и Джузеппе Карбони.

188

«Как налету» («It's in the Air», 1935) — английский комедийный фильм о летчиках с Джорджем Формби в главной роли.

189

От молитвенных лилий на тусклых стеблях… — Рене Вивьен (1877–1909), стихотворение «Возлюбленной» («A la femme aimée», 1923).

190

Qualis artifex pereo. — Какой артист погибает! *(лат.).* Последние слова императора Нерона перед тем как он покончил с собой в 68 г. Гай Светоний Транквилл (между 75 и 160), «Жизнь двенадцати цезарей»: «Нерон», XLIX.

191

Flatus vocis. — Сформулировав тезис номинализма о реальном существовании только единичного и считая чувственные впечатления исходным пунктом постижения внешнего мира, Иоанн Росцелин (ок. 1050 — ок. 1120), французский средневековый философ и теолог, рассматривал общие понятия и общие роды (универсалии) лишь как наименования или даже «звуки речи» (flatus vocis).

192

Мы поднимаемся? — Нет! Напротив! Мы опускаемся!.. — Начало романа «Таинственный остров» (1874) Жюля Верна, пер. с франц. М. Салье.

193

…играть в салочки с Эдипом… — от открытого Фрейдом «эдипова комплекса», значит: в сфере психологии и невропатологии, ассоциирующейся с фрейдизмом.

194

…*и Гансом Касторпом.* — Ганс Касторп — герой романа Томаса Манна (1875–1955) «Волшебная гора» (1924), здесь имеется в виду: в сфере интеллектуализма и в атмосфере напряженного умственного поиска, ассоциирующейся с темами манновской «Волшебной горы».

195

…там мрачно рыщет монах Амбросио. — Герой готического романа «Монах» (1796) Мэтью Льюиса (1775–1818), распутный монах Амбросио надругался в монастырском подземелье над юной Антонией, любовь к которой сводила его с ума (подобно любви Ямбо к Сибилле), убил ее в приступе гнева, а потом, чтобы спастись из темницы, продал душу дьяволу.

196

en abîme — до бесконечности, дословно — до дна пропасти (*франц.).*

197

Надпись: Драгоценные камни.

198

Названия сортов мыла: 1. «Соблазн!» — 2. «Современные танцы». — 3. «Пия Де Толомеи», с цитатой из Данте Алигьери: «Ты только помни обо мне, о Пии!» («Божественная комедия», «Чистилище», V, 130–136: «Когда ты возвратишься в мир земной И тягости забудешь путевые, — Сказала третья тень вослед второй, — То вспомни также обо мне, о Пии! Я в Сьене жизнь, в Маремме смерть нашла, Как знает тот, кому во дни былые Я, обручаясь, руку отдала»). Пия деи Толомеи, родом из Сьены, вышла замуж за Нелло деи Панноккьески, который из ревности убил ее тайно в одном из своих замков в Сьенской Маремме. — 4. «Дикая жизнь. Благоуханный альманах».

199

…в миг, когда он узнал это, он перестал знать. — Последняя фраза романа Джека Лондона (1876–1916) «Мартин Иден» (1909).

200

Заглавия книг:

«Ник Картер, великий американский сыщик». — «Король преступников». — Эдмондо Де Амичис, «Сердце». — «Курти Бо и светлый тигренок». — Алессандро Мандзони, «Обрученные». — «Новый Ник Картер. Еженедельный выпуск. Загадка для ума». — Морис Леблан, «Приключения Арсена Лишена. Полый шпиль». — Каролина Инверницио, «Поезд смерти». — Эдгар Уллес, «Совет Четырех». — Марк Марио и Луи Лоне, «Видок, человек с сотней лиц».

201

Заголовки:

Виктор Гюго, «Отверженные». — Эмилио Сальгари, «Пираты Бермуд». — Дж. Робида, «Поразительные путешествия Сатурнино Мирандола в 5 или 6 частях света, с описанием всех стран, посещенных и не посещенных. С 450 рисунками». — Жюль Верн, «Дети капитана Гранта». — Эжен Сю, «Тайны одного народа». — С. С. Ван Дин, «Странная смерть господина Бенсона». — Гектор Мало, «Без семьи». — А. Мортон, «Барон в затруднении». — Г. Леру, «Преступление в Рулетабилле».

202

Это была серия «Фантомас»… — Серию о Фантомасе начал Пьер Алексис Понсон дю Террайль (1829–1879), автор «Рокамболя», в 1857 г. С 1911 г. сюжет о гении зла, герое сорока трех романов-фельетонов, разрабатывался писателями Пьером Сувестром (1874–1914) и Марселем Алленом (1885–1969). В 1914–1915 гг. вышли первые фильмы о Фантомасе. В 1964–1966 гг. он стал героем серии фильмов режиссера Андре Юнебеля (Франция).

203

Арсен Люпен — бывший вор, затем сыщик из романов Мориса Леблана (1864–1941). Впоследствии тот же герой появляется в мультипликационных фильмах, в частности в «Замке Калиостро» (1979) знаменитого японского мультипликатора Хайо Миядзаки (род. в 1941).

204

Надпись на картинке:
«…Змея неожиданно распрямилась как пружина…»

205

Ямбо — псевдоним Энрико Новелли (1876–1943).

206

Подписи к иллюстрациям:

1. «Да ведет тебя пророк!» На Горелом Камне отрубленные головы повстанцев. — 2. «Дева Лагуны». Глава Совета Десяти потребовал, чтобы девственницу… — 3. «Тайна озера». Старец выпрямился во весь рост у нее за спиной, с кинжалом в руке. — 4. «Окровавленный амулет». Потрясенные печальной картиной, которая открылась их очам…

207

…весна царит вокруг, пропитан ею воздух и земля… — Из «Одинокого дрозда» Леопарди (цитировалось в главе 1).

208

Заглавия книг:

Таинственный фуникулер. — «Коварные привидения». — «Смотрители маяка». — «Неделя на чердаке». — «Северная башня». — «В стране лесовых зайцев». — «Барлеттский цирк». — «Наследница Ферральбы». — «Серебряная туфелька».

209

Текст на обложке:

«Буффало Билл. Герой прерий. Бриллиантовый медальон». — «Лжец! — воскликнул Коуди, кидаясь на обвинителя».

210

Эмилио Сальгари (1862–1911) — автор приключенческих романов. Далее упоминается «Тигр Малайзии» (1883), сборник из 11 рассказов. *Суйод-хан* — это «Тигр Индии» и предводитель тутов в книге Сальгари «Два тигра» (где Сандокан убивает Суйод-хана и спасает девочку).

211

Заглавия книг:

«Сандокан берет реванш». — «Тайна черных джунглей». — «Тигры Момпрачема». — «Черный корсар».

212

Маркиз Монтелимар — персонаж «Сына красного корсара» Сальгари.

213

Красный, Черный и Зеленый корсары, графы Вентимилья, — персонажи «Черного корсара» Сальгари.

214

Кармо — персонаж «Черного корсара».

215

Ван Штиллер — персонаж «Черного корсара».

216

Янес де Гомера — персонаж «Пиратов Малайзии».

217

Самбильонг — герой «В дебрях Борнео».

218

Иллюстрация:

надпись на обложке: «В этом номере — возвращение Шерлока Холмса. „Кольер“.»

219

…*de te fabula narratur*. — Полностью цитата звучит так: «Quid rides? Mutato nomine de te fabula narratur» (Чему ты смеешься? лишь имя стоит тебе изменить, не твоя ли история это, *лат.).* Квинт Гораций Флакк, «Сатиры», I, 1, 69, пер. с лат. М. Дмитриева.

220

Был сентябрьский вечер, около семи часов… — Артур Конан Дойл (1859–1930), «Знак четырех» (1890), пер. с англ. М. Литвиновой.

221

Утро было пасмурное, туманное… — А. Конан Дойл, «Этюд в багровых тонах» (1887), пер. с англ. А. Глебовской.

222

В ночь на 20 декабря 1849 года неистовый ураган бушевал над островом Момпрачем. — Начало романа Эмилио Сальгари «Пираты Момпрачема» (1900, в русском переводе — «Жемчужина Лабуана»), пер. с итал. Н. Верещагина.

223

…сделаться Фунесом Чудом Памяти… — Имеется в виду рассказ Хорхе Луиса Борхеса (1899–1986) «Фунес, чудо памяти» (1942).

224

Финанцьера (finanziera) — бульон из бычачьих потрохов и гениталий, сваренных в вине марсала, смешанном с уксусом. В канонический рецепт входят также: телячьи почки, телячьи мозги, поджелудочная и вилочковая железы, петушьи гребни.

225

…*изысканные беседы Нафты и Сеттембрини.* — Имеются в виду персонажи романа Томаса Манна (1875–1955) «Волшебная гора» (1924), нравственные и интеллектуальные менторы главного героя Ганса Касторпа (речь о нем шла в главе 7).

226

Надпись на иллюстрации:

«И легким легким шагом Они идут гуськом За чудным пастушонком На встречу со Христом».

227

«Большая жратва» («La grande bouffe», «La grande abbuffata», 1973) — отсылка к скандальному франко-итальянскому фильму Марко Феррери с Марчелло Мастрояни, Филиппом Нуаре, Мишелем Пикколи и Уго Тоньяцци. Сюжет фильма — четверо друзей предаются неумеренному обжорству, что приводит к трагическому финалу. Так же «обжирается» герой романа невообразимым количеством желанных книг.

228

Чино и Франко — герои серии, называвшейся в оригинале «Tim Tyler's Luck» («Удача Тима Тайлера») — впоследствии окажется, что именно с этой серией и именно с этими героями связан комикс «Таинственное пламя царицы Лоаны».

229

…*букеты фиалок и роз* («un mazzolin di rose e viole»). — Дж. Леопарди, «Суббота в деревне» (1829). В переводе с итал. А. Ахматовой, изменившей смысл, текст звучит так: «Несколько фиалок и гвоздик В ее руке зажато».

230

…*из «Джан Буррaски»*. — «Дневник Джан Буррaски» (1907, опубл. 1920) — книга рисовальщика и писателя Луиджи Бертелли (1858–1920), работавшего под псевдонимом Вамба, о приключениях неугомонного отпрыска тосканского семейства Стоппани. Джан Бурраска отпугивает женихов своих сестер, затапливает водой квартиру, красит в алый цвет собаку, срывает в поезде стоп-кран и т. д. «Бурраска» означает на итал. яз. «буря, ураган».

231

Картинка слева — из «Дневника Джан Бурраски». *Надпись на обложке справа:* Понсон дю Террайль, «Рокамболь. Смерть дикаря».

232

Замерзшие слова Пантагрюэля. — Путешествуя весной на корабле близ границы Ледовитого океана, герои романа Франсуа Рабле (ок. 1493–1553) «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532) слышат звуки, которые зимой застыли, а при потеплении оттаяли. «Давайте поищем, нет ли тут слов, которые не оттаяли», — предлагает один из мореплавателей. «Вот они, — сказал Пантагрюэль и бросил на палубу целую пригоршню замерзших слов, похожих на разноцветные леденцы. Одно довольно крупное слово, когда брат Жан согрел его в ладонях, вдруг лопнуло, словно каштан, когда его бросают в горячую воду» (пер. с франц. Н. Любимова). Но поскольку среди оттаявших слов было много ругательств, а «на корабле и без того в ругательствах нет недостатка», все собранные слова выбросили за борт.

233

Надпись на конверте.

«Пластинки „Одеон“. Самые модные песни и танцы. Самые знаменитые артисты и музыканты».

234

«Amore, amor, portami tante rose» — Любовь моя, принеси же мне роз, *«No tu non sei più la mia bambina»* — Нет, нет, ты уже не моя малышка, *«Bambina innamorata»* — Малышка, ты влюбилась, *«C'è una chiesetta amor nascosta in mezzo ai fior»* — Небольшой храм любви утопает в цветах, *«Torna piccina mia»* — Вернись ко мне, малютка, *«Suona solo per me o violino tzigano»* — Цыганская скрипка, играй для меня, *«Tu musica divina»* — Ты музыка прелестная, *«Un'ora sola ti vorrei»* — Лишь на часок с тобой хотел бы я, *«Fiorellin del prato e ciribiribin»* — Луговой цветок, лепесток, листок.

235

Балилла — нарицательное имя подростков из генуэзских трущоб, а также название молодежной организации, аналогичной советским юным пионерам. В данном случае речь идет о Баттисте Перассо (см. в тексте романа далее).

236

full immersion — полное погружение *(англ.).*

237

На Капо Кабана, вблизи океана… — Песня исполнялась Вандой Озирис. Певица произносила бразильский топоним неправильно — Капокабана (правильно — Копакабана). О перевранном названии пойдет речь в главе 11. Там же будет объяснена связь этой темы с именем Пипетто.

238

Надписи на конвертах:

«Танго возвращения». — «Закрытое окно». — «Песнь моя, лети по свету». — «Мария ла О».

239

А кто есть в действительности Пипетто, я не знал. — См. ту же тему в главе 119 «Маятника Фуко»: «Союзники заваливали бадолианцев всяким добром с воздуха по ночам, а перед этим вот уже два года непременно появлялся каждый вечер таинственный Пипетто, английский разведывательный самолет, неведомо что разведывавший, учитывая, что ни одного огня не было заметно на десятки километров окрест».

240

Текст на странице из учебника:

«Балилла. Ты слышал историю Баттисты Перассо? Сейчас я тебе расскажу ее».

241

Текст на странице из учебника:

«Черные рубашки. Младшие Черные рубашки, вы — будущее Родины. Сильные Черные рубашки, вы — оборона Родины».

242

…*буду Впередсмотрящим.* — Впередсмотрящие (avanguardisti) — аналог советских комсомольцев, так же как балиллы — аналог юных пионеров. Милитаризованные отряды «впередсмотрящих» как «патриотическая смена» взрослых чернорубашечников были основаны в 1922 г.

243

«Джовинецца» — официальный гимн молодых фашистов. Музыка написана композитором Джузеппе Бланком в 1909 г. Изначально — студенческий гимн Туринского университета, «Джовинецца» превратилась в военный марш во время Первой мировой войны, в период кампании во Фьюме (Речице), которой командовал поэт Габриеле Д'Аннунцио, рьяный популяризатор «Джовинеццы». После похода на Рим 1924 г. Муссолини заказал поэту Сальваторе Готта новые слова. С 1944 г. исполнение этой песни в Италии запрещено.

244

Не белеть небу подобно смеси воды с анисовой настойкой? — Отсылка к шансонье Паоло Конте, см. прим. к главе 1.

245

Туман по дикому склону Карабкается и каплет. — Джозуэ Кардуччи, «Сан-Мартино», из сборника «Новые рифмы», цитировалось в главе 1.

246

Дубаты («белотюрбанники», от арабских слов dub, «тюрбан» и at, «белый») — основанные в 1924 г. указом губернатора Абиссинии Де Векки военные подразделения «черных берсальеров». Эти войска занимали промежуточное положение между регулярной армией и местным бандформированием. Легкая амуниция, умение воевать и знание местности делали их серьезным подспорьем для итальянских фашистов, управлявших в Абиссинии.

247

Надпись на иллюстрации:

«В почтовой конторе: хочу отправить своему другу в качестве сувенира из Восточной Африки».

248

Подпись на плакате (по-итальянски и по-немецки): Два народа, одна победа.

249

Пасмурно и грустно на уединенной… — Из стихотворения рано умершего римского поэта Серджо Кораццини (1886–1907), члена литературного объединения «сумеречников». Другое его стихотворение будет цитироваться в главе XVII.

250

Надпись на плакате справа: «Мы возвратимся!»

251

«Поход на Рим» — речь идет о демонстративном марше 25 000 чернорубашечников из Неаполя в столицу Италии. Дойдя до Рима, они продефилировали перед Квириналом — королевским дворцом. «Поход на Рим» 28 октября 1922 г. был событием, символически утвердившим приход к власти Национальной Фашистской партии. Уже 4 ноября того же года король Италии Виктор Эммануил III назначил Бенито Муссолини главой правительства.

252

Алида Валли — сценический псевдоним Алиды Марии фон Альтенбургер, баронессы фон Маркенштейн и Фрейенберг (1921–2006). Дочь профессора философии, кинозвезда, дива, отказалась играть в фашистских пропагандистских фильмах. Имела успех в Голливуде как итальянская Ингрид Бергман.

253

…десант англоамериканцев под Анцио… — Водно-воздушный десант англо-американцев под Анцио, называемый также «Operation Shingle», имел место 22 января 1944 г.; готовился в обстановке строгой секретности и стал полной неожиданностью для противника. Войска Пятой армии союзников высадились на итальянский берег между Анцио и Неттуно. Линия фронта (линия Густав) с осени 1943 г. пролегала в сорока километрах южнее Рима; немецкими подразделениями командовал фельдмаршал Кессельринг. Бои на линии Густава считаются одним из самых кровопролитных эпизодов Второй мировой войны. Высадка союзников встретила яростное сопротивление немцев, битва длилась четыре месяца. Фронт был прорван 23 мая 1944 г.

254

…расстрел в Ардеатинском рву… — В марте 1944 г. оккупировавшие Италию немецкие нацисты расстреляли 335 мирных граждан Рима в ходе репрессий, последовавших за террористическим актом в Риме, когда партизанами было уничтожено 33 эсэсовца.

255

«Crapapelata» — «Плешивая голова». Песня Джованни Джакобетти и Горни Крамера (1936).

256

«Dove sta Zazà» — «Куда делась Заза?». Неаполитанская песня Раффаэле Кутоло и Джузеппе Чоффи (1944).

257

Язычества блаженны времена… — Дж. Леопарди, стихотворение «К Италии», пер. с итал. А. Ахматовой.

258

Пуалю, дословно волосатый *(франц.)* — жаргонное прозвище солдат-фронтовиков в годы Первой мировой войны.

259

…падение на землю на пути в Дамаск… — Святой апостол Павел, прежде звавшийся Саулом (Савлом), не входивший в число двенадцати апостолов и в юности участвовавший в преследовании христиан, на пути в Дамаск встретился с воскресшим Иисусом Христом, упал на землю от изумления, а встал уже обратившимся христианином. Это сюжет знаменитой картины Караваджо в церкви Санта-Мария-дель-Пополо в Риме.

260

Неразбиваемый стакан. — Это обширная цитата. Рассказ написан знаменитым итальянским юмористом Акилле Кампаниле (1899–1977) в 1927 г.

261

Vanitas vanitatum et omnia vanitas — Суета сует и все — суета *(лат.).* Изречение царя Соломона (Екклесиаст 1,2).

262

…искателем утраченных времен… — Естественно, отсылка к «Поискам утраченного времени» Марселя Пруста.

263

Бертольдо — легендарный средневековый крестьянин, живший в эпоху лонгобардов, главный герой знаменитого сочинения Джулио Чезаре Кроче (1550–1609) «Тончайшие хитрости Бертольдо» («Le sottilissime astutie di Bertoldo», 1606), вслед за которым тот же автор создал в 1608 г. книгу о сыне Бертольдо, Бертольдино. В честь этого героя был назван юмористический и сатирический еженедельник, выпускавшийся в Милане издательством Риццоли с 1936 по 1943 г.

264

Чесальщики — во Флоренции, в эпоху позднего Средневековья, чесальщики (ciompi) были одной из немногих групп текстильщиков, не имевших своей гильдии. В 1378 г. они подняли бунт и одержали временную победу: в результате на короткий период во Флоренции установился беспрецедентно демократический режим. Бунт был подавлен, когда против них объединились представители крупных и мелких флорентийских гильдий, ратовавшие за восстановление старого порядка.

265

…оставаться здесь, ждать, любоваться холмами, они очень красивые… — Этой фразой кончается роман Эко «Маятник Фуко».

266

Равви! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: Тебе одну, Моисею одну, и одну Илии. — Евангелие от Марка, 9:5.

267

Черные бригады — были созданы Муссолини после выхода Италии из войны (8 сентября 1943 г.) и побега Муссолини из заключения 12 сентября 1943 г. и действовали все время существования фашистской Итальянской Социальной республики (Республики Салó: 23 сентября 1943 –25 апреля 1945). Их деятельность активизировалась после прорыва союзниками «Линии Густав» (см. выше в комментарии к с. 249). В родном для Эко Пьемонте было семь Черных бригад. Вблизи родного города Эко — Алессандрии, описываемой в «Таинственном пламени», — активно действовала Вторая Пьемонтская Черная бригада «Аттилио Прато». Черные бригады были уполномочены поддерживать порядок и бороться с «подрывными элементами». В любом случае они не имели столь ответственных прерогатив, как армия или полиция.

268

…а окна все заперты изнутри. — Откровенная отсылка к роману «Имя розы». Это один из доводов Вильгельма Баскервильского, который ведет расследование таинственных смертей в монастыре. Мотив замурованной комнаты, не видной снаружи, но очевидной из плана, — в центре сюжета «Имени розы».

269

… *that is the question* — вот в чем вопрос *(англ.).* У Шекспир, Гамлет.

270

ab ovo — к началу, дословно — от яйца *(лат.).*

271

Подписи к комиксу:

1. Полковники и капитаны разрабатывают план сражения. — 2. Как попасть за линию обороны противника? — 3. Решено прорыть туннель под линией заграждений. — 4. Мармиттоне и его солдаты копают с усердием. — 5. Прорыли длинный туннель. — 6. Теперь можно выходить на поверхность. — 7. Оказывается, они попали в комнату полковника. — 8. Мармиттоне снова на гауптвахте.

272

«Герой Виллаэрмосы» — комикс рисовальщика Витторио Коссио, созданный в 1937 г. для «Коррьере деи пикколи».

273

Надпись в «пузыре»:

«Выстоять и победить! Обязательно — выстоим и одержим полную победу. Вы выстоите со мной, Романо?».

274

Надпись на обложке:

«Аввентурозо» за 14 октября 1934 г. Еженедельник приключений. «РАЗРУШЕНИЕ МИРА! Странная планета приближается к Земле — и нас может спасти только чудо!» и т. д.

275

Надпись в «пузыре»:
«Приведите мне мальчика в целости и сохранности…»

276

Это печать, дорогой мой, это ее сила, слышишь… — Из фильма «Крайний предел» (США, 1952) с Хамфри Богартом. Излюбленная цитата Умберто Эко, приводившаяся им в нескольких других текстах, в частности в «Пяти эссе на темы этики» и в сборнике эссе «Полный назад!».

277

…all the news that's fit to print… — Все новости, которые годны на полосу *(англ.).*

278

Лил Абнер — персонаж американских журнальных комиксов Эла Капа, чудак и простофиля, которому, тем не менее, в силу его порядочности, всегда удается одержать верх. *Дик Трейси* — образцовый американский полицейский, персонаж комиксов Честера Гулда, выходивших с 1931 по 1977 г.; по мотивам комиксов было снято несколько фильмов и телесериалов.

279

Комиксы про Дика Фульмине. Надписи на обложках: «Комната ужасов», 60 центов. — «Подлая ловушка», 60 центов.

280

Рас — высший титул в абиссинской феодальной иерархии.

281

Тогу претексту (белую тогу с алой полосой) надевали на римских юношей по достижении совершеннолетия.

282

…цветной альбом под названием «Таинственное пламя царицы Лоаны». — Источником (хотя и трактованным в комиксе более чем вольно) сюжета о царице Лоане *является* повесть английского писателя-неоромантика Райдера Хаггарда (1856–1925) «Она» (1887), где героиню, однако, зовут не Лоана, а Аэша. Ей 2000 лет, она жестокая и безжалостная повелительница диких африканских племен. Сохранять молодость и ослепительную красоту ей помогает таинственное пламя, горящее в пещере на вершине горы. Две тысячи лет назад она была влюблена в греческого юношу Калликрата, который не отвечал ей взаимностью, — в результате Аэша изгнала его беременную жену, а Калликрата убила в приступе ревности. Отдаленный потомок Калликрата англичанин Лео Винсей, похожий на него как две капли воды, попадает в царство Аэши, и она пытается вернуть утраченную любовь. Заканчивается повесть гибелью Аэши (подчинив себе Лео и вновь войдя в таинственное пламя, она не молодеет, а старится), впрочем, впоследствии она воскресает уже в Индии в повести Хаггарда «Аэша».

283

Иллюстрация, надпись на обложке:

«Таинственное пламя царицы Лоаны. Новые приключения Чино и Франко».

284

Ивер и Телье — фирма, торгующая почтовыми марками, ныне она расположена в Амьене. Их каталог, выпускаемый с 1895 г., является эталонным для всех собирателей наряду с каталогами Стенли Гиббонса, Мишеля и Скотта.

285

five rupies — пять рупий *(англ.).*

286

…среди моих пунктиков было и желание в один прекрасный день съездить на острова Фиджи. — Эко присвоил мечту своего героя, и она сбылась. В 1990 г. писатель провел месяц на островах Фиджи, собирая материал для романа «Остров накануне».

287

…бесценный in-folio 1623 года! — Имеется в виду сборник из 36 пьес Уильяма Шекспира, выпущенный в 1623 г в формате in-folio (печатного листа). Это издание, достаточно полное и, по всей видимости, сделанное с подлинных рукописей Шекспира (предыдущие издания принято считать «пиратскими»), большинством ученых принято за дефинитивное. При этом оно таит в себе много загадок. Всего, по последним данным, сохранилось 229 экземпляров этого издания, и оно считается величайшей библиографической редкостью.

288

…библия Гутенберга, первая книга, когда-либо отпечатанная в Европе. — Иоганн Гутенберг (ок. 1400–1468) напечатал латинскую грамматику Элия Доната (несколько листов ее дошли до нас и хранятся в Национальной библиотеке в Париже), несколько папских индульгенций и наконец две библии, 36-строчную и 42-строчную; последняя, известная как «Библия Мазарини», напечатана в 1453–1465 гг. с большим совершенством.

289

Цара Леандер (1907–1978) — немецкая кинозвезда шведского происхождения, особенно популярная в нацистской Германии во время войны.

290

Кристина Сёдербаум (1912–2001) — немецкая киноактриса шведского происхождения, сыгравшая главную роль в фильме-мелодраме «Золотой город» (1942).

291

Джинджер Роджерс и Фред Астер — знаменитый танцевальный дуэт 30-х гг., часто появлявшийся на экране. См. о нем в книге Эко «Картонки Минервы».

292

«Дилижанс» — фильм-вестерн с Джоном Уэйном в главной роли (1939).

293

Палата Фашиев и Корпораций — орган, с 19 февраля 1939 по 1943 г. заменявший в Италии Палату депутатов.

294

Барбера — крепкое красное пьемонтское вино.

295

Газета: «Коррьере делла Сера». *Заголовки:* «Смещение Муссолини». — «Глава правительства — Бадольо». — «Обращение монарха». — «Король принимает командование над вооруженными силами. Бадольо обращается к итальянцам: „Сплотим ряды вокруг Его Величества, живого образа нашей Родины“». — «Да здравствует Италия!».

296

Социальная республика Сало́ (Итальянская Социальная республика), была создана через несколько дней после перемирия, подписанного 8 сентября 1943 г. между Италией и союзниками (англичанами и американцами). Протекторат, или марионеточное государство, республика Сало́ (23 сентября 1943 — 25 апреля 1945) родилась по желанию немецкого командования, чтобы организовать военное сопротивление союзникам на территории северной Италии.

297

Эзра Лумис Паунд (1885–1972) — англо-американский поэт, с 1922 г. жил в Италии и воспевал в ней все, в том числе фашизм. После Второй мировой войны был арестован администрацией союзников и посажен в железную клетку в лагере для интернированных в Пизе, затем отправлен в Вашингтон на судебный процесс. Процесс был отменен, подсудимого поместили в психиатрическую тюрьму Св. Елизаветы. Выпущен в 1959 г. и сразу уехал в Венецию, где впоследствии и умер.

298

perché — почему *(итал.).*

299

Анжелюс — картина французского художника Жана-Франсуа Милле (1814–1875), одного из основоположников Барбизонской школы живописи.

300

Поцелуй — картина итальянского художника-романтика Франческо Хайеса (1791–1882).

301

… *Офелии, плывущей у прерафаэлитов…* — Имеется в виду «Офелия», картина английского художника-прерафаэлита Джона Эверетта Миллеса (1829–1896).

302

Подпись к иллюстрации:

«Перед ним возник пугающий призрак, обернутый в широкую простыню».

303

На руку падает капля ледяного пота. Эта капля прожгла руку насквозь, как если бы на нее попал расплавленный свинец. — Этот сюжет обыгран и в романе Эко «Имя розы» (грех и страх послушника Адельма: в действительности капля жгла, потому что это был раскаленный воск от свечи).

304

…уехал продавать оружие в Африку… — Явственная отсылка к Артюру Рембо, который в 1874 г. бросил писать стихи, уехал в Африку и сделался коммерсантом — торговал в том числе и оружием.

305

…которые хотели убить лунный свет. — «Убьем лунный свет» («Uccidiamo il chiaro di luna», 1909) — так озаглавлен один из текстов вождя футуристов, поэта Филиппе Томмазо Маринетти (1876–1944).

306

Смерть, подкрадывающаяся в заброшенном монастыре в Вальдемозе. — Вальдемоза — селение и одноименный монастырь на Майорке, где Фредерик Шопен (1810–1849) проводил зиму 1838 г. вместе с Жорж Санд. Там у него открылся туберкулез, от которого он скончался через одиннадцать лет.

307

Каждое слово с новой строчки, нахватался от поэтов-герметиков. — Поэты-герметики (итальянские последователи Бодлера и Малларме, писавшие в 1930-е и 1940-е гг: Джузеппе Унгаретти, Сальваторе Квазимодо, Альфонсо Гатто и др.) любили однословные строки.

308

…*явление Ангела шестой Трубы.* — Шестой Ангел Апокалипсиса освобождает «Четырех Ангелов, связанных при реке Евфрате», с тем чтобы умертвить множество людей: то есть описывается явление грозное и непоправимое.

309

Десятая уходит, вроде завтра Появятся бадолианцы. — После выхода Италии из войны (8 сентября 1943 г.) князь Юнио Валерио Боргезе, командир Десятой флотилии МАС (специальных штурмовых средств) реорганизовал часть боесостава флотилии, создал независимую боевую группу под тем же названием и вступил в военные действия под флагом фашистской Итальянской Социальной республики (республики Сало́). Воевал на стороне немцев против союзнических армий США и Англии, проводя карательные акции против партизан и репрессии против мирного населения. Десятая МАС памятна жестокостью, обреченностью и решимостью сражаться до конца на стороне проигравших войну. Бадолианцы подчинялись генералу Бадольо, сформировавшему правительство страны после ареста Муссолини 25 июля 1943 г. Первое правительство Бадольо имело целью в основном подписание мира с союзниками (8 сентября 1943 г.) и выход Италии из войны. Партизаны-бадолианцы действовали в основном во время так называемого второго правительства Бадольо (22.04.1944–10.06.1944), когда север Италии был оккупирован немцами и шла активная партизанская война.

310

…над полями ветер завывал <…> любимой дать поспать… — В стихах Ямбо подразумеваются итальянский вариант «Катюши» («Над полями ветер завывает, Поплыли над лугом облака, В сапогах разбитых выступаем За свою свободу воевать», см. ниже в тексте) и «Песня партизана» (переделанная из «Песни пастушка», который просит птичек «любимой дать поспать»).

311

Кого же может полюбить урод? Конечно, самую красивую из женщин! — Эдмон Ростан (1868–1918), «Сирано де Бержерак» (1897), пер. с франц. В. Соловьева.

312

Свежие светлые и сладкие воды — сонет 126 из «Канцоньере» (1374) Франческо Петрарки (1304–1374), пер. с итал. К. Батюшкова. Цикл «Канцоньере» посвящен любви Петрарки к юной Лауре. «*Новая жизнь»* (1295) — произведение Данте Алигьери, посвященное его влюбленности в юную Беатриче.

313

…*занесенные в «Индекс»*. — Имеется в виду «Индекс запрещенных книг» — перечень книг, которые католическая церковь считает вредными для веры и нравственности. Издавался Ватиканом с 1559 по 1966 г.

314

Джерри Льюис (род. в 1935) — американский певец, звезда рок-н-ролла 50-х гг.

315

Ultima Thule — далекая, крайняя Туле *(лат.).* Мифический остров, считавшийся у древних римлян пределом досягаемого мира.

316

Один я, прислонясь в тумане… — Чезаре Павезе, стихотворение «Один я…» («Sono solo», 1927).

317

A rose by any other name. — Цитата из «Ромео и Джульетты» Шекспира, в переводе Б. Пастернака — «Роза пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть нет». Роза — многозначный символ в искусстве и не случайно первый всемирно знаменитый роман Эко называется именно «Имя розы». В античности розу связывали с особого рода метаморфозой (Апулей). В «Золотой Легенде» роза — знак мученичества. Именно с розой связаны первые памятники литературы на народных языках — первый образец итальянской лирики «Rosa fresca aulentissima», раннефранцузские «Li contes de la Rose», «Dit de la Rose» и позднелатинская «Carmen de Rosa», а также первая большая христианская аллегория — «Роман о розе». Кроме того, роза — символ двух «готических» эпох — Высокого Средневековья и Романтизма. Возможна и отсылка к завершающей фразе «Четырех квартетов» Элиота: «Огонь и роза — одно». Наконец, у Данте в XXIII песни «Рая» роза — символ Слова Божия. В этот же ассоциативный ряд всякий толкователь «Имени розы» подставляет известное изречение Гертруды Стайн «Роза есть роза есть роза…», прямым ответом на которое читается последняя фраза романа (Stat rosa…), и в одном лишь названии книги обнаруживает весь круг трактуемых проблем.

318

Ои ностои — возвращение домой, возвращение на родину, как правило — после пережитых опасностей *(греч.).* Может также использоваться в значении «странствие» или «путь к дому». От того же корня происходит «ностальгия» — боль, тоска по возвращению. Тем же словом назывались греческие эпические поэмы, повествовавшие о возвращении героев домой после падения Трои (к ним относится гомеровская «Одиссея»).

319

Как обмирающий на гребнях волн пловец… Эфиром горних стран очищен и согрет. — Шарль Бодлер, «Полет» из сборника «Цветы зла», пер. с франц. Эллиса.

320

Fumifugium — слово составлено из двух латинских корней: fumi — дымы, пары, туманы и fugium — бегство. Придумал это слово Джон Эвелин (1620–1706), английский писатель-мемуарист, автор памфлета «Fumifugium, или Как побороть неудобства, доставляемые лондонским воздухом и дымом» (1661). Примерное значение изобретенного им псевдолатинского слова — «как заставить туман исчезнуть».

321

…к хроматическому восхождению в прелюдии «Тристана». — Имеется в виду опера Рихарда Вагнера (1813–1883) «Тристан и Изольда» (1865).

322

Разве ад — это не «другие»… — «Ад — это другие» — цитата из пьесы Ж.-П. Сартра (1905–1980) «За запертой дверью» (1944).

323

…всем давно известно, что ад, даже если он есть, пуст. — «Ад пуст!» — кричит Ариэль в пьесе Шекспира «Буря», пер. с англ. М. Донского.

324

…меня отправили погостить к нашему нижнему соседу — господину Пьяцца… — Характерная перекличка с «Маятником Фуко»: герой романа Казобон, в то время как его подруга Лия рожает их сына, находится в мастерской чучельщика и занят долгим с тем разговором.

325

…Анджело-Мишка лишился последнего глаза, затем — последней руки, затем — обеих ног. — Мишке Анджело посвящена одна из статей Эко в «Эспрессо», вошедших позднее в книгу «Картонки Минервы». Там он, в частности, пишет: «поскольку он либо стоял, либо сидел, и никто бы не осмелился поставить его на четвереньки, у Мишки Анджело, антропоморфного по природе, а не метафорически, были руки и ноги».

326

Надпись на плакате:
«Обогревайтесь итальянскими брикетами „Минерария“».

327

hic et nunc — здесь и сейчас *(лат.)*.

328

«Золотой город» — см. сноску о Кристине Сёдербаум, к главе 12.

329

à poil — нагишом *(франц.)*, дословно — до волосков.

330

Мармарика — область в Ливии, район кровопролитных сражений между итальянской и английской армиями в октябре-ноябре 1940 г., а также в июне 1942-го.

331

Надпись на рекламном плакате:

«Таблетки Фиат». *Таблетки «Фиат»* — лекарство от головной боли, невралгии и простуд.

332

Надпись на плакате:

«Дж. Б. Борсалино сын покойного Ладзаро. Итальянская шляпная фабрика, Алессандрия (Италия)».

333

А то появлялись гарибальдийцы… — Бригады «Гарибальди», участвовавшие в итальянском Сопротивлении, были бригадами коммунистов и сражались под началом Луиджи Лонго (1900–1980), впоследствии — секретаря Коммунистической партии Италии.

334

Над полями ветер завывает… — Переделанный текст советской песни «Катюша», см. прим. к с. 346.

335

Надпись на плакате:

«Черные бригады. Готовы вчера, сегодня, завтра на бой за честь Родины».

336

Газета подпольного Сопротивления:

«Италия либера (Свободная Италия), орган Партито д'Ацьоне (Партии действия)», 30.10.1943. *Заголовки: «*Борьба против нацизма. Возможность возрождения». — «Добровольцы свободы».

337

Газета подпольного Сопротивления:

«Аванти! (Вперед!), орган Итальянской социалистической партии пролетарского единства», 3.4.1944. *Заголовок: «*Над братской могилой 500 расстрелянных в Риме наш народ объединится для борьбы!».

338

Стэн Лорел (сценический псевдоним Артура Стенли Джефферсона, 1890–1965) и *Оливер Харди* (1892–1957) — американские киноактеры, выступавшие вместе с 1927-го по 1950-е гг., один из наиболее популярных комедийных дуэтов в истории кино.

339

Роберто Ардиго (1828–1921) — итальянский философ-позитивист, педагог.

340

Большая Игра — термин, употребляемый для описания соперничества между Великобританией и Россией за господство в Центральной Азии, продолжавшегося на протяжении всего XIX в. В широкий обиход введен Редьярдом Киплингом (1865–1936) в романе «Ким» (1901), где Большая Игра также становится синонимом захватывающих и опасных приключений, о каких мечтает каждый мальчишка.

341

Манифест Кессельринга.

Перевод с итал. яз.:

На основании опубликованного воззвания фельдмаршала Кессельринга к населению Италии, фельдмаршал Кессельринг настоящим доводит до солдат и офицеров немецкой армии следующий приказ:

1. Активизировать действия против вооруженных бандформирований, повстанцев, против саботажников и вредителей, которые любым образом препятствуют ведению боевых действий и нарушают общественный порядок и безопасность;

2. Установить процентную норму заложников для всех местностей, в которых действуют вооруженные банды, и ликвидировать вышеназванных заложников всякий раз, как в вышеназванных местностях имели место акты саботажа;

3. Проводить репрессии вплоть до сжигания домов на территориях, где отмечалось применение огнестрельного оружия против подразделений германской армии или отдельных военнослужащих германской армии;

4. Казнить через повешение на главных площадях городов лиц, предположительно совершивших убийства, и главарей бандформирований;

5. Привлекать к ответственности жителей населенных пунктов, где наблюдались повреждения телеграфных и телефонных линий и иные акты саботажа, касающиеся, в частности, дорожного движения (разбрасывание осколков стекла, гвоздей и прочего на дорожном полотне, повреждение мостов и загораживание улиц).

Фельдмаршал Кессельринг.

342

Rien ne va plus — ставки сделаны *(франц.)*. Ритуальная фраза крупье.

343

Странная война. Drôle de guerre. — Это определение чаще всего относят к периоду французско-германских военных действий 1939–1940 гг., когда в течение семи месяцев германские войска сидели вдоль линии Мажино, не произведя ни единого выстрела (этот эпизод называется по-немецки «Sitzkrieg» и по-английски «Twilight War»).

344

…*образок Святого Сердца.* — Изображение Иисуса со зримым, наглядным сердцем, на сердце крест, от сердца исходит сияние. Этот католический религиозный культ возник в Средние века, но активнее всего насаждался иезуитами в эпоху Контрреформации (XVI и XVII вв.). Более всего развит в Латинской Америке.

345

…мерси боку… уи, мдам, муа осей эмле шампань. — Спасибо большое… да, мадам, я тоже люблю шампанское *(искаж. франц.)*.

346

Джеймс Кэгни (1899–1986) — американский киноактер, получивший Оскара за роль певца и танцора в фильме «Янки дудл денди» (1942).

347

The show must go on — представление должно продолжаться *(англ.).* Выражение, означающее «никогда не следует сдаваться», ставшее особо популярным благодаря одноименной композиции группы «Квин».

348

Arbeit macht frei — работа делает свободными *(нем.)*. Надписи на воротах нацистских концлагерей «Заксенхаузен», «Дахау», «Освенцим».

349

Бад Эбботт и Лу Костелло — знаменитый американский комедийный дуэт, выступавший в кино и на радио с 1930-х по 1950-е гг.

350

…Бит Кросби и Боб Хоуп появляются с интригующей Дороти Ламур… — Речь идет о «Дороге в Занзибар» — фильме (1941) американского режиссера Виктора Шертцингера. В ролях Бинг Кросби, Боб Хоуп, Дороти Ламур и Уна Меркель.

351

«Жизнь прекрасна» — название фильма 2000 г. итальянского режиссера и актера Роберто Бениньи (род. в 1952) о нацистских концлагерях.

352

Газета: «Коррьере ломбарде», 8.8.1945. *Заголовки:* «Взорвана атомная бомба. Мир затаил дыхание. Что произойдет?».

353

Преступление в Вилларбассе — 20 октября 1945 г. все обитатели крестьянского дома в пьемонтской деревне Вилларбассе были жестоко убиты грабителями-сицилийцами; преступники были впоследствии приговорены к смертной казни.

354

Мост Вздохов (Ponte dei Sospiri) в Венеции соединяет Дворец Дожей с тюрьмой Пьомби — с моста обреченные на казнь прощались с миром и взывали к милости горожан.

355

«Унита» — газета Коммунистической партии Италии.

356

«Атлантида» — приключенческий роман французского писателя Пьера Бенуа (1886–1962); действие происходит в экзотической африканской обстановке.

357

…я изготавливаюсь, хотя и сам пока того не знаю, ко встрече с Лилой, с лилеей, недаром лилея и крин — одно. — Возлюбленную героя в другом романе Умберто Эко, «Остров накануне», зовут Лилеей.

358

gratia sui — самодостаточна *(лат.).*

359

fades hippocratica — гиппократова маска *(лат.).* Медицинский термин, обозначающий совокупность характерных изменений на лице перед смертью.

360

Ночью в монастыре, где воспитывают девиц, умирает одна из них… — Эта тема уже освоена Умберто Эко в романе «Маятник Фуко», в главе 8: «Третья жена сразу же низверглась в пропасть, где погребена. Только что она усопла во сне, бледненькая Офелия в цветах, в своем девическом гробе, и священник вычитывает над нею поминальную молитву, внезапно она столбом встает над катафалком, насупленная, белая, мстительная, воздев перст, пещерным голосом: „Отче, не молись за меня. Этой ночью, до сна, я зачала нечистый помысел, единственный в моей жизни, и посему я — душа проклятия“. Надо найти учебник, который я зубрил перед первым причастием. Была в нем картинка или все это — целиком моя фантазия? Разумеется, нечистая мысль перед смертью отроковицы относилась ко мне, нечистый помысел — был я, нечисто мысливший о Мари Лене, неприкосновенной, инакого бо назначенья, рода. Я виновник ее проклятия, я виновник проклятия всех, кто проклят, и поделом мне, что не моими были три жены: это наказание за то, что я их желал.

Оставим первую, потому что она в раю, вторую, потому что она в чистилище грустно алчет мужественности, которая у нее не отрастет никогда, и третью, потому что она в аду».

361

Усни, не плачь, Иисусе драгоценный… — Песня Лоренцо Перози (1872–1956), выдающегося итальянского церковного композитора и дирижера.

362

consensus gentium — согласованное убеждение многих людей *(лат.).*

363

Сыне, в Бога веровали лучшие — Данте, Мандзони, Сальванески, Фантаппié. Ну а ты что же? — Список эклектичен до комизма. *Данте* — общеизвестный классик, точно так же и *Алессандро Мандзони* (1785–1873) — классик итальянской литературы, автор знаменитого романа «Обрученные» (1842). В то же время *Нино Сальванески* (1886–1968) — малоизвестный итальянский писатель, организатор многолюдных паломничеств в святилище преподобного Пия из Пьетральчины. *Луиджи Фантаппié* (1901–1956) — памятный только школьникам итальянский математик.

364

иллюстрация к Человеку, который смеется из итальянского издания Сонцоньо.

365

Рита Хейворт и Тайрон Пауэр в фильме «Кровь и песок» (1941) Роберта Мамуляна.

366

…обнаруживаю, что можно освещаться неизмеримостью и встречаться с болью жизни… — «Освещаюсь неизмеримостью» («M'illumino d'immenso») — первая строка стихотворения «Бесконечность» («L'infinito», 1933) известного итальянского поэта-«герметика» Джузеппе Унгаретти (1888–1970); «Нередко я встречался с болью жизни…» — из стихотворения еще одного знаменитого поэта-герметика Эудженио Монтале (1896–1981) из сборника «Косточки каракатицы» («Ossi di sepia», 1925).

367

…луч солнца способен иногда пронзать человека. — Ср. стихотворение «И сразу вечер» (Ed è subito sera) из сборника «Воды и земли» («Acque e terre», 1930), знаменитого поэта Сальваторе Квазимодо (1901–1968): «Всякий один на сердце земли. Пронзит тебя луч, И вот уже вечер».

368

Я брожу в лесах символов, тону в их чащах, смущенный, умиленный… — Ср.: Шарль Бодлер, «Соответствия» из сборника «Цветы зла»: «Лесами символов бредет, в их чащах тонет Смущенный человек, их взглядом умилен», пер. с франц. Эллиса.

369

…*о музыке на первом месте…* — Поль Верлен (1844–1896):

О музыке на первом месте!
Предпочитай размер такой,
Что зыбок, растворим и вместе
Не давит строгой полнотой.

(«Искусство поэзии», 1874, пер. с франц. В. Брюсова).

370

…пишу молчанье и ночь, выражаю невыразимое, запечатлеваю головокружительные мгновения. — Цитируется Артюр Рембо: «Я писал молчанье и ночь, выражал невыразимое, запечатлевал головокружительные мгновенья» («Одно лето в аду», 1873, пер. с франц. М. Кудинова). В том же сборнике содержится очень ценное для понимания романа признание Рембо: «Я любил идиотские изображения, намалеванные над дверьми; декорации и занавесы бродячих комедиантов; вывески и лубочные картинки; вышедшую из моды литературу, церковную латынь, безграмотные эротические книжонки, романы времен наших бабушек, волшебные сказки, тонкие детские книжки, старинные оперы, вздорные куплеты, наивные ритмы…».

371

«Идти своим путем» — американская кинокомедия (1944) с Бингом Кросби в главной роли.

372

Конченый человек — автобиографическая книга Джованни Папини (1881–1956), итальянского писателя-модерниста, прошедшего в своем творчестве путь от бунта и новаторства (к этому периоду и относится «Конченый человек», 1912) до католицизма и поддержки фашизма.

373

nomen omen — говорящее имя *(лат.).*

374

Собратья-ирисы, о красоте скорбя… — Поль Валери (1871–1945), «Нарцисс говорит» (1891), пер. с франц. Р. Дубровкина.

375

Я — Рим, империя на рубеже паденья… — Поль Верлен, сонет «Томление» (1883), пер. с франц. Г. Шенгели.

376

Сердцам, что к созиданью склонны… — Стефан Малларме (1842–1898), «Проза для Дез Эссента» (1884), пер. с франц. Р. Дубровкина.

377

Умирающая, чьих одежд он касался… — Жюль-Амедэ Барбе д'Орвелли (1808–1889), «Лея» (1832).

378

Репродукция с картины Гюстава Моро (1826–1898) «Видение» («L'Apparition», 1876).

379

Стилтон — голубой английский сыр.

380

…ощущая физическую и душевную усталость человека… — Жорис Карл Гюисманс (1848–1907), «Наоборот» (1884), пер. с франц. Е. Кассировой под ред. В. Толмачева.

381

Придет тот день, когда… — Из сонета «Мое сердце» («Il mio Cuore», 1903) поэта-«сумеречника» Серджо Кораццини.

382

…неизведанный остров, который порой брезжит еще, пусть только издалека, между Тенерифе и Пальмовыми. — Здесь звучит тема третьего романа У.Эко «Остров накануне». Там действие происходит именно у неоткрытого острова между Тенерифе и Пальмовыми, причем тема недосягаемого острова развертывается как философская, метафизическая метафора.

383

Этот берег блаженный корабли, скользя, огибают… — Гвидо Гоццано (1883–1916), «Неоткрытый остров» (L'isola non trovata, 1913).

384

Да. Он крупней, чем красноречье ваше… — Э. Ростан, «Сирано де Бержерак», пер. с франц. В. Соловьева.

385

in articulo mortis — в минуту смерти *(лат.)*.

386

Bonum est diffusivum sui — благо распространяется вне себя *(лат.).* Неоплатоническая аксиома, источник которой находится у Фомы Аквинского в «Теологической сумме» («Summa theologiae», I, q. 5 a. 4, ad 2). Цитаты из Фомы Аквинского часто встречаются у Эко, в частности и потому, что Фоме посвящена его докторская диссертация по философии.

387

Орифламма (aureum — золото, flamma — пламя) — небольшой штандарт французских королей, первоначально составлявший запрестольную хоругвь в церкви Сен-Дени. Она была главной воинской хоругвью королевских французских войск. Носилась она почетным хоругвеносцем (porte-oriflamme) и поднималась на копье лишь в момент боя; до того времени хоругвеносец нес орифламму на себе.

388

«Жизнь есть сон» («La vida es sueño», 1635) — пьеса испанского драматурга Педро Кальдерона де ла Барки (1600–1681).

389

Царица Лоана тоже почерпнута из пресловутой бумажной памяти. — Как мы помним по объяснению к четвертой главе, это программный термин в обиходе Эко — третий тип выделяемой им памяти наряду с органической и минеральной. «Бумажная память» — название второй части романа.

390

Центр Алефа — образ из творчества Хорхе Луиса Борхеса. В притче «Алеф» в запущенном подвале обреченного на снос дома находится всеобъемлющая и головокружительная «точка всего», что «не видит никто». Первооткрывателем, то есть обладателем этого «центра мира», случайно становится пройдоха-стихоплет.

391

…а оказался разлистан… — Разлистан — слово, уводящее к «Божественной комедии» Данте: «То, что разлистано по всей вселенной…» («Рай», XXXIII, 87, пер. с итал. М. Лозинского). В оригинале у Эко словесная игра отсылает не к Данте, а к известным в Италии записным книжкам «Зибальдоне» («Zibaldone») Джакомо Леопарди.

392

Так топит снег лучами синева… — Данте, «Божественная комедия», «Рай», XXXIII, 64–67, пер. с итал. М. Лозинского.

393

И вознесен я был в духе и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил начиная с этого места… — Здесь и далее до конца много цитат из Апокалипсиса.

394

…и на престоле был Сидящий, с лицем золотым, с улыбкой монгольской и свирепой… — в подобном духе иронического коллажа разработана знаменитая сцена «Киприановой вечери» из культового романа У. Эко «Имя розы» («Шестого дня час третий»).

395

…*мольеровский доктор* (из «Мнимого больного» — карикатурный) *с таблеткой от головной боли «Фиат»* — это персонаж, чьи пальцы составляют непристойную фигуру и чье изображение воспроизведено в главе 16.

396

Архонты постоянно упоминаются в «Маятнике Фуко». Первоначально так назывались высшие должностные лица в древнегреческих полисах. В учении гностиков архонты — семь верховных духов, создатели и властители материального мира. Главный архонт — Демиург, дух космического целого. Это высшее божество. В новозаветных текстах архонты — это «духи злобы поднебесной».

397

Мандрейк взвихрил свою тросточку в небо и провозгласил появление Леди-Дракон, затянутой в черные шелка. — Далее типичная для Эко фантастическая процессия феллиниевского плана — все персонажи книги, комически приниженные, в новых для себя ролях.

398

Пиппо, Пертика и Палла — из альбома комиксов «Витториозо» (см. главу 11).

399

Чип и Курица, Альвар, почти что корсар, Алонсо-Алонсо по прозвищу Алонсо, ранее судимый за похищение жирафы, «Зооландия» и проч. — комиксы из «Витториозо», описанные в главе 11.

400

Дик Фульмине («Молния»), Дзамбо, Баррейра, Белая маска и Флаттавион… — А это уже компания персонажей из «Аввентурозо». Флаттавион — это итальянизированный Мандрейк см. с. 295.

401

Термогеновый человек — паяц с рекламы Термогена в главе 15, шут в зеленом и синем костюме, прижимает какие-то бесформенные подушки к груди, они похожи на человеческие легкие.

402

Пресбитеро — реклама, описанная в главе 15, свинцовая голова, вместо волос вздыбленные цветные карандаши.

403

Мальчишки с улицы Пала — персонажи одноименной повести (1907) классика венгерской детской литературы Ференца Молнара (1878–1952).

404

Отстукивали ритм костылями кот с лисой и пританцовывали конвоировавшие их жандармы. — Имеются в виду персонажи сказки Карло Коллоди (1826–1890) «Пиноккио» (1880).

405

Миледи с выжженной лилией на лбу… — Эко размещает татуированную лилию на лбу Миледи. В романе Дюма, конечно, татуировка — на плече. Здесь дополнительное значение придается важному для тем любви у Эко символу — лилии.

406

Джим, доктор Ливси, лорд Трелони, капитан Смоллетт и Долговязый Джон Сильвер… Бен Ган — персонажи «Острова сокровищ» Р. Л. Стивенсона.

407

Триггер Хокс — персонаж комиксов про Микки-Мауса наряду с Одноногим Питером.

408

Эрик фон Штрогейм (1885–1957) — режиссер, сценарист, актер, игравший в фильмах «Бульвар Сансет» (1950) Билли Уайлдера и «Великая иллюзия» (1937) Жана Ренуара (именно к этой роли, инвалида, затянутого в корсет и с гипсовым воротником на шее, и отсылает читателя Эко).

409

Безумства Зигфилда (1947) — фильм-концерт, созданный из номеров различных представлений, поставленных Флоренцом Зигфилдом (1869–1932) — американским антрепренером, создателем жанра эстрадного ревю. Его постановки отличались пышностью и феерическим блеском.

410

Сальские сандалии — их носят монахи «сальской» конгрегации, берущей свое имя от замка Саль в Верхней Савойе. Это место рождения святого Франциска Сальского (1567–1622), в чью честь именуется орден, созданный святым Джованни Боско, автором «Осмотрительного отрока», в 1859 г. с целью образования и воспитания юношества.

411

omnia munda mundis — все чисто для чистых *(лат.)*. Послание св. Павла к Титу, 1:15: «Для чистых все чисто; а для осквернённых и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть».

412

Будет это девица семнадцати лет… — Далее смешаны фразы из романтических описаний красавиц. Источники — Поль Феваль, «Жемчужина Лабуана» Сальгари, «Парижские тайны» Эжена Сю, «Атлантида» Пьера Бенуа, «Она» Райдера Хаггарда, «Леа» Барбе д'Орвелли, «Наоборот» Гюисманса, «Высший порок» Жозефин Пеладан, «Эмали и камеи» Теофиля Готье и отдельные словосочетания из Джойса, Бодлера, Реми де Гурмона, Эдмона Ростана. Было использовано даже стихотворение Александра Блока «Девушка из Сполето» в сентиментальном и неправильном переводе Ренато Поджоли («Сполетская богоматерь»).

413

…колдовски превратившееся в странную, в неповторимую морскую птицу с длинными и тонкими ногами… — В финале «Повести о приключениях Артура Гордона Пима» Эдгара По путешественники высаживаются на таинственном острове Тсалал, где все черно и обитатели — дикари — очень боятся всего белого, а в особенности — огромных белых птиц. Спасаясь от дикарей, герои сперва скрываются в подземном лабиринте, а потом совершают побег на лодке, но течение неумолимо тянет их к югу, и над ними парят в тумане птицы смерти с криком «текели-ли». Этот мотив заимствован из «Сказания о старом мореходе» Сэмюэля Тэйлора Кольриджа (1772–1834).